ISSN 0130 – 6545

1984

Иностранная литература

САБИН БЭЛАША. Протест против войны.

Цветные иллюстрации номера — работы румынских художников

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

8 август 1984

Содержание

Рассказы румынских писателей

СОРИН ТИТЕЛ. ДОРИНА РЭДУЛЕСКУ. РАДУ КОСАШУ. МИРЧА НЕДЕЛЧУ *(Перевод и вступление Михаила Фридмана)* 3

АДРИАН МИТЧЕЛ — Стихи *(Перевод с английского А. Казарновского)* 41

ХЕЛЬГА КЁНИГСДОРФ — Рассказы *(Перевод с немецкого И. Каринцевой)* 47

ПИТЕР БЁНЧЛИ — Челюсти *(Роман. Окончание. Перевод с английского И. Басавиной. Послесловие А. Мулярчика)* 77

Литературное наследие

Новая японская поэзия классических жанров

МАСАОКА СИКИ. САЙТО МОКИТИ *(Перевод и вступление А. Долина)* 158

Критика

Е. КНИПОВИЧ — Первый съезд советских литераторов и революционные писатели мира *(Заметки на полях стенограммы)* 165

Советская литература за рубежом 169

Литературные портреты

ВОЛОДЯ ТЕЙТЕЛЬБОЙМ — Пути и надежды Хулио Кортасара *(Перевод с испанского Вероники Спасской)* 173

Культура и современность

Т. РОТЕНБЕРГ — Война, политика и пресса 180
Е. РЯУЗОВА — Культура для масс вместо «массовой культуры» 186

Публицистика

ПОЛ ГАРРИСОН — Город в городе. Жизнь под лезвием ножа *(Главы из книги. Вступление О. Васильева. Перевод с английского И. Гуровой)* 189

Документальная проза

ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ — Уходящие в бессмертие *(Отрывки из книги «Бригада». Перевод с болгарского и вступление Н. Глен)* 207

Антирубрика

УИЛЬЯМ МЕЙКПИС ТЕККЕРЕЙ — Стихи *(Перевод с английского Елены Печерской)* 221
ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН — Откровенный разговор в скалистых горах *(Перевод с английского Александра Майкапара)* 222
ЛУИДЖИ МАЛЕРБА — Серая девушка *(Рассказ. Перевод с итальянского Елены Дмитриевой)* 227

К нашим иллюстрациям

М. ШУЛЬГИН — Дух добра и надежды 230

Среди книг

Издано в СССР

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ — Меч Сирены *(Галина Аудерская. Варшавская Сирена)* ◆ А. БОЧАРОВ — Продолжение жизни *(Тарьей Весос. Великая игра. Птицы. Ледяной замок)* 232

Издано за рубежом

НОРА КИЯМОВА — Диалог культур *(Мартин Наг. Горький в Норвегии)* ◆ БЕЛА РИГО — Нравы и пощечины *(Эндре Фейеш. Ангелоликий. Акош Кертес. Собственный дом с мансардой)* ◆ Г. ЗЛОБИН — Нечаянная радость творчества *(Джон Гарднер. Как становятся романистом)* ◆ Н. МАТЯШ — «Три песеты минувших времен» и современность *(Висенте Сото. Три песеты минувших времен)* 236

Из месяца в месяц

245

Авторы этого номера

254

На 1-й странице обложки — работа румынского художника ИОНА ПАЧА «Праздник».

© «Иностранная литература», 1984.

Рассказы румынских писателей

Перевод и вступление МИХАИЛА ФРИДМАНА

Минули четыре десятилетия с тех августовских дней 1944 г., когда — в благоприятных условиях, созданных победами Советской Армии в ходе Ясско-Кишиневской операции, — патриотические силы Румынии, возглавляемые коммунистической партией, смели фашистский режим Антонеску и вступили в вооруженную борьбу против немецко-фашистских оккупантов. Перед румынским народом открылись широкие перспективы социального прогресса, мирного созидания на путях демократии и социализма.

Достижения трудящихся Румынии за прошедшее сорокалетие впечатляющи. И судить о масштабности социалистических преобразований помогают не только цифры, не только видимые глазу изменения, но и те нравственные сдвиги, завоевания духовного мира, которые наряду с другими видами художественной культуры чутко улавливает литература.

Мало осталось в Румынии писателей, которые были очевидцами и активными участниками событий, развернувшихся в августе 1944 г. и сразу после него. Нашему читателю известны произведения М. Садовяну, Э. Камилара, Л. Фулги, З. Станку, Т. Поповича и других, запечатлевшие облик тех решающих дней, готовность народа покончить с трагическим прошлым, вступить на путь мирного обновления. К подобным произведениям можно отнести и помещаемый в нашей подборке документальный рассказ писательницы Д. Рэдулеску, донесший до нас дыхание незабываемой поры, когда — по просьбе румынских военнопленных — в Советском Союзе была сформирована добровольческая дивизия имени вождя народного восстания 1821 г. Т. Владимиреску. В 1944 году в составе 2-го Украинского фронта дивизия участвовала вместе с советскими войсками в освобождении румынской земли.

К теме освобождения от фашистского ига и последовавших за этим преобразований обращаются и новые поколения румынских писателей. У многих из них (в нашей подборке это Р. Косашу и С. Тител) детство и отрочество отмечены печатью военных лет, другие (М. Неделчу) родились в мирную пору. Однако, помолодев в возрастном отношении, румынская литература в лучших своих произведениях несомненно «повзрослела». В сферу художественного обобщения введены новые грани жизни, новые события, новые герои, малоприметные, будничные, «негероичные», такие, как маленький Андрей в рассказе С. Тител или бабушка в рассказе Р. Косашу. Оказалось, что зарницы августовских событий прекрасно высвечивают и эти незатейливые судьбы, придают им новый смысл, общественную значимость. Этому содействуют и новые средства воплощения, передающие многозвучие памяти, смешение в ней различных временных пластов, контрастное сопоставление масштабных исторических событий и мелочей мещанского бытия.

По-новому осмысливаются и судьбы тех, кто оказался непосредственным участником военных событий. Герой рассказа М. Неделчу — один из них. Носителем «народной мудрости» выступает капрал Г. П., и вся машина фашистской пропаганды бессильна перед ней. Писатель использует своеобразную форму диалога между автором военного дневника и сегодняшним его комментатором. Диалог двух, казалось бы, далеких друг от друга поколений обнаруживает их единство в главном: в осуждении захватнической войны, развязанной фашизмом, в органическом неприятии всего шовинистического, враждебного человеку труда.

Светлым аккордом воспринимаются последние страницы рассказа, посвященные мирным дням сегодняшней Румынии, будням старого солдата, вспоминающего весну 1945 года, когда плечом к плечу с советскими воинами румынские солдаты дрались за освобождение соседних чехословацких земель.

Предлагаемые читательскому вниманию рассказы свидетельствуют о преемственности писательских поколений новой Румынии. Основой этого единства остается постоянное обращение художников слова к теме освобождения Румынии от фашистского ига, братства по оружию советских воинов-освободителей и румынских патриотов.

СОРИН ТИТЕЛ

Эти ясные летние дни

В тот летний погожий вечер 1941 года мальчик стоял у открытого окна и, опершись локтями о подоконник, разглядывал клумбы с желтыми розами, а возможно, спавших еще котов: нестерпимо болели молочные зубы. Потом коты проснулись, лениво потянулись и погнались друг за дружкой по дорожной пыли, распугивая сердито кудахтавших кур.

Мама вернулась с заднего двора, вошла в кухню, со вздохом опустила на пол рулоны ковров, смахнула пот с лица. Потом вымыла руки под краном и вытерла их о полы висевшего за дверью старого, рваного халата в мелких голубых цветочках. С фотографии смотрела молодая девушка, это мама, такой она была когда-то.

— Мама,— крикнул Андрей,— у меня зубы болят!

Теперь она гораздо красивее, чем девушка на этой плохой фотографии, которую делал, очевидно, любитель.

Рядом с деревней — химическая фабрика, там есть кинозал в просторном, словно амбар, здании из красного кирпича. Андрей всегда сидит в первом ряду на грубо сколоченных скамьях, брюки часто зацепляют за гвозди, а на экране мелькают лопочущие по-немецки светлокудрые, веселые солдаты. Замечательный фильм, да еще цветной: длинноволосая блондинка мчит в автомобиле с откидным верхом, знай катит себе, минуя прекрасные поля, стада коров с набухшим выменем, хозяйка автомобиля ласково машет пастухам, молодым парням в шортах, а те скачут на одной ноге и заливаются — «оларьо-оларьо», потом дама въезжает в город с опрятными улочками, виллами и морем роз, выходит из машины, шумно хлопает дверцей, затем возвращается, снова садится, поправляет шарф на шее, поднимается по каким-то ступенькам, беседует с господином в халате, причесанным на пробор, потом проезжает большущую деревню, выходит из автомобиля, вступает в храм, молится под звуки органа, а в полях веселые пахари машут даме, и она благодарит их, посылая каждому по воздушному поцелую,— что ж, фильм как фильм, говорит мама, нарезая тесто для вареников, но краски хороши, я смотрела и другую цветную картину «Золотой город», но там краски похуже. А вот Андрею особенно нравятся фильмы, в которых действуют принцы в белых париках и женщины в кринолинах. Чем пышнее платье, тем большее впечатление производит на него фильм.

Со временем, особенно после первой ангины, Андрей наловчится как можно шире открывать рот. Вот и теперь он широко разинул рот, а мама внимательно ощупывает каждый зуб, чтобы определить, какой расшатался. Пальцы ее слегка попахивают картофельным паприкашем, который они ели в обед, и, разумеется, стиральным мылом — она только что вымыла руки. Мама нащупывает зуб наверху справа — да, действительно, он совсем расшатался.

— А мы его выдернем,— говорит она и тут же принимается шарить в коробке, где хранятся всевозможные катушки с нитками. Андрей пристально следит за ней.

Мама держит в руке белую нитку, из тех, которыми зашивает прорехи на белье мужа и сына. Андрей открывает рот, и она обматывает больной зуб ниткой. Оба вспотели и вытирают пот со лба. Андрей нащупывает кончиком языка маленькую ранку в том месте, где раньше был зуб. Теплая кровь сочится в рот. Он и напуган, но полон любопытства. Однако стоило удалить первый зуб, как тут же заныли все остальные. Все мы прошли через это, у каждого когда-то болели молочные зубы.

Настает одна из теплых летних ночей августа сорок первого. Мальчишка по имени Андрей просыпается в полночь: болят зубы, болят нестерпимо. Летняя ночь ясна, полна очарования, изредка доносится хриплый лай сонных собак. Он внимательно ощупывает каждый зуб, надеясь отыскать больной.

— Мама,— скулит он,— у меня зубы болят.

— Что с тобой? Отчего не спишь? — спрашивает мать.

— Зубы болят,— хнычет мальчик.

Фотография явно не удалась, это, конечно, работа любителя: то ли не додержал, то ли передержал ее при проявлении, а может, просто от времени пожелтела, во всяком случае по ней трудно судить, как выглядела тогда мама. Рядом с ней стоит инженер-химик, и вечеринка, на которой они снимались, происходит в его доме, у него две дочери — Гильдегард и Кримгильда (старинные очень имена, объяснял инженер, из древних немецких книг), а потом инженер в девятьсот сорок четвертом бежал в Германию при отступлении нацистов. Но в сорок пятом вернулся без обеих дочерей, обе умерли, говорил он, показывая нам фотографии девушек с толстыми, очень светлыми косами, я хочу забыть, что я немец, повторял он, глядя на собеседника поверх очков, потом он снова уехал, а когда вернулся десять лет спустя, был белый как лунь, и у него совсем испортилось зрение, теперь он носил очки с такими толстыми стеклами, что глаза казались вечно испуганными. Андрей видел его иной раз по вечерам, когда тот проходил мимо окон с никелированным бидоном, стараясь не пролить и капли молока, в бриджах, но без гольфов, и мальчик всегда удивлялся, до чего белыми могут быть у человека ноги. А на фотографии он стоял рядом с мамой и, видимо, говорил ей что-то очень смешное, потому что она весело улыбалась; слова те давно улетучились, исчезли, и, конечно же, мама не помнила, что он ей тогда говорил. Но теперь мама гораздо красивее, чем на этой фотографии, где так весело улыбается господину Кельнеру.

— У Андрея зубы болят,— сообщает мама отцу, который тоже проснулся.

— Поспать человеку не дадут,— бормочет отец и поворачивается на другой бок.

Мама сонно встает, зевает, прикрывая рот рукой, идет в кухню. И Андрей слушает, как она там возится, слушает так внимательно, что даже забывает на мгновение о зубной боли.

— Пусть втянет в нос немного цуйки,— говорит отец из-под одеяла, и кажется, что голос его доносится из бочки.

Отец снова храпит, но видит, наверное, дурные сны, потому что начинает вдруг громко говорить. Мама стоит в белой ночной рубашке, прижавшись к косяку, и плачет. Хотя нет, это будет позднее, когда отца заберут на войну.

— Не хочу я втягивать цуйку в нос! — кричит Андрей матери, которая продолжает что-то искать в кухне.

— И что ты, паршивец, раскричался? — возмущается отец, очнувшись от своих дурных снов.

— У Андрея зубы болят,— объясняет мать, она только что вернулась из кухни, неся стакан воды и какие-то пилюли.

— Пусть втягивает в нос цуйку,— повторяет отец.

...Вооружившись сапожными щипцами, сосед делает отчаянные попытки зажать ими зуб — Андрей суматошно дергает головой. Мама держит его за руки, отец — за ноги. Потеряв всякое терпение, отец спускает с него штанишки и дважды вытягивает ремнем — мальчик как по мановению волшебной палочки затихает, и сапожные щипцы ловко справляются со своей задачей.

Всю зиму Андрей больше не жаловался на зубную боль. Потом в деснах прорезались маленькие острые колышки, точь-в-точь как рожки игривых козлят, и Андрей то и дело оглаживал их кончиком

языка: так у него появились первые настоящие зубы. Но с прежними, молочными, он еще не совсем разделался. Прошло сколько-то времени, и он опять стал жаловаться на зубную боль. На этот раз решено было обратиться к врачу.

— Смотри не простынь,— говорила мама,— это тепло довольно обманчиво, ранние весны переменчивы, так что закрой рот и дыши носом и не елозь, пожалуйста, сиди смирно, и без тебя в подводе тряско; я еще никогда не видела столько подснежников, можно бы остановиться, нарвать букет, да только ни к чему это, так — сболтнула, все равно завянут, пока до дома доедем, другое дело, если бы у нас была банка с водой... Здесь, наверное, дождь посильнее лил, чем у нас, видишь, какие лужи, а солнце печет так оттого, что дождь был, ну-ка, не вспотел ли ты, не ровен час, простудишься, я так и знала, рубаха на тебе хоть выжми, придется заехать сперва к тетушке Киве — хорошо, я додумалась захватить запасную, нет, не теперь, после того, как удалят зуб, куплю сколько хочешь, помнишь у этого портного, господина Димера, мы были в прошлом году, когда шили отцу костюм, это тебе кажется, что больше не болит, вернемся домой, опять начнешь скулить, это маленькие щипцы, специальные, и не почувствуешь, как его удалят, откроешь рот и готово, нет, спасибо, есть мы ничего не будем, вот только если Андрею стакан горячего молока, от него не откажемся, знаю, теперь носят широкополые шляпы, но не думаю, что эта мода пошла бы мне, она для высоких женщин, вот ты — другое дело, какое там «слишком стара», я даже думаю, она тебя молодит, да разве обязательно ему говорить, сшей, и все, ему вовсе не обязательно знать обо всем, уж такие мы, привыкли докладывать им о любом пустяке, нет, нам нельзя задерживаться, нет, что ты, я и думать о еде не могу, от этой тряски все нутро перевернулось, ладно, возьму вот это печенье, чтоб ты не обиделась, нет, больше задерживаться не можем, позже будет много народу, кто знает, сколько придется ждать, о боже, неужто нельзя обойти эти лужи, обязательно надо прямо по ним шлепать, здесь хорошо, потому что тепло, да и народу не так много, как я думала, да, вся одежка ему мала, в последнее время он вырос, конечно, осенью пойдет в школу, читать сам научился, я его не заставляла, всему свое время, не так ли, господин доктор, теперь ему дома будет скучно, открой рот как можно шире, я думаю, доктор, что левый, да, он сильно качается, довольно, ты так дергаешься, что доктор не может понять, какой зуб у тебя болит, у него очень скверные зубы, как и у папаши, ничего, я могу подержать его голову, если нужно, видишь, как все просто получилось, правда, совсем не больно? Сохрани его на память до свадьбы, спрячь в кармашек, только погоди, я заверну его в бумагу, он же весь в крови, сперва заедем в магазин к Груберу, я слышала, он получил красивую немецкую материю, искусственный шелк, совсем как настоящий, ты видел платье тетушки Кивы, оно из этого импортного шелка, а отцу ничего не говори, пока платье не будет готово, знаешь ведь, какой он, опять ты шлепаешь по лужам, нельзя, что ли, смотреть, куда ступаешь, теперь болит только ранка, там ведь ранка, она должна затянуться, нет, я не забыла, зайдем попозже, успокойся, до часу дня не закроется, в крайнем случае заглянем к нему домой, я знаю, где он живет, он нас обслужит, ведь с отцом-то он знаком с давних пор.

— Мама, какая же ты красивая в этом платье из искусственного шелка с подложенными ватными плечами, в длинном платье ниже колен с тесьмой и оборочками, какая же ты красивая в этом платье нынче, в день пасхи, и в этой надвинутой на левую бровь шляпе с широкими полями, ты все же решилась сделать себе такую шляпу, и я прошу тебя, мама, посмотри на себя еще раз в зеркало, ведь самолеты пролетают очень высоко над нами, так высоко, что мы только слышим их, а ни разу еще не видели. Нет, мы даже не слы-

шали их, правда же, мама, мы смотрели в зеркало, а они высоко-высоко пролетали, ты в чудесном платье с большими синими и красными цветами, а я в холщовом костюме, который ужасно сдавливает горло.— Крашеные яйца и кулич там, на столе, в столовой, сегодня настоящий праздник, и мама бросает последний взгляд в зеркало, и ей кажется, что верхняя часть платья могла бы выглядеть лучше.

— Вчера на кладбище повесился человек,— говорит Андрей.

— Это дезертир,— объясняет мать.

— Никто не знает, откуда он взялся, как его зовут.

— Не нашли никаких документов в его одежде,— говорит мама.

— И ему опостылела война,— говорит Андрей.

— Вчера вечером его закопали,— говорит мать.

— Христос воскресе, мама,— говорит Андрей.

— Воистину воскресе,— говорит мать.

За кладбищем расположен ад, и Андрей добирается туда, проходя мимо деревянных подгнивших крестов, мимо могилы дезертира. Ад — это просторный зубоврачебный кабинет, все дьяволы в белых, не очень опрятных халатах, забрызганных кровью и слюной тех, кто оставил тут передние или коренные зубы. Все эти дьяволы, выступающие в обличье людей в белых неопрятных халатах, носят очки с толстыми стеклами, каждый держит в руках маленькие блестящие щипчики, но в отличие от инструментов настоящих врачей эти кажутся из золота или серебра, они ослепительно сверкают и оттого нагоняют еще больше страха. Черти заняты тем, что выдергивают зубы у каких-то молчаливых юнцов.

— Мы теперь действительно очень заняты,— говорит Андрею Вельзевул — единственный из всех чертей с длинным хвостом,— выдергиваем зубы у дезертиров. Они предали родину и короля,— добавляет он.

— А когда вы выдернете все зубы, что тогда будете делать? — любопытствует Андрей.

— А они тут же снова вырастают,— с улыбкой поясняет Вельзевул.— И мы начинаем сначала.

— Так растут молочные зубы,— уточняет Андрей.

— Именно,— соглашается Вельзевул.— Ты меня прекрасно понял,— улыбается он уголками губ.

— А как же они относятся к этому? Неужто позволяют, чтобы вы целый день рвали у них зубы?— спрашивает потрясенный мальчик.

— Так на то они и в аду — приходится терпеть,— отвечает главный демон.— Тут все беспрекословно покоряются нам. Таков наш основной закон,— говорит дьявол и поглаживает мальчика по лбу.

В ту ночь Андрея разбудила не зубная боль, а плач матери. Она стояла на пороге кухни в белой ночной рубашке с оборками, а дверь тревожно двигалась туда-сюда.

— Простудишься, мам,— предостерег ее Андрей.

Самолеты летали очень высоко той осенью, после того как отец ушел на войну. Жена директора фабрики родила еще одного ребенка. Старшие директорские сынки катались пока на дошкольных велосипедах и, чтоб быстрее вырасти, набивали брюхо шоколадом. Они мечтали о ратных подвигах, эти голубоглазые лоэнгрины в тесных шортах, обтягивавших крепкие ляжки.

А мама продолжала плакать, прижавшись к косяку в своей тонкой шелковой ночной рубашке. Когда, устав от слез, она решила лечь, Андрей, спавший с тех пор, как уехал отец, рядом с ней, прижался к матери. Руки и ноги у нее были ледяные, но мокрое от слез лицо — теплое. Ладони Андрея гладили материны мокрые щеки. Ему кажется, что уродства жизни не могут ее коснуться, и ему так хочется стать частицей ее светлого мира. И вдруг он с удивлением открывает, что отъезд отца на фронт мало чем тронул его.

Играл ли он в войну в то лето 1943 года? Кричал ли и он командиру, хромому одноглазому цыгану: «Здравия желаю, господин генерал»? Вкладывал ли тоже камешки в глиняные снаряды, которые они лепили под начальственным оком генерала? Рыл ли и он окопы по приказу того же командира с грязными черными ногтями? Пачкал ли руки и одежду, носясь по этим грязным окопам?

Возможно, это самая удачная мамина фотография. А бантики в ее волосах — из бумажных салфеток, это было на вечеринке задолго до того, как отца взяли на фронт, и мама в шутку смастерила себе эти бантики и вплела в волосы. Она в белом шелковом платье и, несомненно, лучше всех женщин, сидящих на ковре. Они расселись на ковре в одну шеренгу, согласно правилам веселой игры, называемой «корень-баба». Теперь, глядя на эту фотографию, как бы я хотел знать, что она говорила мужчине, к которому повернулась лицом, и мне немного грустно, что я конечно же никогда не услышу этих слов.

Отца мобилизовали осенью сорок третьего года. Вернулся он домой осенью сорок пятого.

К тому времени, когда отец вернулся, Андрей потерял почти все молочные зубы.

На этой фотографии мама стоит около колодца, на ней белый передник, она протягивает Андрею кружку с водой, одновременно улыбаясь в объектив. В то лето директорские сынки продолжали разъезжать на своих велосипедах мимо окна Андрея — в красных бархатных шортах, светловолосые, коротко подстриженные.

— Что с тобой? — спрашивает мама.— Что не спишь?

— Не могу заснуть. Боковые зубы болят,— отвечает Андрей.

Учительница обожала живые картинки. Первая была иллюстрацией к стихам: «Что ты плачешь, мой сыночек, вытри щечки, вытри носик!» Он лежал на кровати, притворяясь спящим, а его мать — роль ее исполняла старшеклассница — вытирала ему нос платочком. А на заднем плане взрывались хлопушки, и несколько учеников изображали солдат, целившихся в невидимого врага. Но у одного из солдат распоролись сзади брюки, и все пошло насмарку. Затем последовала «Тайная вечеря»,— возможно, самая удачная живая картинка, придуманная учительницей. Единственная промашка была в том, что Иисусу пришлось красоваться в форме «стражника родины»[1], потому что власти не позволили ему предстать в истинном облике — это выглядело бы святотатством, покушением на церковь и святые истины. Из-за того, что во время исполнения роли не то Петра, не то Павла — он уже не помнил точно, кого из них,— у него снова разболелись зубы, лицо его сделалось совсем несчастным, и все решили, что он и Мария Магдалина — самые удачные герои всей картинки. Учительница толковала тайную вечерю весьма своеобразно, она ввела в картинку знаменитую грешницу и для пущего эффекта посадила ее рядом со Спасителем, и тот постоянно обращал к ней взор, полный понимания и сочувствия. А усадила ее учительница рядом с Иисусом по той причине, что у нее был самый прелестный костюм: ночная мамина рубашка, украшенная большими звездами из глянцевой бумаги. Впрочем, это было единственное всамделишное одеяние, остальные были из гофрированной бумаги.

...А тот солдат прошел мимо окна, даже не заметив поначалу ковра. Это был рыжеватый веснушчатый фронтовик, большеротый, толстогубый, с крупным носом картошкой. Он прошел мимо окна, но, сделав несколько шагов в глубокой задумчивости, вдруг сообразил, что позади остается прекрасный, достойный всяческого внима-

[1] Член юношеской организации «Стража родины» в годы королевской диктатуры (1937—1940). *(Здесь и далее прим. перев.)*

ния ковер, и потому внезапно застыл посреди дороги, размышляя, очевидно, стоит ли в самом деле воротиться. Потом повернулся к ковру и некоторое время разглядывал его, широко раскрыв рот. «Смотри-ка, еще существуют ковры,— казалось, говорил его взгляд,— кто бы мог подумать!» Постоял некоторое время недвижно, удивленно уставясь на ковер, который сверкал всеми красками в лучах солнца, потом подошел медленными, ленивыми шагами, внимательно осмотрел его, даже пощупал, чтобы удостовериться, мягкий ли он, а возможно, и какой толщины. «Стало быть, еще существуют, существуют ковры!» — говорил его удивленный взгляд. Затем неторопливым, плавным, слегка усталым движением потянул к себе ковер и так же неторопливо и устало начал на ходу его свертывать. Но прежде чем удалиться, солдат успел окинуть все тем же равнодушным, усталым взглядом нашу комнату — чтобы лучше рассмотреть ее, он даже поднялся на цыпочки. На нем были огромные, должно быть сорок пятого или сорок шестого размера, сапоги, заляпанные грязью, из них выпирали толстые, похожие на пни икры. Его особенно привлекали настенные часы, наверное, у него дома были такие же, затем — тук-тук (оказалось, у него одна нога деревянная) — он отошел от окна. Лишь теперь в действие вступает мама: подойдя к окну и обнаружив пропажу ковра, она кричит что есть силы:

— Ковер! Воры утащили ковер!

Она стоит у окна и кричит, а в это время появляется отец, он тоже хромает, только у него отняли не левую, как у этого солдата, а правую ногу. Следует быстрый обмен репликами, до отца наконец доходит, что мама в отчаянье, что она вопит, потому что осталась без чудесного ковра в столовой. Оба выглядывают в окно и успевают заметить солдата, он уходит все дальше — тук-тук,— с трудом волоча сапожищи по горячей дорожной пыли. На крики мамы выскакивают соседи, все они тоже смотрят вслед солдату и показывают на него рукой.

— Вон он,— говорят они друг другу,— ясное дело, это он унес ковер.

— Свадебный подарок,— печально объясняет мама, вытирая слезы полой капота, а соседи сочувственно качают головой.

Отец сжимает в руках ружье — до сих пор не могу понять, где он его раздобыл, да еще так быстро,— длинное, почти двухметровое ружье времен первой мировой войны, и вот отец уже мчится, и соседи бегут, стараясь не отставать от него, все мчатся вдогонку за солдатом. Все, разумеется, размахивают руками, кричат, только у отца заняты руки — он держит ружье. Главный эпизод разыгрывается на станции: отец тянет к себе ковер, а солдат, скорее напуганный, чем разозленный, ни в какую не уступает добычу. В конце концов ему удается вырвать из рук отца ковер, но тот угрожающе наводит на него ружье. Начинается новая схватка — они отнимают друг у друга ружье. Отец не замечает, что солдат тянется к курку, и тогда в действие вступает жена начальника станции — до этого момента она, как из ложи, лихорадочно наблюдала сверху из своего окна за схваткой. Второй раз звучит в этот полуденный час женский вопль. Лишь теперь отец замечает усилия солдата и отчаянным рывком высвобождает ружье, а солдат, зацепившись за что-то деревянной ногой, оступается и падает, отец стреляет — к счастью, в воздух, поверх головы солдата. Изрядно напуганный, солдат поднимается и — тук-тук — пытается уйти подобру-поздорову, но теперь вступает в бой воинство соседей, которые до сих пор оставались простыми зрителями. Они пускаются вдогонку за солдатом, снова потасовка, на этот раз между похитителем и соседями, наконец, тот вырывается из рук и скачет во всю прыть вдоль железнодорожных путей. Соседи от него отстают, вспотевшие и довольные, собираются вокруг отца; наконец ковер возвращается к своему законному хозяину. Отец

с ковром под мышкой напоминает героя живых картинок, которые мы изображаем в школе.

— Спорю, отец, что ты не знаешь, как выглядит ад,— говорит Андрей.

— Я и впрямь не знаю,— соглашается отец.

— А я был в аду,— сообщает Андрей.

— Я тоже.

— Он похож на кабинет зубного врача.

Отец в соседней комнате, чистит зубы. Андрею становится скучно, и он решает заняться игрой. Это игра в пожарные, они ловко взбираются по лестнице, чтобы погасить пожар. Главное — явиться поскорее, добраться до финиша, потушив по пути как можно больше пожаров. Игра эта привораживает и одновременно пугает мальчика — нередко в его снах господа в неопрятных халатах уступают место пожарным, те остервенело гасят множество огней. Бывает, языки пламени, охватившие дома, словно когти, превращаются в воображении Андрея в настоящее пламя, и тогда, охваченный отвращением и страхом, он бросает играть.

И вот октябрь. На хризантемы под окном пала первая изморозь. Однажды ночью даже пошел снег, а утром цветы сгорбились под зимней ношей. Разглядывая картон с нарисованной игрой, Андрей догадывался, что среди пожарных скрываются те, кто поджег дома, и теперь с особым рвением тушит пожар, чтобы отвести от себя подозрения.

— С ангелами легче,— говорил Андрей,— они всегда в маминой ночной рубашке.

Однако ангелы не очень занимают воображение мальчика — в конце концов сама ночная рубашка рассказывает ему обо всем, что нужно знать о рае.

— Детей жалко,— говорит отец,— какая страшная смерть. Разве они должны отвечать за преступления старших?

— Фашистские свиньи,— говорит Ванду.

— Но дети, почему дети должны страдать? Они-то чем провинились?

— Они проезжали мимо меня на своих велосипедах, на этих недомерках,— говорит Ванду.— Фашистские выродки.

— Говорят, старший жил еще два-три часа в больнице и все время звал мать,— говорит отец.— Все они уже на том свете, якобы сказал ему полицейский,— зови не зови, никто тебя не услышит.

— Говорят, он разорвал на враче рубашку, все просил спасти его,— со слезами на глазах замечает мама.

— Не надо жалеть их, госпожа, несколькими фашистскими свиньями меньше,— говорит снова Ванду.

— Зачем же так говорить, господин Ванду.

— Они проезжали мимо меня на своих велосипедах, в шортах в обтяжку, и издали вопили: «Хайль Гитлер!»

— Я слышала, что младший хорошо играл на аккордеоне,— говорит мама.

— Понять не могу, отчего не убежали вместе с армией,— говорит отец.

— Фашистские свиньи, чему тут удивляться,— снова говорит Ванду.

— Отца нашли рядом с портретом Гитлера,— продолжает отец.— Прежде чем выпить яд, он обмочил портрет, видно, считал, что один Гитлер виноват в немецкой катастрофе.

— Детей бы надо было похоронить со священником,— говорит мама.— Они же не сами наложили на себя руки.

— А разве у них есть хоть капля понимания? — говорит Ванду.— Они — преступники.

— Им тоже, наверное, было нелегко,— говорит мама.

— Да у них души нет, госпожа,— говорит опять Ванду.— Разве это люди?

— А наша королева некрасивая и старше короля,— замечает Андрей.

— Королева — не супруга его величества, а мать. Она — королева-мать,— объясняет мальчику мама.

— Зачем же она ходит нагишом? — спрашивает Андрей.

— Я никому зла не причинил,— говорит Ванду.

— А чего же зеленую рубашку [1] напялил? — говорит отец и с трудом поднимается со стула. Всегда при перемене погоды у него ноет нога.

— Ничего, заставлю жену хорошо прокипятить ее,— говорит Ванду.

— Ну-ну, смотри только под дождь не попади, а то опять позеленеет,— говорит отец.

— Ты забыл дома свой хлеб с мармеладом,— говорит мама,— уж лучше пошел бы в кухню и вымыл руки: ты весь в чернилах по самые уши, ну и перо поменяй, не видишь разве, как жирно пишет, лучше вырви страницу и напиши все заново, нельзя же ходить в школу с такими тетрадями, опять ты вытер руки ножным полотенцем, сколько раз я твердила тебе, что ручное полотенце висит слева, а уж чтобы шею вымыть, так этого от тебя не дождешься, как это откуда знаю, я же вижу...

— Мама, что же ты плачешь? — спрашивает Андрей.

— Они лежали как живые,— говорит мама.— Старший... А ты не пугайся,— говорит мама,— это я лицо намазала желтком, вот отчего я такая, жду, пока засохнет, только тогда можно смыть его, кожу смягчает, я прочла об этом на прошлой неделе в «Марианне», просила отца выписать этот журнал, там иногда интересные статьи, смотри как приятно пахнет этот крем, он у меня хранится еще с довоенных лет, я его случайно сегодня обнаружила.

— Ты очень красивая, мама,— говорит Андрей.

— Помню, какие у него красивые кудри были, я смотрела на него, и мне казалось, что он спит, не верилось, что мертв,— говорит мама.

— Ты самая красивая мама на свете,— говорит Андрей.

— И вовсе это не так,— говорит мама.— Красивая женщина должна быть прежде всего гораздо выше меня. Маленькая никогда не привлекает к себе внимания. Когда высокая женщина входит, например, в зрительный зал, ее сразу замечают. Коротышку никто и не приметит.

— Я бы тоже пошел на похороны,— говорит Андрей.

— А что сталось с теми велосипедами?— спрашивает отец.

— Сегодня очень ярко светит месяц,— замечает мать.

— Он и вчера так светил,— замечает двоюродный брат Андрея.

— И до чего приятно пахнет душистый табак,— говорит мама.

— И розы, мама, ты забыла розы,— говорит Андрей.

— Опять у тебя порвались носки, видно, туфли прохудились, вечером напомнишь, скажу отцу, чтоб отнес их в починку.

А куда он их понесет, когда мы остались без сапожника...

Ловким, изящным движением конь поднял ногу, и подкова ослепительно сверкнула в лучах солнца, а другой конь между тем пустил горячую струю в дорожную пыль. Немые — два высоченных парня в смушковых шапках — держали в руках тоненькие ивовые ветки и мучили коней, щекотали им ноздри, а кони мотали головой — так вот, оказывается, как чихают кони, подумал Андрей, а немые,

[1] Зеленые рубашки носили члены фашистской организации «Железная гвардия».

смеясь во весь рот, дразнили животных, потом, когда Ванду позвал их, побежали и исчезли за воротами директорской виллы, брошенной, ничейной, с закрытыми ставнями. Они кинулись со всех ног, шумно захлопнув за собой створки высоких ворот, и вскоре Андрей увидел, как они выходят, таща швейную машинку. Она была тяжеленная, оба взмокли, из-под шапок по грязным щекам стекал ручейками пот. Ванду склонился над машинкой, широкий круглый зад напоминал луну. «Куда, к черту, смотришь?» — рявкнул он на одного из парней, который, оступившись, чуть было не уронил ему на ноги тяжелую ношу. «Скотина!» — ворчит Ванду, и при звуке его голоса кони опять начинают переступать ногами, и правый снова показывает свою подкову, потом Андрею показалось, что кони смотрят на него умным, мягким взглядом. Поравнявшись с телегой, люди напрягли все силы, чтобы поднять машинку в кузов, и Андрей из своего укрытия услыхал, как они часто дышат, старик—натужно, молодые—быстро, с присвистом, а где же велосипеды, подумалось ему. Ванду и его сынки между тем опять скрылись за воротами и когда они вернулись, Андрей узрел велосипеды, но ведь эти парни никогда не научатся кататься, сказал он себе, жаль, хорошие машины, да еще обе сразу, добавил он, видя, с каким равнодушием немые бросают их в кузов, но тут откуда ни возьмись появилась старая немка, Андрей сразу узнал ее, и даже ему захотелось крикнуть, не давайте им, мол, этим немым, велосипедов, жаль велосипеды; по ту сторону забора росли кусты малины, но его слишком волновало все, что происходило, чтобы думать о малине: он увидел, как Ванду ударом опрокинул старуху в пыль дороги, видел, как немые скалились большими кривыми ртами. «Это же бандиты,— говорил Ванду,— они катили на своих велосипедах и издали приветствовали меня. И кричали изо всех сил: «Хайль, Гитлер!», эти фашистские выродки, это же нелюди, госпожа, это преступники!» А немые били старуху прутьями по лицу, и она защищалась обеими руками, руки у нее были высохшие, точно крючья, а кони понесли с места, и велосипеды опрокинулись на швейную машинку, телега виляла то влево, то вправо, и кони понесли прямо на убранное, выжженное и обесцвеченное солнцем поле, и в этой тряске один велосипед вывалился из кузова на кучу кукурузных початков. И Ванду побежал за телегой, а за ним — немые, и Андрей увидел из своего укрытия, что Ванду напрасно старается догнать телегу, потому что кони по-настоящему перепугались, телега смешно подпрыгивала на стерне, в конце которой была речка, и кони все быстрей приближались к ней и, приблизившись, въехали в нее и остановились, но теперь они были слишком далеко, чтобы Андрей мог разглядеть, что там происходило, хотя он и покинул свое укрытие, он видел лишь велосипед посредине пустынного, желтого поля, одно колесо с красными спицами еще крутилось, и он вспомнил, как проезжали мимо окна Туци и Луци в своих шортах, а теперь они лежали на кладбище, их могила находилась слева от могилы дезертира, имя которого никто не знал, потому что у него не нашли никаких бумаг, и Андрей увидел, как старуха закрывает ставни дома, в котором теперь никто уже не жил, в одном из окон мелькнуло ее лицо, сморщенное, испуганное, седые, гладко зачесанные волосы с ровным прямым пробором, плотно сжатые губы, потом оно исчезло за ставнями, колесо крутилось все медленнее, потом и вовсе остановилось, а со стороны реки между тем доносились ругательства Ванду, вытаскивавшего телегу из воды, и мычание немых, а вечером Андрей сказал матери:

— Мама, у меня в ухе стреляет, наверно в школе был сквозняк.

— Теперь уже и уши,— сказала мама.— Еще только-только зубы перестали болеть.

...Он вошел в большой двор Ванду, ворота были отперты, огромная цепная собака спала, растянувшись на солнцепеке, немые были

в доме, слушали радио, Андрей, проходя мимо окна, увидел их: они сидели рядом на высокой кровати, почти касаясь лысыми макушками потолка, большая, засиженная мухами лампочка горела — то ли нарочно, то ли выключить забыли,— а по радио передавали обращение короля, они оба слушали, раскрыв рот, ничего, конечно, не понимая. На дворе спала, почесываясь во сне, собака, она была привязана к цепи, свободно скользившей по проволоке, протянутой через двор. Посреди двора он остановился и увидел открытую дверь хлева, а в нем велосипеды, они стояли рядышком, рули сверкали в тени, а около них, вернее чуть подальше,— коней, их лоснившуюся в полутьме шкуру, а еще дальше — корову Ванду, со сломанным рогом, ту самую, которую он купил у Пэркэ. Андрей подошел к двери хлева, собака все почесывалась, спасаясь от блох, он рассмотрел поначалу окровавленный обрубок коровьего рога, позабыв даже о велосипедах, об их сверкающих рулях, потом погладил их, на этот раз уже не мысленно, а наяву. Неосторожное движение — и велосипед внезапно упал, хотя шум был незначительный, мальчик застыл на месте, опасаясь, что собака проснется; кони тоже звякнули цепью, и лишь теперь, стоя в полумраке, Андрей почувствовал острый запах мочи, спекшейся крови на обрубке коровьего рога, навоза и сухого сена, услышал кудахтанье кур в саду, почувствовал жар, исходивший от крыши. Он вышел на улицу и прошел опять мимо окна: немые, сидевшие на высокой кровати и почти достигавшие лысыми макушками потолка, слушали радио под зажженной лампочкой, на этот раз не то «Голубой Дунай», не то другой известный вальс. И внезапно он ощутил, что острая боль в нем была вызвана не украденными велосипедами, которые бессмысленно валялись в хлеву, ибо эти идиоты никогда не научатся ездить на них, не велосипеды были причиной его боли, а те пареньки, что каждый день катались на ходких велосипедах, скользя мимо его окна, и исчезали вдали, пареньки, которых он больше никогда не увидит, никогда не встретит, и к чему теперь эти велосипеды, брошенные в хлеву и никому не нужные. Одного он понять не мог: как это возможно, чтобы люди внезапно исчезали и больше не появлялись на этой земле. И он с ненавистью подумал о велосипедах, о спокойном равнодушии никелированного металла...

ДОРИНА РЭДУЛЕСКУ

Возвращение

По радио только что передали сообщение об освобождении Минска. Мощно звучит салют из 120 орудий в честь войск, вернувших городу свободу. Таких побед сейчас немало, но каждая из них вызывает ощущение огромной радости.

Во время занятий в зал вошла Галина и вызвала Дудуцу.

— Тебя разыскивает какой-то военный...

Они торопливо зашагали по длинным институтским коридорам.

— Кто же это может быть? Уж не Василе ли? А вдруг это Горе?

Нет, это советский солдат. Он вручает ей какую-то отпечатанную на машинке бумагу, на которой значится ее имя. От волнения Дудуца никак не может разобрать, о чем речь. Галина берет у нее бумагу и читает. Это повестка. В трехдневный срок ей предписывается явиться в Санитарное управление. Солдат отдает честь и удаляется.

Дудуца немедленно отправляется по указанному адресу.

— Вы учились в фельдшерской школе?

— Да.

— А родом откуда?

— Из Бухареста.

— Ах, вот оно что! Значит, речь о румынской дивизии. Отправляйтесь в Москву.

Ей выписывают командировочное удостоверение, сухой паек на пять дней и поручают захватить с собой запечатанный конверт из института.

Перечитывая направление, она думает о том, что навсегда покидает этот город, в котором она изведала и боль разлуки, но и много радости. Румынская дивизия! Сердце гулко стучит. А вдруг там и ее Горе?

Улицы поднимаются, казалось бы, к самому небу. Город напоминает остров в бесконечных голубых просторах моря. На душе и радостно и грустно. Она успела полюбить своих институтских товарищей — они относились к ней так тепло. Какую нежность вызывали в душе мысли об Ефтимии, Петре, Галине.

После обеда никто не ушел из общежития. Друзья окружают ее, помогают собрать вещи, нежно целуют.

— Помни, это от меня!

— Не забывай нас!

— Я тоже хочу дать тебе кое-что на память...

На кровати лежат скромные дары — карандаши, записные книжки, пудреница...

Надо еще забежать в деканат, получить конверт. Галина сидит в кабинете. Вынимает из конверта бумагу, которую она сама напечатала, и читает приглушенным от волнения голосом: «Товарищ Дудуца И. отлично училась, она замечательный товарищ, отмечена руководством за участие в общественной работе. В чем дана настоящая характеристика». В конце две подписи, а под ними — печать.

— Документ огласке не подлежит,— говорит Галина,— поэтому я должна запечатать конверт.— И зажигает свечу, чтобы растопить сургуч.

Дудуца держит в руке конверт, запечатанный конверт, чье тайное содержание ей уже известно. И целует секретаршу в обе щеки, которые, кажется ей, пахнут свежим, хорошо перебродившим тестом...

Забыты тяготы долгого пути, кажется, все прошлое забыто. Перед ней новая страница жизни: она приехала, она в Москве. Дождь серой пеленой окутал город. Народ толпится на перронах. Никто не отваживается выйти на пустынные, исхлестанные дождевыми струями улицы.

Дудуца оглядывает мрачное, покрытое грозовыми тучами небо. До вечера она должна найти нужный адрес, иначе ночевать придется на улице. Натянув на плечи лямки вещмешка, она пускается в путь. Дождевая вода стекает с волос за шиворот, шквал налетает то слева, то справа, она промокла до нитки, но шагает дальше, не обращая внимания на разбушевавшуюся стихию. Некоторое время она еще обходит лужи, потом снимает промокшие туфли и шлепает прямо по лужам. Остановившись под навесом, она спрашивает стоящего там человека, как найти нужный адрес, и уже собирается было в путь, когда тот, поглядев на ее босые ноги, снова объясняет ей дорогу и спрашивает с сомнением:

— А деньги на метро есть?

— Есть.

— Тогда поезжайте на метро. Сойти надо на остановке «Охотный ряд». Вон она там впереди. А оттуда — рукой подать.

Дудуца спускается по эскалатору, ребристые ступеньки щекочут пятки, она поражена всем тем, что видит. Движущаяся лестница опускает ее все ниже. Словно маленькая девчонка, она радуется этой

игрушке, доступной людям, и внезапно оказывается в глубине стеклянной горы, в заколдованном хрустальном дворце, о котором знала по сказкам: волшебные поезда увозят целые толпы людей в темные глубины земли. Большими глазами провожает она поезд, другой. Огромные хрустальные люстры освещают толстые мраморные колонны дворца, за которыми скрываются бог весть еще какие тайны. Она быстро входит в вагон, боязливо косясь на автоматические двери.

Выскакивает она из вагона столь же торопливо и оказывается в другом бесконечно длинном дворце, только этот из другой сказки, и смысл у него совсем другой. Эскалатор уносит ее наверх. Она стоит на ступеньке, поглаживая рукой резиновые перила, следит за движением эскалатора и не замечает, как оказывается наверху, в здании станции. Опять бушуют шквалы дождя. Люди, столпившись у дверей, ждут, когда утихнет летняя гроза.

Но Дудуца ждать не может. Она выходит на омываемую потоками, покрытую дождевыми пузырями Красную площадь, золотые купола храмов высвечивают хмурое небо. Перед нею Кремль с его башнями и стенами из красного кирпича, дивное творение прославленных зодчих. Она пересекает огромную пустынную площадь, словно заблудившийся путник. Потом переходит через длинный мост, омываемый дождевыми волнами. За ним — нужный ей дом, высокое и длинное здание. У входа во двор — массивные ворота. Дождь затихает. Она чувствует, что ее пронизывает холод. Толкает тяжелую створку ворот, входит в дом. Сидящий у окошка военный внимательно оглядывает ее. Она вспоминает, что босая, и торопливо надевает туфли. Роется в сумке, ища направление, не находит его, лихорадочно ворошит бумаги.

— Да вот же оно!

Дежурный пробегает глазами бумагу.

— Это не здесь! Дом номер девятнадцать на углу. Там румынская дивизия.

Перед зданием навстречу попадается группа солдат. Услышав румынскую речь, Дудуца останавливается, не в силах сдвинуться с места. Сердце замирает от волнения. Они тоже поглядывают на нее с любопытством, потом, в ответ на ее просьбу, провожают до штаба санитарной части дивизии.

— Это на втором этаже,— говорит один из солдат, ласково поглядывая на девушку.— Пойдем, я покажу, где он. Ну вот мы и прибыли. Сюда. Привет!

Она постояла немного перед дверью, потом, прежде чем постучать, выжала волосы, словно мокрую тряпку.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте,— отвечает офицер, не отрывая взгляда от бумаг.

Дудуца молчит.

— Садитесь,— предлагает офицер и поднимает голову.

Разглядев гостью, он весело смеется:

— Только с русалками не приходилось еще иметь дело...

С ее слипшихся волос стекают по щекам струйки воды, платье промокло до нитки. Дудуца протягивает помятый листок бумаги и запечатанный конверт. Он по-прежнему не отрывает от нее взгляда, потом, спохватившись, читает направление, распечатывает конверт, пробегает характеристику. Взглянув на Дудуцу, спрашивает с сомнением, кивая на конверт:

— Это вы и есть?

— Я.

— Тогда отправляйтесь в спальный корпус три. Умойтесь, переоденьтесь, потом спуститесь, поговорим.

Надо преодолеть еще два этажа, а она так измучена, что двигается с трудом. В комнате три кровати, на одной спит седая женщина, на другой лежит женская военная форма, третья свободна. Это, на-

верное, ее место. Она опускает вещмешок на пол, хочет сесть, но вовремя спохватывается. Вещи в мешке промокли, только на самом дне она обнаруживает сухую юбку и рубашку. Переодевшись, она чувствует, что силы к ней возвращаются.

— Вот это другое дело,— весело встречает ее офицер.— Теперь вы выглядите нормально. А то я было засомневался. Такая великолепная характеристика, а вид у вас, прямо скажем, несоответствующий. Поневоле засомневаешься, чья же это характеристика.

Он рассказывает ей о формировании добровольной дивизии имени Тудора Владимиреску, спрашивает, согласна ли она работать медсестрой, а Дудуца при этом вспоминает разговор с Галиной Аркадиевной, которая вот так же однажды интересовалась, не хочет ли она поскорее вернуться на родину.

— Вы, стало быть, так и не окончили фельдшерскую школу?

— Нет. Курс-то я прошла, а вот экзамены сдать не успела, война началась. Но я работала добровольно в госпитале, в Алма-Ате.

— Хорошо. Поешьте, отдохните, а когда вернется товарищ полковник, мы вас вызовем.

Так хочется поскорее осмотреть город, но она слишком устала. В столовой столпотворение, с трудом удается найти местечко за столом, но всюду слышна румынская речь, и она счастлива.

Спала она восемнадцать часов подряд, и, наверное, спала бы и больше, если бы не разбудил ее грохот близких разрывов, словно бомбили соседние дома. Вскочив на ноги, она кинулась к двери, бегом спустилась по ступеням. Но на улице было спокойно. Люди шли по своим делам, словно бомбежки и вовсе не было. Кругом тихо. «Но ведь мне не снилось, я уверена, где-то бомбили и довольно долго,— говорит она себе. Сердце бешено стучит.— Какие же они сильные, эти люди».

Дудуца возвращается в здание. Часовой удивленно смотрит на нее.

— Это вы перепугались и оттого так бежали? Так это же не бомбежка, это салют — фашистам опять досталось.

На втором этаже ее остановил солдат, тот, что провожал ее накануне, и сообщил, что ее вызывает полковник. С завтрашнего дня оба они направляются в городскую больницу. Надо хотя бы несколько дней попрактиковаться перед отправкой на фронт.

...Несколько дней спустя санитарный поезд отправился на фронт. Вместо станционных зданий — всюду горы щебня, в селах — дома без крыш с обгорелыми стенами. Только изредка, словно чудо, виден уцелевший дом, свидетельство того, что здесь когда-то жили люди. Дворы без заборов заросли высоченными сорняками. В других селах видны люди, они роются в кучах щебня, ищут уцелевшие вещи, собираются с силами, готовясь к мирной жизни.

Однажды ночью поезд надолго застрял на какой-то станции. Мимо к фронту катили лишь эшелоны с солдатами и боеприпасами. Потом в полном мраке их вагон отцепили, медикаменты, оборудование и врачебный персонал погрузили в машины, стоявшие тут же на обочине шоссе. Связной отправляется в ближайший городок, где штаб санитарной части. Получив нужные инструкции, отряд следует дальше.

Место назначения — город Ботошань, в непосредственной близости от передовой. Дорога разбита, машины подскакивают на ухабах, словно резиновые мячики. В поле тут и там видны заброшенные траншеи. В иных местах земля словно перевернута вверх дном. Вражеский бомбардировщик преследует колонну машин. Замаскированные ветками, автофургоны напоминают в своем стремительном продвижении летящий лес. Достигнув настоящей рощи, машины останавли-

ваются. Летчик, растерявшись, сбросил несколько бомб на лес и полетел дальше.

— Этот немец совсем спятил,— говорит доктор Кымпяну,— полетел один невесть куда и швыряет бомбы наобум. Немцы, видать, окончательно потеряли голову.

Он еще совсем молоденький, этот доктор, с которым должна работать Дудуца. Низенький, щуплый, светлые, коротко остриженные волосы торчат ежиком.

Самолет давно улетел, а привал в лесу все еще продолжается. Солнечные зайчики играют на листве в чехарду.

— М-да, спета их песенка,— добавляет Гицэ.

Только в пути успела Дудуца познакомиться со своими товарищами. Гицэ Думитру — рабочий-железнодорожник. Во время одной из атак на берегах Дона он перешел на советскую сторону. В лагере для военнопленных был самым молодым. Глаза живые, подвижные, под черной жесткой бородкой проглядывает нежная юношеская кожа. Он среди первых в лагере стал объяснять пленным, что ненавидеть Антонеску и проклинать немцев — это еще полдела. Главное, бороться с ними с оружием в руках. Среди первых он подал заявление о зачислении в дивизию имени Тудора Владимиреску, оказывал помощь работникам санитарного управления. Сил у него было хоть отбавляй, но он совершенно не выносил крови. Постепенно, однако, привык и, помогая врачам, даже полюбил новую профессию.

— Будешь фельдшером,— объявил ему майор Бэлан.

И вот они лежат рядом на подстилке из прошлогодней травы, мирно беседуют, и младший лейтенант фельдшер Гицэ Думитру дружески хлопает по плечу начальника, словно товарища по заводу. Он очень горд своими погонами, которые получил в дивизии перед отправкой на фронт за заслуги в политико-агитационной работе среди пленных.

— Ну что скажешь, Гицэ? — говорит майор Бэлан.— Ведь мы опять дома. Это наша земля, Гицэ... И лес этот тоже! Мы у себя на родине! Да ты понимаешь, что это такое?

Гицэ отлично понимает, что это значит. Он мечтательно всматривается в высокое августовское небо через зеленый полог леса. Взгляд его слегка прищуренных глаз, кажется, ласкает все, что он видит вокруг. А в улыбке Дудуцы — радость и нетерпение.

К вечеру колонна машин опять отправляется в путь. Они проезжают деревни, или напрочь разрушенные войной, или уцелевшие, где, казалось, жизнь шла без особых потрясений. Только люди выглядят какими-то усталыми, измученными. Порой отряд останавливается у колодцев — крестьянки робко показываются у ворот, подходят, на лицах дружеская улыбка или невысказанная тревога. Какой-то старик, закаленный доставшимися на его долю испытаниями, смело заговаривает:

— Стало быть, наши, румыны! Из тех зубастых, что запомнились немцам еще в 1917 году в Мэрэшешть[1]. Молодцы! Доброго вам пути, сынки!

И снова уходящая вдаль шоссейная дорога. В полях — одинокие стога стоят будто на страже. Звено «юнкерсов» пролетает над ними на большой скорости. Заметили они их или нет? Вот уже возвращаются. Машины замедляют ход. Солдаты выскакивают из кузовов и разбегаются по кукурузному полю. А машины мчатся дальше, чтобы сбить с толку летчиков. Дудуца уже не боится бомбежек.

— Все дело в привычке...

Звено «юнкерсов» словно заколебалось. Или летчики заметили что-то? Они бросают бомбы куда попало, не решаясь опуститься ни-

[1] В 1917 г. на поле Мэрэшешть румынские части под командованием генерала Еремии Григореску, взаимодействуя с русскими войсками, остановили наступление немецких дивизий.

же и стрелять из пулеметов. Одна из машин горит, шофер так и не успел из нее выпрыгнуть. Эскадрилья советских самолетов проносится над головой, преследуя «юнкерсы».

И снова машины подскакивают на ухабах. Тело устало ноет. А фронт уходит все дальше. Они у себя на родине. Не видно уже бесконечных полей пшеницы, неоглядных просторов, засеянных подсолнухом. Земля напоминает лоскутное одеяло, на каждом клочке растет что-то другое. Вдали видны карпатские угорья, темно-зеленые, покрытые обильной растительностью. Люди оживленно обмениваются мнениями. Шофер Бадя часто заговаривает о своей жене и детях. У него четверо сыновей. Здорово небось подросли за эти годы. Узнают ли они его, когда он домой воротится? Когда его мобилизовали, он был «глупым солдатом». «И вправду я был тогда глуп,— повторяет он.— А вот теперь поумнел. Многое понял. Теперь я умный солдат...»

Следующая остановка — в покинутой деревне между городами Дорохой и Ботошань. Здесь под ударами советских войск отступали немцы. Бои тут гремели тяжелые, пули и осколки прошивали дома, увечили людей. Женщины до сих пор не могут прийти в себя. Заслышав гудки автомашин, собирают вокруг себя детей и прижимают к груди. На лицах — один только страх. Деревенские богачи давно покинули село. Теперь здесь остались одни бедняки, их не оторвешь от клочка земли. Печной дым просачивается сквозь пробитые стены. В горшках варится лебеда.

Бадя хмурится, ему не до веселья. Что же делается в его родном селе?

Издали доносятся пулеметные очереди, грохот артиллерийской канонады, разрывы бомб. Начинается новое сражение. Город Ботошань почти не пострадал. Разрушено только одно крыло госпиталя. Развалины еще дымятся. И вот все уже заняты своей работой, изнурительной, тяжкой, но так лучше, некогда думать...

Шум боя отдаляется. Фронт движется дальше, перекатывается через линии немецкой обороны. Эвакогоспиталь опять трогается в путь, переправляется через реку, проезжает поле вчерашнего сражения. На широкой равнине — сотни убитых.

Остановка в деревне, у наскоро оборудованного госпиталя, расположенного в здании школы. Врачи и сестры трудятся не покладая рук, а раненых, дожидающихся своей очереди, еще немало. На импровизированных операционных столах начинается работа: ампутируются руки и ноги, которым грозит гангрена, из тел раненых извлекаются осколки и пули.

— Счастье еще, что у нас есть сульфамиды,— говорит доктор Кымпяну, вытирая пот со лба и поглаживая мокрым платком ежик на голове.— Иначе при нашей сомнительной стерильности немногие бы выжили.

Дудуца не знает покоя. Она работает быстро, хладнокровно. До операции раненые почти не отдают себе отчета, что с ними происходит. После операции они совсем обессилены. Но этот период относительного отдыха проходит. Осознав свое увечье, инвалиды ожидают слова поддержки, утешения. Она говорит с ними, шутит, всячески подбадривает, хотя в душе у нее тяжкая и глубокая печаль. Особенно тяжко из-за тех, кто молчит, не жалуется, как вот этот сорокапятилетний инвалид без рук, без ног, которого только что привезли на перевязку.

Спит она урывками, когда совсем одолеет усталость. Ее белый халат для больных подобен миражу. Никто из раненых не может понять, до чего она устала. Всем чего-то от нее надо. «Сестра!» — только и слышится в палате, и для каждого у нее ласковая улыбка. Но порой, чтобы перейти от одной койки к другой, нужно нечеловеческое усилие...

Только сняв халат, она на несколько минут становится самой собой. Тело сковывает смертельная усталость, лицо становится угрюмым, измученным. Но во сне черты лица разглаживаются, усталость постепенно улетучивается, она набирает новые силы, чтобы завтра опять приступить к тяжкому труду. Все на исходе сил, но никто не успевает и подумать о себе. Все силы отдают делу, вырывая из когтей смерти молодых людей, которым теперь особенно хочется жить— ведь конец войны уже близок.

Опять слышны гудки автомашин. Санитарная колонна собирается в путь. В кузовах спят врачи и сестры, измученные девятнадцатидневным трудом. Никому уже не мешает тряска. Бадя, сидя за рулем, оглядывает поле, за которым следует роща, пересекаемая дорогой. По обеим сторонам шоссе выстроились толстые деревья с густою вязью ветвей. Машина едет по этому зеленому тоннелю, и ветви то и дело бьют по крыше кабины. Вдруг Бадя замечает фигуру человека в темно-зеленой форме — он перебегает от ствола к стволу. Бадя то видит его, то теряет из виду. Что же делать? Прибавить скорость? А если враг приготовил сюрприз на дороге? Сам не зная почему, он внезапно нажимает на тормоза. Застигнутый врасплох немец оглядывается, точно преследуемый зверь, потом стреляет и пускается наутек. Гицэ соскакивает с кузова и бросается вдогонку. Вскоре раздается звук выстрела, повторяемый эхом.

Когда Гицэ вернулся к машине, Бадя лежал уже на земле, которую так сильно любил...

У машинистки фронтовой газеты перелом руки, она работать не может. Дудуца умеет печатать на машинке и предлагает свои услуги. Она выводит на бумаге слово «Перемирие». Вначале она стучит довольно бойко, затем помедленнее и в конце концов сама не замечает, как засыпает. Офицер трогает ее за плечо и продолжает диктовать. Она снова стучит, сперва бойко, потом — медленнее и вскоре опять засыпает. Наконец текст отпечатан, она чувствует, что ее только и хватает на то, чтобы свернуться калачиком тут же, не сходя с места. И засыпает так крепко, что и не слышит грохота сапог проходящих мимо солдат.

Бухарест, освобожденный патриотическими отрядами, встречает Красную Армию цветами, радостными возгласами. Через несколько дней Дудуца получает разрешение поехать на попутной машине с курьером в столицу. Вечером она должна вернуться в часть. И вот она в городе, который так любит. Машина останавливается на перекрестке. Надо сойти — отсюда до ее улицы со старыми каштанами недалеко. Вот они, знакомые места, пышнокронные каштаны стоят недвижно на своем месте. Улица пустынна. Дудуца медленно идет к дому, словно возвращается с работы, словно ничего не случилось и не было этой войны, словно Горе ждет ее наверху в их мансарде...

На улице Кобэлческу трамваи по-прежнему спускаются, скрежеща тормозами.

— Барышня Дудуца!

Она оглядывается. Перед ней солдат — без кепи, в румынской куртке и немецких брюках. Смотрит на нее неуверенно, робко, словно размышляет: «Она это или не она?» Дудуца не сразу отыскивает это лицо в памяти. Вроде бы похож на ее друга Дима, но это не он. Тот носил очки, был ниже и плотнее. Да нет, это же младший брат Дима.

— Как дела, Мирча? До чего же ты вырос! Ты тоже воюешь? Откуда эти немецкие брюки? — спрашивает Дудуца, протягивая ему руку.

Мирча смеется:

— Еще неделю тому назад я был наполовину немец, наполовину румын. А ты?

— Я вернулась в составе румынской дивизии. Работаю медсестрой.

— Значит, ты была в Союзе? Надо же... А я ничего и не знал...

Они молча прошли несколько шагов.

— А знаешь, я — в бронеотряде патриотических сил. Участвовал в боях за освобождение столицы.

— А как понять «наполовину немец, наполовину румын»?

— Очень просто. Меня направили в Тырговиште, в центр мотомеханизированной подготовки, где немцы учили нас водить танки. Там я научился говорить по-немецки и бить их на их же собственных танках. Все произошло в ту ночь, как в кино. Я думаю, немцы до сих пор не могут очухаться...

Оказывается, все было продумано коммунистами до последней подробности. В назначенный час они влезли в танки и направились к Бухаресту. Это происходило после полуночи в первые часы 24 августа. Около фермы Гимбэу они остановились и заняли боевые позиции; нужно было помешать немецким частям, рвавшимся к столице. И вскоре послышался шум моторизованной колонны немцев, которые шли с потушенными фарами. Заподозрив неладное, они остановились и дали несколько пулеметных очередей. Мирча в те дни носил еще немецкую форму.

— Я вышел к ним навстречу. «Хальт! Комен зи але хир!»— крикнул я. «Вас ист лос?»[1]— спрашивали немцы. Я объяснил, что мы все окружены румынскими частями, которые повернули оружие против «нас». Тут зажглись фары наших танков, и голос командира произнес: «Бросайте оружие и сдавайтесь!» Немцы еще колебались, но я первый бросил пистолет, поднял руки и... сдался в плен. Поразмыслив, они последовали моему примеру. Нас было несколько человек, а мы разоружили сто сорок солдат и офицеров. Не потратили ни единого патрона, а захватили три грузовика, шесть зениток, четыре противотанковых орудия и целую гору боеприпасов, которые они везли своим частям в Отопень. И когда мы атаковали эти части в Отопень, немцы до того перепугались, что стали стрелять прямой наводкой из зениток 88-го калибра. Что скажете? Здорово, правда?

— А что же вы предприняли?

— А мы ответили им захваченными у них же пушками, пока они не замолчали. Потом в атаку пошли танки — и многие тут же сдались. Другие отошли в укрытия и выслали парламентеров: мол, уйдут без боя, если им позволят отступить. Мы предъявили им ультиматум: пусть бросают оружие и сдаются. Многие из них, пользуясь темнотой, незаметно двинулись на Плоешть, но их подстерег другой наш отряд — они ведь были безоружны. Отлично сработано. Правда, и многие наши сложили головы. Война есть война...

«Совсем еще ребенок,— подумала Дудуца.— И хочется ему выглядеть эдаким героем и всем рассказать, как сражался у Отопень во имя освобождения столицы».

— Теперь я в чине младшего лейтенанта отправляюсь в Трансильванию,— продолжал Мирча.— До самого Берлина не дадим им опомниться. Пусть и они почувствуют у себя дома, что такое война. А если меня ранят, я бы хотел попасть в ваши руки, у вас доброе сердце...

Они весело улыбнулись и тут же распрощались. Дудуца проводила долгим взглядом юного воина, уходившего по направлению к Подул Котроченилор. Потом она перешла на противоположную сторону улицы и оказалась перед своим домом.

[1] Стой! Все сюда! Что случилось? *(нем.)*

РАДУ КОСАШУ

Нежность как отрицание смерти

В 1948 году в печати появился первый мой очерк — о выставке стенгазет города Рымнику Сэрат, и бабушка, поехавшая впервые после войны на курорт в Совату, тут же прислала мне открытку с поздравлениями. Она была заядлой читательницей газет, особенно сенсационных репортажей и похоронных извещений, печатавшихся в «Универсул». Даже за ходом сражений во время война она следила не по стратегическим картам на первой полосе, и не по телеграммам международных агентств, и уж тем более не по комментариям к ним, хотя изредка и пробегала их «одним глазком». Нет, прежде всего ее интересовали траурные извещения на последней полосе. И еще — репортажи знаменитого Брюни-Фокса, от которого была без ума. Я не помню случая, чтобы она пропустила мало-мальски пышные похороны, а уж о королевских и говорить не приходится. И не из сочувствия — отнюдь! Они просто вызывали у нее особое любопытство. А на следующее утро, перелистывая газеты, в каждой из них вычитывала описанные разными корреспондентами, но примерно в одних и тех же выражениях, подробности скорбных процессий. А вот театральные хроники оставляли ее равнодушной — хотя до пятидесятивосьмилетнего возраста и проработала кассиршей чуть не во всех театральных залах столицы. Во всяком случае, она ни за что не позволила бы себе прочитать такую хронику до ознакомления со списком усопших в предыдущий день. Исчезновение буржуазной прессы, однако, волновало ее гораздо меньше, чем я ожидал. Она вообще выходила из себя крайне редко и обычно говорила, прибегая к своим любимым риторическим оборотам, что «еще не родилось то событие, которое вывело бы ее из равновесия». Поэтому, ограничившись сдержанным замечанием, что со страниц газет исчезли убийства и самоубийства, тут же нашла утешение в суровых репортажах, клеймивших спекулянтов и вымогателей. И все же я склонен думать, что отсутствие траурных извещений огорчало ее, хотя при мне она ни разу об этом не обмолвилась.

Мог ли я предположить, что она прочтет мой материал в том юношеском еженедельнике, где, сам не ведая, что делаю, я вел почту редакции и отвечал лицеистам, которым десять лет спустя, после 23 августа, суждено было войти в первые ряды новой литературы («пришлите еще, дорогой коллега...», «на этот раз не получилось, уважаемый друг из самой северной точки нашей родины...» и т. д. и т. п.), что в курортной Совате она обнаружит мои глубокомысленные рассуждения о стенгазетах города Рымнику Сэрат. Ее поздравительная открытка была лишним свидетельством того, как плохо я знал свою бабушку. Лишь через несколько дней я сообразил, что это был всего лишь робкий намек, просьба выполнить самое заветное ее желание, «может, последняя моя мечта, дорогой» — а именно, чтоб я стал журналистом. Она редко признавалась в этом желании — всего лишь два-три раза, — причем каждый раз стыдливо прятала его в бурлящем потоке других своих надежд, связанных с моим будущим: ей, например, хотелось, чтобы я женился как можно позднее, завел не более одного ребенка, чтоб жена моя была стройной красавицей, появление которой в обществе подобно ослепительной вспышке, чтобы мне не наставляли рогов, чтоб в браке я был «суровым, достойным и нежным», и прочее в этом же роде. Но каждый раз, когда она напоминала мне о моей журналистской карьере, я чувствовал — хотя тут же начисто забывал об этом, — что эту фразу она произносит по-особому. Она никогда не уточняла, каким журналистом мечтает меня видеть. Как-то я даже отметил про себя, что для нее профессия жур-

налиста и писателя — не одно и то же. Писателем для нее был Садовяну. Еще до того, как стать театральной кассиршей, она работала в шляпной мастерской, и в один незабываемый для нее день в дверях мастерской появился наш замечательный прозаик. Он вошел в комнату и заказал хозяину широкополую шляпу высшего качества. Хозяин при ней снял мерку с головы писателя и продиктовал ей размеры. Они были совершенно необыкновенными — и нет никакого сомнения, что именно с тех пор в ее системе ценностей понятие «писатель» ассоциировалось только с Садовяну, обладателем знаменитых широкополых шляп. И потому ее уточнение звучало примерно так: «Я не требую, чтобы ты стал Садовяну, чтоб ты имел его голову и талант,— но журналистом быть ты можешь...»

После ее возвращения из Соваты я стал ждать от нее новых пожеланий касательно моей будущей судьбы. Я был достаточно горд, чтобы не приступать первому к подобному разговору — притом был уверен, что путь мой необратим, ибо выбран в условиях высшей свободы,— однако во время обеда, когда бабушка подавала мне знаменитую молдовскую отбивную с укропом и перцем, я таял и чувствовал, как меня наполняет нежная признательность внука, который многим обязан мудрой бабушке. Но я ни словом не обмолвился об этих моих чувствах, да и она тоже молчала, словно поздравительная открытка была всего лишь опрометчивым шагом, о котором не стоило и вспоминать.

Странным было, однако, другое: она больше не читала газет! Я по-прежнему клал их на столик возле радиоприемника, но они оставались нетронутыми и день, и два, и три, образуя непривычные для нашего дома скопища. А недели через две я обнаруживал их сложенными пачкой в кухонном шкафу. С наступлением осени летняя пресса украсила полки кладовки, на которых выстроились банки с солениями и перчиками-гогошарами. Тут я не утерпел и спросил ее — по возможности язвительнее: каким образом у нее развилось это «неожиданное» чувство отвращения к чтению. Она сделала вид, что не расслышала, и стала жаловаться на то, что в последнее время на рынке все меньше петрушки, столь нужной для супа с клецками. Она любила накладывать в супы, которые готовила исключительно для себя, целые охапки овощей — а я именно из-за этих ее ботанических увлечений терпеть их не мог. Должен, однако, признать, что кроме странного отношения к печатному слову я не уловил в ее поведении иных серьезных перемен: она по-прежнему штопала мне носки, напевая мелодии из популярных оперетт, тщательно проверяла блеск моих туфель перед выходом в город — о причинах столь навязчивого пристрастия я был осведомлен давно.

Дело в том, что между пребыванием в шляпной мастерской и в «театре» (она частенько смешивала работу кассирши в этом заведении с участием в самом спектакле и любила говорить, что «подвизалась в театре») был год, когда она проработала лаборанткой в аптеке на Каля Викторией. Это произошло до того, как она встретила дедушку, и сия глава ее жизни была скудна воспоминаниями, если не считать посещений одного молодого торгового агента, который ежедневно являлся в аптеку за питьевой содой — можно было подумать, что он всю ночь бражничал и его мучила изжога. На самом же деле он просто домогался внимания моей будущей бабушки. Агент являлся каждый день в нечищеных ботинках, и это вызвало у нее с первого же взгляда острую к нему неприязнь. А наш бедный герой, которому лет через двенадцать удалось завоевать парижский рынок духов, терялся в догадках о причинах столь сильной неприязни. От этих месяцев работы в аптеке бабушка сохранила еще и глубокое презрение к лекарствам, ко всяким таблеткам от головной боли — старые кондитеры ведь тоже не выносят запаха сбитых сливок и миндальных пирожных.

Она по-прежнему продолжала с прежней неумолимостью напоминать мне каждый раз, когда я собирался в город: «Следи за своим задним карманом, из него легче всего вытащить кошелек!» Всю жизнь она боялась трамвайных и железнодорожных воров. Трамвайные — это она точно рассчитала в воображении, ибо сама ни разу не пострадала — предпочитают очищать задние карманы, железнодорожные — внутренние. И потому она не решалась ездить в трамвае, а если приходилось, держала себя крайне настороженно, сторонясь по возможности пассажиров; и уж, зная наперед, что поедет на трамвае, старалась брать с собой поменьше денег, что, однако, ничуть не ослабляло всей напряженности поездки. Я полагаю, что мысленно — а у меня для этого было предостаточно доказательств — она сконструировала для своих городских поездок личный вертолет, достоинства которого намного превышали технические возможности эпохи.

И наконец, с приближением зимы, опять послышались знакомые мотивы насчет дров в подвале — их всегда оказывалось слишком мало — и моих бот. Вот уже три года как она меня просила, заклинала купить боты и не ходить зимой в калошах.

— Калоши зимой — настоящее бедствие...

А я упорно отказывался видеть разницу между калошами и ботами — это был единственный случай, когда она выходила из себя и повышала голос:

— Это только кажется, что зимой калоши защищают ноги, на самом же деле ты все равно что босой.

— Ну уж и босой...

— А боты — другое дело: закрывают всю ногу, в них тепло. Да и потом, калоши просто портят обувь...

Меня забавляло это пристальное ее внимание к проблеме обуви. Она довольно просто объясняла его возрастом — когда человеку перевалило за шестьдесят, он не боится говорить людям банальности. Она сразу подмечала, если кто-нибудь, войдя зимой в дом, не снимал в прихожей боты и шагал по коврам ли, по дорожкам ли в мокрой, облепленной снегом обуви. Окинув пришельца долгим взглядом, она закрывала глаза, словно вычеркивала его из какого-то реестра, затем, будто упрямый бухгалтер, который больше не возвращается к однажды решенному вопросу, переставала даже замечать такого человека, «пусть он даже на руках бы ходил». Впрочем, утверждала она в своем риторическом стиле, «люди — существа непостижимые, и я вполне понимаю тех, кто говорит, что человек — неразгаданная тайна».

Меня, однако, в эту осень, проявлявшую, к сожалению, признаки ранней зимы, тревожили куда более важные вопросы: общий — отчего это вдруг бабушка перестала читать газеты, и частный — почему ее больше не волновала моя бурно процветавшая журналистская деятельность? Неужто это едва уловимый признак конца? Вопрос звучал слишком прямолинейно, и я тут же отбрасывал его. В бабушке моей не было ничего такого, что заставляло бы думать о драмах и уж тем более о неизбежных драмах возраста. Мне и в голову не приходило, что эта шестидесятичетырехлетняя женщина могла умереть. Я и мысли такой не допускал — из чистого эгоизма. Один-единственный раз она при мне потеряла сознание. Мы смотрели «Ночь царей» в тесном зрительном зале в подвале — и во втором акте, слушая монолог артиста Казабана [1], я почувствовал, как она опустила ко мне на плечо голову и застыла в этой позе. Билетерша помогла мне вывести бабушку из зала в фойе — там никого не было, и холодный компресс привел ее в чувство. Она сказала, что ей было слишком жарко. Думаю, что это не так: она мерзлячка и жару всегда переносила легко. Дело было, пожалуй, в том, что слишком много говорили герои, трудно было уследить за ними (бабушка не была

[1] Жюль Казабан (1903—1965) — известный румынский комедийный актер.

«глубокой» натурой, из тех, что магнетически тянутся к Шекспиру и Бетховену, хотя и «простой» ее не назовешь), слова пугали ее, если ей не удавалось сразу уловить их смысл, вот почему, наперекор общему мнению, она любила фривольные французские комедии с их короткими, сочными репликами, отсутствием пышных монологов и тирад.

Итак, не желая слишком драматизировать происходившие в ней перемены, я все же не мог отказаться от мало-мальски философского объяснения — мой возраст, хотя его обычно и связывают с самыми плоскими интересами, интуитивно стремится философски осмыслить жизнь. Я решительно предпочел другой вариант: если отвращение к чтению не признак близкого конца, так не спокойнее ли будет отождествить его с отрицанием смерти? Конечно, это было приятнее, спокойнее для меня, ибо лозунг «жизнеспособности», «любви к жизни» (в таком, как у нее, возрасте)— самое симпатичное словосочетание нашего гуманистического словаря, которым мы с особым упрямством пользуемся под конец жизни,— как нельзя лучше соответствовал ее характеру, иными словами, имел преимущество «объективности». И наконец, полагал я, новоявленный прихожанин в храме здравого смысла,— это самое естественное решение, самое свободное от «драм» и преувеличений. А разве существует что-либо более притягательное для нашего инстинкта самосохранения, чем выход, лишенный драматизма?

Как обычно бывает, догадки рассеиваются с появлением нового героя. В данном случае им был господин Стате Левеску.

На исходе осени туманным утром бабушка попросила меня прийти к обеду пораньше, во всяком случае не позднее половины второго. Оказывается, к столу был приглашен гость — «знаешь, он видел Ленина в Женеве в тысяча девятьсот не помню каком году...»

Упоминание о Ленине меня, конечно, порадовало, но это не помешало мне рассмотреть во всех подробностях господина Левеску, сидевшего за нашим скромно накрытым обеденным столом. Ему было, должно быть, около семидесяти, но сидел он удивительно прямо, челюсти у него были массивные, как у лошади, глаза голубые, правда, один был несомненно стеклянный. Он был одет в элегантную, необычную для той эпохи общепита и кепок черную пару и чуть слышно, вполне терпимо поцокивал зубным протезом. Правда, за супом я заметил, что его девственно белые манжеты изрядно потерты. Зато платок в нагрудном кармане, сложенный по всем правилам, придавал ему вид удивительно благопристойный — я никогда не видел более выразительного, более осмысленного платка. Я уж не говорю о том, что, войдя в дом, я сразу заметил — и даже позволил себе невинно ахнуть — пару блестящих калош, стоявших в прихожей, у холодильника, хотя на улице всего лишь моросило, как и полагается в конце осени.

Сидя за тарелкой супа, в которой горой возвышались овощи, накрывшие клецки, он кратко рассказал мне свою биографию, словно считал меня хозяином дома, и, как всегда, когда пожилой человек не выдвигает между собой и мной болезненную проблему возраста, самолюбие мое было удовлетворено: под псевдонимом «Стикс» — «я думаю, вы знаете, что Стиксом в мифологии обозначали...» — он в течение пятидесяти лет рисовал карикатуры к театральным рецензиям в самых распространенных бухарестских газетах. Между 1936 и 1938 годами его пригласили в Париж, где он вместе с господином Жакина вел в газете «Журналь дю суар» хронику светской жизни, отвечая за графическое оформление материалов. А в 1939 году вернулся в Бухарест.

В то самое мгновение, когда на столе появилось вареное мясо, он внезапно умолк и пристально посмотрел на бабушку,— видно, он особенно любил это блюдо и хотел таким образом... Я же терпеть

не мог эту преснятину, она представлялась мне пищей безрадостной, для трудно выздоравливающих больных, и я ждал, пока бабушка не подаст мне — как бывало прежде — скромную, но сытную компенсацию: тушеный лук-порей, или сельдерей, или, наконец, консервированные бамии. Невероятно! Под его взглядом бабушка начисто позабыла о моих вкусах и, не отрывая глаз от гостя, протянула мне тарелку с куском пресного, вываренного мяса, обрамленного двумя морковками и сельдереем. Я, стараясь не нарушать их молчаливой близости, делал вид, что ем: за столом царило молчание, изредка прерываемое звяканьем вилок и ножей. Так длилось до третьего блюда — до блинчиков. Тут, оживившись, господин Левеску обратился к своим воспоминаниям о Ленине, которые, в сущности, сводились к тому, что в первые годы нашего столетия, еще студентом, он обедал в том же женевском кафе, где бывал Ленин. Я опасался, что господин Левеску увлечется воспоминаниями и начнет изображать из себя эдакого убежденного большевика, но этого не произошло. Он просто объяснил, что сидел за столом «вот как здесь, например», а Ленин — за другим, «примерно вон там» — и он показал на кухонную дверь за спиной бабушки, которая блекло улыбалась мне, довольная, что не обманула моих ожиданий. Перед каждым из нас на тарелках лежало по три блина — и потому прустовская памятливость господина Левеску свелась лишь к нескольким эпитетам, свидетельствовавшим о самой обычной наблюдательности: «Ленин был человеком скромным... общительным... жизнерадостным...»

Бабушка между тем убрала тарелки, стаканы, смела хлебные крошки и отправилась хлопотать на кухню. Мы остались одни — господин Левеску предложил мне папиросу. Я сказал, что не курю. Он взял одну папиросу, трижды стукнул ею по большому, красиво ухоженному ногтю, поглядывая в мою сторону. Потом зажег спичку и медленно поднес ее не к папиросе, а на уровень глаз. Тогда-то я понял, что у него нет никакого стеклянного глаза; я сразу догадался, чего ему от меня надо, в чем смысл бабушкиной рекомендации: оказывается, я глубоко ошибался, думая, что она больше не читает газет, нет, она читала, вот заметила же мои последние две театральные хроники, опубликованные недавно, и этот господин упросил ее познакомить нас, чтоб подзаработать на кусок хлеба карикатурами к моим будущим хроникам. В этом все дело. Поняв это и глядя на него, я решил сообщить ему тут же, что наш главный редактор вообще не терпит карикатур и уж тем более таких, что искажают облик наших артистов. Это была строгая газета, раз и навсегда порвавшая с нравами буржуазной прессы.

Из кухни донесся звук разбитой тарелки. Моя бабушка никогда не била посуды. Руки у нее не дрожали. Внимание ее никогда не рассеивалось. Мы оба — я и господин Левеску — вздрогнули. Он дважды затянулся папиросой, стряхнул пепел и сказал, с трудом подавляя смущение:

— В ваши годы можно уже быть самостоятельным, конечно, но все понять невозможно. Я не стану говорить вам о встрече в Совате. (Я, разумеется, согласно кивнул.) Ясно одно: нас, то есть госпожу Прокопиу и меня, связывают сорок лет знакомства, и эта летняя встреча в Совате... Единственное, что ее удерживает,— это вы... Ни ее возраст, ни мой, тем более что у меня дочь... Очень способная, должен вам заметить, балерина; госпожа Прокопиу познакомилась с ней в Совате и высказалась о ней с величайшей похвалой, можете ее спросить...

Бледный, сжимая лошадиные челюсти, он стряхивал и стряхивал пепел; потом до меня донеслось щелканье его зубного протеза. В кухне — мертвая тишина.

— Так вы спро́сите ее?

— Конечно, спрошу, хотя, как я понимаю...

Я тоже был не в силах довести свою мысль до конца.

— Конечно, вы понимаете, я в этом ничуть не сомневаюсь... А вы смогли бы через неделю сообщить ответ?

Он смотрел прямо мне в лицо, и я опять решил, что у него стеклянный глаз.

— Впрочем, ведь вы, ленинцы, всегда за прогресс, не так ли? А что такое прогресс, как не все бóльшие возможности для личности творить собственную судьбу?

Я дал ему докончить фразу — было ясно, что, еще выходя из дому, он обдумывал ее,— и, гордый неожиданными своими полномочиями, точно новоиспеченный государственный деятель, возразил ему:

— Мы тут не политикой занимаемся, господин Левеску. Я думаю, что через неделю...

Тут в столовую вошла бабушка, неся поднос, на котором дымился черный кофе для гостя. Что до меня, так я лишь двенадцать лет спустя притерпелся к черному кофе. А пока мне предстояло решать, позволю я или нет бабушке выйти за карикатуриста.

Впервые мудрость моя подвергалась такому испытанию — тут ведь и не пахло политикой. Однако это не пугало меня — отсутствие житейского опыта в те годы — не буду врать — мало меня волновало. Да и сама комическая ситуация, вызванная предложением господина Левеску, не могла меня обескуражить. Лишь гораздо позднее я научился видеть печальные аспекты комических ситуаций. А пока я то и дело ловил себя на том, что смеюсь про себя: «Такого и в книгах не вычитаешь — чтоб просить у внука руки бабушки!» Но особенно меня привлекала — и я об этом говорю с чистой душой, хотя только что упоминал о своей «мудрости»,— возможность понаблюдать за старой госпожой Прокопиу, дражайшей моей бабулей. Я все откладывал серьезное решение, забывал о своей ответственности и незаметно, но упорно следил за ней.

А она защищалась с поистине девственной стыдливостью. В ее частом молчании сквозила та робость, что предшествует прикосновению к первой тайне жизни. Она уже не вскакивала в потемках, чтоб зажечь свет и сварить мне чаю. Когда я проходил через столовую, она накрывалась с головой, а если вечно неисправные трубы водопровода начинали натужно гудеть, она уже не возмущалась халатностью водопроводчиков, этого племени живодеров и грабителей. Чай она мне подавала поздно, когда я уже собирался уходить, и в этом знакомом ритуале я ощущал едва уловимые признаки невнимания, рассеянности. В те дни мне казалось, что она систематически забывала класть мне в чашку сахар, но я выпивал несладкий чай и намеком не нарушал наш негласный стыдливый уговор. Я уходил, а она уже не роняла мне вслед свое вечное: «Следи за своим задним карманом...» У меня складывалось впечатление, что она испытывала смутное желание отказаться от своего прежнего старческого обихода, от прежних привычек — и вместе с тем не очень-то представляла, как надо вести себя в новой роли. Но я ничем не мог ей помочь. Я наблюдал. Я видел, как она теряется, как напряженно следит за своими движениями и привычками, цветá «голубого периода» внезапно оказывались неподходящими для нового «розового». Она, например, накладывала себе по старой привычке гору овощей в суп, но стоило мне взглянуть на нее — притом без тени иронии,— она тут же отодвигала овощи к краю тарелки и оставляла их нетронутыми. Следя за ней краем глаза, я обнаруживал, что она больше не притрагивается к вареному сельдерею — отвращение ее было неподдельным, и в глубине души она трепетала, что я неправильно пойму это. Теперь мне стало ясно, почему она больше не читала газет,— в сущности, это была ее самая выразительная реакция: ее больше не интересовали спекулянты, суды, мелкие происшествия, и, возможно, появись в какой-нибудь газете снова отдел похоронных объявлений,

она бы и этого не заметила. Она была поглощена другим, ни повседневные заботы, ни тем более извечные проблемы ее больше не занимали. Она напоминала бакалавра [1], который, встретив женщину, по известному печальному родительскому выражению, «совсем забрасывает учебу».

И все же я был достаточно самолюбив, чтобы отнестись с должной серьезностью к тому, что судьба бабушки зависела от моего решения. Но, свежеиспеченный гуманист, созревший под смешанным воздействием школ Доброджану-Гери [2], Ромена Роллана и Горького, я видеть все привык сквозь призму страсти, в явлениях искать ее животворное зерно. Все, что оставалось за ее пределами, я отрицал, и ум мой с каким-то дьявольским упорством преследовал лишь одну цель: словно страж в кабинете молниеносных рентгеновских снимков, он срывал с людей и их поступков будничную оболочку и грубым движением подталкивал к всевидящему аппарату. В то самое мгновение, когда зажигалась лампочка — в отличие от стольких окружавших меня публицистов я был скромен, не утверждал, что мозг мой факел, а мысль луч маяка,— на пленке аппарата появлялись слова: «ПЫЛАТЬ ИЛИ ГНИТЬ», диагноз неотвратимо ставился, и я вел себя соответственно этому диагнозу. Отсюда и мои сомнения. Мне было трудно, вернее, я просто не мог уступить: как согласиться на брак двух старых людей, которые не любили друг друга? Ведь ясное дело, бабушка не любила его, не могла любить. Спросить не хватало духу, да и она с девственной стыдливостью избегала всяческих объяснений. И по этой причине я (так же как и в вопросе о смерти) выбирал наиболее удобный для себя вариант. Я был молод, а госпожа Прокопиу, все более замыкаясь в себе, позволяла мне выходить под проливные осенние дожди без калош — что свидетельствовало о полном ее отказе даже от самых навязчивых идей.

В разговоре мы избегали даже каких бы то ни было банальных намеков. Единственное, что удалось узнать в те дни — во время обеда, чтобы слегка прощупать почву, я рассказал, что стал писать театральную хронику,— заключалось в следующем: много лет тому назад, еще до «аптечного» периода, по совету старой родственницы, она сдавала экзамены в консерваторию — правда, безуспешно. Играла Офелию. И появилась она в белом платье матери, это было, наверное, в 1900-м — ей тогда было не больше шестнадцати. В зале находился и господин Левеску, свежеиспеченный театральный журналист. Комиссия мягко отвергла ее, жалея, как наивного ребенка, а он позволил себе пригласить ее в день провала в ресторан «Капша». И даже нарисовал ее портрет. И как бы мимоходом бабушка дала мне понять, что встреча в Совате началась с воспоминаний о далеком вечере. И каким бы легкомысленным я ни был в те годы, как бы бесчувственно и самоуверенно ни относился тогда к проблеме времени — я, можно сказать, даже не слышал стука собственного сердца и упоминания о нем сводились к избитым метафорам, которыми я завершал свои статьи,— признаюсь, что первый, короткий, обжигающий, как удар тока, шок при мысли о вечности я испытал в те мгновения, когда госпожа Прокопиу в свои шестьдесят четыре года вспоминала дни далекой юности.

И все же повторяю: в те дни я десятки раз мысленно произносил про себя эту фразу, а повторение — единственный стилистический прием, который может дать мало-мальски верное представление о духе тех дней, я не мог допустить, чтобы она вышла замуж из чувства неполноценности, косности или из интереса — да и какой тут мог быть интерес? Господин Левеску не мог ей предложить условий, в каких жили мы; слово «интерес» вообще выводило меня из себя.

[1] Бакалавр — обладатель аттестата зрелости.

[2] К. Доброджану-Геря (1855—1920) — один из зачинателей социал-демократического движения в Румынии.

И была у меня еще одна, последняя надежда: ее чувство порядочности, ее стыдливость, которая откроет ей всю неприглядность подобного поступка. Ибо, не осмеливаясь после того «рентгеновского снимка» называть проект господина Левеску «гнилью», я нашел для него другой вариант: непорядочность.

Однажды после обеда, отправляясь на какое-то заседание, я обнаружил, что бабушка стоит на коленях перед открытым шкафом, перебирая на нижней полке неведомое мне белье. Она не сразу меня заметила. Она перебирала простыни, возможно, даже пересчитывала их, ощупывая крупные монограммы, напоминавшие чем-то древние феодальные гербы, навеки запечатленные на городских грамотах. Она была похожа на владелицу замка, скорбно склонившуюся над приданым — несомненным доказательством благородного происхождения, дошедшим от предков до этого дня 1948 года. Пошарив рукой, она сняла с полки старую сумку, открыла ее. Перешагнув через кипы белья на полу, она встала перед зеркалом шкафа, надела на шею жемчужное колье, жемчужины — очень «молодые», как принято выражаться в высшем свете,— засверкали на черном кухонном халате, и тут бабушка не выдержала, молча улыбнулась. У нее и прежде не было привычки разговаривать с собой — когда она бывала одна, то, штопая носки, напевала арии из оперетт,— но улыбка застыла на ее лице; она еще ближе придвинулась к зеркалу, и я понял, что она, в сущности, не улыбается, а скорей проверяет свою вставную челюсть. Лишь тогда она заметила меня — паркет предательски скрипнул у меня под ногами — и внезапно, погасив все огни спектакля, кинула ожерелье в сумку и склонилась вновь над бельем, готовая спрятать в нем лицо. Ночью, когда я возвращался в свою комнату через столовую, я услышал, как в темноте хрустнула под подошвой жемчужина, потом вторая, третья... «Нет, она не уйдет»,— сказал я себе. «Она плакала со стыда. Она поняла. Нет, она не уходит! Завтра она мне скажет...» И, осчастливленный, я так и не уснул, до самого утра читал «Девушку и смерть» Горького.

На другой день, вернувшись поздно, я снова прошел в свою комнату через столовую, где спала бабушка — на диване между печкой и дверью в ванную под большими настенными часами, которые остановились еще в то время, когда я учился в третьем классе лицея. На столе горела свеча. Воск капал, стекая по бронзовому подсвечнику. Рядом во всей наготе лежал гриб для штопки чулок. Бабушка никогда не оставляла на ночь горящих свечей. Я повернулся к ней и в свете огарка увидел ее спящую: полуоткрытые веки, жуткое сверкание белка, перекошенный приоткрытый рот, опущенный правый уголок губ, словно чей-то невидимый палец потянул их вниз. И голубую беззубую десну. Потом она сделала непроизвольное движение, и из-под одеяла высунулись пальцы правой ноги, длинные, сухие, повернутые вправо, с сизоватой подагрической шишкой у большого пальца, известной всем в окрестности сапожникам — это была словно последняя метка жизни в самом конце старческого тела, убедительнейшая отповедь всем моим идейным построениям. Она дышала; свеча тихо потрескивала, воск капал на подсвечник, и эта шишка, от которой нельзя было отвести глаз, напоминала в самом деле анатомический орган под рентгеном. «Уходит! — заключил я, как истинный рентгенолог.— Бросает меня одного». Тут внезапно загудели водопроводные трубы, и в этой немузыкальной сумятице я ясно различил звон разбитой тарелки, единственной тарелки, которую однажды, в минуты признания господина Стикса, разбила бабушка. Это было все равно что звуки моцартовской мелодии во время бомбежки. Да, еще во время того обеда она все решила. Решила до меня... Для нее не существовало ни стыда, ни ощущения запоздалости, тщеты задуманного — стало быть, существует возраст, когда все эти понятия уже не имеют значения, более того, можно поднять-

ся над ними. Но какой ценой? Черный мрак вокруг этой белой кости, который, как на любом рентгеновском снимке, окружал просвечиваемый предмет, скрывал ответ на этот вопрос, впервые вставший передо мной. Но особенно пугало во всем этом то, что эта нога, эти костистые пальцы... Бабушка внезапно храпнула, испуганно проснулась, увидела меня и поднялась, опираясь на локоть.

— Что ты? — и втянула ногу под одеяло.— У нас нет света...

Я автоматически шагнул к стене и в полутьме нащупал выключатель. Трижды повернул его — напрасно.

— Иду спать.— И, направляясь в свою комнату: — Погасить свечу?

— Не надо.

— Как бы пожара не случилось.— Я увидел, как она снова выпрямляется в постели и натягивает одеяло по самую шею.

— Ничего, я тут рядом...— спокойно ответила она.

Я уже раздевался, когда она крикнула мне, что господин Левеску приглашает меня завтра вечером в театр. И, уже засыпая, услышал, что она попросила его купить мне боты и он любезно согласился.

Утром улица была в снегу, на подоконнике дрались два жирных воробья, взвивая живописные вихри снежной пыли. Я спустился в погреб. Бабушка спала глубоким сном. За последние десять лет впервые я это делал один. Я испугался, точно ребенок: у нас оставались лишь четыре поленницы.

— Ничего, я думаю, хватит дров,— сказала она мне за завтраком. Волосы ее были аккуратно уложены рукой парикмахера.

В то утро, когда она отправилась в загс — нет, кажется, это было ближе к обеду,— она сообщила мне, как бы между прочим, что новые ботинки начищены и я найду их в прихожей (а не в шкафу) и что галстук (который она мне подарила в ночь под новый 1948 год) завязан и находится вместе с белой рубашкой там же. У меня была единственная белая рубашка, да и галстук был один — я презирал этот предмет роскоши, и только по особым случаям бабушка завязывала его мне. Но на регистрацию брака я не пошел — мне было тяжело, как человеку, которому невыносимо присутствовать при венчании любимой женщины с другим.

МИРЧА НЕДЕЛЧУ

История походного хлебозавода № 4,

«увиденная собственными глазами»
капралом Г. П. по прозванию «Простота»

(Он почти все время сидит ссутулившись (то ли не может, то ли не хочет стоять), много курит (почти две пачки «Мэрэшешть» в день) и говорит, пришепетывая: у него нет передних зубов. Однако разница в уровнях между ним и теми, кто предпочитает стоять, его ничуть не смущает. Диковинно в устах человека его возраста и образования звучат современные словечки, которые он, впрочем, употребляет всегда кстати и с удивительной непринужденностью. Родился он в 1907 году — стало быть, ему скоро стукнет семьдесят.)

ПАМЯТКА, ЧТОБ НЕ ЗАБЫТЬ: из Меджидии погнали нас 17 марта 1942 года, во втором формировочном батальоне задержались три дня, после чего нам выдали сухой паек на четыре дня и отправили в Тирасполь, оттуда в Одессу, а из той Одессы препроводили в деревню Спиридоновку, где согласно приказу в день 25 марта на благовещенье принял командование над хлебной печью.

НА ВЕРБНОЙ НЕДЕЛЕ, 30 марта 1942 года. Сегодня в вербный день пришлось грызть черствые лепешки, одно слово — дерьмо, надо бы хуже да некуда — вот тебе и хлебное дело, а работать ни разу еще не довелось — переехали в село Ранжево. День-деньской бьем баклуши, живот с голодухи подвело, от холода трясемся. Писано в день 23.III.42.

Сразу заметно, что этот румынский солдат, только что услышавший возвышенный приказ: «Повелеваю вам перешагнуть Прут!», никаких героических импульсов не испытывает. Не успел до фронта добраться, а его занимает одно — качество пищи.

31 марта 1942. Живем в селе Александровка у Черного моря в двадцати верстах от Одессы на шоссе Одесса — Николаев, любуемся на грозное море. А наш Первый кавалерийский полк и германские части сторожат его, боятся, как бы русские не высадились. 3 апреля 1942 года. Шли колонной в Николаев, и тут на шоссе повстречался Теодореску из Валя Пресни, племяш Григоре Тывнэ, сказал, будто намедни тут проходили сынок Попы Велеску Александру и Булгаров Ионел. 4 апреля 1942. Утром проследовали дальше к фронту, дошли до деревни Зеленое, что в десяти км от Николаева, где мы и стали на постой в ночь под пасху. Подвода отправилась к шоссе ждать машины с пасхальными дарами, то есть папиросами и жратвой, а мы все ждем.

ПАСХА. 5 апреля 1942. Встал рано, помылся, надел чистую рубаху, после чего хозяйка поднесла яйцо и краюху кулича и еще творогу, только подсахаренного (*ну и привереда*!). После чего вызвал нас младший лейтенант и выдал два кулича, четыре яйца, пачку спичек и пачку табака. 5 апреля после обеда. Только поели — началась завируха, в двух шагах ни зги не видать, отсиживался в хате, на улицу глядел.

6 апреля 1942. Сегодня на второй день пасхи кончилась метель, настала погода. С 12 часов заступаю на дежурство. В 12 часов дали нам фасоль с окороком, всего-то с гулькин нос, будто не солдаты мы, а пленные, да еще краюху кулича.

7 апреля 1942. Сегодня после кофея казяйка угостила кружкой молока, правда жидкого, из него уже все масло добыли на машине. (*Выше было замечено, что Г. П. привереда — и чем ближе к фронту, тем больше он привередничает.*) После чего мы отправились на околицу для произведения учебных стрельб. Тогда же выдали нам по бутылочке горячительного да по литру вина до обеда — меня и развезло. После чего я поел и малость соснул, а потом простирал себе белье, полотенце, платок.

8 апреля 1942.

С утра нас построили и повели в колхоз, чистить хлев с настилом, где будет стоять наш упряжный скот. Нашел я ствол русского автомата и патроны, приспособил для моего ружья. Сегодня пожаловали и остальные работники пекарни из Тирасполя, сказывают — завтра переправа через Буг, поначалу в село Варваровку, а там за Бугом — город Николаев. Завтра 9 апреля вся пекарня последует на фронт нагонять дивизию.

9 апреля 1942. Утром 9.IV. выехали из села Зеленое в направлении Варваровки, что на реке Буг. Шагали ходко, в село вошли в 12 часов, где сразу по прибытии поели.

10 апреля 1942 года отправил почт. откр. своим. Сегодня же произведена очистка колес печи и их мойка речной водой из Буга, где мы находимся, к тому же написал две почт. отк.— одну жене, другую — свояку Г. Будуле. Писано в расположении части селе Варваровка на берегу Буга, а дядька Пукя насвистывал на свирели уезд Влашка село Штирбей Водэ. *(Сразу видно, что автор постоянно учитывает условия, в которых ему приходится вести дневник.)*

11 апреля 1942. Сегодня латал перепревшую рубаху и вголос причитал: где ж ты, где ж ты, милый друг жена, посмотрела б ты, чем я тут занимаюсь. А писано тут у Буга, село Варваровка, уезд Очаково. (*Конечно, была бы возможность, Г. П. не преминул бы сфотографироваться на берегу Буга.*)

Сегодня же как повели нас обедать, там вместо жратвы мытарили нас муштрой и все из-за двух конюхов — они играли в орлянку, и госп. капитан Шороагэ застукал их, и расшвырял деньги, и еще отстегал их по голой ж. 10, 15 раз. А русские мужики да бабы глазели, как их хлестали.

После обеда. Сегодня в субботу 11 апреля мл. литенант врач сделал нам уколы в селе Варваровка — всю ночь ворочался я от боли. (*Сразу видно, что эта запись не по следам событий: заглавие «После обеда» скорее говорит о времени события, нежели о времени написания. Выше оба обстоятельства почти совпадали. На этот раз очевидно: строки написаны на другой день утром.)*

12 апреля 1942. Сегодня утром произведена инвантеризация обмундирования кажного солдата.

После обеда. В 12 часов ели вонючую уху — свиней и то с нее стошнит. А после отослал домой письмо в конверте без марок.

13 апреля 1942. Утром нас погнали в поле, где проходили военное обучение в индивидуальном порядке. После обеда заступил начальником караула при хлебозаводе.

14 апреля 1942. С нынешнего дня переходим на немецкое снабжение пищепродуктами, а среди них я видел консервные банки, сыр, масло, папиросы, говорили, будто дадут и конфеты, а на самом деле дали одну жареную картошку, капусту и консервы и 250 гр. хлеба.

После ужина. Вечером. Дали пахучий чай с гвоздикой не больно сладкий и 40 грамм прессованного масла и капусту с колбасками — оставили немного и на утро к кофею. (*Это «немецкое снабжение» — неожиданно проникшее в текст загадочное явление — заставило Г. П. превратить на несколько дней свой незатейливый дневник в перечень блюд, откуда видно, что и тогда немцы были доками по части пропаганды. Фашизм, да и всякая технобюрократия умело использует ее, Любое улучшение условий жизни преподносится простому человеку в потоке загадочных слов, владение языком становится важным источником политической силы.)*

Собачий холод 15 апреля 1942. Утром кофей и немного хлеба с маслом. Весь день на складе, таскал продукты для солдат 4-й дивизии.

16 апреля 1942. Мятный чай с мермаладом, в 12 — уха, работаю на продуктовом складе дивизии. После обеда, то есть вечером, уха и масло.

17 апреля 1942. Сегодня пекарня отправляется за Буг, а я еще остаюсь на 4 дня в Варваровке. Вечером спали с госп. Буковски на другой квартере.

18 апреля 1942. Кончили работу в продуктовом складе, переехали через Буг около 3 часов дня, отправились на пристань для продолжения движения. Здесь я писал на зеленой лужайке и смотрел, как грузяца войска на фронт. Капр. Г. П. (*А насчет «снабжения» и списков блюд больше ни звука. Уж не Буг ли да зеленые лужайки на его берегах виноваты?*) Василе Енчу поднес пачку табака и папиросы и еще дал 3 марки.

19 апреля 1942. Ночью самолет побросал штук пять бомб на город, где я провел первую ночь. Писано утром дня 19 апреля в воскресенье. Сегодня же побывал на вокзале, где погружался 4 Саперный батальон, и там повстречал Василе Дж. Енчу, Василе Нечу, Савов Костикэ и Петре Бици из Прясны — все ехали на фронт в составе одной дивизии.

Вторник (?) 20 апреля 1942. Сегодня ходил на базар, купил там брючный ремень да десять кремней для зажигалки за 2 марки, а ремень за полмарки. (*Скупость изложения здесь явно усилена скудостью идеи купли-продажи.*)

Среда 21 апреля 1942 г. Написал почтовую откр. и передал с человеком — он едет в наш 2 формировочный батальон, обещался кинуть открытку в ящик на Северном вокзале Бухареста. На пристани, где грузили 6 Батарею и командный состав 2-го Дивизиона легкой антилерии, встретил Оицэ, сынка Марина Дуци, наговорились вдоволь, он мне пачку папирос отдал. После обеда выдали 39 папирос, масло, карамельки, консервы и хлеб.

Четверг 22 апреля 1942. И сегодня наведался на Базар, походил там немного. Заплатил марку за 6 кремней и фитилек, и еще папиросу за два рыболовных крючка. На базаре продают всякое тряпье, еду, буханка в 2 кг стоит 360 лей или 6 немецких марок. На этой толкучке можно много чего стоящего купить, да не за деньги, а за табак. Кажный «чоловик» только про табак и спрашивает. Писано в доме Дядюшки Александра. Кпр. Г. П.

На святого Георгия в пятницу 23 апреля 1942 года. Сегодня погрузка и отправка на фронт из города Николаева под немецким водительством *(явно заимствовано из речи, которой его потчевали перед отправкой).* А ехать нам 500 км поездом, два дня и две ночи, и 100 км пехом да всухомятку. Утром побрился и сложил ранец. Набрел на кума Тудора Бици, долго с ним калякали сегодня на Тираспольском вокзале (?) (*Интересно, помнил ли капрал или запамятовал, что день, означенный выше, был днем его именин?*)

24 апреля 1942. Уж целые сутки, как наш эшелон вышел из Николаева — по дороге на фронт пачка табака продавалась за 240 лей, в жизни такого не видывал. Где мы тут проезжаем, много разных фабрик, электрических заведений, поезд и тот на электрической тяге. К вечеру прибыли в город Днепр Петровский, откуда отправились дальше по мощеному шоссе, пройдя через весь город, что зовется Днепр Петровский. Было около полуночи, а дома тут повиднее будут, чем в Бухаресте, высоченные. Всю ночь шли пешкодралом, вконец измотались с голодухи и долгого хождения.

25 апреля 1942. Находимся в деревне близ города Днепр Петровский, где на утренней стоянке варили чай, а в 12 ч. нас кормили добрым борщом, здесь я видел дома, насквозь прошитые пулями с самолетов. После обеда получил две пачки табаку, сорт 3. А тот мост через Днепр, по которому мы переходили, построен так: понизу идет поезд, поверху — машины и трамвай, что едет из города Днепр в город Петровский, почему город весь назван Днепр Петровский, а река Днепр течет прямо промеж них. Писано здесь за одним столом с серж. Симион Василе и серж. Попа Василе из Ясс ул. Реджией № 14.

Воскресенье 26 апреля 1942. Сегодня выдали нам по 43 папиросы, куску мыла для бритья, куску для мытья и еще куску для стирки, а выдано все это оттого, что мы теперь на немецком довольствии. *(Опять? Интересно, была ли тогда такая знаменитая марка мыла, как «Рексона»? А коли была, так в какой мере она связана с продукцией лагерей уничтожения?)* После обеда во второй раз сделали укол против холеры, а утром отправились и перли 35 км.

Понедельник 27 апреля 1942. Заночевали в деревне Новомосковски, видное место, спал у портного, утром последовали в село Знаменовка — пешего хода 20 км.

28 апреля 1942. Сегодня сухой паек и цуйка.

Прибыли в село Знаменовка и стали на постой, а завтра погонят дальше.

В пути видел разбитые машины — грузовики, танки, пушки, снаряды, разные ящики с амуницией и гильзы стреленые. Тут больше

воевали немцы, всюду одни немецкие погосты. Прошли два моста, сколочены крепко.

Среда 29 апреля 1942. Двигаемся все пехом, а дороги трудные, по четыре упряжки волов на печь — и то едва ползут. Военные машины совсем разбили дороги. (*Нам, тем, кто родился во второй половине XX века, то есть по меньшей мере на восемь лет позднее описанных капралом Г. П. событий, рассказали немало об этой ужасной, второй по счету всемирной бойне. И объяснили также, что если неизвестно еще, каким оружием будет вестись третья война, то в четвертую люди уж наверняка сражаться будут пращами. Объяснили и много другого. Но до сих пор никому из нас не было известно, что во вторую мировую войну на фронт шли помимо прочего и воловьи упряжки, что им пришлось переправляться через Буг, Днепр, Дон и другие водные рубежи. Те самые упряжки, что так напоминают мирные картины нашего Григореску*[1]. *Упряжки с возами, на которых были укреплены Печи Для Делания Хлеба. А напрасно нам этого не говорили...*) Прошли около 24 км через населенные пункты Новомосковски, Орлинщина, Зломеновка, Карабиновка, Матровка, Маврена, Лехачева, Павлоград. Говорят — в последнем остановимся и начнем выпекать хлеб. (*Значит, в пути их все же не заставляли печь хлеб. Даже эти несчастные картофелееды поняли наконец — и, должно быть, впервые в жизни,— что для того, чтобы выпекать настоящий хлеб, надобно прочно осесть на земле, глубоко в нее пустить корни.*) А пока шли эти 24 км, видели всюду машины, развороченные пулями и снарядами, и воронки от бомб, и осколки от снарядов, и брошенные в поле горелые гильзы. Кинутые вещи, колеса от грузовиков, скаты, разные детали и многое другое.

Четверг 30 апреля 1942. Сегодня с трудом прошли 20 км. Дождит, грязь непролазная, впрягали по десять упряжек, только ярмо сломали, колесы по самую ось вязнут в грязи. Весь день маковой росинки во рту не было, только в 8 вечера.

Пятница 1 мая 1942. Сегодня 1 мая стояли в деревне Межерич, давали скотине передышку. В 12 дали по четвертухе хлеба на весь день да миску борща с фасолью (*потому что*) из-за дурной погоды хлеб нам не подвезли.

Суббота 2 мая 1942. Все там же — в Межериче. Дорога никудышная, вот и стоим на месте. Вчера 1 мая получил первую почт. откр. от Штефана и Апостоликэ, а сегодня 2 мая ответил сразу. Выдали нам по две почт. откр.— писать домой. После обеда выдали по пачке табаку и сделали уколы от тифа.

Воскресенье 3 мая 1942. Спокойный день, только смазали механизмы печей, другого ничего. Вёдро, солнце. Пока пишу, кто-то наяривает на гармошке. После обеда выдали нам трубочного табаку, меду и папирос.

Понедельник 4 мая 1942. Стоим в лесу, обедаем в лесу, только без хлеба — пожадничал, до времени сожрал.

Вторник 5 мая 1942. Сегодня выдали нам хлеб да 27 папирос, немецких, но первый сорт. За все дни пути не был так сыт, как сегодня.

Среда 6 мая 1942. Сегодня оставляем Павлоград, едем дальше все вперед и сегодня же получил почт. откр. от жены.

Четверг 7 мая 1942. Всю ночь добирались пешим ходом к фронту. Господин капитан приказали мне идти впереди колонны для безопасности, а до фронта осталось 18 км. Стоим в селе Варваровка 2. (*Не будь этой двойки — можно было бы подумать, что они двигаются по кругу.*)

Пятница 8 мая 1942. Утром, не доехав 12 км до фронта, встретил Неду М. Петраке из Прясны. Сегодня же выдали нам трубочного табаку, папиросы и сигару... Сейчас 5 часов пополудни, готовимся в

[1] Николае Григореску (1838 — 1907) — художник-реалист, бытописатель румынской деревни.

путь поближе к фронту, всю ночь, пока шли, слышали пушечную пальбу.

Суббота 9 мая 1942. Сегодня, то есть в ночь с 9 на 10 мая, придется пройти еще 12 км к фронту. Отправление в полночь, а теперь, когда пишу, вся земелюшка дрожит от пушечных залпов. Ночью то и дело пускают ракеты, землю освещают. Сегодня улегся после 12, приснилось, будто поругался с Тикуцэ и Дадой за то, что вошли в дом и все в нем переворошили. И тогда же привиделось, будто женился я на Бурдулевой Сице, затем что она девка на выданье. А Рэдица моя вроде бы померла, и я вдовый, сохрани нас боже от такой напасти. Писано в селе Алексеевка по прибытии туда в день 10 мая.

Воскресенье 10 мая 1942. 50 дней пробегли как один, а мы только добрались до места, где будем хлеб выпекать. Сегодня 10 мая мы находимся в 12 км от последних позиций антилерии, пушки так гудят, аж земелюшка дрожит. Спим в палатках, на дворе холод собачий — руки зябнут.

Понедельник 11 мая 1942. Село, куда мы прибыли, чтоб выпекать хлеб для солдат 4 Дивизии, называется Олессинка — в 12 км от линии фронта.

Вторник 12 мая 1942. Утром — строевые занятия, после обеда достали дымоходы от печей, приладили их на случай выпечки хлеба, после чего нам выдали шиколад, кофе и по сигаре.

Среда 13 мая 1942. Наводили порядок, устраивали земляные грядцы, таскали дерн.

Четверг 14 мая 1942. Сегодня светлый праздник вознесения господа нашего Иисуса Христа, а нас, вместо того чтобы отдыхать, заставили опять работать, как в день 13 мая.

Пятница 15 мая 1942. Прошел год, как меня мобилизовали, и прошлой ночью, то есть с 14 на 15, я почти совсем не спал из-за налетов, от страха бежал в одном исподнем в поле, где лежали и остальные. Сегодня прилетел немецкий самолет и сел недалеко в поле. Говорят, почта. Нынче же в день 15 мая ввечеру встретил Рэдукану Г. Марина, и пока мы беседовали, Русская Антилерия такое выделывала — земля гудела.

Суббота 16 мая 1942. Недалеко от нас бомбила Русская Авиацыя, досталось и антилерийским частям.

Воскресенье 17 мая 1942. Ночь прошла спокойно, а утром опять заговорила Русская Антилерия, правда и наши отвечали.

Понедельник 18 мая 1942. Сегодня пилили дрова, в это время проехали машины с ранеными из 5 Драбантского [1] и 20 Драбантского, а также 3 Кавалерийского полка. *(Потрясение, испытанное капралом, осознавшим одновременность двух почти несовместимых действий, передано здесь с удивительной сдержанностью. Как же могло случиться — хотелось ему, наверное, спросить,— что в то время, как я тут во дворе мирно пилю дрова, мои братья из этих, столь звучно названных полков отправляются в тыл, втиснутые в немецкие грузовики, и криком кричат от боли? Но он не имел права ничему удивляться. Иначе — смерть. Интересно все же, для кого писал этот капрал свой дневник? Рассчитывал ли он на определенного читателя?)*

Вторник 19 мая 1942. На нашем участке покойно (!), только едут да едут грузовики, полнехоньки ранеными из 7 Саперного и 5 Драбантского. *(Я по-прежнему убежден, что немногословность и сдержанность записей о столь волнующих, в сущности, фактах, вызваны не самоцензурой, а смутным страхом.)*

Среда 20 мая 1942. В 12 ч., должно, пошла в наступление 4 Дивизия, потому как без умолку молотит антилерия. Сегодня в 4 часа дня моему Ионикэ минет 8 годков. *(Я склонен думать, что капрал Г. П., окончивший всего лишь пять классов начальной школы, владеет*

[1] Драбанты — род пехотных войск.

высоким искусством риторики. Мог бы он иначе поставить рядом два подобных предложения?)

Четверг 21 мая 1942. Сегодня на нашу долю выпали трудные испытания *(эту фразу он от кого-то, конечно, услышал, но вот какое у нее получилось продолжение)*, как бы не пришлось нам дать деру, противник нас почти окружил, а мы все чего-то ждем. *(В чем же причина таящейся здесь драматичности? — мог бы спросить аналитик. В этом соседстве «заимствованной» фразы и выражения прямого, хотя и сдержанного ужаса? В этом «все чего-то ждем»? Или в наших исторических познаниях? Ведь нам хорошо известно, что в том 1942 году человечество поставило на карту все.*

Вызвана ли эта драматичность нашим сегодняшним отношением к этим фактам? Тем, что мы знаем, что нашим великолепным Кавалеристам и Драбантам, Саперам и Делателям Хлеба приходилось играть краплеными картами? Или мы просто обеспокоены судьбой капрала Г. П., ибо еще не знаем, кончится ли его дневник через день или через год?)

Пятница 22 мая 942. Весь день пилили дрова для печей.

Суббота 23 мая 942. Приготовились к выпечке хлеба, растопили печи.

Воскресенье 24 мая 942. Сегодня 24 мая начали выпекать хлеб, добрый белый, как снег, хлеб. *(И кто это додумался сделать из Г. П. воителя?)*

Понедельник и вторник 25 и 26 мая. Все время выпекали хлеб, из 6 Корпуса и 4 Девизии приезжали машины за продукцией.

Среда 27 мая 1942. Опять же делаем хлеб, я — в ночной смене. Сегодня хлынул дождь и застал меня при корыте с бельем. *(Итак, капрал Г. П., точно рачительная хозяйка, выпекал хлеб и стирал белье в степи недалеко от Буга. Только вот беда — порой лили дожди и ненастье заставало капрала у корыта с бельем.)*

Четверг 28 мая 1942. Опять же пекли хлеб, а как кончилась смена, залез в палатку, где пролежал до 12 ч., а после отправился на выгон и там во сне увидел Матушку — будто она лежала в постели, а потом показался и шурин Панаит, а под конец привиделся пожар у крестного, горел камыш и скирда соломы, и он перебрался к господину учителю, да и там все полыхало.

Пятница 29 мая 1942. Сегодня выпечка прекратилась, завтра отправляемся ближе к фронту.

Суббота 30 мая. Воскресенье 31 мая и понедельник 1 июня 1942. За означенные дни прошли 100 км через Лозовую, маленький городишко, а какие деревни, не упомнил названий. По дороге видели разбитую немецкую технику, убитых немецких коней со всей сбруей, на обочине взрывчатку, а на дорожном повороте место, где бомба угодила в машину, раскидало ее на мелкие части, а воронка такая — телега влезет. В городе Лозовая видели дома, прошитые пулеметными очередями. В понедельник 1 июня добрались до Барвенкова, в 12 часов ночи стояла полная и светлая луна *(как в стихотворениях Болинтиняну[1] о Михае-князе)*. Нарвал травы, постелил и заснул, а на второй день 2 июня накрыли палатками печи и приготовились выпекать хлеб. На дороге мы видели венгерские и итальянские части, с итальянцами заговорил, оказалось, много понятных слов, похожих на наши.

Среда 3 июня. Сегодня стирали белье, выдали новые рубашки, старые совсем истрепались. Говорят, в лесу на берегу Донца русские части, их оттуда никак не могут вытеснить, разве что лес поджечь. Пишу вечером, а по шоссе идут десятки и сотни немецких танков, они из Крыма — на фронт. Водители, то есть танкисты, в голубых формах с черными пилотками и в очках. Находимся в селе Барвенково, маленьком городишке, где я нашел фаянсовую чернильницу.

[1] Димитрие Болинтиняну (1819—1872) — поэт, автор многих поэтических легенд, посвященных истории Румынии.

Четверг 4 июня 1942. Сегодня заступил в дневную смену по выпечке хлеба. После 12 часов пошел ливень, густой, будто дымная стена, здорово подмочил мешки с хлебом и мукой.

Пятница 5 июня 1942. Опять же выпекали хлеб, а после обеда пришла баришна, по-нашему Домнишоара, будет работать с нами. Пока я пишу, налетели два самолета, сбросили бомбы.

Суббота 6 июня 1942. Ничего нового, кроме выпечки хлеба, а как только кончилась смена, пошел к лагерю военнопленных, обменял кусок хлеба на ремешок.

Воскресенье 7 июня 1942. Дождь и бешеный ветер. После обеда вдруг налетели пять английских самолетов. Зенитки стреляли во всю мочь, но ни одного не сбили.

Понедельник 8 июня 1942. Сегодня, как и вчера, холодный дождь и сильный ветер, стужа такая, что стынут руки, всю ночь дрожмя дрожал.

Вторник 9 июня 1942. Опять сегодня пожаловали самолеты, покружили, но бомб не скинули. Зенитная антилерия стреляла по ним, они и улетели. Потом во второй раз прилетели, бомбили, а наша антилерия сбила два самолета, я сам видел место, где они упали.

Среда 10 июня 1942. Всю ночь с 9 на 10 шла бомбежка, досталось вокзалу, на путях стояли вагоны с бочками бензина, те враз заполыхали. Сказывают, ихний генерал Тимошенко собрал большое войско, налаживался наступать, а его потеснили. С 1 по 10 июня будто захватили в одном лесу много танков, машин, пушек и разного рода оружие и боеприпасы.

11 и 12 июня 1942. Оба дня были покойные, занимались только выпечкой хлеба.

13, 14 и 15 июня 1942. И эти три дня выпекали хлеб, было тихо, самолеты не летали.

Вторник 16 июня 1942. В ночь с 15 на 16 в час полуночи стал накрапывать дождь, но молнии полыхали во все небо. Случайно угодило в одну избу, та сразу сгорела со всеми людьми. Видел своими глазами, страшно до жути. *(Конечно, капрал вкладывал в слова «случайно», «страшно до жути» свой особый смысл. Впрочем, смысл вполне понятный.)*

(7 февраля 1977 года, четверг.

Узнал случайно от племянника капрала, который учится в восьмом классе, что Г. П. захворал и госпитализирован в Ф. для обследования. Он пытался бросить курение, и это, кажется, не пошло ему на пользу. Надо будет проведать его.)

Среда 17 июня 1942. Занимались только выпечкой хлеба, на фронте тишина, противник не атаковал.

Четверг 18, пятница 19 и Суббота 20 июня. Выпечка хлеба проводилась спокойно, налетов не было. Немцы заняты тем, что вывозят захваченную добычу — пушки, пулеметы, ручн. пулеметы, минометы разного калибра, винтовки, телефонный кабель и поношенную обувь.

КАК И В ПРЕЖНИЕ ДНИ ТИШИНА И ВЫПЕЧКА ХЛЕБА. *(ЛУЧШАЯ ПОЭМА В ЧЕСТЬ ДНЯ 21 ИЮНЯ 1942 г.)*

Понедельник 22 июня 1942. Сегодня в понедельник 22 июня весь день летали к фронту трехмоторные самолеты, там большой лес, деревья с метр в обхвате, а то и больше, и лес тот будто окружен румынской армией, а фронт обошел лес и двинулся дальше, на восток, через Дон.

Вторник 23 июня 1942. Сегодня привезли около 300 раненых в госпитали города Барвенкова из 20 Драбантского и тоже из 21 пех. и 5 Драбантского полка.

Среда 24 июня 1942. В ночь с 23 на 24 около 10 часов опять налетели самолеты, шарахнули три бомбы недалеко от нас, где мы стоим

с хлебозаводом. Я в то время стоял смену, выпекал хлеб и маленько было вздремнул, а тут сразу вскочил, не знал, куда деться, со страху лег и прижался к земле.

Четверг 25, Пятница 26 и Суббота 27 июня 1942.

В общем, спокойно, только ночью кружили самолеты противника.

Воскресенье 28 июня 1942. В этом городке Барвенкове мы выпекали хлеб с 3 по вторник 30 июня, после чего, дескать, поедем вперед к реке Донец.

Понедельник 29 июня 1942. И в эту ночь с 29 на 30 Июня около 10 часов вечера прилетел самолет и шарахнул 3 зажигалки, но ничего не поджег.

Вторник 30 июня 1942. Работа прекращена, материальную часть погрузили и в 6 ч после обеда отправление в село Лузум все ближе к фронту на реке Донец.

Среда 1 июля 1942. Едем на северо-восток, все к фронту. Из Барвенкова отправились вечером 30 июня в 6 часов вечера. Как прежде на дорогах видели покореженные машины, танки, тракторы, здоровенные пушки, всю ночь шли пехом и далеко видать был фронт, как горели ракеты и из самолетов сыпались бомбы. Шоссе строено не из камня, а из мела, и утром мы, пройдя 30 км, прибыли в деревню. Весь день таились в перелесках. Вечером в 6 часов опять двинулись в путь все в том же направлении на Северо-восток, до деревни Лузум осталось 14 км. При подходе к деревне Лузум увидели на краю русские дзоты и еще прошли немного и увидели 6 разбитых танков. Спустились к селу и переправились через Донец по новому мосту, что навели немцы, и расположились в саду в 1500 м от деревни, где и начали выпечку хлеба. Всю дорогу проделали, только ночью боялись налетов Русской Авиации.

Пятница 3 июля 1942. С этого дня маюсь животом и в субботу 4 июля и в воскресенье 5 июля понос. В остальном тихо, только 4-го самолет шарахнул 6 бомб, правда далеко — 1000 м от нас.

Понедельник 6 июля 1942. День и ночь производили выпечку, стоим около жел-дорожного моста. Немцы работают круглые сутки, ночью при свете электрических ламп, а когда налетают самолеты, гасят свет и драпают в укрытие. У немцев паровой двигатель — он вбивает сваи в землю и автоматическим молотом заклепывает их.

Вторник 7 июля. В означенный день заглянул ко мне серж. 21 Пехотного Бухарестского полка, дал ему две буханки. Сказывал он, будто капит. Тоне Марин из Пырлиты убит, хотел захватить два русских дота и по оплошке угодил под перекрестный пулеметный огонь — разнесло в клочья.

Среда 8 июля.

(Мы подходим к концу первой из тех трех тетрадей, с которыми капрал Г. П. по прозванию «Простота» позволил мне недавно ознакомиться. Начиная с первых страниц серии книг «Наши воины» и до сегодняшнего дня, мы немало успели узнать о храбрости румынского солдата. И все же читающий этот дневник не может не задаваться вопросом: откуда у этого капрала Г. П. столько героизма? Слыхано ли дело! Дойти почти до самого Сталинграда и все это время жаловаться на качество пищи и прочие мелочи жизни, день-деньской только выискивать недостатки, отделаться царапиной на ноге, и то наткнувшись по недосмотру на гранату в тот самый момент, когда он «следовал в клозет», отделаться вывихом ноги из-за неудачного прыжка с телеги — и это на войне, унесшей миллионы жизней. А он все бубнит по поводу дурной пищи... Это же черт знает что! Но с другой стороны, задайтесь вопросом, который некогда выразил поэт: «Что нужно было тем войскам?» — и лишь тогда героизм, проявленный капралом румынской армии по прозванию «Простота», начальником печи походного хлебозавода № 4 в 4-й дивизии, предстанет в

своем истинном виде. На первый взгляд может показаться, что героизм этот «опрокинут вверх ногами», что он больше походит на свою противоположность. Но это только потому, что причина предстает в искаженном свете. Мы ведь прекрасно осведомлены, во имя чего шли на подвиг Пенеш-Куркан и девять его воинов из васлуйской земли, которых «с сержантом десять было» [1], *а также Еремия Григореску и его солдаты на поле Мэрэшешть, или жертвы расправы в Мойсей, застывшие на века с высоко поднятыми головами на памятнике скульптора Гезы Виды*[2]. *Но мы ничего не знаем о том, что нужно было капралу Г. П. по прозванию «Простота» (из деревни Г., уезда Ильфов) на берегах Дона, когда дома у него дел было невпроворот, и уж тем более не знаем, чего ради он должен был там сражаться. Итак, раз сама причина, как диалектика Гегеля, поставлена с ног на голову, то и мы не должны удивляться тому, что и следствие выглядит таким же образом. ПО ТОМУ, ЧТО ОН ДЕЛАЛ, И ПО ТОМУ, ЧЕГО ОН НЕ ДЕЛАЛ, Г. П. БЫЛ ТОЖЕ ГЕРОЕМ.)*

В ночь с 7 на 8 июля опять налетели самолеты и бросали ракеты, чтоб нас выследить, но бомб не кидали.

Четверг 9 июля 1942. Выпекаем хлеб, день спокойный, без налетов.

Пятница 10 июля 1942. Из города Изюма переезжаем в село Первомайское. Всего три дня пути, а у переправы через Донец я искупался. Над рекой стоит деревня Тарбурестово, тут гремели самые жестокие бои, где сложил голову и Дуцэ М. Ион из Прясны, сынок Марина Дуцэ. За деревней большой еловый бор длиною в 40 км и шириной в 16 км, там тоже были кровавые бои. В тех местах зыбучие пески, особенно в лесу, ступи́шь — нога по самую щиколотку утопает. Каково тут перетаскивать продукты и амуницию!

(Четверг 17 марта 1977 года. Г. П. выздоровел. С завтрашнего дня собирается выйти на работу. Он трудится поденно на строительстве подъездных путей в Г. Будучи кооператором-пенсионером, он имеет на это право. «Мог ли я предположить, господин учитель, что доживу до сегодняшних дней? Что и в наводнении не утопну, и недавнее землетрясение меня обойдет?»[3] *Затем он поведал мне, что крепко хворал, «дохнуть невмочь было», потому как пил зимой студеное вино и повредил себе «гортань». По всему видно, в каком-то смысле капрал Г. П. чуточку бессмертен.*

Первая из трех тетрадей завершается перечнем предметов «вверенного каждой единице обмундирования». Но так как это не таинственная «рукопись, найденная в бутылке» и не простой дорожный или фронтовой дневник, я буду с читателем искренен до конца и открою ему последнюю запись в третьей тетради. Ибо Г. П. сумел в той всеобщей панике, какая охватила в 1944 г. отступавшие части, добраться до Бухареста и предстать перед начальством своего полка.)

Суббота 3 августа 1944. Сегодня — проверка оружия. У меня его не приняли по причине загрязненности.

(Оказывается, до этой даты ни единая пуля не вылетела из ствола винтовки капрала Г. П.)

Воскресенье 8 мая 1977 г.

Сперва он шагает берегом равнинной, широкой и спокойной реки, потом поднимается на пологий холм, удаляясь от берега, пересекает только что засеянное поле, доходит до опушки леса в Головне. Воскресная послеполуденная пора. Он набивает, словно ватой, уши особого рода тишиной (птичьим пением, легким шелестом ветерка

[1] Имеются в виду герои освободительной войны 1877 г., воспетые В. Александри (1821—1890) в стихотворении «Пенеш-Куркан».

[2] Скульптор Геза Вида посвятил ансамбль деревянных скульптур крестьянам села Мойсей, расстрелянным фашистами в 1944 г.

[3] Имеются в виду катастрофические наводнения 1971 г. и последующих годов и землетрясение 1977 г.

в новорожденной зелени, легким треском и шорохом сухих веток и палой листвы под ногами). Начало мая в старой равнинной роще. Слова «тропка», «высокие травы», «поляна», «птицы», разумеется, тут бесполезны, бессильны, никчемны в мире этих форм, красок, просторов, колебаний воздушной волны и ощущений неразрывной связи своего тела с ними. В том, как взор не хочет оторваться от тонкой струи воды, как ухо жадно ловит звон ее, а губы пьют, нет ничего общего с абстрактным содержанием понятия времени. Все это правильнее было бы назвать сном, но ведь уединение прекрасно обходится без слов, их и так чересчур много для наших потребностей.

А уж о светлом возвышающем аромате гроздьев этих цветов, облепленных жужжащими насекомыми, из тех, которых мы заставляем работать на себя, лучше и вовсе помолчать. Да не раздастся суетное слово!

Итак, он возвращается той же дорогой (прошло три часа, если в подобные минуты время может что-нибудь значить), с трудом оторвавшись от лесной опушки, как от подлинника Андрееску[1]*, пересекает поле, спускается пологим косогором, вода — на этот раз обильная — снова приковывает взор. Дорога безропотно подчиняется мерному шагу, вдали появляются еле различимые очертания жилищ—стало быть, деревня близка,— а с ними возникает и целый ворох слов, возвращающих себе узурпированные на время права.*

Он входит в свой сад, затем в хату, в комнату, где телевизор торжественно беседует с полутенью. Никого нет. Слух по-прежнему замкнут, взгляд сохранил неподвижность, губы, язык, горло еще не расстались с родником. Аромат жужжащих гроздьев, их белый цвет, возвышенная чистота которого многократно усилена соседством с островками зелени, вкус меда — все это обретает все большую прочность. Но экран разрушает ее, он вспыхивает, мерцает, превращая темноту в фиолетовое свечение.

Комната постепенно наполняется людьми, сегодня воскресенье 8 мая 1977 года, в программе — несколько футбольных матчей. Стук игральных костей, звяканье стаканов, красное, очень недурное винцо. Ожидание. Экран медленно колышет свою подвижную, черно-белую пряжу, сыплет пригоршнями слова, которые мы пытаемся не слышать. Дядя обращается к племяннику:

— Ну что, парень, перекопал виноградник? У меня всего-то ряд и остался. Завтра перелопачу.

— Так завтра же 9 мая,— шутит племянник. (Будто 9 мая нельзя перелопачивать виноградник.)

Собеседник принимает шутку, смеется.

— М-да, пасха. А вот тогда и в самом деле была пасха.

— Это в сорок пятом?

— Ага.— И удобнее усаживается: началась трансляция со стадиона.

Рев трибун, стремительная скороговорка комментатора обретают такую мощь, что того и гляди разнесут эту замкнутость слуха, приятную неподвижность взора, прохладу на губах и даже аромат цветущей бузины, еще сохранившийся в ноздрях...

Тогда в сорок пятом мы только что миновали чешское село Веселы. В следующей деревне устроили ночлег в сарае. (Ну вот, теперь уж чувствам некуда деться от этого шума, мелькания картин, надежд и разочарований спорта.) Наше отделение, которым командовал капрал Николае, спало тогда в сарае жителя К.

...Утро, колодезь во дворе чеха, баклага, холодная вода, треск мотоцикла, остановившегося рядом с часовым... Эй, солдат, где у вас тут штаб 9-го егерского? Третий дом, а в чем дело?.. А в том, что Германия капитулировала, только ты помалкивай, приказа еще не

[1] Иоан Андрееску (1850—1882) — румынский художник.

было. Тут в сарай входит капрал Николае: подъем, сейчас поступит приказ о наступлении, смирно!— уж они-то знали, что такое приказ о наступлении, вчера еле продрались через деревню Веселы — одеться! умыться! — немцы вон там за тем лесом, стройсь! И младший лейтенант...

(Наши открыли счет, радость-то какая, звон стаканов, громкоговоритель доносит до нас обрывки шторма на трибунах, да имеет ли хоть какое-нибудь отношение эта «невинная» агрессия к нашим измученным чувствам, к их такому хрупкому равновесию?)

...Так вот какое дело, ребята (мы-то уже кое-что успели узнать от капрала, но делаем вид, что ничего не знаем), война окончилась... ураааа, ааа... ааа... все небо в летящих флягах, а мы получили приказ обшарить тот лес, что впереди, только без единого выстрела.

(В матче перерыв, выходим на завалинку покурить.

Тропки, поляны, высокие травы, птицы, родники и одуряющий запах цветов бузины.)

...За лесом — высокая насыпь шоссе, бросок через насыпь, впереееед! перебегает один лишь паренек с ручным пулеметом, а на той стороне немец приказывает ему по-румынски (скажи, пожалуйста, научились-таки говорить по-румынски!): СТОЯТЬ! Ни одного выстрела, паренька того я больше не видал, а мы 23 июля ушли из Чехословакии, неужто в плен угодил в последний день войны? Уж такая, видать, ему планида выпала на третий день пасхи...

Интересно, цветет ли в начале мая бузина в тех лесах за чешским селом Веселы?

■

АДРИАН МИТЧЕЛ

Перевод с английского А. КАЗАРНОВСКОГО

Путеводитель по Англии

£ Добро пожаловать в Англию!
Англия — счастливая страна.

£ Вот счастливый английский бизнесмен.
Деньги он ненавидит. Он их тратит
На библии для жителей Камбоджи.
И на кампанию в защиту
Индийских кобр.

£ Сейчас, к сожалению, не видно
Счастливых английских шахтеров.
Но — вслушайтесь! — глубоко под землей
Они распевают валлийские гимны.
Жаль, как раз перестали петь.

£ Это вовсе не Франциск Ассизский,
А счастливый полисмен английский.

£ А вот счастливый английский цветной.
Нет, цветным у нас быть разрешается.
Пока что.

£ Перед вами трущобы. Достопримечательность
Для туристов. Охраняется государством.
А вот и счастливый житель трущоб.
Привет, житель трущоб!
Извините, его ответ
Очень трудно перевести.

£ А это счастливые английские школьники.
Знакомьтесь: Джон, Сьюзи, Майк.
Они готовятся к экзаменам.
Готовьтесь, детки, учитесь!
Джон получит высшее образование,
Дом высшей категории,
Жену высшего сорта,
Работу с высоким окладом.

© by Adrian Mitchell, 1975.

Сьюзи получит среднее образование,
Работу, дающую средний достаток,
Мужа среднего качества,
Средних размеров квартиру.
Майк ничего не получит.

£ А вот счастливые английские солдаты.
Скоро они осчастливят ирландцев.

£ Нет, поймите нас правильно.
Мы знаем ирландскую душу.
Сотни лет уже наши солдаты
Ее изучают.

£ Сначала мы убеждали ирландцев
Религией, голодом и оружием.
Увы, они ужасно тупые.

£ Потом мы пытались их вразумить
Сладкими речами, безработицей, нищетой.
Они стали молчаливыми, мрачными, злыми.

£ Теперь мы пытаемся их воспитать
Дубинками, резиновыми пулями,
Стальными пулями, концлагерями,
Пытками. Мы хотим обучить их
Жить так же счастливо, как и мы.

£ Пожалуйста, поймите нас правильно.
А когда вашему государству придется
Воспитывать теми же методами
Чужой народ или собственных граждан,
И мы вас попытаемся понять.

Предки

У нас был остров.
Мы были племя плясунов. Островитяне.
Краснолицы, волосаты.
Хорошо быть волосатым,
Хорошо быть волосатым,
Теплый ветер, теплый ветер
Наши волосы колышет.
Хорошо быть волосатым,
Хорошо быть волосатым.
Лишь одно на свете лучше —
Это быть пернатым.
Такой гимн
Был у нашего волосатого племени —
Племени огнеглотателей, песнераспевателей,
сказосказителей, драконогубителей.

Каждый уик-энд на нас кто-нибудь нападал.
Римляне. Викинги. Кельты. Огнем и мечом
Нас побеждали, но сокрушить не могли.
В промежутках между нашествиями
Мы растили ячмень и пшеницу
И выгоняли на пастбища скот.

Когда холода наступали, мы уходили на юг,
Когда засуха наступала, мы уходили на запад,
Когда враги наступали, мы жгли урожай.

Но явились новые завоеватели,
Тоже с огнем и с мечом, но с иною хваткой.
Они перебили наших воинов,
Оставшихся выстроили в шеренги,
А затем были речи о законе и о порядке,
О власти строгой, но справедливой.
Что же это за власть?
Очень просто. Берется остров
И бритвой закона и порядка
Его аккуратно рассекают на куски.
Большие сочные куски —
Большим богатым людям.
Куски поменьше, попостнее
(Пять акров, пять спален, две гостиных, стоянка для яхты) —
Маленьким людям, но тоже богатым.
А у кого ничего нет,
Тот ничего и не получит.

Хитро? Но те, кто ничего не имел,
Не желали стоять и смотреть, как их остров
Режут на десять тысяч кусков.
Они упирались, наши предки,
Наши волосатые дикие предки.
Кто-то решился выступить против.
Кто-то решился дать сдачи.
Их самих рассекла гигантская бритва.

А теперь, чтобы удержать землю,
Украденную у племени,
Богатым редко приходится нас убивать —
Колючая проволока; частное владение, охраняется собаками;
Шерифы; полиция; служба безопасности; суды; тюрьмы —
Темные тюрьмы, где истлевают тела и разум тускнеет,
Где не слышно эха юных лет нашей Британии —
Острова, рассеченного бритвой.
И уже не нужны ни меч, ни огонь. Дикарей приручили.
А наш остров,
Наш сумасшедший, зеленый, нежный, грубый, чудесный дом,
Со всех сторон окруженный рыбой, —
Его у нас отобрали.
То был кровавый грабеж.
Но все это стало Историей, а Историю пишут о мертвых.
Значит, мертво наше племя? Умерло наше племя?
Племени больше нет?

Разделяй и властвуй, пока можешь

Глазго. Демонстрация тред-юнионов.
Рабочие маршируют через площадь
К зданию муниципалитета.

Полиция. Полиция. Полиция.

А на улицах, выходящих на площадь, —
Шотландские солдаты.
Двуногие ружья.
Грянет приказ, и — пли по толпе!

А позади шотландских солдат —
Английские солдаты.
Двуногие ружья.
Если шотландцы откажутся стрелять,
Грянет приказ,
И — пли по шотландцам!

Давно это было — к чему ворошить?
К чему вспоминать о том, что будет...

Десять способов отказать соседу, который просит одолжить ему тачку

1. ПАТРИОТИЧЕСКИЙ

Можно попросить у вас тачку?
Не для того мы кровь на войне проливали,
чтобы я вам одалживал тачки.

2. СНОБИСТСКИЙ

Можно попросить у вас тачку?
К сожалению, она уже обещана
самому лорду Гудмэну.

3. ВЫСОКОМЕРНЫЙ

Можно попросить у вас тачку?
Я не могу доверить постороннему
Такое чудо техники, как моя тачка.

4. БЛАГОЧЕСТИВЫЙ

Можно попросить у вас тачку?
Увы! Моя тачка используется
исключительно для богослужений.

5. МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ

Можно попросить у вас тачку?
Да я лучше брошусь под эту тачку
и отвезу себя в ней на кладбище.

6. ПАТЕТИЧЕСКИЙ

Можно попросить у вас тачку?
Я погибаю от шизофрении,
а у тебя на уме одни тачки.

7. ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ

Можно попросить у вас тачку?
Что у меня — тачечная фабрика?

8. ЗЛОВЕЩИЙ

Можно попросить у вас тачку?
Тсс... она вся в крови.

9. РАЗВРАТНЫЙ

Можно попросить у вас тачку?
Сначала я пересплю в ней с твоей женой.

10. ФИЛОСОФСКИЙ

Можно попросить у вас тачку?
А что есть тачка?

Волшебное средство от дурного часа

Раскройте ладонь
Положите на середину ладони
Все дурные минуты

Медленно согните пальцы
Держите дурные минуты в горсти

Медленно вращайте кистью руки
Медленно
Поднесите ее к глазам

Медленно вращайте кистью руки
Медленно
Поднесите ее к губам

Медленно
Сжимайте пальцы
Медленно
Сжимайте кулак

Стисните кулак еще крепче
Все дурные минуты — внутри
Стисните кулак еще крепче
Горести исчезают

Медленно медленно
Разожмите пальцы
Ваша ладонь пуста

Положите руку на руку
Ладонью вверх

Вглядитесь в вашу ладонь
Вглядитесь пристальней в вашу ладонь

Ваша ладонь полна
Ваша ладонь полна
Ваша ладонь полна
Жизни

Волшебное средство продлить прекрасное мгновение

С любимым вместе выйдите из дома
С любимым вместе захлебнитесь майским солнцем
С любимым вместе подойдите к озеру

Все ваше прошлое — лишь камушек прибрежный
С размаху киньте этот камушек
Пускай поскачет по воде

Все ваше будущее — камушек прибрежный
С размаху киньте этот камушек
Пускай поскачет по воде

Ложитесь на траву к воде поближе
Ложитесь на траву к любимому поближе
Ложитесь на траву к воде поближе
Ложитесь на траву к любимому поближе.

■

ХЕЛЬГА КЁНИГСДОРФ

Рассказы

Перевод с немецкого И. КАРИНЦЕВОЙ

Честное слово — больше никогда никаких стихов

Настоящим довожу до сведения всех, кто интересовался, безотносительно того, какими бы мотивами, понятиями или слухами они ни руководствовались: у меня пока все в порядке. Однако прошу нижеследующее сообщение, в котором честно и самокритично изложу, как стала сбиваться с пути истинного, считать доверительным.

Дата, когда все началось, известна довольно точно. Но должна с сожалением признать, что о причине и поводе мне сказать почти нечего.

В то пасмурное апрельское утро — не сомневаюсь, что шел дождь,— у меня внезапно возникла твердая уверенность: я в одночасье стала поэтом. В остальном ничего не изменилось. Роберт лежал рядом и, демонстрируя твердое намерение пока никаких связей с внешним миром не устанавливать, натянул на голову перину, задрав ноги вверх.

Мое открытие меня ничуть не обрадовало. До сего часа я не замечала у себя ни малейшей склонности к героизму. Скорее уж я была робкого десятка. Но мои попытки воспротивиться этому оказались бессмысленными. Я была избрана против собственной воли, во сне сменила, подобно змее, кожу. У меня было такое чувство, словно кто-то посторонний завладел мною и неудержимо вытесняет мое ясномыслящее «я». За завтраком моя новая сущность уже вполне сформировалась. Роберт, помешивая кофе, глубокомысленно заметил:

— Делай как хочешь.

Ответ, типичный для Роберта. Он, разумеется, знал, что я все равно сделаю, как хочу.

Наш сын, ярко выраженный продукт единодушного воспитания, сидел тут же, навострив уши и глядя на нас в оба глаза, точно маленький зверек, и поливал медом разогретую булочку.

— Слушай,— вмешался мальчишка в наш разговор, причем голос его то взлетал тонким дискантом вверх, то падал до низкого ворчанья.— Слушай, зачем тебе это? Не можешь, что ли, чем полезным заняться?

Я оказалась в дурацком положении. Все-таки я руководила бригадой социалистического труда, и от меня можно было ожидать благоразумия, а не глупой выходки, характерной для переходного возраста. Мой образ жизни до того апрельского утра был по всем статьям образцовым.

© Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, 1982.

Внешне казалось, что и в этот день все было как всегда. Незастеленные постели. Грязная посуда. Из ванной слышно, как Роберт полощет горло. Стремительно бежит время. И вместе с тем все было иначе. Недоспав ночью в духоте новостройки и проснувшись утром поэтом, я не в силах была делать вид, будто ничего не случилось и считать нормальным, что чувства свои я подавляю привычками. Известную неуравновешенность моего душевного состояния нельзя было не заметить. Искра мятежа тлела в моей душе.

Но так как я не была ни покойницей, ни иностранкой, то меня ожидало трудное начало. Чтобы меня читали и печатали, мне нужно было что-то, против чего, и что-то, за что я бы выступала в своих стихах. Позже, в зените моей поэтической карьеры, меня часто спрашивали, к чему я стремлюсь. Не стремись я ни к чему, обо мне могло бы создаться очень плохое впечатление, поэтому я всегда говорила в ответ много умных слов. Но в начале моей поэтической жизни я ни о чем таком не думала. Задумайся я над этим, так, наверное, никогда не стала бы поэтом. Я подала бы какую-нибудь заявку, выступала бы на собраниях, развелась бы, короче говоря, использовала бы одну из возможностей, какие предоставляются нормальному человеку, который к чему-нибудь горячо стремится.

Чем дольше я размышляю, тем более приемлемой кажется мне гипотеза, что мое внезапное вынужденное стихотворчество связано с долголетним умственным воздержанием. В один прекрасный день подсознание открывает свои шлюзы и вопросы, успешно подавляемые до поры до времени, пробивают себе дорогу. Довольно-таки растерянная, стояла я сама с собой рядом.

Правда, и прежде всего собственная, внутренняя правда,— вещь сложная. Мы носим ее в себе как осадочную породу. За каждым пластом следует новый, а в самом низу правда эта делается уже не очень приятной. Поэтому, может быть, и не имеет смысла рассказывать о самой себе всю подноготную. И потомкам надо дать возможность истолковывать нас с точки зрения собственных проблем.

Месяцы, последующие за тем апрельским утром, кажутся мне в моих воспоминаниях временем счастливым, полным кипучей деятельности. Стихи словно лились из неисчерпаемого источника. Каждого, кто хотел слушать, и каждого, кто слушать не хотел, я осчастливливала своей декламацией. На вечеринках я сидела, замкнувшись в себе. Обычный треп о житье-бытье, о всяких казусах меня больше не интересовал. Я ждала, когда меня попросят прочесть что-нибудь новенькое. Тут я расцветала, ощущала прилив сил, чувствовала себя замечательно. На моих плечах грузом тяжким и вместе с тем легким покоился космос. Когда я видела, как с лиц моих слушателей исчезает напряженность, как они смягчаются или как в них проступает новая черта — раздумчивая решительность, мое внутреннее неприятие собственного поэтического бытия исчезало.

Только сын никогда меня не слушал.

— Я в эти игры не играю,— говорил умный мальчик.

Большинство знакомых находили меня чуть смешной. В то же время они считали, что мне за мои профессиональные успехи можно простить известную долю чудачества. Как только они, поборов себя, пришли к этой точке зрения, мое сочинительство начало даже доставлять им удовольствие. Вот ведь обнаружил человек внезапно решимость поделиться с другими чем-то сокровенным, признавался в страстях, поражениях и страхах, о которых обычно не говорят. Вскоре, словно распространяя какую-то таинственную заразу, я со своими стихами уже была не одинока. Вокруг меня разразилась настоящая эпидемия стихосложения.

Но все сразу же изменилось, как только стало ясно, что я занялась поэзией всерьез.

Я написала балладу о некоем завотделом и поэму о моем страстном желании большой любви. Некоторое сходство в том и другом случае выявлялось только потому, что своего собственного завотделом я знала лучше всего, и еще потому, что я тогда влюблялась с молниеносной быстротой поочередно во всех окружающих мужчин.

Создав два этих поэтических творения, я заметно изменилась. Меня охватило какое-то странное беспокойство. По ночам я просыпалась вся в поту. Уже двадцать лет как я привыкла получать согласие моего зава на все, что бы я ни писала. Отвыкнуть от этого было не так-то просто. Когда Роберт показал мне в конце концов одно место в Кодексе законов о труде, которое прямо-таки обязывало меня сознаться во всем моему заву, я почувствовала огромное облегчение.

Завотделом побледнел. Я оказалась свидетелем одного из тех редчайших моментов, когда он не хотел бы быть завотделом. Он весьма нелестно отзывался о поэтах. Они были ему глубоко чужды. Он видел в них самодовольных, разболтанных людей, которые наверняка плохо кончат. Окружающие должны заботиться, чтобы их не втянуло в образующийся при этом водоворот. Вот почему он незамедлительно написал докладную директору. А так как наш директор был человек недалекого ума, то должно было пройти какое-то время, пока нашелся бы человек, который нес бы всю полноту ответственности за случившееся.

Я читала в душе завотделом как в открытой книге, и я сама восприняла бы подобное событие не иначе, если бы речь шла об одном из моих сотрудников.

Редакторша, которой я предложила оба стихотворения, пришла в восторг главным образом от моей любовной лирики. Подозреваю, что и у этой женщины в душе таились неосуществленные желания. Она положила мою рукопись на стол редактору с пометкой: «Лирика эмансипированной женщины», редактор, увидев пометку, с отвращением раздул ноздри и, не читая рукописи, начертал «согласен». Позже он, видимо, все же прочел рукопись, ибо редакторшу перевели в отдел «Несчастные случаи на транспорте», что нисколько не воспрепятствовало скорейшему распространению моих стихов.

О шумихе, которую подняла моя лирика, я так уж точно поведать не могу. До моего сведения дошла только вершина айсберга.

Как-то в воскресенье в конце лета мы с Робертом сидели за обедом. Он проглотил больше, чем обычно, желудочного препарата и вяло ковырял свою отбивную. Даже если у меня есть проблемы, начал он, он все-таки не считает возможным делать их достоянием гласности. Эту тему он крещендо варьировал, а под конец заявил форте: это же просто наглость — обременять людей своей неупорядоченной интимной жизнью.

— Но поэты всех времен именно это и делали,— защищалась я.

— Да, поэты! — заорал Роберт.— Но ты! Ты же моя жена!

Мы молча сидели друг против друга, зная, что думаем об одном и том же синхронно, как все те долгие годы, пока я не начала писать стихи. Поэты прошлых веков почти все были мужчины. Их жены могли либо выступать музами, либо должны были ограждать их от тривиальной повседневности. Справлялись они со своей задачей — так слабый отблеск славы падал и на них. Однако исторически сложившегося отношения к супругу поэтессы у нас нет, и я глубоко страдала, что не могла уберечь Роберта от этого позора.

Наш сын на собственном опыте убедился, что не играть в те или иные игры вовсе не означает не иметь к этим играм никакого отношения. Мнение учительницы немецкого языка и литературы, что истинные поэты — это совесть нации, очень и очень его взволновало. Сколько он ни ломал над этим голову, он не мог уяснить себе смысла ее слов и заподозрил в них скрытую угрозу.

Хуже всего пришлось моему заву. Он оказался между молотом и наковальней. Выразит он свой протест, так признается, что стихи его задели. Промолчит — ему поставят в вину, что он терпимо относится к моему рифмоплетству.

Множество завотделами на всех уровнях ему сочувствовали. В моих стихах они видели явное предательство.

Директор, напротив, ничуть его не жалел. Он заявил, что это же чистой воды похабщина, когда женщина, руководитель бригады социалистического труда, воображает себе руку мужчины, но не собственного мужа на всевозможных частях своего тела. То есть воображать себе она может что хочет, но говорить об этом не должна. Дельный завотделом обязан был это предотвратить. И хотя мой зав клялся, что невиновен, и требовал моего наказания, но повышение, которого он давно ждал, отложили. В этом увидел препятствие для своей карьеры прежде всего его заместитель.

Заместитель считал себя человеком, сведущим в искусстве. Он, заявил зам, не находит в моих стихах никаких конструктивных элементов. Занимаясь периферийными проблемами, я только отвлекаю читателей от необходимой нам повседневной полемики. В моих стихах нет ничего нового, и они вовсе не эстетичны. Обо всем этом можно прочесть у классиков, но у них сказано гораздо лучше.

Неожиданно к нам в гости нагрянули мои родственники из Мекленбурга и Тюрингии. Мы виделись редко. На праздниках совершеннолетия и на серебряных свадьбах. В промежутках они ремонтировали свои дома и покупали новые ковры.

Мой старший брат, инженер, человек с чувством собственного достоинства, часто замещал технического директора. Книги, стоящие в его стенке, он получил либо по случаю конфирмации, либо как награды. Он изредка брал их в руки, читал посвящения и растроганно ронял:

— Как бежит время!

Мой младший брат, агроном, вздыхал:

— Откуда же людям нашего круга взять на это время?

Он говорил «людям нашего круга» с явным оттенком гордости.

Мои братья были самыми работящими людьми, каких я знала, и я испытывала к ним глубокое уважение. Они церемонно сидели в моих креслах-вертушках, упираясь чуть коротковатыми руками в колени, и рассуждали о будущности своих детей. Признаюсь, прошло довольно много времени, прежде чем я поняла, какое все это имеет ко мне отношение и что будущность их детей ставится в прямую зависимость от меня.

— Скажи сама,— вздыхала моя невестка,— кто может себе позволить в анкете тетушку, пишущую стихи.

Меня стала мучить совесть, выходит, я создаю людям, мне близким, подобные трудности. Я испытывала какую-то гнетущую неуверенность. Кое-кто из знакомых вдруг перестал узнавать меня. Я все время ждала, что моя дружеская предупредительность встретит ледяную холодность. Завотделом, его заместитель и директор внимательно следили за мной. Они не скрывали своего подозрения, что я не выкладываюсь на работе. Я была уверена, что однажды они застукают меня на каком-нибудь упущении. Но внутренне я была непоколебимо тверда, я знала, что выбора у меня нет.

В те осенние месяцы я заинтересовалась поэтами прошлых веков и нашла кое-что утешительное в их судьбах. А если уж быть совсем честной, то я почувствовала себя в каком-то смысле даже счастливой. Мне казалось, что слабый отблеск ореола славы великих мучеников лежал и на мне.

Уважаемое издательство заключило со мной договор, согласно которому я, получив аванс, обязана была в течение года сдать еще сто девяносто восемь стихотворений в готовом для печати виде.

Договор этот в то же время позволял мне понять и кое-что весьма важное: дабы достигнуть, будучи поэтом, среднего жизненного уровня — хотя бы уровня руководителя бригады социалистического труда,— я должна ежедневно сочинять пять с половиной стихотворений. Я вспомнила, каких трудов стоили мне два моих первых поэтических творения, я вспомнила о натянутых отношениях с завотделом и о заявлении на развод, которое собирался подать Роберт. Всю ночь, не сомкнув глаз, я металась в постели.

Мне мало было этих бед, так я еще согласилась написать сценарий на современную тему для киностудии и для телевизионного спектакля. Известный литжурнал заказал мне поэму о приветливой почтальонше из соседнего дома.

И вот появились первые рецензии.

В моих стихотворениях — в балладе и поэме — я была уверена. Но такими уж замечательными я их не считала. Один отзыв начинался так: «Только что вышли в свет с огромным нетерпением ожидаемые любителями поэзии два первых стихотворения нового лирического сборника». А кончался он так: «Тем самым поэтесса устанавливает новые критерии для нашей поэзии».

Газеты я читала только с одной точки зрения — есть ли в них что-нибудь обо мне. Один из иллюстрированных журналов отразил мое становление как поэтессы в документах и фотографиях.

За два месяца я приняла участие в двадцати трех вечерах: чтение стихов, обсуждение. Выступив в семи радиопередачах, говорила о преисполняющей меня внутренней потребности писать стихи.

События, развиваясь подобным образом, повлияли и на мое окружение. Роберт при каждом удобном случае говорил о тяжком жребии быть супругом поэтессы. А директор даже хвастал с надлежащей осторожностью тем, что под его началом издавна поощрялись таланты во всех областях искусства. Но сын и завотделом все еще сохраняли сдержанность.

Сын опасался, что на уроках литературы им придется проходить мои стихи, из-за чего он перессорится со всеми своими друзьями. Завотделом настаивал на своих мрачных прогнозах и дал мне коварный совет — избрать героем следующей баллады нашего директора.

Однажды вечером я лежала на кушетке с рюмкой коньяка в руке. Я видела себя на экране телевизора: вместе с ведущим я сидела у камина, свободно и уверенно болтая о планах на будущее. Мне было нелегко отнестись к себе с симпатией. Я выключила телевизор и глотнула коньяку.

Утром, проснувшись, я тотчас поняла: время творчества для меня миновало. Я чувствовала себя опустошенной и выжженной. Мне не приходило в голову ровным счетом ничего, о чем я могла бы писать. Я сама себе казалась предельно нелепой. Наступило жестокое похмелье.

Я не пошла на работу, а бесцельно бродила по незнакомым улицам, пока не наступил вечер и не сработали реле уличных фонарей. Из вентиляционных шахт метро подымался теплый воздух. Наступила зима. Поеживаясь от холода, я зашла в пивную и очутилась в какой-то подвыпившей компании. Новые знакомые угостили меня пивом и водкой. Мое имя было им, кажется, неизвестно, что меня очень утешило. После двойной порции водки я призналась, что я известная поэтесса, у которой внезапно пропала способность сочинять стихи.

— Стихи сочинять — занятие дерьмовое,— сказал сухопарый старикан с лицом хищной птицы.— Лучше раздобудь да протолкни стоящую заявку. Ну хоть на бетономешалку, к примеру.

— На кой тебе бетономешалка? — удивился его приятель, угловатый человек средних лет, у которого не было кончика указательного пальца на правой руке и к которому я тотчас почувствовала доверие.

— И не нужна. Да отлично можно обменять с компенсацией,— ответил старикан.

Я уже точно не помню, как там было дело. Но Угловатый вдруг вскочил в ярости и осыпал меня грубейшими ругательствами. Счастье мое, что я женщина, кричал он. Иначе он пересчитал бы мне ребра.

Обратный путь полностью выветрился из моей памяти. Одно я помню точно — прежде чем покинуть пивную, я обещала Угловатому начать новую жизнь и поискать себе работу у них на предприятии.

В трезвом состоянии эта идея отнюдь не привела меня в восторг, но я не видела другого выхода. И отправилась к директору, чтобы сообщить ему, пока не иссякла моя решимость, о моем уходе.

Но тут мне на помощь пришел случай. Приемная была пуста. Директор разговаривал по телефону у себя в кабинете с другим директором. Я вынула из коробки бланк, заложила в машинку и напечатала распоряжение моему завотделом: «...строжайше запретить этой сотруднице сочинение стихов. Во избежание ненужных осложнений рекомендую позаботиться о благоприятных условиях труда».

Письмо я сунула в папку на подпись директору.

Коллективная работа

Идею подал А. Б. Быть может, он высказал ее за обедом. Быть может, на семинаре. Так уж определенно никто впоследствии припомнить не мог. Точнее говоря, никто и не связывал впоследствии эту историю с А. Б., ибо А. Б. был человеком, никогда не доводившим ни одного дела до конца. Собственно, его хотели из Центра выкинуть. Завотделом задержал приказ, поскольку стало очевидным, что полезно иметь сотрудника, на которого можно взваливать все поручения, мешающие нам работать. А. Б. принимал профсоюзные взносы. Составлял план культработы. Исполнял обязанности уполномоченного страховой кассы и ответственного за противопожарные мероприятия. Читал корректуры. Составлял отчеты по командировкам и выписывал всевозможные требования. Все это, правда, могло быть сделано тщательнее, но никто не обнаруживал такой готовности что-нибудь сделать, как А. Б. У него, скорее всего, совесть была нечиста: ведь он не представил ни одной законченной научной работы, которую можно было бы включить в отчет.

Не все научные идеи А. Б. были столь же превосходны, как та, о которой здесь пойдет речь. Доктор Веге сразу же ею заинтересовался. Доктор Веге был человек усердный и упорный. В случаях, когда другие капитулировали бы, он доводил работу до конца и затыкал все дыры. И вот ему, кажется, впервые удалось самостоятельно разработать поданную идею.

Так во всяком случае расценил его усилия профессор Д. Еже, которому результаты доктора Веге пришлись очень кстати, он как раз готовил обзорный доклад на международную конференцию.

Профессор Д. Еже всегда готовил обзорный доклад на международную конференцию. Он не занимался кропотливыми конкретными исследованиями. Он обладал ярко выраженной склонностью к высоким материям. К систематизации. Он представлял результаты своих сотрудников и коллег в элегантной форме, объединяя их единым подходом. Его доклады неизменно считались кульминационным пунктом всякой конференции. При этом профессор Д. Еже не занимался плагиатом. Он всегда называл авторов всех приводимых им результатов. Не его вина, что постепенно и повсеместно укоренилось мнение, будто без него все эти результаты никогда не были бы получены. Имелись среди нас и отчаянные ребята, которые отказывались представлять профессору неопубликованные результаты своих работ.

Это были, разумеется, глупцы, ведь давно уже во всем мире считалось престижным принадлежать к школе профессора Д. Еже.

Доктор Веге не принадлежал к этим непонятливым. Его имя Д. Еже без конца называл. Слушатели разъехались, убежденные в том, что результатов Веге надо ждать с интересом. Больше ничего не случилось. Никто, по правде говоря, не понимал докладов Д. Еже. Но в этом не признавались.

Профессор Д. Еже показал себя по приезде человеком благодарным. Он вынес на ученый совет предложение — признать работу Веге лучшей работой за последнее время.

На совете присутствовал также замзав ведущего отдела З. Икаэль, который считался специалистом по внедрению научных результатов в практику. Зам этот, правда, никогда еще ничего не внедрил, но специализировался в вопросе, полезен ли тот или иной результат для народного хозяйства Веге, приглашенному на ученый совет для защиты своей работы, на вопрос З. Икаэля пришлось признать, что практические испытания не проводились. З. Икаэль великодушно вызвался принять участие в предстоящих испытаниях. Предложение профессора Д. Еже до поры до времени отложили.

В ведении З. Икаэля был вычислительный центр, и замзав ведущего отдела вспомнил о программисте М. Энопе, который слыл надежным и высококвалифицированным работником. Для начала доктор Веге разъяснил замзаву результаты своей работы и приведенные в ней формулы. Затем З. Икаэль передал эти формулы программисту М. Энопе. Но так как З. Икаэль при этом ошибся в кое-каких мелочах, то возникла необходимость в дополнительных расчетах. Непосредственного контакта Веге — Энопе в процессе этой работы не было. Все же в конце концов выводы Веге полностью подтвердились, и ничто более не препятствовало признать работу лучшей работой института. Ее и признали, теперь уже, однако, как работу Веге и Икаэля. В препринте имелось примечание, в котором авторы благодарили программиста М. Энопе за тщательно выполненные вычисления.

Позже в рукописи, которую собирались послать для публикации, этого примечания уже не было.

Статью, по предложению З. Икаэля, отослали в австралийский специальный журнал. З. Икаэль и издатель этого журнала Р. Сетеу были членами одной и той же международной научной ассоциации. З. Икаэль вспомнил об очень приятном вечере, который они однажды провели вместе.

Р. Сетеу подготавливал как раз свой годовой отпуск. Целый год сможет он путешествовать по всему свету, если, конечно, соберет приглашения от зарубежных институтов — что необходимо для финансирования такой поездки — прочесть там цикл лекций. Пора было поэтому напомнить о себе коллегам из международных научных кругов, которым сам он в свое время оказал ту или иную услугу. Р. Сетеу знал, что Ф. Х. Цече в Штатах работает над проблемой, аналогичной проблеме Веге, и послал ему статью на рецензию. В приложенном письме Р. Сетеу изъявил желание прочесть в Штатах в следующем осеннем семестре цикл лекций.

Авторам Веге и З. Икаэлю Р. Сетеу подтвердил получение бандероли. Решение о публикации будет принято, сообщал он также, после получения необходимых отзывов. Имена рецензентов, по обыкновению, не назывались.

Доктору Ф. Х. Цече при чтении статьи тотчас пришли в голову разные идеи, как можно существенно улучшить изложение материала. Кроме того, он считал, что настоятельно требовалось отшлифовать английский язык статьи. Своему ассистенту Шаэю, только что получившему ученую степень, доктор Ф. Х. Цече поручил просчитать кое-какие весьма интересные случаи. Они опубликовали эту работу

под именами Ф. Х. Цече и Шаэя в журнале «Scientific Life», в издательский совет которого входил Ф. Х. Цече.

С некоторой, правда, задержкой Р. Сетеу в Австралии получил приглашение в Flower University, и гонорар ему предложили вполне приличный.

Заказанная им рецензия сильно запоздала. В ней говорилось: материал в той форме, в какой он предложен на наше рассмотрение, к публикации рекомендован быть не может. В статье также недостаточно четко сформулирована постановка задачи. Рецензент предлагает коренную переработку. Кроме того, необходимо определить область применения идеи статьи согласно новейшим литературным данным. Содержание рецензии в кратком виде Р. Сетеу сообщил авторам Веге и Икаэлю.

Веге и Икаэль решили статью не перерабатывать, а взять обратно, поскольку их результаты предвосхитила недавно появившаяся в «Scientific Life» публикация.

Когда А. Б. прочел статью Ф. Х. Цече и Шаэя, ему показалось, будто у него недавно мелькала подобная идея. Как же строго объективно развивается наука. Идея, для которой назрело время, пробивает себе дорогу независимо от субъективной воли. Восторженно объявил А. Б. коллеге Я.

Крокодил в нашем озере

Человек по своей натуре двойствен. Его влечет куда-то от круга близких ему людей. Во всех совершенных им глупостях он обвиняет отца, мать, жену и детей. Но стоит ему наконец оказаться один на один с большим миром, где надо самому отвечать за себя, как ему приходится солоно и он рвется назад. Человеку, собственно говоря, никогда не угодить.

Наша семья была безупречной. И такой должна была оставаться всегда.

К основному ее ядру принадлежали мама, папа, мой брат Герман-Михаэль, мой сын Томми и я. Петер — не принадлежал. Больше не принадлежал. Тетя Карола тоже. И все, кто появился позже, стало быть, после тети Каролы, тем более не принадлежали. Мы были за четкое разграничение.

По ту сторону семейной границы имелись только сообщения об успехах и оптимизм. Болезнь папы была проявлением высшей силы. Приглашения рассылались, когда было что выставить на показ. Новый ковер. Или моторную лодку. Но до нее мы еще не дошли. Эта история начинается куда раньше.

Квартира наша находилась на тихой боковой улочке, застроенной четырехэтажными старыми домами. Вечные черные пятна от угля, который ссыпали в подвал, на тротуаре и облупленная серая штукатурка придавали этим местам грязноватый облик. Зимой в голых кустах палисадников скапливались обрывки бумаг.

Несмотря на это, мы чувствовали себя на нашей улице дома. Она была не тех габаритов, что насилуют душу. Здесь еще каждый знал каждого. Старожилы здоровались друг с другом. А мы принадлежали к старожилам.

В ту пору мы все это не очень-то ценили. У нас было такое ощущение, будто соседские глаза и уши преследуют нас даже в нашей просторной квартире — с замысловатой планировкой и звукопроницаемыми стенами. Были темы, о которых у нас говорилось только шепотом. Например, о деньгах. Даже шумно поссорившись, мы не обижались друг на друга — не из-за предмета ссоры, а чтобы не осрамиться перед госпожой инженером-экономистом Неймейстер или

господином заместителем заведующего отделом Гервальдом. Но в общем и целом мы вели гармоничную семейную жизнь.

А протекала она главным образом в столовой. Лепные гирлянды на высоких потолках. Мамин мейссенский фарфор в стеклянной горке. У каждого постоянное место. Маленький балкон; вид на задние дворы и сады с прекрасными старыми деревьями. Все это было всегда. Принадлежало к нашему окружению. С самого начала. И будет до скончания веков.

У каждой комнаты было свое название. Спальня моих родителей называлась просто «спальня». Вишневое дерево. Накидка на кровати и гардины из одного и того же шелка кирпичного цвета. Зеркало в рост человека. Открытые окна. Здесь царила успокоительная прохлада. Сыроватая, чуть затхлая прохлада. В подобной комнате супружескую жизнь представить себе невозможно. Сексуальность не следовало как-либо связывать с нашими родителями.

И с моей комнатой тоже. Больше не следовало, с тех пор как Петер от нас уехал. После гастролей, результатом которых явился Томми. Мой сын Томми; ему выделили соседнюю комнату, и он, это крошечное, вечно ревущее создание, превратил постепенно «кабинет» в «детскую».

Комнаты у нас узкие, с окнами на брандмауэр. И тем не менее чудо уюта. Обить стены холстиной была мамина идея. Мама же наметила место для гравюры — слева от моего письменного стола. И никакого смысла не было протестовать, ибо идея была превосходной и место самое подходящее.

Мама была сильной натурой. Ничто не могло ее смутить. Она принадлежала к типу людей, способных, когда того требует ситуация, на великие деяния, а до тех пор играющих свою роль в жизни там, куда забросила их судьба. Играющих ее, быть может, слишком хорошо. Они неуязвимы. Неуязвимы к упрекам в диктаторских замашках. Ибо они всегда правы. И обладают колоссальной энергией, но редко заражают ею других. Чаще подавляют. Парализуют.

Назвать маму душой нашего семейства — значило бы охарактеризовать положение не вполне точно. Мама была мозгом, желчью, правой рукой и вообще всем тем, что жизненно необходимо человеку. В мамином ведении находилась и внешняя политика. Мама приглашала мастеров. У нее были связи. В случае нужды она сама чинила пылесос и водопровод. Она знала, что́ каждому из нас идет на пользу. Ее заботливость и любовь не знали границ. Когда я начала учиться в университете, она по вечерам читала мои учебники. Чтобы поддерживать со мной беседу, как она говорила. Никто из нас и представить себе не мог, как справляться с жизнью без мамы.

За кухней была комната моего младшего брата с отдельным выходом во двор. Всегда, когда я пытаюсь вспомнить брата в эти времена, в ушах у меня звучат его бесконечные упражнения вперемешку с кухонными звуками. Чуть больше напрягаясь, я воссоздаю в памяти бледное веснушчатое мальчишеское лицо. Все остальное смутно, расплывчато, не оставило в памяти четких контуров. В том числе и его беспричинные взрывы бешенства.

Я вижу маму у кухонного стола, сильными руками она месит тесто для яблочного торта и наблюдает сквозь открытую дверь, как упражняется на рояле мой брат. Легато! Повторить! Такт! До диез! До-о-о дие-е-ез! При этом она закладывает тесто в форму и покрывает сверху яблочными дольками. В кухонном шкафу стоял старенький медный будильник, который звонил, когда кончалось время ежедневных упражнений. Брат изредка высовывал голову в проем двери, надеясь, что время уже истекло.

У Германа-Михаэля талант. А талант обязывает. Говорила мама.

Ему надо дать возможность проявить себя, и в один прекрасный день имя его облетит весь мир. И я тоже обязана этому содействовать.

Кульминацией семейных праздников были маленькие концерты моего брата. Мама ходила по комнате как укротитель, демонстрирующий особенно удачный номер с дрессированными животными. Тетя Карола аплодировала, явно с трудом. Вам не следует обижаться на нее. Говорила мама. Как, должно быть, досадно человеку, если собственные дети ничего не достигли в жизни.

Пока брат был маленьким мальчиком, мама провожала его на каждый урок в музыкальную школу. Как-то раз в школе был показательный урок, а пойти пришлось вместо мамы мне. Учительница, мрачная, честолюбивая особа, отвела брата в сторону и прошептала:

— Возьми себя в руки, а не то берегись!

После этого она вытолкнула брата в зал, где уже сидели преподаватели и родители. Брат был предпоследним и... без конца сбивался. Учительница, прощаясь, не подала нам руки.

Герман-Михаэль был тихим, застенчивым ребенком. Но иногда он кидался на землю и бешено колотил по земле кулаками. Однажды он кокнул мамину любимую вазу и долго топтал осколки. Мама консультировалась у всевозможных специалистов, каковые всякий раз оказывались глупцами. Но она никогда не теряла мужества. Непоколебимо верила она в талант брата, подметала с пола осколки, садилась к роялю и разбирала с ним следующую пьесу.

Когда брат вырос, он настоял на том, чтобы дверь в кухню была закрыта. Он даже приделал к ней засов. Хотя мама пыталась это скрыть, но мы чувствовали, как она страдала. От частых слез ее веки воспалились. Мы упрекали Германа-Михаэля в неблагодарности и жестокости. Мама была первой, кто ему прощал. Артисту, говорила она, нужно предоставлять возможность полностью погружаться в свою работу.

Позже все мы тоже согласились, что это правильно. Только так могли мы скрыть от мамы, что Герман-Михаэль ушел из Высшего музыкального училища. Дело в том, что с некоторых пор у брата начало сводить нервной судорогой правую руку. Стоило ему сесть к роялю, и рука его сразу же странным образом немела. У нас не хватало духу сказать маме правду.

Когда открывалась дверь нашей квартиры, в нос бил резкий запах валерьянки. Он шел из комнаты папы.

Семья предоставляет человеку убежище и защиту. Одинокий человек лишен тепла и уверенности. Это следовало понять и нашему папе.

Даже если не верить его собственным рассказам, факты его жизни говорили о том, что он был некогда бедовым малым. О людях, с которыми живешь в тесном контакте, в памяти остаются, хоть это и несправедливо, по большей части только последние впечатления. Я, во всяком случае, с трудом представляю себе папу юнцом, который помогал превращать мир в развалины. Не в первых рядах. Нет, но в середке. А потом бойко строил этот мир заново. В качестве желательного партнера, высококвалифицированного специалиста. Народное предприятие заключило с ним индивидуальный договор — дающий право на определенные льготы. И быть может, все шло бы прекрасно, если бы папу не послали на курорт.

Когда папа вернулся с курорта, родители стали бурно ссориться. Кажется, тут была замешана женщина. Но раньше чем они пришли к какому-то решению, папа слег с инфарктом. С этой минуты мама самоотверженно за ним ухаживала.

День за днем сидел папа в уголке дивана в столовой и решал кроссворды. Он получал повышенную пенсию как работник умственного труда и время от времени, хитро поглядывая на нас, вслух подсчитывал, сколько он за то короткое время, когда был обладате-

лем индивидуального договора, уже заработал и сколько еще заработает, если проживет столько-то и столько-то лет. В деле этом была, однако, своя закавыка — папе нельзя было выздоравливать. К этому времени появилось достаточно инженеров, и как результат — исчезли индивидуальные договоры. Через определенные промежутки времени папа получал повестки о явке в пенсионную комиссию. Тогда он изучал популярные медицинские статьи, чтобы уметь верно описать симптомы своих страданий. Вслед за тем он действительно с большим удовлетворением наблюдал их у себя.

Для папы имело силу совсем другое исчисление времени. Свою жизнь он делил на две части: «до моего инфаркта» и «после моего инфаркта». «После моего инфаркта» он был целиком и полностью занят тем, что прислушивался к угрожающим сигналам своего организма. Его старые знакомые постепенно перестали приходить к нему, и я не без укоров совести признаюсь, что даже мы, дети, спасались бегством, когда он начинал расписывать нам, какие неподобающие ниши появились в его пищеварительном тракте.

И только мама оставалась постоянным заинтересованным собеседником папы. Если сам он иной раз и забывал о своих страданиях, она выказывала себя внимательным наблюдателем. Стоило папе наморщить лоб, как это вызывало целую цепь маминых вопросов: «Тебе нехорошо?». «Что-то же у тебя болит?». «Хочешь принять что-нибудь?» «Может, лучше все-таки тебе принять капли?» И так далее.

Карманы папиного костюма оттопыривались от пузырьков с лекарствами и коробочек с таблетками. Иной раз что-то проливалось и оттуда распространялся тот едкий запах, который наполнял нашу квартиру.

Мама варила папе блюда, которые легко усваивались, следила за тем, чтобы он никогда не гулял на солнце без соломенной шляпы, и оберегала его от любых волнений. С годами папа начал страдать слабостью мышц и запорами. Маму все очень хвалили. Тетя Карола сказала:

— Этот человек тебя не заслужил.

Мама была домохозяйкой старого закала. Никогда не обременяла она нас, прося помощи. Никогда не прерывала наших размышлений, требуя вынести помойное ведро.

— Ты слишком балуешь девочку,— обратила ее внимание на это обстоятельство тетя Карола.

— Девочке есть куда приложить свои способности! Пока я жива...— сказала мама.

Девочка — это была я.

Есть одна моя фотография. Мне пять лет, я стою на каменной тумбе, наряженная в кожаные брюки и тирольскую шляпу. Волосы уложены на ушах плотными баранками. Шпильки колят мне уши, и я чувствую себя униженной этим маскарадом. Но фотография ничего этого не отражает. Маленькая благовоспитанная девочка послушно смотрит в объектив. Я всегда была славной девочкой. Моя ярко выраженная отличительная черта — послушание и трудолюбие.

Но неправильно было бы думать, что мое поведение определялось внешним принуждением. Нет. Послушание и трудолюбие было моей внутренней потребностью. Я была жадна на похвалу и признание. Мама гладила меня по головке и говорила:

— Я знаю, что могу на тебя положиться.

И меня пронизывало какое-то чудесное ощущение удовлетворенности. Все было так просто. Нужно было только при всех обстоятельствах делать то, что от тебя требуют. Бурные взрывы моего брата внушали мне лишь презрение.

Ко мне и не предъявляли никаких несправедливых требований. Скорее требовали чуть меньше, чем было бы справедливо. Я была хорошей ученицей. Сознающей свой долг студенткой. Мама всегда

была моим близким другом. Источником подтверждений и оправданий. Источником счастья. Разве мог бы Петер все это мне заменить.

Когда мы поженились, я уже была беременна. Мы оба были студентами, и у нас не было никаких прав.

Милый мальчик. Сказала мама. И приняла Петера в семью как родного сына. Но Петер не хотел быть милым мальчиком. Он никогда не знал благополучной семьи. Его мать жила со вторым мужем. И Петер, как только стал студентом, уехал из дому.

Мы с Петером все чаще раздражали друг друга. Бывало, поспорим мы из-за пустяка, и папа тут же начинал бороться с приступом стенокардии. Сидел в углу дивана и капал нитрангин форте на дрожащую руку. Мама склонялась над ним и вытирала ему платком капли пота со лба. Они не вмешивались. Они только молчали. Долго. Укоризненно.

Когда родился Томми, я сдавала экзамен на получение диплома. Не знаю, как бы я справилась со всем этим без мамы. Другие студентки завидовали мне.

Окончив институт, мы получили квартиру в старом доме без удобств. Комнаты заброшенные, из окон дует, туалет на лестничной площадке между этажами — один на шесть семей. Я представить себе не могла, как я там со всем справлюсь. Томми пришлось бы отдать в ясли. Болезни не заставили бы себя ждать. А я ведь обязалась через три года представить диссертацию.

Мне кажется, тогда я еще любила Петера. Но я струсила и позволила ему переехать в ту квартиру одному. Временно. Пока что.

Подожди, девочка. Он уже привык сытно кормиться. Сказала мама. Но Петер не вернулся, а подал на развод.

Бедная девочка. Сказала мама. Теперь-то я наконец могу сказать тебе правду. Это неподходящий для тебя муж. Ты с твоей диссертацией обогнала его. Вот в чем истинная причина. Этого он не мог пережить. Но у тебя всегда будут трудности. Мужчина, как правило, хочет только удобств для себя. А ты тут со своей ученостью. Это его переутомляет и ущемляет чувство собственного достоинства. Но не зарывать же тебе из-за этого свой талант в землю. Придется тебе примириться с мыслью, что ты останешься одна. Но пока я жива...

Вот так мы и жили. Папа, который слабел все больше, с его клизмами и слизистыми супчиками. Брат, Герман-Михаэль, который целый день гулял, но лгал, будто он в музыкальном училище. Я, которой злые языки инкриминировали недостаточность женского обаяния. Из зависти. Сказала мама. Ведь я была самым молодым заведующим отделом.

Я мирилась с тем, что Томми свои маленькие трудности решал с бабушкой. Когда я приходила вечером домой и хотела с ним поиграть, мама укоризненно показывала на часы.

— Как можно возбуждать ребенка перед сном!

Она брала Томми на руки и несла его купать. Мне не нужно было ни о чем беспокоиться, все шло раз навсегда заведенным порядком. Женский журнал напечатал обо мне довольно лестную статью, в которой с похвалой упоминалось и о маме.

У нас опять царили согласие и гармония, и, возможно, так было бы вовек, если б рядом не поселился новый сосед.

Этот сосед вообще не подходил к нашему окружению. Неопрятный тип с бородой, в перепачканных штанах, неопределенного возраста. Никто не знал, на какие средства он живет. Болтали всякое. Лодырь. Асоциальный элемент. Мама вызвала слесаря — врезать дополнительный замок в дверь — и сказала:

— Хорошо, если насекомые не заведутся.

Я никогда раньше не встречала столь развязного человека. Я чувствовала себя одновременно отвергнутой, растревоженной и страстно чего-то желающей. Он то и дело вставал на моем пути.

Запах чеснока и масла для волос ударял мне в нос. Он не давал мне покоя своими разговорами. Жуткая мешанина пошлостей. Однако за ней крылась система. Я все время чувствовала, что он хочет меня смирить. Но никак не могла поймать его с поличным. Его слова смахивали на крючки, и они, надежно упрятанные в приманку, малопомалу впивались в мою плоть. Всякий раз при встрече я, добропорядочная, но сбитая с толку, чувствовала, что терплю поражение. Я убегала в свою комнату и, бросившись на кровать, удивлялась моим ощущениям, ибо тело мое бунтовало, его точно подкидывало вверх, навстречу некоему недостижимому оргазму.

Я самым удивительным образом изменилась. У меня начались какие-то неприятные боли внизу живота, слева. Боли, которые были сродни голодным спазмам. Случалось, что во второй половине дня я испытывала такое глубочайшее равнодушие к своей работе, что раньше времени возвращалась домой и укладывалась в постель. Какое-то смятение грызло мне душу подобно тяжелой болезни.

Однажды в квартире царила полная тишина. Только брат упражнялся в комнате за кухней. Я знала, конечно, что это играли Эмиль Гилельс или Клаудио Аррау[1]. Я находилась в состоянии какого-то необъяснимого распада сознания. Глухо гудела голова. Точно следуя странному принуждению, я приняла душ, почистила зубы, щеткой расчесала волосы, надела легкое платье и, перейдя лестничную площадку, позвонила к соседу.

Он сказал:

— Ну вот! — обнял меня за плечи и повел в комнату.

В воздухе висели голубоватые клубы дыма. На экране телевизора правый крайний ударил центрального защитника по ноге. Посредине комнаты стоял большой круглый стол. За ним сидели, освещенные лампой без абажура, папа и брат, пили пиво и играли с соседом в скат.

— Привет! — сказал папа.

Брат принес табуретку. Сосед открыл бутылку пива и пододвинул ее мне. Я изо всех сил вдавила ноготь большого пальца в палец указательного. Но не проснулась. Это не был сон.

Я быстро и много пила и невнимательно прислушивалась к беседе за столом. Болезненно и словно каким-то чудом, точно в процессе родов, оба эти человека, которых я так давно знала, отделились в этот миг от меня и предстали передо мной как самостоятельные индивидуумы.

Но вдруг папа взглянул на часы, испугался и схватился за шею. Я видела, как серый налет страданий восстанавливается на его лице, и решила, что сейчас у него начнется приступ. Но никакого приступа не началось, а папа поднялся и вздохнул:

— Надо идти.

Брат оставался до конца передачи. Потом я видела в окно, как он, чуть согнувшись и подняв плечи, перебегает через двор.

В комнате было почти темно. Сосед выключил свет и курил. Я не видела его лица. Было очень тихо. Зато стали отчетливо слышны шумы в доме. Далекие звуки рояля.

— А ты что ж не уходишь? — спросил наконец сосед, и в тоне его не было ничего оскорбительного.

— Сама не знаю,— ответила я.

Я действительно не знала. Во всяком случае, в эту минуту.

— Ты какая-то пришибленная, а? — сказал сосед.

Тут во мне словно плотина прорвалась. Слезы хлынули из глаз, я уселась на пол, и меня с такой силой затрясло в истерическом припадке, что я едва не задохнулась.

Сосед сидел за столом, он закурил новую сигарету.

[1] Аррау Клаудио (род. в 1904 г.)— чилийский пианист. *(Здесь и далее прим. перев.).*

Вот как все получилось. Мы словно переродились, и в этом, несомненно, повинен был сосед. Сам он, однако, оставался непотревоженным, точно катализатор, который поддерживает реакцию, но сам в ней не участвует.

Наше семейство, казалось, вот-вот развалится. Мы не выносили друг друга. Мы больше не считались друг с другом. Мама узнала о погибшей карьере брата. Мы кричали друг на друга. Во мне нарастала непонятная глухая ненависть. И как раз в это время мама начала прихварывать. Мы, имея все основания быть благодарными, вели себя едва ли не гнусно. Не знаю, как другие, но о себе должна, к сожалению, сказать, что я злобствовала с особым удовольствием. Я без конца намекала на то, что вынашиваю план, как бы мне переехать и взять с собой Томми.

— Вот видишь,— говорила тетя Карола маме,— пока можно было из тебя соки выжимать, ты была хорошей, а теперь тебя можно лягнуть.

И только в часы, которые мы проводили у соседа, мы жили надеждой. Там мы строили планы. Папа подыщет себе место вахтера, Герман-Михаэль пойдет на стройку, а я мечтала о том, что буду жить с соседом.

Впервые в жизни я взвинтила себя до состояния истинного любовного упоения. Все отталкивающие качества этого человека: его грязные ногти, неясное положение в обществе,— казались мне простительными. Достаточно было одного его слова, и я перебралась бы к нему. Но он его не сказал.

Не знаю, чувствовал ли он, что я ищу у него защиты. Видимо, он был целиком сосредоточен на себе и совсем не понимал, что мы — люди сломленные. Чем яснее мне становилось, что он от меня увиливает, тем сильнее я к нему привязывалась и тем яснее становилось мне, что он увиливает. Нервные срывы у меня случались все чаще.

Подозреваю, что и у других на душе было не лучше. Сосед привел в действие какие-то силы, но не собирался делать выводы и помогать нам. А кризис, испытываемый нами, был очевиден. Я пропускала важные заседания. Случалось, папа нахлобучивал шапку и упорствовал в своем желании идти гулять, хотя погода была неподходящей и дул сильный ветер. Брат частенько возвращался домой пьяный. Возникло серьезное опасение, что мама сляжет. Так дальше продолжаться не могло. Это понимал каждый из нас. Только сосед ничего не замечал. Он едва слушал, когда мы, сидя за его круглым столом, обсуждали наше будущее. Мы же, наоборот, воспринимали его темы — от зубной боли дедушки и до разведения тигров в Южной Индии — как чрезмерные к нам требования.

Кто знает, чем бы все это кончилось, не приготовь нам мама сюрприз. Пока мы, в разладе со всем миром, изматывали свои силы в бесплодных спорах, она действовала. Моторная лодка, элегантная белая лодка с мощным двигателем стояла у мостков нашего озера. Мама пожертвовала ради нас бриллиантовым кольцом, старинной семейной реликвией.

И вот чудесным августовским днем мы поехали кататься. Мы были в прекрасном настроении. В первый раз после долгого времени мы опять ощущали чувство единения. Общая собственность укрепила семейные узы, присутствие соседа показалось нам назойливым, он нам мешал. Дело в том, что мама поборола свою антипатию, более того, отвращение, и пригласила соседа на наш праздник по случаю освящения лодки.

Папин складной стул мы поставили на берегу озера в тени огромного каштана. Мама опасалась, что ветер, когда мы помчим по озеру, причинит папе вред. Папа тоже сказал, что предпочитает остаться на берегу, и местечко для него выбрано прекрасное, он чувствует

себя тут так хорошо, как уже давно не чувствовал. И обещал не упускать нас из виду.

Мама повернула ключ зажигания. Герман-Михаэль сидел у руля. Мы чуть поспорили поначалу, так как мотор сразу не заработал. Сосед, хотя мы давали всячески понять, что его это не касается, поднял крышку над мотором и нажал на какой-то рычаг. Мотор взвыл, нас отбросило назад. Томми заверещал от радости. Брызги полетели в ветровое стекло. За нами потянулась гордая носовая волна.

Когда мы сделали несколько кругов, сосед объявил, что хочет купаться. Мама выключила мотор, он стал раздеваться. Потом, сев на борт лодки, свесил ноги в воду. В эту минуту я увидела *его*.

От берега к нам приближался крокодил. Папа, наверное, заметил его еще раньше. Я хотела крикнуть, предупредить соседа, но мне будто что-то сдавило горло. Обернувшись, я встретила взгляд мамы и поняла, что она тоже увидела крокодила. Герман-Михаэль, судорожно сжавшись, склонился над рулем. Мама повернула ключ зажигания в гнезде, и брат медленно двинулся по кривой к берегу. Когда мы подъехали к папе, то увидели, что огромный серо-коричневый крокодил уплывает куда-то вдаль. Сосед исчез.

С тех пор у нас опять царил порядок. Мама не нуждалась больше в уходе. Папа почти не покидал квартиры. Брат изучал математику. Мама сказала: у нее-де давно уже созрело убеждение, что его истинный талант проявится именно в этой области, а это шанс, пока другие о том не помышляют, стать крупным математиком.

Мне кое-кто хотел приписать нервный срыв. Так бывает всегда, если ты занимаешь высокий пост. Проглатывать подобные поклепы нельзя, ведь кто один раз перенес нервный срыв, у того он может в любую минуту повториться.

По прошествии довольно долгого времени начали выяснять местонахождение нашего соседа, но мы мало чем могли помочь розыску. Мнение нашей улицы было довольно единодушным. Человек этот всем казался субъектом подозрительным, который вне всякого сомнения плохо кончит.

Только Томми рассказывал каждому, кто хотел его слушать, что соседа сожрал крокодил. Но кто уж поверит ребенку.

Верный совет

В математических определениях эмоции не имеют никакого значения. Решает целесообразность определений. Так, вероятности для разных случаев жизни описываются числами между нулем и единицей, независимо от того, что мы охотнее выразили бы счастливый случай более оптимистично, чем, например, через ноль запятая девяносто девять.

В остальном у математиков все как везде. Когда «Папа Римский» дошел до пункта «Разное», чувства собравшихся руководителей Математического центра ничем не отличались от чувств, волнующих участников любого совещания, когда дело доходит до пункта «Разное».

Опять настало время, сказал Папа, подвести итоги и посмотреть, имеются ли в Центре работы, которые можно было бы выдвинуть на соискание премии Карла-Эгона Куллера. Разумеется, к делу следует подойти с самыми жесткими мерками, ибо Центр не должен опозориться. Рассматриваться могут только действительно выдающиеся работы. Право решать, выдающаяся та или иная работа или нет, Папа оставил за собой. Этого ему и подчеркивать не нужно было. Это знали все.

Зависело бы это от Папы, так никакого присуждения премий никогда бы не происходило. С лауреатами хлопот не оберешься, ведь они неизбежно какое-то время считают себя действительно людьми

выдающимися. Каждый раз нужны немалые усилия, чтобы вновь восстановить порядок и вернуть увенчанного славой на твердую почву реальных фактов. Но в этом вопросе события не подчинялись Папе, и настало время опять предъявить миру лауреата, в противном случае не заставили бы себя ждать выводы об отсутствии выдающихся работ в Центре.

Решение на этот раз напрашивалось едва ли не само собой: доктор Корнелия Фрёлих. На специалиста по теории вероятности доктора Фрёлих получен был вызов в город К., куда она хотела сопровождать мужа, биолога по профессии. Доктор Фрёлих, по существу, уже достигла потолка как ученый в их Центре, сказал Папа Римский. Основополагающих идей от нее вряд ли можно еще ждать. Но он ценит ее как трудолюбивого и надежного работника. Доцентура в маленьком университете — самое для нее подходящее.

Решение о кандидатуре соискателя следовало принять срочно. Папа с довольным видом побарабанил пальцами по столу. Механизм, который порождает лауреата, был налажен неплохо. Насколько же лучше обстояло бы дело с механизмом, который мог бы заменить лауреата. Папа Римский подумал, что надо попросить ученого секретаря написать характеристику на Фрёлих. Годную на все случаи жизни. И приукрасить он может с чистой совестью.

После заседания Папа встретил в вестибюле редактора научно-популярной телепрограммы «Вот оно как» и с раздражением подумал, что этот человек все еще сует нос в дела Центра. С того собрания, когда первый пункт повестки дня касался участия Центра в этой программе, прошло уже много времени. Папа Римский испытывал глубокую антипатию к редактору.

Без рекламы дела не сделаешь. Не только в его профессии. Так начал тогда редактор свое выступление. Ни в коем случае нельзя наводить скуку на зрителя математическими результатами. Их передача может потерять заслуженное реноме. Он хочет дать много музыки, немного моды, балет телевидения и вперемешку достижения «нашей науки», по возможности с указанием пользы для народного хозяйства. В конце передачи зритель должен констатировать: математики — тоже люди. Что и будет «Вот оно как»— эффектом. Н-да.

Более чем неприятно, подумал Папа. Но нельзя же действительно, чтобы рекламную шумиху использовали только другие отрасли науки. Кроме того, в Центре, как и везде, были люди, охотно выставляющие себя напоказ. Им можно предоставить свободу действий. В серьезной науке они себе таким путем славы не приобретут.

Корнелия Фрёлих к подобным людям не принадлежала. Ее имя было трофеем, которым разжился редактор, совершив рейд по Центру,— к неудовольствию Папы.

В малом зале «студии В» редактор изложил своим сотрудникам, как эту передачу представляют себе математики.

— Да они нас без ножа зарежут,— застонал режиссер.

Но редактор заявил, что нельзя же в конце-то концов в который раз повторять беседу «Половая жизнь в дошкольном возрасте». К тому же он нашел математика женщину. Женщина и математика — в этом есть как раз та капля извращенности, которая так нужна их передаче.

— Но это обстоятельство предполагает также минимум секса,— скептически заметил оператор.

Они его что, новичком считают? Он внимательно пригляделся к этой даме. Не сказать, конечно, чтоб первой свежести. Но грим! Нельзя недооценивать грим!

Ассистент редактора уже сочинил название передачи: «Есть ли верный совет? Известный специалист по теории вероятности — доктор Корнелия Фрёлих определяет ваш шанс на выигрыш». Редактор вновь подумал, что удачно выбрал себе ассистента.

Когда имя Фрёлих в этой связи появилось на письменном столе Папы, дабы он начертал на документе «Согласен», Папа ощутил явную досаду, причину которой, однако, объяснить себе не мог.

События развивались стремительно. Ассистент оказался способным не только на интригующее название. Он написал также занятный сценарий.

— Ребятки, об одном вас прошу,— воздержитесь от спортлото,— предупредил редактор.

Да, он поистине не был новичком.

В ответ на это Корнелия и ассистент придумали игру, в которой практически все всегда выигрывают.

— Вероятность выигрыша равна 0,99,— заявила доктор Фрёлих перед телекамерой.

Бывают, однако, и такие редакции, что — не имея достаточно самостоятельных идей — пользуются чужими идеями. Когда съемки уже шли вовсю, репортер популярного иллюстрированного журнала зашла как-то в «студию В» и услышала о «маленькой фотогеничной женщине-математике». Вскоре многостраничный фоторепортаж о Корнелии Фрёлих был внесен в план журнала. Репортер попросила Папу Римского дать ей краткое интервью, в котором общедоступным языком были бы отмечены успехи Корнелии. Тут уж Папа обозлился не на шутку, и его формулировки звучали весьма кисло. В рукописи, которую Папа настоятельно просил ему показать, из его интервью получилась — путем незначительных сокращений и перестановок — небольшая героическая поэма.

Рукопись и объявление об очередной передаче «Вот оно как», поданное с помпой в сводной программе, лежали на письменном столе Папы Римского. Он размышлял. Всякий, у кого был хоть маленький опыт, знал, конечно, как делаются подобные репортажи. Тем не менее эта писанина оказывает влияние на читателей.

Что, собственно, такого выдающегося было в работах Фрёлих, размышлял Папа. И чем дольше он ломал над этим голову, тем яснее понимал, что пал жертвой ошибочного решения. Это случалось и не с такими людьми. Но у него хватит мужества, чтобы сделать выводы из того, что он осознал. Он попросил связать себя с председателем Комитета по премиям и поинтересовался, можно ли еще снять, не поднимая большого шума, поданное предложение. Да, это было можно.

Объявление о передаче «Есть ли верный совет?» в сводной программе лежало не только на письменном столе Папы Римского, но и на письменном столе руководителя одного из отделов министерства финансов. По его поручению сотрудница министерства связалась с сотрудницей телевидения. В министерстве надеются, что передача не вызовет неприятностей. Грандиозная новогодняя лотерея вот-вот будет объявлена, и пусть-ка коллеги с телевидения глянут на число выигрышей в последней лотерее.

Когда редактор нашел эту телефонограмму у себя на столе, он пришел в ярость. Он же не позволит всем и каждому соваться в его дела. Этого еще не хватало. Оттого, что кто-то где-то чихнул, они не откажутся от своих планов. Он кричал, стучал кулаком по столу, но знал: все это чистая комедия. Режиссер и оператор тоже это знали. И редактор знал, что они знают. Но это ему не мешало. Спектакль удался. Единственное, что мешало, был восхищенный взгляд ассистента. Тем большую благодарность испытывал редактор к режиссеру, который облегчил ему путь к отступлению.

— На число выигрышей можно, во всяком случае, глянуть,— сказал режиссер.

Ночью редактор не сомкнул глаз и мучительно раздумывал над всем происшедшим. Ничего ведь не случилось. Смехотворный пустяк. Но сколь многих он знал, кто на таких пустяках ломал себе шею.

Перед его мысленным взором тотчас всплыли две-три физиономии. Кичливые, завистливые воображалы. Всегда готовые сделать из мухи слона. А на заднем плане выстроилась шеренга нового поколения. Безликого, пока что. Без определенного профиля. Со сжатыми кулаками в карманах. Они понятия не имеют о трудном начале. Хотят только сесть на готовое теплое местечко. Никак этого не дождутся. Объективно не могут ждать. Черт бы побрал эту деформированную возрастную пирамиду. Когда он захочет уйти на пенсию, ассистенту будет пятьдесят. Можно ли от него требовать, чтобы он так долго ждал? Нельзя, конечно. И внезапно редактор истолковал тот ободряющий взгляд ассистента совсем иначе. Около двух ночи он проглотил третью таблетку снотворного.

На другой день режиссер сказал, что, поглядев на число выигрышей, он понял: грандиозная новогодняя лотерея может потерпеть грандиозное фиаско.

— Вот именно,— подтвердил редактор.— И начнут искать мальчика для битья.

— Значит, наша игра очень кстати,— вмешался ассистент.— При сказочной вероятности выигрыша! Это ли не реклама!

— И какова же эта вероятность? — поинтересовался редактор.

— Ноль целых девяносто девять сотых.

— Что? Только девяносто девять сотых! Да вы с ума сошли! Это же не самый верный совет, а самый верный провал. К вашему сведению. И если кто будет мальчиком для битья, так это я, а не вы. Но я все еще решаю сам, хочу я этого или нет.

Вечером телевидение, в ответ на многочисленные пожелания зрителей, повторило в программе «Вот оно как» беседу «Половая жизнь в дошкольном возрасте». Редактор передачу не смотрел. Он в это время валялся мертвецки пьяный.

На следующее утро ему позвонил главный редактор иллюстрированного журнала. Редактор телевидения был с ним знаком еще по университету. Но теперь он лишь бормотал в трубку что-то невнятное. Да что уж такое случилось! Да пошли они все к черту! Мы с тобой, ты и я, мы кое-что пострашнее на своем веку видели. И это «пострашнее» тут же явилось редактору телевидения в виде багрово-зеленых клубов тумана в мозгу и мучительных позывов к рвоте. Не имея сил больше объясняться, он повесил трубку.

На этом основании главный редактор журнала снял в самый последний момент репортаж о докторе Корнелии Фрёлих из номера.

Разумеется, коллеги Корнелии тоже задумались над этим казусом.

Завотделом кадров Математического центра жил в состоянии постоянной вражды с Папой Римским. У него от этого даже заметно поседела голова. Папа, мол, всерьез не принимает его как завкадрами, затрудняет ему работу и упрекает потом в беспомощности. Таково было положение вещей, во всяком случае с точки зрения завкадрами. Папа же рассматривал причинную связь в этом случае в обратном порядке. Оба готовы были в любой момент отстаивать свою версию.

По делу Корнелии Фрёлих завкадрами упрекнул Папу — тот-де не информировал его ни о том, что снял свое предложение, ни о том, какие причины у него были для этого. Папа уклончиво ответил, что каждый может ошибиться. А вот завкадрами, как всегда, не прислушивается к голосу масс. Надо же было задуматься, почему это одним махом отменили публичное выступление Фрёлих. Говорите что хотите, но за этим кроется что-то серьезное.

То же самое Папа Римский повторил ученому секретарю. Секретарь потом довольно долго трепался с замом директора по общим вопросам. Зам встретился на каком-то заседании с завотделом материального снабжения. Завотделом обедал обычно с заведующей от-

делом информации и документации. А заведующая торопилась после обеда на совещание к первому заместителю директора.

Первый зам счел своей обязанностью доложить обо всем Папе. Сказал он ему примерно следующее: эта Фрёлих учинила на телевидении грандиозный скандал. Состоялось совещание в верхах. Но болтать об этом не следует.

Папу Римского все это нисколько не удивило. Он что-то такое подозревал. И отменил запланированную для Фрёлих загранкомандировку, заметив, что в настоящее время командировка эта не целесообразна.

Завкадрами не пожелал мириться с обвинением в том, что он недостаточно информирован, и предпринял основательное расследование, чем только способствовал впечатлению, будто с Фрёлих не все чисто. Закончив следствие, завкадрами отправился к Папе и доложил, что Фрёлих нельзя предъявить никаких обвинений.

— Знаю, знаю,— проворчал Папа и спровадил зава, не предложив сесть.

Слух о том, что кандидатура на премию Карла-Эгона Куллера снята, дошел и до декана в К., он еще раз внимательно перечитал обе характеристики на Фрёлих, затребованные в связи с ее приглашением. Первая — от коллеги из технического института — оказалась какой-то пустопорожней. Во второй, подписанной Папой Римским, не скупились на чрезмерные похвалы. Попытавшись согласовать все факты, декан заключил, что здесь имеет место типичный случай избавительной похвалы. Он тут же решил застраховать себя третьей характеристикой. И даже обрадовался, что срок будет нарушен и приглашение Фрёлих отодвинется на год. О чем декан и сообщил биологу Фрёлих. Необходимо, мол, прояснить еще кое-какие проблемы, возникшие в Центре.

После этого биолог Фрёлих явился к Папе и потребовал объяснений. Папа пустился в пространные и несколько туманные рассуждения о нарушенном доверии вообще и в частности, о сотрудниках, не нашедших общего языка с руководителем, о служебных конфликтах, затрагивающих даже супружеские отношения, и отпустил биолога скорее сбитым с толку, чем утешенным. Через полгода брак Корнелии Фрёлих был расторгнут.

Беспардонность, с какой эта женщина пыталась создать впечатление, будто ничего не произошло, показывала всем и каждому, сколь бесстыдна эта особа. Мало того, она буквально расцвела. И без всякого грима. Ходили слухи, что она живет с ассистентом программы «Вот оно как», который тем временем стал редактором. Проблема деформированной возрастной пирамиды, мучавшая его предшественника в бессонные ночи, довела того до инфаркта.

Во всяком случае, Фрёлих не проявляла более ни малейшего желания последовать приглашению в К. Каждый раз, когда она, беззаботная и счастливая, сталкивалась с Папой Римским, тот горько сожалел, что Кодекс законов о труде не дает ему оснований принимать против подобных людей меры, каких они заслуживают.

Пи

Собственно, меня зовут совсем не так. Этим именем меня наградили еще в старой школе. Из-за доклада, который я там сделал. Ни черта они не знали. Ничего не смыслили, но хвастали вовсю. Этим можно довести меня до белого каления.

В шестом и седьмом было хуже всего. Ни к чему у них не было охоты. Стоило только сказать, что ты любишь какой-то предмет, и ты уже карьерист. Согласен: доля правды в этом была. Я хотел перейти в полную среднюю, двенадцатилетку. А другим было все равно.

Я относился к категории «малышей». Иные ребята весили чуть не вдвое больше, но нельзя сказать, чтоб они были самые умные. Не знаю, есть ли тут какая-нибудь связь. Во всяком случае, «малышам» приходится постоянно что-то выдумывать, чтобы быть на уровне. Стоит мне разозлиться, и я начинаю бить направо и налево, просто сам себя не помню. Но проку от этого мало, когда на тебя навалятся пятеро, а то и шестеро сильных ребят. Иной раз я доходил до ручки. Я имею в виду нервы. По вечерам не мог заснуть. Меня часто одолевали какие-то кошмары. К примеру, что в углу комнаты притаился волк и подглядывает за мной. Знаю, конечно, что никакого волка там быть не может. Но через минуту-другую уже слышу, как он дышит. Сердце начинает бешено колотиться. Я выпрыгиваю из постели и зажигаю свет. Теперь я всегда сплю с карманным фонариком в руке.

Мама дважды ходила в школу жаловаться. Она хотела мне добра. И еще хотела застраховаться. Чтобы не упрекать себя, если меня в один прекрасный день принесут избитым до смерти. Мне, однако, ее походы жизни не облегчили.

Я должен брать пример с Штрудель. Говорит мама. Штрудель моя сестра-близнец. Но мы ничуть не похожи друг на друга. Штрудель — типичная девчонка. Собственного мнения нет, разумных интересов тоже. Она, конечно, ни с какими затруднениями не сталкивается. Чудеса! К тому же дура препротивная. Удастся ей настроить класс против меня, и она счастлива. Другого ничего придумать не может, чтобы задирать нос.

Я чертовски рад, что она выдержала экзамен в балетную школу и я от нее избавился. Это ей подходит как нельзя лучше. Скачи себе по команде. И собственную голову не утруждай.

Физика и химия всегда были моими любимыми предметами. Но либо уроки отменялись — учительницы без конца рожали, либо дисциплина была не на уровне, и никакого удовольствия от урока. К тому же учителям трудно ориентироваться. Тридцать шесть учеников в одном классе. Пять таких параллельных классов. У нас десятилетка и в каждом году обучения — пять, да и еще школа рядом пристроена. Разве тут учителям разобраться.

При каждом удобном случае я ездил за город к деду Кюммелю. Там у меня были и друзья. Честно. У них и разговор совсем другой. Без похабщины.

Когда я бываю у деда, и теперь тоже, я отправляюсь удить. К рыбе я равнодушен. И вообще не знаю, кто может быть неравнодушен к рыбе. Кроме Джека. Это кот деда Кюммеля. А потому нельзя сказать, чтоб удил я с толком. И все-таки чувствую я себя при этом отлично. А вот был у нас опять недавно идиотский спор. Дайте ваше определение понятию «разумная организация досуга». Всегда, когда ко мне обращаются с подобными темами, я думаю, что моим мнением действительно интересуются, и попадаю впросак. Понятное дело, если после уроков надо убирать школу, я не филоню, нельзя же, чтоб мы заросли грязью. Но разумной организацией досуга я бы это не назвал. Мое определение было коротким и ясным: досуг — это то, что доставляет мне удовольствие и никого не обременяет. Не стану утверждать, что уборка школы доставляет мне такое уж большое удовольствие. Особенно когда погода на дворе мировая.

Учитель государствоведения пытался во что бы то ни стало убедить меня, будто разумно то, что полезно. Пи, сказал я себе, это нацелено против твоей рыбалки, и я уперся. А я, если упрусь, так хоть кол на голове теши. Учитель расстроился даже. Но я ему ничем помочь не мог. Я вспомнил, как рано утром, еще до восхода солнца, загораются на небе алые полосы. Вода в реке кажется зеленой, густой. Поплавок не дрогнет. Крики лысухи в камышах разносятся, словно удары металла о металл. Откуда-то издалека до меня доходят

еще какие-то звуки. Точно мысли. Странные идеи рождаются где-то в недрах моего сознания. Но этого я же не могу сказать нашему госведу. Он спросит, пожалуй, полезные ли это, по крайней мере, идеи.

Дед Кюммель сказал потом, что хоть в теории я силен, но с общественно-политической точки зрения мысль моя страдает инфантильностью. Если меня попросят дать определение сантиметра, неужели я возьму как систему соотносительных понятий мой мизинец? Кроме того, существует разница между естественно-научными и общественно-научными определениями. Последние обладают свойством быть либо истинными, либо ложными. Но это еще вовсе не причина, почему кое-кто из его коллег никогда не идет дальше споров об определении.

Дед Кюммель сам этакий чудной специалист в области общественных наук. Работает он в университете. Когда речь заходит о его коллегах, он всегда свирепеет и забывает, что я в этом ничего не смыслю. Заложит руки за спину — и давай шагать взад-вперед. Его седая острая бородка торчит горизонтально в воздухе. В эти минуты он точно такой, каким я представляю себе храброго портняжку.

Сказки, кстати говоря, меня не очень-то занимают. Я вообще не люблю книг, в которых все только выдумано. Раньше мама приносила детские книги. Читая их, сразу замечаешь, что взрослый пытается использовать детские приемчики. А я терпеть не могу, когда ко мне относятся несерьезно. Присмотрись пристальней, и окажется, что взрослые не так уж много и знают. Хотя времени у них куда больше. В период моего увлечения биологией, а было это довольно давно, я знал наизусть почти всю серию «Урании»[1] о животных. Поначалу учительница биологии думала, что я фантазирую. Потом я и вправду мог выдумывать, что хотел, и всегда получал пятерку. Тогда я понял, что знание почти так же ценится, как сильные мускулы.

Иные люди в ответственный момент лезут в бутылку. К примеру, наш математик. Если он у доски запнется и ты ему хочешь помочь, так он на тебя как набросится:

— Как вы смеете, дерзкий мальчишка!

Тебе остается только отключиться. Но приятного мало.

Физику нам тоже приходится все объяснять. Во всяком случае теперь. В механике он еще кое-что смыслил. Но в электронике он дальше радиоламп не пошел. Когда мы монтируем схему на транзисторах, он прыгает вокруг, точно нервный дятел, и одно твердит:

— Только ничего не сожгите.

Дед Кюммель считает, что физик — сильная личность, у него ведь хватает духу признать, что он чего-то не знает, и позволяет нам объяснять это ему. Наверное, дед Кюммель прав. Однако с этой точки зрения все мы — сильные личности, ведь нас без конца поучают, а мы должны эти поучения терпеть. Конечно же, приятно иной раз самому знать больше. Вообще-то с физиком ладить можно. Он не терроризирует нас. Бывает, правда, иногда какой-то раздражительный, но потом извиняется перед нами. Ты чувствуешь, что он тебя уважает. И все-таки его уроки наводят на кое-какие размышления. Я имею в виду радиолампы. Не могу, во всяком случае, сказать, чтоб меня ободряло то обстоятельство, что наши учителя остановились где-то на радиолампах, когда даже транзистор едва ли не пора сдавать в музей. Мы с Берти делаем монтаж на интегральных схемах.

И в университете, похоже, дело обстоит не лучше. Во всяком случае, я уже не надеюсь на это после того, как побывал на практических занятиях первокурсников. Физика всегда была моим самым любимым предметом. Честно. И когда я думаю, что, став студентом, для начала полтора года буду возиться только с штекерами и переключателями... Согласен, для наших девчонок это, возможно, как раз то, что нужно. Но начни я утверждать, что меня подобная перспекти-

[1] Издательство «Урания» выпускает научно-популярную литературу.

ва чертовски вдохновляет, это будет чистой воды враньем. Профессиональная ориентация — так называлось это мероприятие. А в результате я теперь не знаю, на какой факультет поступать.

Но чем я заниматься не буду, это я знаю точно: математикой. И учителем не буду. Ни за что. Терпеть не могу, когда меня к чему-то принуждают. Мой классный руководитель в старой школе указал в рекомендации для двенадцатилетки желательную профессию — учитель математики. Так у тебя больше шансов. Берти сказал, что это вовсе никакое не человеколюбие с его стороны. Ему дали норму. А мне в девятом — доклад с обсуждением.

Стоит только пойти по неверному пути, так попробуй потом свернуть. Говорит дед Кюммель. Он знает многих, кто пошел по неверному пути. Иной раз мне кажется, что он и себя при этом имеет в виду. Меня бы это, во всяком случае, не удивило. Представляю себе, какая скукота целый день сидеть за письменным столом и сочинять нудные книги.

Я предпочитаю естественные науки. Там меня интересует все. Одного хочется, чтобы в этих областях совершались какие-нибудь открытия. Дознаться бы, в какой области в ближайшие годы будет больше всего интересного. Иногда университетские читают у нас лекции. Но спросишь их напрямик, так начинают отбояриваться. В конце концов каждый объявляет свою область наиважнейшей. Не сказать, чтоб это звучало убедительно. Думаю, что им тоже трудно ориентироваться.

В газетах довольно много писали о микроэлектронике. Знаю ли я хоть одно имя. Спросил дед Кюммель. Он хотел спросить, знаю ли я какого-нибудь микроэлектронщика или ученого другого направления, у которого мечтал бы заниматься. А откуда мне знать. Я же еще не разбираюсь. Чушь, не разбираюсь. Говорит дед Кюммель. Имен таких нет, которые всем известны. И разбираться нечего.

С чисто экономической точки зрения быть студентом не имеет никакого смысла. Мне сейчас шестнадцать. Пройдет еще девять лет, пока начну зарабатывать. Два года — в школе. Полтора года — в армии. Пять лет — в университете. А зарабатываешь потом — не сказать чтоб жирно. Этих потерь никогда не наверстать. Чтоб не чувствовать себя дураком, остается только твердо решить, что деньги не играют для тебя никакой роли. И не будут играть никогда. Но попробуй скажи об этом вслух, так все возмутятся. Мама тут же дико обиделась. Точно я лично ее оскорбил. Не пойму, чего это они так реагируют. Может, многое в жизни делали только ради денег. Я хочу сказать: делали то, чего не стали бы иначе делать. Или боятся, что ты намерен выйти из-под их влияния. Если тебе потом что-то понадобится, ответ один: я думала, деньги не имеют для тебя никакого значения. А ведь моя мать еще довольно щедрая. Я знаю ребят, которых родители прямо-таки шантажируют. Какие бы они, родители, ни были, в один прекрасный день тебе дадут понять, что ты до двадцати пяти лет сидишь у них на шее.

Но я с этим примирился. Я просто не могу себе представить, что придется заниматься чем-нибудь другим. Когда я сижу над какой-нибудь задачей,— к примеру, рассчитываю новую схему,— я забываю обо всем на свете. Сунет мама голову в дверь, напомнит, чтоб помойное ведро вынес, я лезу в бутылку. Как рявкну, пусть со своим треклятым ведром катится... Согласен, не очень-то любезно с моей стороны. Но что делать. Они же этого просто не понимают. И мама тоже. Хотя сама — инженер. Она говорит: я ведь не выбираю время, когда для вас готовить. И она, конечно, права. Иной раз я и правда невыносим. Особенно если у меня неприятности. Я должен разрядиться. Но если я что-то спаял и оно работает, я от радости готов до потолка прыгнуть.

Со временем я хотел бы что-нибудь изобрести, очень это увлекательно. Что-нибудь, чего еще никогда не было. Значит, надо получить

высшее образование. Иначе к делу не подступиться. Поэтому я боялся, что не попаду в одиннадцатый класс.

Кстати, все интересное начнется только в одиннадцатом. Чудно́, в большом спорте начинают с детского сада. Но, может, в науке мы уже достигли таких высот, что медали получать — нам раз плюнуть.

Я гоняюсь за отметками как черт — за душами. Говорит дед Кюммель. Ему, правда, изрядно пришлось пережить, но многого он, что ни говори, не сечет. Ведь все зависело от каждой десятой. В седьмом классе я, чтоб поставили пятерку, пробежал бы до Алекса[1] и назад. Просто так. Без всякого смысла. Откалывали ребята какие-нибудь номера, я всегда держался в стороне. Хоть они угрожали, что отдубасят всем классом. Потому что я как назло всегда попадаюсь. Пусть я в каком-то деле ни при чем, но у меня вытягивается лицо, словно я во всем виноват. Не знаю, какая тут причина. И ничего не могу с собой поделать.

Это были, в общем-то, самые скверные времена, какие я могу себе представить. Так быстро их не забыть. Еще теперь плохая отметка буквально сшибает меня с ног. А ведь сейчас отметки для меня не так уж важны. На те отделения, которые меня интересуют, все равно нехватка желающих.

Отметки. Подумаешь, отметки. Надо самому понять, что для тебя важно. Знаю таких, что всю жизнь гоняются за хорошими отметками, жалкие типы. Говорит дед Кюммель. Я тоже знаю таких. В моем новом классе. Зануды какие-то. И вообще, жизнь у нас скучная. Если когда и решим что-нибудь вместе затеять, так нашу затею тут же объявляют обязательным мероприятием, потому что Бабетте для отчета нужно. Не скажу, чтобы обязательные мероприятия меня безумно воодушевляли. А за то, что я вечно ко всему цепляюсь, они хотят в следующем году выбрать меня. Я, конечно, рваться не стану. Честно. Но как-то... Короче, я еще это дело обмозгую.

Во всяком случае, поговорю с дедом Кюммелем. С ним я действительно могу обо всем говорить. Когда он был молодой, он объездил полмира, и самое малое десятка три профессий испробовал. В нацистской Германии его загнали бы в концлагерь. Если уж он что-то обосновывает, так не просто болтает попусту. С ним какой-то вопрос обсуждать — все равно что фехтовать с тренером. Не знаю, понятно ли это. Но позже тебя так и тянет проверить его аргументы на других.

С мамой всегда все по-разному. Случаются периоды, когда она кипит, как чайник. Тогда лучше ее не трогать. А все оттого, что слишком много размышляет о смысле жизни. И хочет чего-то особенного. Не может нормально жить. И на работе то же самое. Вечно за что-нибудь горой стоит. Да только всем нервы портит. Я хочу, чтобы в моей жизни был смысл. Говорит мама. Да мне от этого какой толк. Конечно, я тоже считаю субъектов, нацеленных только на личное обогащение, людьми не очень порядочными. Но из-за этого не следует же вечно выдумывать себе одну дурацкую задачу за другой и посвящать свою жизнь их выполнению. Думаю, надо быть скромнее. Бывает, родители хотят непременно заставить своих детей жить так, как самим бы хотелось. Этого я вообще не стерпел бы.

Раньше, когда мы жили с отцом, было гораздо лучше. Отец придумывал феноменальные игры. Мне с ним было всегда очень весело. Я не боялся, что нам не хватит денег. И мама не была такой нервной.

Хуже всего, что до официального развода ничего заметно не было. И вдруг они напускают на себя торжественность и сообщают тебе, что развелись. Ты стоишь как громом пораженный и думаешь, что над тобой зло подшутили. Но постепенно начинаешь понимать, что это вовсе не шутка. А они еще гордятся, что так ловко все обстряпали.

— Не беспокойтесь, во всем, что касается вас, у нас единое мнение. Для вас почти ничего не изменится.

[1] Александерплац — площадь в Берлине.

Муторная история. Тебе остается одно — выйти из игры. Им ты все равно никогда уже верить не будешь.

Штрудель эта история так глубоко не потрясла. Скорее уж она была как-то возбуждена, как перед пасхой или рождеством. Но я считаю чертовски унизительным, когда другие что-то за меня решают. Я хочу знать, что меня ждет. Останется ли, к примеру, у меня моя комната. Раньше мы без конца переезжали. А когда наконец получили новую большую квартиру,— бах — развод.

Виновата только мама. Встретила какого-то человека, и вдруг все, что отец ни сделает, ее раздражает. А тот, другой, ее вовсе и не захотел. Так оставалась бы с отцом. Но нет. Такая уж мама. Не может ничего нормально рассудить. Отцу никогда бы подобные идеи в голову не пришли.

Теперь отец снова женился. Мама, когда узнала, заплакала. Может, жалеет, что так вышло. Наверняка жалеет. Должна жалеть. Ведь человек, с которым она теперь объединилась, ноль без палочки.

Обосновался у нас. Задымил все комнаты. Важничает. Во все вмешивается. А его наши дела вообще ничуть не касаются, ведь он даже не занесен к нам в домовую книгу.

Когда я прихожу домой, а тип этот сидит за столом, прихлебывает пиво, потные ноги через всю комнату протянул, мне хочется тут же смотаться. Не понимаю, как мама может с ним в одной постели спать. Интересно, а этим они занимаются? Я по части секса не специалист. Но думаю, они для этого слишком старые. К счастью. От одной мысли об этом тошнит.

Вначале я разработал стратегический план. Хотел его вытурить и смею утверждать, что в этом деле я не промах. Нужно только нащупать уязвимые места у человека. У него их по меньшей мере три. Больше всего его злит, что мама — его начальник. Тип этот тоже инженер и работает на том же предприятии.

А женщины и правда какие-то чудные. На работе мама — настоящий босс. Пользуется авторитетом. Зарабатывает. А дома убирает за этой тлей. С нами дело обстоит иначе. В конце-то концов мы ее дети. Но до этого человека нам нет никакого дела. А когда мама выбьется из сил и разнервничается, он ее добивает. Она нас плохо воспитывает, говорит он. И с олимпийским спокойствием наблюдает, как мама не покладая рук вкалывает. Наверное, ему бы хотелось, чтобы мы тоже вокруг него увивались. Но он нас плохо знает. Штрудель и меня.

Итак, я разработал стратегический план. И Штрудель была со мной совершенно согласна. Никогда раньше не были мы так единодушны. И разок-другой его здорово поддели. Для начала я задал ему два-три заковыристых вопроса, и он поплыл, да еще как. А потом Штрудель простодушно осведомилась, много ли надо знать, чтобы стать завотделом. Он весь побелел, пытался сделать вид, что его это ничуть не трогает. Но конечно же, замыслил месть. По любому пустяковому поводу стал затевать с нами яростный спор. А нам только того и надо. Мы рвались в бой. Наверняка в мире нет второго такого злыдня. Он лопался от злости и всякий раз начинал нас оскорблять. Маме же приходилось нас выручать, хотела она того или нет. В противном случае она как мать была бы дисквалифицирована. Тут-то спор разгорался не на шутку. Мы могли выйти из игры. Глупо только, что мама потом всегда плакала.

Я радоваться должен, что моя мать так занята. Говорит Берти. А то ведь начнет во все вмешиваться. И этого тебе не выдержать. Не знаю. Раньше все-таки было лучше. Если я теперь этого типа не трогаю, так только из любви к маме. Факт остается фактом — я этого человека не выношу.

Я, когда вырасту, не женюсь. Мне хочется жить за городом, чтобы домики были кругом маленькие, и с садами. Как живет дед Кюммель. И мне хочется иметь клочок земли, где я буду чувствовать себя

дома. Где, к примеру, смогу посадить дерево, и дерево это будет моим. И никто не посмеет отобрать его у меня. Маленький дом. И никакой не шикарный. Главное, чтоб я мог устроить там мастерскую и чтоб никто не вмешивался в мои дела. Я буду все время что-нибудь изобретать. И заведу животных. И буду выращивать разные растения. А по воскресеньям ходить на рыбалку, если к тому времени еще останутся озера с рыбой.

Наш госвед сказал бы: вашим представлениям о будущем не достает элементов общественного сознания. Но это совсем не так: ведь мне на пути к моей мечте придется весьма часто иметь дело с элементами общественного сознания.

Мама считает, что стоит мне засесть в том маленьком домике, и я либо стану настоящим обывателем, либо тоже начну размышлять о смысле жизни. Она, кажется, верит, что счастлив только тот, кто поставил себе недостижимые цели.

Но уж, во всяком случае, жена мне не нужна. Она со мной разведется, получит дом, а мне придется выметаться. И выращенное дерево тоже не разделишь.

Но тогда у тебя не будет детей. Говорит дед Кюммель.

Детей мне бы хотелось. Это было бы здорово. Но вот — ты их всем сердцем любишь, а их у тебя отнимут! Такое случается. Жена моего отца не пускает к своей дочери ее родного отца. Ей это можно. Она имеет право. Лучше уж, чтоб детей совсем не было.

До девчонок мне вообще дела нет. Мне кажется, маму это несколько беспокоит. На днях она сказала тете Кароле: мальчик всегда чуточку отставал в развитии. Думала, верно, что я не слышу. Во всяком случае, возмутительно, считаю я, что они во все вмешиваются. Это уж наверняка мое личное дело.

Ради Берти я стал ходить на уроки танцев, один он не решался. Могу только сказать: мученье в квадрате. Я делал вид, что получаю, разыгрывая шута, огромное удовольствие. По правде же говоря, всегда жутко злился. Иной раз мне хотелось этим глупым хихикающим гусыням всем по очереди щелбана дать.

Главное, я не знаю, о чем с ними разговаривать. А разговаривать очень важно. Говорит Берти. Но то, о чем я охотно толкую, электроника к примеру, их ничуть не интересует. А я не интересуюсь шлягерами и прочей мурой.

Я, того и гляди, свихнусь на своем предмете. Говорит дед Кюммель. Лучше свихнуться, чем быть человеком, который обо всем болтает, а по-настоящему ни в чем не смыслит. Говорю я. И дед Кюммель понимает, что́ я имею в виду. Но ему можно все говорить — он не обидится.

Я охотно переехал бы к деду Кюммелю. Места там хватит. Но не могу же я оставить маму одну. Ведь, кроме меня, ей не на кого опереться. С Штрудель тоже каши не сваришь, у нее одна любовь на уме.

Впрочем, дед Кюммель вовсе не настоящий наш дедушка. Он только удочерил маму. После войны. Взял маму из детского дома. Но он лучший дедушка, какого можно пожелать, хотя мнения у нас редко совпадают. Он спокойно относится к тому, что я, бывает, с ним не согласен.

Этого, к сожалению, нельзя сказать о нашей учительнице немецкого. Она заранее, еще до того как войдет к нам в класс, знает, какое суждение мы должны иметь. Кажется, она называет это «цель воспитания». И еще она лицемерно притворяется, будто ей интересно, о чем мы действительно думаем. И я, идиот, тут же попадаюсь на удочку.

Как-то раз нам задали описать наши истинные чувства во время какого-нибудь события; я выбрал митинг, когда лил проливной дождь. Холод был собачий. Ох, мы и намерзлись! Руки совсем окоченели.

И всякий раз, когда техник подходил к микрофону и мы с облегчением вздыхали, надеясь, что теперь-то уж все начнется, он только считал: раз, два, три — и исчезал в сухом помещении. Я уже видел, как валяюсь с воспалением легких. У-уу. У-уу. Синяя мигалка. Больница. Кислородная маска. И прочее.

За сочинение я получил двойку. Учительница не пожелала даже обсуждать его со мной. Я, мол, радоваться должен, что она не хочет больше говорить об этом. Такие нытики, как я, никому не нужны.

Да, всегда следует наперед дознаться, что от тебя хотят услышать, и писать сообразно этому. В нашем классе есть в этом деле мастера высокого класса.

Берти говорит, что учительнице немецкого наверняка нелегко. Его тетя тоже в полной средней преподает и вечно боится какого-нибудь чепе в своем классе, ведь тогда ее, чего доброго, переведут в другую школу. Где в классе тридцать шесть учеников, и они не очень-то рвутся к знаниям.

Наша учительница немецкого настоящая зануда. Говорит дед Кюммель. Вообще-то это бывает, что учитель — зануда. Не только учитель немецкого. Но и математики. К примеру. Не стану же я поэтому делать вывод, что математика нужна только занудам. Я хотел облегчить себе жизнь. Немецкий, государствоведение и история требуют бóльшего выявления личности, чем математика и физика. У кого нет собственного мнения по тем предметам, тот вынужден повторять готовые истины. А это, разумеется, удовольствия не доставляет. Логично. Когда я писал сочинение, так не слишком-то напрягался. Чувства могут в конце-то концов быть и такие и эдакие. Но если ты считаешь их достаточно важными, чтобы о них писать, то они в ряду каких-то событий неожиданно приобретают совершенно другой смысл и могут быть превратно поняты. Над этим мне в будущем следует хорошенько поразмыслить. Пытайся всегда честно и содержательно излагать свое мнение. Говорит дед Кюммель.

Пусть-ка покажет сперва, как это делается. Наши темы для сочинений чаще всего сформулированы так: докажите, что то-то и то-то будет таким-то и таким-то. Если мое честное и твердое убеждение подсказывает мне, что то-то и то-то не будет таким-то и таким-то, и я эту мысль развиваю, так мне объявляют, что я написал не на тему. Что вообще-то правильно.

Книги, которые мы обязаны прочесть, интересуют меня в последнюю очередь. Они со мной имеют столько же общего, сколько бабочка-медведица с Большой Медведицей. Какое мне дело до «Коварства и любви» и прочего истеричного вздора.

Берти говорит, что это точно как с радиолампами. Литература тоже уже давно дошла до интегральных схем. Только я этого не заметил. Оттого, что ничего не читаю, в противоположность ему. Поэтому с ним они не могут так бесцеремонно обращаться, как со мной. Иногда мне кажется, что я сижу в придорожной канаве, а Берти бодро шагает вперед. Не стану утверждать, что очень приятно видеть себя в канаве. Но подозреваю уже, к чему все клонится. Для начала нужно набрать уйму фактов, не может быть, чтоб в литературе было совсем по-другому, чем в биологии или физике. Одно только меня беспокоит — что случится, если не хватит объема моего запоминающего устройства. Я хочу сказать, если мой мозг не выдержит.

Тогда каюк тебе, Пи!

Принцесса возвращается домой

— Всего хорошего,— крикнул привратник молодой женщине, но она, выходя из учреждения, даже не кивнула ему.

Он привык, что она его не замечает, и все равно хорошо относит-

© Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, 1978.

ся к ней. Более того, зная ее уже довольно много лет, он понимает по тому, как мучительно взвыл мотор, что у нее неприятности. Для полицейского же, который регулирует перекресток, она — одна из тысяч людей, ежедневно катящих мимо него. Когда молодая женщина проехала, полностью его игнорировав, он на мгновение растерялся, потом свистнул — раз, другой и еще раз. И не столько сам факт правонарушения задел его, сколько полнейшее спокойствие и естественность, с какой это было совершено. Надо думать, поступок этот показался ему началом конца того порядка, в смысл которого он верит и частью которого себя ощущает.

Дверца машины захлопнулась. Хода мыслей не нарушает целесообразная прямолинейность фасадов. Нет в ней ни единой точки опоры, какие помогли бы отключиться,— ни углового кафе, завернув в которое можно было бы перекрыть поток мыслей, ни витрины, будящей желания, ни киноафиши, манящей попристальнее ее разглядеть, ни знакомого лица, приветливость которого рождает предчувствие — ты возвращаешься домой.

Лифтом поднимается она на седьмой этаж. Как обычно, ищет ключи от квартиры. Но тут дверь распахнулась.

Молодая женщина целует дочку.

— Мама, почему так поздно? Мы пойдем купаться? Бабушка приготовила бутерброды. Мартина забыла сегодня свои. Мартине на рождение подарили хомячка. А Стефана она не пригласила, он же ее отколотил. Мы решили, что ему нечего больше быть бригадиром. Все хотят меня бригадиром. И Мартина тоже. Мама, можно Мартина пойдет с нами купаться? Хомячок у Мартины — прелесть. Мама, а можно нам такого? Ну, пожалуйста, пожалуйста, мамочка! Фрау Грюнфельд говорит, что мне нельзя опять быть бригадиром, раз я уже была в прошлом году. Гадко, считаю, с ее стороны. А ты, мама? Мартина тоже считает, что это гадко. Мартину я приглашу на день рождения. Если у ее хомячка к тому времени будут дети, одного она мне подарит. Его надо каждую неделю купать. Когда же мы пойдем купаться, мамочка? Мамочка, можно я возьму новый купальник? Стефан посадил мне чернильное пятно на кофту. Мы вообще не хотим, чтобы Стефан был в нашей бригаде. По математике я получила сегодня пятерку, подпиши, мама. Все равно фрау Грюнфельд противная. У Мартины четверка. Если ей с нами можно, я быстро сбегаю, скажу.

В ящике, где хранятся лекарства, таблетки от головной боли лежат на видном месте в первом ряду.

— Мама, принести хомячка Мартины к нам? Ну когда же мы наконец пойдем? Мамочка, мамочка, ты что, не слышишь? А мороженое купим? Мартина вообще не дает хомячку пить. А хомячки и кролики — родня? Мама, а хомячок — домашнее животное? Если хомячок не домашнее животное, почему же кролик домашнее? А хомячков на всем свете миллион будет? А кролики умеют плавать? Если мы сейчас же не пойдем купаться, может начаться дождь. Почему кролики не тонут в своей клетке, когда идет дождь?

Молодая женщина, жест которой «рукой прикрыть глаза»— и просьба: «Да помолчи хоть пять минут»— остались без всякого внимания, чтобы оборвать разговор с ребенком еще до того, как он по-настоящему начался, обращается к некорректному методу взрослых:

— В твоей комнате такой же ералаш, как и в твоей дурацкой болтовне. Напрасно я без конца твержу одно и то же... Да что там, приведи комнату в порядок, быстро!

Все трое понимают, что взрослый, разыгрывая атаку, просто увиливает. Ребенок ставит этот поступок матери в ряд со многими другими непонятными поступками. Мать молодой женщины, которая на протяжении дня безраздельно несет ответственность за ребенка и которой теперь трудно примириться с разделением или, того хуже, с пресечением этой ответственности, вмешивается с укоризной:

— У тебя опять неприятности, Ирена?

Молодая женщина, уже мучимая стыдом из-за своей несдержанности, хватается за обманчивый спасательный круг, толкающий ее на новую несправедливость. Она прикрывает дверь в детскую, где девочка Катрин остается один на один с процессом преодоления собственного «я», формирующим личность, и говорит:

— Мама, были у меня неприятности или нет — это вопрос допустимый, права я или нет — это тоже можно признать вопросом допустимым, но что ты критикуешь меня в присутствии Катрин, это совершенно недопустимо. Это немыслимо. Я считала, что об этом мы с тобой договорились.

Мать со стуком ставит стопку тарелок на стол. У нее покрасневшие от хронического воспаления глаза. Она легонько стонет, так что ясно — ей совсем не просто нагнуться за упавшей ложкой. Ожидаемого кашля, однако, не последовало, вместо него — ответ, логически никак не связанный со сказанным, скорее пробуждающий ощущение бессмысленности, и молодая женщина сама не может понять, нужно ли ей это ощущение.

— Что знаешь ты об этом ребенке? Ковер у нее был озером, мишка — продавцом мороженого, белка — хомячком в клетке из кубиков. Да, Катрин умеет играть. А вот ты всегда была странным ребенком.

И тут начинается описание кукол, которые дарили молодой женщине, тогда, после войны, когда она была еще ребенком, девочкой Иреной.

— Ты к ним даже не прикасалась!

— Мама, не думаешь ли ты,— вздыхает молодая женщина,— что это не имеет никакого отношения к нашей проблеме, и не думаешь ли ты также, что Катрин уже в таком возрасте, когда в ее душе могла бы найтись хоть капля сочувствия к ближним?

Мать не думает так — ни о первой части сказанного, ни о второй.

— Может, я и в этом недостатке виновата?

Молодая женщина думает секунду и отвечает:

— Я пытаюсь вспомнить себя. Согласна, субъективность мешает воспоминаниям, и позднейший опыт придает шкале времени объективность. Но все-таки мне кажется, что в этом возрасте я уже была понятливей. Оставляя в стороне эту несхожесть — как же хорошо, что ее детство столь разительно отличается от моего.

Мать выходит из комнаты, и хотя молодая женщина не видит ее глаз, она знает, что мать будет плакать. Без сил сидит она в кресле, думает: это уж слишком. Сегодня мне достается слишком. Взяв себя в руки, она поднимается и говорит:

— Мама, я не хотела тебя обидеть.

Мать режет помидоры и беззвучно плачет.

— Я, конечно, не жду благодарности. Но все же: как ты можешь быть такой. Целый день я вожусь и жду, жду, может, и доброго слова. Что знаешь ты о тех временах. Мы старались тебя ото всего оградить. Над твоим детством только солнце сияло. Понимаешь ли ты, чего это нам стоило! Возможно, это была наша ошибка.

Молодая женщина опускает голову на руку. Все, что мать сейчас скажет, она знает наизусть — и последовательность, и слова, которые отберет мать. Нежданно-негаданно ты недочеловек. Вчерашние друзья отворачиваются от тебя на улице. Сочувствующий адвокат рекомендует:

— Разведитесь, спасите вашего ребенка!

Бабушка и дедушка сгинули в концлагере. Страх! Никогда не уходящий, буравящий страх. Рюкзак в прихожей. Мучительные мысли о бегстве, которое невозможно. Страх! Ночью — страх! Днем — страх! Сосед — эсэсовец Церкер. Подал заявление. Как долго может

истинный немец терпеть по соседству от себя осквернение расы! Их посещает фрау Церкер и переписывает свою будущую обстановку. Страх! Ненависть! Ну что страх пропал, это понятно, но куда впоследствии девалась та ненависть?

Молодая женщина все это уже знает, знает также, какие чувства испытывает ее мать, которая не в силах, в сущности, довериться ей, не способна передать ей этот свой опыт. А сама она не в состоянии показать матери, что хорошо понимает эти чувства. Как не могла бы она объяснить, почему, ощутив внезапно какое-то тревожное смятение, заявила зубному врачу:

— Золото! Нет, золота у меня нет. Сделайте из чего-нибудь другого.

И вот молодая женщина снова принцесса.

Принцесса Ирена нервно дергает свои темно-русые косы. Она сидит на садовой стене. Где-то вдалеке поют дети.

— Почему мне нельзя в детский сад? — спросила она.

Мать погладила ее по голове.

— Это же для деревенских детей. А ты — принцесса.

Так, значит, она принцесса. Этим объясняется также, почему садовые ворота всегда накрепко заперты. Принцессы одиноки и скучают, пока в один прекрасный день какой-нибудь принц не перелезет через стену. Ирена спрыгивает в сад. Подталкивая красивый мяч, она бежит по грядкам. У мяча есть обрубок хвоста и навостренные уши. Зовут его Шнап.

— Ты хорошо сторожил мое дитя? — спрашивает принцесса.

— Хорошо сторожил, хр-р-р,— ворчит собака-мяч и бежит перед ней к живой изгороди.

Здесь, в колыбели, лежит ребенок с хрупкой фарфоровой головкой, небесно-голубыми глазами, в розовом платье.

— Дитя мое,— говорит принцесса,— когда ты вырастешь, мы не останемся больше принцессами, мы тогда сбежим. Ну не плачь,— утешает она ребенка и берет его из колыбели. — Если ты никому не проговоришься, я тебе что-то покажу.

Шнап лежит у колыбели, а принцесса ползет через заросли к кусту бузины. Фарфоровоголовая кукла серьезно заглядывает в птичье гнездо с тремя яичками в зеленых пятнах. Принцесса садится на камень и мелко-мелко ломает веточки бузины.

— Минка, чего ты ешь траву? Скоро дождь пойдет?

— Абр-р-ракадабрамяумяу,— мяучит кошка, поблескивая раскосыми зелеными глазами.

Гордая и неприступная, проходит она мимо принцессы. А принцесса опять залезает на стену; со стороны улицы стена уходит глубоко вниз, в канаву. Прыгать — высоковато, но есть хорошо продуманный путь, чтобы вскарабкаться вверх.

— Если ты когда-нибудь перелезешь через стену, мне придется тебя запереть!

Может, королева — это ведьма, которая держит принцессу в плену? Принцесса лежит на стене, ивовые ветки образуют вокруг нее золотую клетку. Ветер шевелит стены клетки. Волшебные силы тянут куда-то принцессу, ощущение такое, будто она куда-то катится, куда-то низвергается. Испытание мужества — лежать спокойно, считать до десяти. Дитя принцессы сидит в траве — выпрямившись, с серьезной миной. Принцесса целует свое дитя и ложится рядом. Широко открытыми глазами смотрит она на небо. Приказ: глаз не закрывать! Быстро бегут облака. Крошечные черные точки. Небеса полны муравьев. Она вжимает ноготь большого пальца в кончик указательного. Звезды разлетаются искрами. Невыносимо много сверкающих звезд. Принцесса вскакивает, зажимает глаза руками. Звезды еще какое-то время мерцают и горят.

— А теперь ты! — говорит принцесса.

Но кукла не может лежать с открытыми глазами ни секунды. Принцесса несет, напевая, свое дитя к колыбели.

Впервые, с тех пор как принцесса себя помнит, ворота в сад приоткрыты. О стене королева говорила, о воротах — нет. Принцесса осторожно открывает их чуть пошире и выглядывает на улицу. На противоположной стороне улицы у стены дома сидит девочка с каштановыми локонами и карими глазами. Она восхитительно-прекрасна, как девочка на фарфоровом блюде королевы.

— Как ты думаешь, нравимся мы ей? — задает вопрос принцесса.

Дитя принцессы хлопает небесно-голубыми глазами. И принцесса протягивает девочке куклу.

— Как тебя зовут?

— Марианна Церкер,— отвечает кареглазая девочка. — А ты из тех, тамошних?

— Да, я принцесса.

— А-а, принцесса,— говорит девочка Марианна. — Очень красивая кукла.

— Может, поиграем? — спрашивает принцесса.

— Да, поиграем,— соглашается фарфоровоблюдная девочка, берет куклу и идет вдоль стен дома к лестнице в погреб. — Правда, очень красивая кукла.

При этом она держит игрушку в вытянутой руке. Фарфоровая голова разлетается у двери в погреб на тысячи осколков.

— Склеить невозможно,— говорит королева и гладит принцессу.

Ворота в сад опять заперты, принцесса сидит в доме, плачет.

— У Минки скоро будут котята, ты можешь себе одного оставить.

Принцесса плачет еще сильнее. Внезапно воцаряется тишина.

— А она,— говорит принцесса,— она же убийца. Ее надо наказать. Ты ее накажешь?

Принцесса стоит перед королем и заглядывает ему в глаза. У них глаза очень похожи — у принцессы и у короля, удлиненные, светлые, с чуть тяжеловатыми веками и изогнутыми темными ресницами. «Мечтательные глаза»,— говорит иногда королева. Но сейчас во взгляде принцессы суровость, требовательность, это взгляд взрослого, а во взгляде короля — смущение, грусть. Он избегает взгляда ребенка. Наконец король мучительно-медленно говорит:

— Да, завтра.

Дочери уже знакомо это «завтра» отца. Она берет осколки из рук матери и бросает их в золу, тряпичное тельце — вслед за ними. Выходит в сад, садится на камень и точно застывает. Она не видит, что мать плачет.

Всегда ли хорошо, думает молодая женщина Ирена, что мы скрываем от своих детей наши горести и заботы. Правильно ли лгать им, представляя окружающий мир стерильно чистым? Тогда свои болевые точки они обнаружат в совсем других местах, а мы будем им чужими.

— Купаться уже поздно, Катрин,— говорит молодая женщина,— но мы могли бы поиграть в куклы.

Она опускается на колени и склоняется над кукольной кроваткой. Девочка Катрин, заложив руки за спину, удивленно и вместе с тем смущенно наблюдает за матерью.

— Я лучше пойду на улицу с Мартиной, можно?

Молодая женщина секунду-другую колеблется. Словно ищет что-то в своих мыслях. Но потом говорит:

— Что ж, иди!

И смотрит вслед дочери.

Дверь захлопнулась.

■

ПИТЕР БЕНЧЛИ

Челюсти

РОМАН

Перевод с английского И. БАСАВИНОЙ

8

Броди проснулся внезапно, словно от толчка, предчувствуя недоброе. Он быстро протянул руку, чтобы коснуться Эллен. Эллен на кровати не было. Он приподнялся и увидел, что она сидит в кресле у окна. Дождь хлестал в стекла, и он слышал, как ветер шумит в кронах деревьев.

— Отвратительный день, а? — сказал он. Она не ответила, продолжая пристально наблюдать за каплями, стекавшими по стеклу.— Чего это ты встала так рано?

— Не спалось.

Броди зевнул.

— О себе этого я сказать не могу.

— Что ж тут удивляться.

— О боже. Ты опять за свое.

Эллен покачала головой.

— Нет. Извини. Я просто так.— Голос у нее был грустный, подавленный.

— В чем дело?

— Ни в чем.

— Ну, как хочешь.— Броди встал с кровати и прошел в ванную.

Он побрился, оделся, спустился в кухню. Мальчики кончали завтракать, Эллен жарила ему яичницу.

— Что вы, ребята, намерены делать в такой гнусный день? — спросил он.

— Чистить газонокосилки,— ответил Билли, который работал летом у местного садовника.— До чего я ненавижу дождливые дни!

— А вы? — Броди повернулся к Мартину и Шону.

— Мартин идет в клуб для мальчиков,— сказала Эллен,— а Шон проведет этот день у Сантосов.

— А ты?

— Я весь день буду в больнице. Хорошо, что напомнил: я не приеду домой к обеду. Ты можешь пообедать в городе?

— Конечно. Я не знал, что по средам ты работаешь полный день.

— Как правило, нет. Но одна наша девушка заболела, и я обещала подменить ее.

— Вот как?

— Я вернусь к ужину.

— Отлично.

Окончание. Начало см. в № 7.

— Ты, кстати, не мог бы подбросить Шона и Мартина по дороге на работу? Я хочу кое-что купить по пути в больницу.

— Конечно.

— Я захвачу их, когда поеду домой.

Броди и двое младших детей ушли первыми. Потом Билли, надев на голову водонепроницаемую накидку, уехал на велосипеде.

Эллен взглянула на стенные часы на кухне. Без нескольких минут восемь. Слишком рано? Возможно. Но надо застать его в отеле, а то он уйдет куда-нибудь и возможность будет упущена. Она вытянула вперед правую руку, постаралась унять дрожь в пальцах, но ей это плохо удавалось. Она сама улыбнулась своей нервозности. «Не очень-то ты годишься на роль распутницы»,— прошептала она. Поднялась в спальню, села на кровать и взяла зеленую телефонную книгу. Нашла номер телефона гостиницы «Герб Абеляра», положив руку на трубку, поколебалась секунду, затем сняла трубку с рычага и набрала номер.

— «Герб Абеляра».

— Номер мистера Хупера, пожалуйста. Мэта Хупера.

— Одну минутку... Хупер... Да, пожалуйста. Четыре-ноль-пять. Соединяю.

Эллен слышала, как телефон прозвенел один раз, другой. Она слышала стук своего сердца и видела, как бьется жилка на запястье правой руки. «Положи трубку,— сказала она себе.— Положи. Еще не поздно».

— Алло? — раздался голос Хупера.

О, боже милостивый, подумала она, а вдруг Дейзи Уикер у него в номере?

— Алло?

Эллен сделала глотательное движение.

— Привет. Это я... Я хочу сказать, это Эллен.

— О, привет.

— Надеюсь, я вас не разбудила?

— Нет. Я уже собрался спуститься позавтракать.

— Правда? Неважный сегодня день, вы не находите?

— Да. Но меня это не особенно огорчает. Сегодня я поспал вволю, а это для меня роскошь.

— Вам нужно... сегодня работать?

— О, не знаю. Я как раз размышляю над этим. Выйти на катере в такую погоду и рассчитывать на успех трудно.

Эллен замолчала, голова у нее кружилась, мысли путались. «Ну, смелей,— подбодрила она себя.— Спроси его».

— Я думала... — Нет, будь осторожной. Не надо сразу.— Я хотела поблагодарить вас за замечательный талисман.

— Не за что. Я рад, что он вам понравился. Но это я должен благодарить вас. Это был чудесный вечер.

— Я... мы тоже рады. Я рада, что вы пришли. Было так, как в прежние времена.

— Да.

«Пора,— сказала она себе.— Смелей».

— Знаете, что мне сейчас пришло в голову. Если вы не собираетесь сегодня работать, я хочу сказать, раз вы не можете выйти сегодня на катере в океан, я подумала, может быть... если вы не против... если вы свободны, мы могли бы вместе пообедать.

— Пообедать?

— Да. Понимаете, если у вас нет других дел, я подумала, мы могли бы пообедать.

— Мы? Вы хотите сказать, вы, шеф и я?

— Нет, только вы и я. Мартин обычно обедает у себя в кабинете. Но мне бы не хотелось нарушать ваши планы. Разумеется, если у вас много дел...

— Нет, нет. Я не прочь. С удовольствием. Где бы вы хотели пообедать?

— Есть отличный ресторанчик в Саг-Харборе. «Бэннер». Вы бывали там? — Она надеялась, что он не бывал. Она тоже не была, а это означало, что там ее никто не знает. Но она слышала, что это приличное заведение. Тихая музыка, неяркий свет.

— Нет, я никогда там не был,— ответил Хупер.— Но Саг-Харбор? Не слишком ли это далеко?

— Нет, это не далеко, всего пятнадцать—двадцать минут езды. Я могла бы встретиться с вами там, когда вам удобно.

— Меня устраивает любое время.

— Тогда в половине первого.

— Хорошо, в половине первого. До встречи.

Эллен повесила трубку. Руки ее все еще дрожали, но какое-то необыкновенное ликование охватило ее. Все ее чувства, казалось, пробудились, обострились. Она с наслаждением вдыхала запахи, окружавшие ее. Все малейшие звуки в доме — скрипы, шуршание, стуки — звучали в ее ушах, как симфония. Ее охватило желание, какого она давно уже не испытывала, на нее словно накатила теплая волна, приятная и неприятная одновременно.

Она прошла в ванную и приняла душ. Побрила ноги и под мышками. Пожалела, что не купила один из тех дезодорантов, специально для женщин, которые так усиленно рекламировали, и поэтому напудрила все тело, опрыскала себя духами.

В спальне было зеркало во весь рост, она стояла перед ним, внимательно разглядывая себя. Была ли она все еще хороша? Могла ли она по-прежнему нравиться? Она специально занималась гимнастикой, чтобы сохранить фигуру, сохранить гибкость, моложавость. Она не допускала мысли, что ее могут отвергнуть.

Эллен понравилась себе. Морщин на шее мало, и они едва заметны. Лицо чистое и гладкое. Кожа упруга, ни припухлостей, ни мешков под глазами. Она стояла прямо и восхищалась формой своей груди. Талия была тонкой, живот плоским — награда за бесконечные часы упражнений после рождения каждого ребенка. Единственно, что может не понравиться, решила она, внимательно и критически оглядев себя, это бедра, даже при самом богатом воображении их трудно было бы назвать девичьими. Они свидетельствовали о материнстве. Это были бедра матери семейства, как заметил однажды Броди. Вспомнив об этом, она вдруг почувствовала угрызения совести, но они тут же пропали. Ноги у нее были длинные и, несмотря на пышные бедра, стройные. Идеальные ступни и лодыжки, аккуратно подстриженные ногти могли привести в восхищение даже самого строгого ценителя ножек.

Она надела свою форму. Из глубины шкафа достала целлофановый пакет, куда положила очень маленькие трусики, бюстгальтер, туфли-лодочки на низком каблуке, дезодорант, пластмассовую бутылочку с гигиенической пудрой, зубную щетку, тюбик зубной пасты, а поверх всего — аккуратно сложенное бледно-лиловое шелковое платье. Она пошла с пакетом в гараж, бросила его на заднее сиденье своего «фольксвагена» и, выехав на дорогу, покатила в саутгемптонскую больницу.

Езда утомила Эллен, она почувствовала себя совсем разбитой, ведь она не спала всю ночь. Вначале она лежала на кровати, потом сидела у окна, обуреваемая самыми противоречивыми чувствами: пылкими эмоциями и укорами совести, желанием и раскаянием. Она не помнила, как у нее возник этот безумный, рискованный план. Она старалась гнать от себя эти мысли и в то же время постоянно думала об этом, с того самого дня, когда впервые встретилась с Хупером. Она убедила себя, что игра стоит свеч, хотя и не совсем понимала, чего она этим добьется. Она только знала, что в ее жизни

что-то, хотя бы что-то должно измениться. Ей хотелось почувствовать, вновь почувствовать себя желанной.

Желанной не только своему мужу, здесь недостатка в эмоциях она не испытывала, но и кому-нибудь из тех, кого она считала ровней себе, кому-нибудь из того круга, к которому все еще себя причисляла. Она понимала, что ей нужна встряска, иначе что-то умрет в ней. Конечно, прошлого не воскресишь. Но что, если вызвать его в памяти, ощутить его душой и телом? Ей страстно хотелось хотя бы на короткое время вернуться в прошлое, и помочь ей в этом мог только Мэт Хупер. Мысль о любви ни разу не пришла ей в голову. Не помышляла она и ни о каких глубоких, прочных отношениях с Хупером. Она надеялась только, что осуществление ее плана возродит ее.

Эллен была довольна, что в больнице ей поручили работу, требовавшую от нее внимания и умения разговаривать с людьми, это отвлекало ее от своих мыслей. Она и еще одна женщина меняли постельное белье престарелым пациентам, для многих из них больница стала уже как бы домом, а для некоторых — последним пристанищем. Она старалась вспомнить имена их детей, живущих в отдаленных городах, придумывала разные обстоятельства, из-за которых те не смогли написать своим родителям. Она делала вид, что помнит содержание телевизионных спектаклей, о которых они говорили, обсуждала с ними, почему какой-нибудь персонаж из телеспектакля оставил жену ради авантюристки, хотя это было сразу видно, что она авантюристка.

В одиннадцать сорок пять Эллен сказала старшей в их группе, что она неважно себя чувствует. Ее щитовидка опять дает о себе знать, к тому же у нее начались месячные. Ей хотелось бы полежать немного в комнате отдыха для сотрудников. А если она не почувствует себя лучше, ей, вероятно, придется поехать домой. В общем, если она не вернется на работу к половине второго или около этого, значит, она уехала домой. После такого объяснения, надеялась она, никто не станет ее разыскивать.

Она вошла в комнату отдыха, сосчитала до двадцати и слегка приоткрыла дверь, посмотреть, нет ли кого в коридоре. В коридоре никого не было. Большинство сотрудников находилось в кафетерии в другом конце здания. Она выскользнула в коридор, тихонько закрыла за собой дверь, быстро свернула за угол и через боковой вход вышла из больницы, сразу на служебную автостоянку.

Уже подъезжая к Саг-Харбору, она остановилась у бензоколонки. Когда бак был наполнен и за бензин уплачено, она попросила разрешения воспользоваться дамским туалетом. Служащий дал ей ключ. Она объехала бензоколонку и остановилась рядом с дверью женского туалета. Открыла ее, но, прежде чем войти, вернула ключ служащему. Потом подошла к своей машине, взяла целлофановый пакет, вошла в туалет и заперла дверь.

Потом разделась и, уже стоя босиком на холодном полу и глядя в зеркало над умывальником, вдруг поняла, на какое рискованное предприятие она решилась. Она опрыскала дезодорантом под мышками, опрыскала ступни. Вынула трусики из пластмассового пакета и надела их. Натрясла немного пудры в каждую чашечку бюстгальтера и надела его. Достала платье из мешка, встряхнула его, расправила складки и натянула через голову. Посыпала пудры в каждую туфлю, вытерла ступни бумажным полотенцем и надела туфли. Затем почистила зубы и причесала волосы, сунула госпитальную форму в целлофановый пакет и открыла дверь. Огляделась по сторонам, увидела, что у бензоколонки никого нет, и только тогда вышла из туалета, бросила пакет на заднее сиденье и села за руль.

Отъезжая от бензоколонки, Эллен пригнулась: вдруг служащий заметит, что она переоделась.

В четверть первого она была у «Бэннера», ресторанчика на берегу Саг-Харбора, известного своими бифштексами и блюдами, приготовленными из даров моря. Стоянка для автомобилей находилась позади ресторана. И это обрадовало Эллен. Она не хотела, чтобы кто-нибудь из знакомых увидел ее машину.

Эллен выбрала «Бэннер», потому что он слыл модным ночным рестораном, где любили проводить время владельцы яхт и отдыхающие, а значит, днем его посещали немногие. К тому же ресторан был дорогой и жители Эмити — служащие, хозяева мелких магазинов — вряд ли приезжали туда обедать. Эллен заглянула в кошелек. У нее было около пятидесяти долларов — деньги, которые они с Броди держали дома на всякий случай. Эллен постаралась запомнить: двадцать долларов, пять долларов, две бумажки по десять долларов и три — по доллару. Потом она положит точно такие же купюры в банку из-под кофе, хранящуюся в кухонном шкафу.

На стоянке Эллен заметила еще две машины — «шевроле-вега» и большой автомобиль бежевого цвета. Эллен вспомнила, что у Хупера машина зеленая и называется по имени какого-то животного. Она вышла из машины и направилась в ресторан; Эллен подняла руки над головой, пытаясь защитить волосы от моросящего дождя.

В помещении было довольно темно, но день выдался пасмурный, и глаза быстро привыкли к тусклому свету. В ресторанчике имелся всего один зал: справа от Эллен располагался бар, слева тянулись восемь кабинок, а в центре стояло около двадцати столиков. Стены темного дерева украшали плакаты, рекламирующие бои быков и кинофильмы.

Мужчина и женщина — лет под тридцать, решила Эллен,— что-то пили за столиком у окна. Бармен, молодой человек с бородкой а-ля Ван Дейк, в застегнутой доверху рубашке, сидел за кассой и читал «Нью-Йорк дейли ньюс». Больше в зале никого не было. Эллен посмотрела на часы. Почти половина первого.

— Добрый день. Чего-нибудь желаете? — спросил бармен, взглянув на Эллен.

Она подошла к стойке.

— Да... да. Только чуть позже. Сначала я хотела бы... Скажите, пожалуйста, где женский туалет?

— За стойкой направо. Потом вниз по лестнице, первая дверь слева.

— Спасибо.

Эллен быстро миновала стойку, свернула направо и вошла в туалет.

Она остановилась перед зеркалом и вытянула правую руку. Рука подрагивала, и Эллен сжала пальцы в кулак. Успокойся, приказала она себе. Ты должна успокоиться, или незачем было сюда приезжать. Столько усилий пропадет даром. Эллен почувствовала, что покрывается потом, она сунула руку под платье и пощупала под мышкой, но там было сухо. Потом причесалась и внимательно осмотрела зубы. Она вспомнила, что один парень, придя на свидание, сказал ей: «Ничто не вызывает у меня такого отвращения, как остатки пищи в зубах у девушки». Она взглянула на часы: тридцать пять минут первого.

Эллен вернулась в ресторан и осмотрела зал. Все та же пара, тот же бармен и официантка — она стояла у стойки и свертывала салфетки.

— Добрый день. Чего-нибудь желаете? — спросила официантка, когда увидела Эллен.

— Да. Я хотела бы столик, пожалуйста. И обед.

— Для одной?

— Нет. На двоих.

— Хорошо,— сказала официантка. Она положила салфетку, взя-

ла блокнот и направилась с Эллен к столику посреди зала. — Этот подойдет?

— Нет. В общем-то здесь неплохо. Но я бы предпочла сесть там, в угловой кабине, если не возражаете.

— Пожалуйста,— ответила официантка,— любое место, какое вам понравится. У нас не так уж много посетителей.

Она подвела Эллен к столику, и Эллен села спиной к двери. Хупер отыщет ее. Если придет.

— Чего-нибудь выпить?

— Да. Джин с тоником, пожалуйста.

Когда официантка ушла, Эллен улыбнулась. Впервые после свадьбы она пила днем.

Официантка принесла разбавленный джин, и Эллен выпила залпом полбокала, ей очень хотелось почувствовать расслабляющее тепло алкоголя. Эллен нетерпеливо поглядывала то на дверь, то на часы. Он не приедет, подумала она. Почти без четверти час. Струсил. Испугался Мартина. А может быть, и меня. Что же делать, если он не придет? Пожалуй, пообедаю и вернусь на работу. Все-таки он должен приехать! Не может он так поступить со мной.

— Привет!

Эллен вздрогнула от неожиданности. Она подпрыгнула на месте и воскликнула:

— О!

— Совсем не хотел вас напугать,— сказал Хупер и сел напротив. — Извините, что опоздал. Кончился бензин, а у колонки как назло оказалось полно машин. Шоссе было забито. Но это не оправдание. Нужно было выехать раньше. Извините меня, ради бога. — Он заглянул ей в глаза и улыбнулся.

Она посмотрела на свой бокал.

— Не извиняйтесь. Я сама опоздала.

Подошла официантка.

— Чего-нибудь выпить? — спросила она Хупера.

Он взглянул на бокал Эллен и ответил:

— Да, конечно. Джин с тоником.

— Мне тоже,— сказала Эллен. — У меня уже почти ничего нет.

— Я обычно не пью за обедом,— заметил Хупер, когда официантка ушла.

— Я тоже.

— Примерно после трех бокалов начинаю молоть чепуху. Никогда, в общем-то, не умел пить по-настоящему.

Эллен кивнула:

— Со мной происходит то же самое. Я становлюсь слишком...

— Возбужденной? Вот и я тоже.

— В самом деле? Не могу представить себе вас возбужденным. Я думала, ученые никогда не теряют спокойствия.

Хупер улыбнулся и театрально произнес:

— Может показаться, мадам, что мы повенчаны с пробирками. Но под холодной оболочкой у нас бьются сердца самых бесстыжих, самых блудливых людей в мире.

Эллен рассмеялась. Официантка принесла полные бокалы и положила на край стола два меню. Они говорили — вернее, оживленно болтали — о прежних временах, об общих знакомых, о том, чем теперь эти люди занимаются, о профессии Хупера, о его честолюбивых мечтах. Они и словом не обмолвились об акуле, о Броди, о детях Эллен. Непринужденный разговор устраивал молодую женщину. Второй бокал развязал ей язык, и она чувствовала себя счастливой и уверенной.

Эллен хотелось, чтобы Хупер заказал себе еще джина, но она знала, что он вряд ли отважится на это. Она взяла меню, надеясь привлечь внимание официантки, и проговорила:

— Посмотрим, что здесь хорошего.

Хупер взял второе меню и начал его изучать, а спустя минуту-другую официантка подошла к их столику.

— Уже выбрали?

— Нет,— сказала Эллен. — В меню все кажется вкусным. Вы выбрали, Мэтью?

— Почти,— сказал Хупер.

— Может, пока закажем еще по бокалу?

— Два? — спросила официантка.

Хупер, казалось, заколебался. Потом кивнул:

— Конечно. Ради такого случая.

Они сидели молча, изучая меню. Три бокала, откровенно говоря, для Эллен довольно много, а ей хотелось, чтобы голова оставалась ясной и не заплетался язык. Считается, что алкоголь возбуждает желание, но мешает его осуществить. Однако это, подумала она, относится только к мужчинам. Мне-то не надо беспокоиться. А как же Мэтью? Предположим, он не сможет... Смогу ли я чем-нибудь помочь? Фу, какая глупость. Он выпил всего два бокала. Не пять, не шесть и не семь, после которых мужчина может опозориться перед женщиной. Да и то лишь если на него накатит страх. Может, и Мэтью боится? Она украдкой, поверх меню, бросила взгляд на Хупера. Не заметно, чтобы он нервничал. Скорее казался несколько озадаченным.

— Что-нибудь не так? — спросила она.

Он поднял глаза.

— Что-что?

— Вы хмуритесь. У вас растерянный вид.

— Ничего особенного. Просто увидел в меню так называемые морские гребешки, или то, что здесь под ними имеют в виду. Скорее всего это камбала, нарезанная машинкой для изготовления печенья.

Официантка принесла бокалы и спросила:

— Выбрали?

— Да,— сказала Эллен. — Мне салат из креветок и цыпленка.

— Что желаете к салату? Есть французская приправа, рокфор, «тысяча островов», растительное масло и уксус.

— Рокфор, пожалуйста.

— Это правда гребешки из залива? — спросил Хупер.

— Наверное,— сказала официантка. — Если так указано в меню.

— Хорошо. Мне гребешки и французскую приправу к салату.

— Какой-нибудь аперитив?

— Нет,— отказался Хупер, поднимая свой бокал. — Хватит и этого.

Через несколько минут официантка принесла Эллен салат из креветок.

— Знаете, что бы мне хотелось? — заметила Эллен, когда отошла официантка. — Какого-нибудь вина.

— Отличная мысль,— сказал Хупер, посмотрев на нее. — Но помните, что я говорил о возбуждении. Я за себя не ручаюсь.

— Мне как-то все равно. — При этих словах Эллен почувствовала, что краснеет.

— Ладно, однако не мешает проверить свои финансы. — Хупер полез в задний карман за бумажником.

— Не надо. Я угощаю.

— Глупости.

— Нет, в самом деле. Я же пригласила вас на обед.

Она встревожилась. Ей и не приходило в голову, что Хупер может настаивать на оплате. Эллен не хотела его огорчать, заставив потратиться. А с другой стороны, не желала надоедать своей опекой, задеть мужское самолюбие.

— Знаю,— сказал он. — Но считайте, что это я вас пригласил.

Стремился ли он добиться каких-то преимуществ для себя? Она

не могла сказать. Если да, она готова была согласиться на его предложение, ну а если он всего-навсего старался быть вежливым...

— Очень мило с вашей стороны,— сказала она,— но...

— Я серьезно. Пожалуйста.

Она опустила глаза, играя единственной оставшейся на тарелке креветкой.

— Ну...

— Благодарю за заботу,— сказал Хупер,— но это ни к чему. Дэвид никогда не рассказывал о нашем дедушке?

— Нет, насколько я помню. А что?

— Старика Мэта не очень-то любили, он слыл сущим бандитом. Если бы он жил сейчас, я бы, вероятно, возглавил отряд и охотился за его «скальпом». Но он умер, и поэтому мне пришлось беспокоиться лишь о том, сохранить ли кучу денег, которую я унаследовал, или раздать их. Проблема не из трудных. По-моему, я сумею потратить эти деньги не хуже любого другого.

— Дэвид тоже богат?

— Да. Одно вызывает у меня недоумение. У него достаточно денег, чтобы содержать себя и сколько угодно жен до самой смерти. Тогда почему он прельстился такой пустышкой, как его вторая жена? Только потому, что у нее больше денег, чем у него? Не понимаю. Правда, говорят, деньги тянутся к деньгам.

— Чем занимался ваш дедушка?

— Железными дорогами и рудниками. Легально, так сказать. По существу же он был миллионер-грабитель. Одно время ему принадлежала большая часть Денвера. Он владел целым кварталом «красных фонарей».

— По-видимому, прибыльное дельце.

— Не такое прибыльное, как вам кажется,— рассмеялся Хупер.— Насколько мне известно, он предпочитал взимать плату натурой.

«Довольно ясный намек,— подумала Эллен.— Что же мне ответить?»

— Об этом, должно быть, мечтает каждая школьница,— игриво вставила она.

— О чем?

— Ну... о том, чтобы побыть своего рода проституткой. Спать со множеством мужчин.

— Вы об этом тоже мечтали?

Эллен засмеялась, стараясь скрыть краску, проступившую на лице.

— Точно не помню,— сказала она,— но, по-моему, мы все о чем-то мечтаем.

Хупер улыбнулся, откинулся на спинку стула и подозвал официантку.

— Принесите нам бутылку охлажденного «шабли», пожалуйста,— произнес он.

Что-то изменилось, подумала Эллен. Интересно, откликнулся ли он на ее призыв, как животное откликается на запах самки? Как бы то ни было, он перешел в наступление. Ей оставалось только постараться не расхолаживать его.

Принесли горячее, а спустя минуту — вино. Гребешки, заказанные Хупером, оказались величиной с зефир.

— Камбала,— произнес он, когда официантка удалилась.— Так я и знал.

— Как вы угадали? — спросила Эллен и тут же пожалела, что задала этот вопрос. Ей не хотелось, чтобы разговор перешел в другое русло.

— Во-первых, куски слишком крупные. И края очень уж ровные. Явно резали на машинке.

— Вы можете от этого блюда отказаться.

В глубине души Эллен надеялась, что Мэтью не станет ругаться с официанткой и портить им настроение.

— Могу,— согласился Хупер и улыбнулся Эллен. — Но сейчас не хочу. — Он налил Эллен бокал вина, затем наполнил свой и произнес тост.— За мечты,— сказал он.— Расскажите мне, о чем вы мечтаете. — Глаза у Хупера были ясные, прозрачно-голубые, губы приоткрыты в улыбке.

Эллен рассмеялась:

— Это вам будет неинтересно. Всего-навсего о заурядных пустячках.

— Не может быть,— возразил Хупер. — Все-таки расскажите.

Он просил, не настаивал, но Эллен чувствовала, что игру, которую она затеяла, нужно продолжать.

— Знаете,— сказала она. По животу разлилось тепло, а шея вспыхнула огнем. — Я мечтаю о всяких невинных шалостях.

Они рассмеялись, и, когда смех утих, Эллен с жаром добавила:

— Давайте пофантазируем.

— Хорошо. С чего начнем?

— Что бы вы стали делать со мной, если бы мы... вы понимаете?

— Очень интересный вопрос,— с наигранной серьезностью сказал Хупер. — Однако прежде чем говорить «что», надо решить «где». Я полагаю, мой гостиничный номер всегда в нашем распоряжении.

— Чересчур опасно. В «Гербе Абеляра» меня знают все. Да и вообще в Эмити мы бы слишком рисковали.

— Может, у вас?

— Боже упаси, нет. Допустим, кто-нибудь из ребят вернется домой. И потом...

— Понимаю. Нельзя осквернять супружеское ложе. Хорошо, где же тогда?

— По дороге отсюда в Монток должны быть мотели. А еще лучше где-нибудь возле Ориент-Пойнта.

— Вполне логично. Но даже если нет мотелей, всегда есть машина.

— Среди белого дня. У вас и вправду необузданная фантазия.

— Вообразить можно все что угодно... Мы постараемся найти мотель,— сказал Хупер,— где номера расположены в отдельных домиках или хотя бы отгорожены друг от друга толстыми стенами.

— Зачем?

— Для звуконепроницаемости. Стены в мотелях тонкие, как бумага, и нам вовсе ни к чему беспокоиться о том, что в соседней комнате какой-нибудь продавец обуви потешается, приложив ухо к стене и подслушивая нас.

— Ну, а если мы не найдем такой мотель.

— Найдем,— заверил Хупер. — Я же сказал: вообразить можно все что угодно.

«Почему он все время повторяет эту фразу? — подумала Эллен.— Вряд ли он просто мелет языком и фантазирует, не желая, чтобы все это стало явью». Она подыскивала вопрос, чтобы продолжить разговор.

— Под какой фамилией мы запишемся?

— Ах да. Забыл. Не могу представить себе, чтобы в наши дни кто-нибудь относился к этому серьезно. И тем не менее вы правы: фамилию придумать надо; вдруг мы нарвемся на старомодного хозяина гостиницы. Что вы скажете о мистере и миссис Эл Кинси [1]. Мы могли бы сообщить, что находимся в длительной научно-исследовательской командировке.

— И добавить, что пришлем копию нашего доклада с автографами.

— Да еще с посвящением!

[1] Известный американский сексолог.

Оба рассмеялись.

— Ну, а после того, как нас запишут? — продолжала Эллен.

— Мы подъедем к нашему номеру, осмотримся, проверим, не поселился ли кто в соседних комнатах в случае, если нам не дадут отдельный домик, а затем войдем.

Официантка направилась к их столику, поэтому они откинулись на спинки стульев и перестали болтать.

— Чего-нибудь еще?

— Нет,— сказал Хупер. — Счет, пожалуйста.

Эллен думала, что официантка вернется к стойке, чтобы заполнить счет, но девушка продолжала стоять у их столика, что-то быстро записывая.

Эллен пододвинулась на край сиденья и встала.

— Извините. Хочу попудрить нос перед уходом.

— Всегда одно и то же,— сказал Хупер, улыбаясь.

— В самом деле? — спросила официантка, пропуская Эллен. — Подумать только, что женитьба делает с человеком. Не хотела бы я, чтобы кто-нибудь так изучил мои привычки.

Эллен приехала домой около половины пятого. Она поднялась наверх в ванную и пустила воду. Сняла с себя одежду и запихнула в корзину, перемешав с другим грязным бельем. Эллен подошла к зеркалу и тщательно осмотрела шею, лицо. Никаких следов.

Приняв ванну, она попудрилась, почистила зубы и прополоскала рот зубным эликсиром. Прошла в спальню, надела чистые трусики и ночную рубашку, откинула одеяло и забралась в постель. Она закрыла глаза в надежде, что сразу заснет.

Но долго не могла прогнать воспоминаний, которые теснились в голове. Первое любовное свидание продолжало волновать, не давало покоя.

Наконец усталость взяла верх, и она уснула.

Казалось, ее тут же разбудил чей-то голос:

— Эй, послушай, ты здорова?

Она открыла глаза и увидела Броди, сидевшего на краю постели.

Эллен зевнула.

— Который час?

— Почти шесть.

— О-о. Я должна была забрать Шона. Филлис Сантос, наверное, рвет и мечет.

— Я привез его,— сказал Броди. — Подумал, что так будет лучше, поскольку не мог тебе дозвониться.

— Ты мне звонил?

— Несколько раз. Около двух звонил в больницу. Там сказали, что ты, по-видимому, уехала домой.

— Верно. Уехала. Я ужасно себя чувствовала. Пилюли от щитовидки не помогали. Поэтому и отправилась домой.

— Потом я звонил сюда.

— Боже мой, наверное, что-то случилось.

— Да нет, ничего особенного. Если хочешь знать, я решил извиниться за то, что был груб с тобой вчера вечером.

Эллен на мгновение почувствовала угрызения совести.

— Очень мило с твоей стороны, но не беспокойся. Я уже забыла об этом.

Броди помолчал, ожидая, что она еще скажет, но Эллен не произносила ни слова, и тогда он задал вопрос:

— Ну и где же ты была?

— Я ведь сказала тебе: здесь! — Слова прозвучали более резко, чем ей хотелось. — Приехала домой и легла в постель, где ты меня нашел.

— И ты не слышала, как звонил телефон? Он ведь тут, рядом. — Броди указал на тумбочку с другой стороны кровати.

— Нет, я... — Она хотела ответить, что отключила телефон, но вовремя вспомнила, что этот телефон как раз нельзя отключить. — Я приняла снотворное, даже вопли грешников в аду не могли бы меня разбудить.

Броди покачал головой:

— Я выброшу эти проклятые таблетки в туалет. Ты становишься наркоманкой. — Он встал и прошел в ванную.

— Хупер не звонил? — крикнул оттуда Броди.

Эллен подумала с минуту, что ей ответить, потом сказала:

— Звонил сегодня утром, благодарил за ужин. А что?

— Я пытался поймать его. Приблизительно в полдень и несколько раз днем. В гостинице ответили, что не знают, где он. Когда он звонил?

— Сразу после того, как ты ушел на работу.

— Он не говорил, что собирается делать?

— Сказал... он сказал, что, наверное, будет работать на судне, так кажется. Право, точно не помню.

— Да? Странно.

— Что странно?

— Я заскочил в порт по пути домой. Начальник порта не видел Хупера весь день.

— Может, Хупер передумал.

— Должно быть, развлекается где-нибудь с Дейзи Уикер.

9

В четверг утром Броди вызвали по телефону к Вогэну на дневное совещание муниципального совета. Он догадывался, по какому поводу собирались отцы города: послезавтра — четвертое июля, День независимости; к празднику хотели приурочить открытие пляжа. Перед тем как покинуть полицейское управление и направиться в муниципалитет, Броди уже продумал и взвесил все «за» и «против».

Он понимал, что его возражения продиктованы интуицией, осторожностью и чувством вины, не дающим ему покоя. Но Броди был убежден, что прав. Открытие пляжей никак не решит проблем Эмити. Получалось, что все вовлекались в какую-то азартную игру, причем ни местные жители, ни сам Броди не могли рассчитывать на успех. Никто точно не знал, ушла ли акула. Участники этой опасной игры будут надеяться хотя бы на ничью. Но в один прекрасный день, Броди был уверен, потерпят поражение.

Здание муниципалитета находилось у пересечения Мейн-стрит и Уотер-стрит. Оно как бы вписывалось коромыслом в букву «Т», образованную двумя улицами. Это был внушительный особняк с двумя колоннами у входа, построенный в стиле, характерном для конца XVIII века, из красного кирпича с белой окантовкой. На газоне перед муниципалитетом стояла гаубица времен второй мировой войны — памятник местным жителям, принимавшим в ней участие.

Здание подарил городу в конце двадцатых годов владелец инвестиционного банка, почему-то уверовавший в то, что наступит день, когда Эмити станет торговым центром восточной части Лонг-Айленда. Он считал, что отцы города должны заседать в хоромах, подобающих их высокому положению, а не в душных каморках, расположенных над ресторанчиком «Мельница», где прежде вершилась судьба Эмити. (В феврале 1930 года этот безумец банкир, который не сумел предсказать не только будущее Эмити, но и свое собственное, попытался отобрать здание у города, утверждая, будто предоставил дом лишь во временное пользование, но у него ничего не вышло.)

Служебные помещения ратуши были такие же до нелепости помпезные, как и само здание. Огромные, с высокими потолками, с вычурными люстрами, не похожими одна на другую. Не желая перестраивать дом изнутри, ставить повсюду перегородки, отцы города продолжали набивать в комнаты все больше и больше служащих. Только мэр выполнял свои необременительные обязанности в величественном одиночестве.

Кабинет Вогэна располагался на втором этаже в угловой части ратуши, окна комнаты выходили на юго-восток, и из них открывался замечательный вид на город и Атлантический океан, видневшийся вдалеке.

Секретарша мэра, Джанет Самнер, цветущая, хорошенькая девушка, сидела за столом у входа в кабинет. Броди редко ее видел, но испытывал к ней отеческую симпатию и никак не мог понять, почему она в свои двадцать шесть лет еще не замужем. Прежде чем войти к Вогэну, Броди всегда справлялся о сердечных делах секретарши. Сегодня же он только спросил:

— Все в сборе?

— Все, кого пригласили.

Броди направился в кабинет, но Джанет остановила его:

— Вы даже не хотите узнать, с кем я теперь встречаюсь?

— Конечно, хочу,— ответил он, остановившись, и улыбнулся.— Извините. У меня сегодня все в голове перемешалось. Так кто же он?

— Никто. Я пока отдыхаю. Однако признаюсь вам кое в чем.— Она понизила голос и подалась вперед.— Я не прочь пофлиртовать с мистером Хупером.

— Он там?

Джанет согласно кивнула.

— Интересно, когда его выбрали в муниципалитет?

— Не знаю,— сказала она.— Но он действительно симпатяга...

— К сожалению, Джан, он уже занят.

— Кем?

— Дейзи Уикер.

Джанет рассмеялась.

— Что тут смешного? Я только что разбил ваше сердце.

— Так вы ничего не знаете о Дейзи?

— По-видимому, нет.

Джанет снова понизила голос:

— Она чокнутая. Предпочитает общество женщин.

— Ну и ну,— сказал Броди.— У вас и в самом деле интересная работа, Джан.

Входя в кабинет, Броди задал себе вопрос: «Хорошо, но где же тогда был вчера Хупер, черт возьми?»

Перешагнув порог, Броди сразу понял, что ему предстоит сражаться в одиночку. Все члены муниципалитета были давними друзьями и союзниками Вогэна: Тони Кэтсоулис, подрядчик, похожий на пожарный шланг; Нед Тэтчер, сухонький старикашка — вот уже три поколения Тэтчеров владели гостиницей «Герб Абеляра»; Поль Коновер, хозяин винного магазина в Эмити, и Рейф Лопес (свою фамилию он произносил «Лоупс»), темнокожий красноречивый португалец, выбранный в совет черными для защиты их прав.

Четверо членов муниципалитета расположились за журнальным столиком в одном конце огромной комнаты. Вогэн сидел напротив за письменным столом. Хупер стоял у окна, выходившего на юг, и смотрел на океан.

— Где Альберт Моррис? — спросил Броди у Вогэна, небрежно поздоровавшись с остальными.

— Не смог приехать,— ответил Вогэн.— Кажется, заболел.

— А Фред Поттер?

— Тоже. Должно быть, гуляет какой-то вирус. — Вогэн поднялся. — Ну, теперь все в сборе. Бери стул и пристраивайся у журнального столика.

«Господи, как он ужасно выглядит»,— подумал Броди, наблюдая за Вогэном, который шел к ним с другого конца комнаты и нес стул с прямой спинкой. Глаза у Вогэна потемнели и запали. Кожа приобрела желтоватый цвет майонеза. Либо он с похмелья, решил Броди, либо недосыпает целый месяц.

Когда все уселись, Вогэн начал:

— Все вы знаете, почему мы собрались. Я думаю, лишь один из нас сомневается в том, что мы должны делать.

— Ты имеешь в виду меня? — спросил Броди.

Вогэн кивнул.

— Посмотрим на эту проблему с нашей точки зрения, Мартин. Город гибнет. Полно безработных. Магазины, которые предполагалось открыть, так и не откроются. Никто не снимает дома, я уж не говорю о том, что их не покупают. Пляжи пустуют, мы каждый день вбиваем еще один гвоздь в свой собственный гроб. Мы сами губим себя, заявляя, что городу грозит опасность; мы говорим: держитесь от него подальше. И люди прислушиваются к этим словам.

— Предположим, Ларри, ты все-таки откроешь на праздник пляжи,— сказал Броди,— а вдруг погибнет кто-нибудь еще?

— Это оправданный риск, но я считаю, мы все так считаем,— нам стоит пойти на него.

— Но почему?

— Мистер Хупер? —обратился Вогэн к ихтиологу.

— Есть несколько причин,— сказал Хупер. — Прежде всего — никто не видел акулу целую неделю.

— Никто и не купался.

— Правильно. Но я плавал на лодке в поисках акулы каждый день, кроме одного.

— Я как раз хотел спросить. Где вы были вчера?

— Шел дождь,— ответил Хупер. — Помните?

— Ну, и чем вы занимались?

— Я просто... — Хупер помедлил, затем продолжал: — Изучал образцы воды. И читал.

— Где? В своем номере?

— Какое-то время да. А что вы, собственно, от меня хотите?

— Я звонил вам в гостиницу. Сказали, что вы отсутствовали всю вторую половину дня.

— Значит, выходил! — сказал Хупер сердито. — Я ведь не обязан отмечаться у вас каждые пять минут, правда?

— Нет. Но вы здесь, чтобы работать, а не шляться по загородным клубам, завсегдатаем которых вы были когда-то.

— Послушайте, мистер, я не получаю от вас ни гроша. И могу делать все, что мне заблагорассудится!

— Перестаньте,— вмешался Вогэн. — Нам только этого не хватало.

— Как бы то ни было,— продолжал Хупер,— я не заметил следов акулы. Ни единого признака. Вода же теплеет с каждым днем. Ее температура уже почти семьдесят градусов. Как правило, хотя всегда существуют исключения, большие белые акулы предпочитают прохладную воду.

— Поэтому вы думаете, что наша гостья ушла на север?

— Или на глубину, где холоднее. Она могла уйти и на юг. Трудно предсказать, как поведут себя эти твари.

— Вот-вот,— заметил Броди. — Трудно предсказать. Значит, все, о чем вы говорите,— только предположения.

— Мартин, как тут можно что-то утверждать наверняка? — заметил Вогэн.

— Скажи об этом Кристине Уоткинс. Или матери погибшего мальчика.

— Знаю, знаю,— нетерпеливо перебил Вогэн. — Но мы должны что-то предпринять. Не можем же мы сидеть сложа руки, дожидаясь воли божьей. Бог не напишет нам на небе: «Акула ушла». Надо взвесить факты и принять решение.

Броди кивнул.

— Понимаю. Ну, и что же еще скажет наш умник?

— Что с вами? — удивился Хупер. — Меня просто попросили поделиться своими соображениями.

— Да-да,— ответил Броди. — Конечно. А все-таки?

— Ничего нового. Нет никаких оснований полагать, что акула еще здесь. Я не видел ее. Береговая охрана — тоже. На дне океана все по-прежнему. Отбросы с барж уже не сваливают в море. Рыбы ведут себя как обычно. Вряд ли здесь что-нибудь привлекает нашу гостью.

— Но прежде тут акул никогда не было, правда? А вот одна появилась.

— Верно. Этого я объяснить не могу. И сомневаюсь, чтобы кто-нибудь сумел.

— Вы хотите сказать, что такова воля божья?

— Может быть.

— И мы бессильны против нее, правильно, Ларри?

— Не понимаю, куда ты клонишь, Мартин,— сказал Вогэн.— Должны же мы принять какое-то решение. На мой взгляд, путь только один.

— Решение уже принято,— сказал Броди.

— Можешь считать, что да.

— А вдруг будут жертвы? Кто возьмет на себя ответственность на сей раз? Кто будет разговаривать с мужем, матерью, женой тех, кого растерзает акула; кто скажет им: мы просто играли ва-банк и проиграли?

— Не будь таким пессимистом, Мартин. Когда придет время — если оно придет, а я ручаюсь, что ничего не случится,— тогда и будем решать.

— Ну, знаешь, черт возьми! Мне надоело, что меня обливают грязью за твои грехи.

— Погоди, Мартин.

— Вопрос серьезный. Если же хочешь открыть пляжи, бери ответственность на себя.

— Это ты о чем?

— А о том, что, пока я здесь начальник полиции и отвечаю за безопасность людей, пляжи открыты не будут.

— Вот что я скажу тебе, Мартин,— проговорил Вогэн. — Если во время праздника пляжи будут пустовать, ты недолго останешься шефом полиции. И я не угрожаю тебе. Просто предупреждаю. В нынешний летний сезон мы еще можем как-то выкрутиться. Но нужно объявить всем, что здесь безопасно. А если ты запретишь открыть пляжи, через двадцать минут после того, как об этом узнают в городе, на тебя наплюют, тебя вываляют в дегте и перьях. И выкинут отсюда. Вы согласны со мной, господа?

— Разумеется,— сказал Кэтсоулис. — Я и сам помогу его вышвырнуть.

— Мои избиратели сидят без работы,— сказал Лопес.— А если они ее не получат, то и вас выбросят из управления.

— Вы можете убрать меня когда захотите,— решительно сказал Броди.

У Вогэна на столе зазвонил внутренний телефон. Он встал и с раздраженным видом прошел в другой конец комнаты. Поднял трубку.

— Я же просил, чтобы нас не беспокоили,— резко бросил мэр. Последовало минутное молчание. — Это тебя,— обратился он к Броди.— Джанет говорит: срочно. Можно побеседовать здесь или в приемной.

— Пойду в приемную,— ответил Броди, гадая, что же такое стряслось, если его вызывают с заседания муниципального совета. Опять акула? Он вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. Джанет протянула ему телефонную трубку, но, прежде чем она успела нажать на светящуюся кнопку, Броди спросил:

— Скажите, Ларри звонил Альберту Моррису и Фреду Поттеру сегодня утром?

Джанет отвела глаза.

— Мне велели никому ничего не говорить.

— Ответьте мне, Джанет. Я должен знать.

— А вы замолвите за меня словечко перед красавчиком, который сейчас в кабинете?

— Идет.

— Нет. Все, кому я звонила, те четверо, сидят у Вогэна.

— Нажмите на кнопку.

Джанет нажала, и он проговорил:

— Броди у телефона.

Вогэн в своем кабинете увидел, что огонек погас, осторожно снял палец с рычага и прикрыл трубку ладонью. Он обвел взглядом присутствующих — не осуждает ли его кто-нибудь. Но все отвели глаза, даже Хупер, который решил, что чем меньше он будет вмешиваться в дела муниципальных властей Эмити, тем лучше.

— Это Гарри, Мартин,— сказал Медоуз.— Я знаю, что ты на совете и тебе некогда. Поэтому просто выслушай меня. Я буду краток. Ларри Вогэн по уши в долгах.

— Не может быть!

— Я же сказал — выслушай меня! То, что он в долгах, еще ничего не значит. Важно другое — кому он должен. Давно, быть может лет двадцать пять назад, до того, как у Ларри завелись деньги, у него заболела жена. Я забыл, что с ней приключилось, но болела она тяжело. И лечение стоило дорого. Я не очень хорошо помню, но, кажется, Ларри тогда говорил, что его выручил один приятель — дал взаймы, и Вогэн как-то выкрутился. Должно быть, речь шла о нескольких тысячах долларов. Ларри назвал мне имя своего кредитора. Я бы пропустил его слова мимо ушей, но Ларри сказал, что этот человек многим охотно помогает в беде. А я был тогда молод и тоже нуждался. Поэтому я записал имя приятеля Ларри и сунул карточку в ящик стола. Мне никогда не приходило в голову взглянуть на нее, пока ты не попросил кое-что разузнать. Приятеля Ларри зовут Тино Руссо.

— Ближе к делу, Гарри.

— Хорошо-хорошо. Теперь перейдем к настоящему. Два месяца назад, еще до того, как заварилась история с акулой, была создана компания под названием «Каската истейтс». Это — компания-учредитель. Поначалу она не владела недвижимостью. Первой ее сделкой была покупка большого картофельного поля немного севернее Скотч-роуд. Лето в городе сложилось неудачно, и «Каската» умножила свои приобретения. Все это делалось совершенно открыто. Компания явно опиралась на чей-то наличный капитал и, пользуясь нынешним застоем, скупала недвижимость почти задаром. Как только в газетах появились первые сообщения об акуле, «Каската» развернулась вовсю. Чем ниже падали цены, тем больше она захватывала добычи. И все втихую. Цены теперь почти такие же, как во время войны, и «Каската» продолжает приобретать. Причем предпочитает не платить наличными. Обычно она выдает краткосрочные долговые обязательства, подписанные Ларри Вогэном. Он числится президентом компании. А ее вице-президент и

подлинный хозяин — Тино Руссо, которого «Таймс» уже много лет считает вторым лицом в одном из пяти семейств нью-йоркской мафии.

Броди присвистнул сквозь зубы.

— И этот сукин сын стонет, что дела идут из рук вон плохо. Я все же не понимаю, почему от него требуют, чтобы мы открыли пляжи.

— Точно не знаю. Более того, сомневаюсь, что на Ларри по-прежнему давят компаньоны. Может, он говорит так в приступе отчаяния. Думаю, что Ларри оказался в весьма трудном положении. Он больше не в состоянии ничего купить, даже по дешевке. Единственное, что спасло бы его от разорения — внезапное повышение цен на рынке. Тогда он сумел бы выгодно продать приобретенную недвижимость. Возможно, основную прибыль получил бы Руссо — все зависит от их договоренности. Если же курс будет по-прежнему падать, иными словами, если пляжи будут закрыты, то Вогэну придется платить по долговым обязательствам. А деньги ему взять неоткуда. Я думаю, он обязан сейчас погасить векселя на сумму, превышающую полмиллиона. Он потеряет неизмеримо много, а недвижимость либо перейдет к прежним владельцам, либо ее приберет к рукам Руссо, если раздобудет наличные. Хотя сомневаюсь, чтобы Руссо стал рисковать. Цены на недвижимость могут упасть еще ниже, и тогда мафиози пойдет ко дну вместе с Вогэном. Я считаю, Руссо еще надеется на большие прибыли, но получит он их только при условии, что Вогэн добьется открытия пляжей. В этом случае, если ничего не произойдет и не будет новых жертв, недвижимость скоро подорожает и Вогэн сумеет удачно продать все, что купил. Руссо получит свою долю — половину или не знаю сколько,— и «Каската» перестанет существовать. У Вогэна хватит денег, чтобы справиться с финансовыми трудностями и не разориться. Если же из-за акулы погибнет кто-нибудь еще, в накладе останется только Вогэн. Насколько я могу судить, Руссо не вложил в предприятие и пяти центов. Все это...

— Ты бессовестный лжец, Медоуз! — раздался вдруг пронзительный голос Вогэна.— Только напечатай хоть слово из этой ерунды, и я затаскаю тебя по судам до самой смерти! — Раздался щелчок. Вогэн бросил трубку.

— Такова порядочность избранных нами представителей власти,— заметил Медоуз.

— Что ты будешь делать, Гарри? Хочешь что-нибудь дать в газете?

— Нет, во всяком случае, не сейчас. У меня нет никаких документов. Ты знаешь так же хорошо, как и я, что мафиози все глубже и глубже запускают лапу в дела Лонг-Айленда — в строительные работы, рестораны, во все что угодно. Однако попробуй схвати их за руку. Я думаю, что Вогэн вряд ли нарушал законы в строгом смысле этого слова. Через несколько дней, покопавшись еще немного, я смогу собрать факты, подтверждающие, что он связан с мафией. Я имею в виду факты, которые невозможно опровергнуть, если Вогэн в самом деле попытается обратиться в суд.

— По-моему, у тебя уже достаточно улик,— заметил Броди.

— Я знаю о многом, но у меня нет доказательств. Нет документов или хотя бы их копий. Я только видел эти документы.

— Ты думаешь, кто-нибудь из членов муниципалитета замешан в этом деле? На заседании Ларри всех настроил против меня.

— Нет. Ты говоришь о Кэтсоулисе и Коновере? Они просто старые друзья Ларри, и каждый чем-то обязан ему. А Тэтчер слишком стар и труслив, чтобы сказать хоть слово против мэра. Лопес вне подозрений. Он действительно заботится, чтобы его избиратели получили работу.

— Хупер что-нибудь знает? Очень уж он настаивает, чтобы я открыл пляжи.

— Нет, я почти уверен, что ему ничего неизвестно. Я сам разобрался в этом деле лишь несколько минут назад, хотя многое еще неясно.

— Что же мне, по-твоему, делать? Можно уйти в отставку. Я сказал им об этом еще до разговора с тобой.

— Боже упаси, ни в коем случае. Прежде всего ты нам нужен. Если уйдешь, Руссо сговорится с Вогэном и они поставят своего человека. Ты, возможно, считаешь, что твоих подчиненных не подкупить, но держу пари, что Руссо сумеет найти полицейского, который поступится служебным долгом ради нескольких долларов или просто ради того, чтобы стать начальником.

— Но что же мне делать?

— На твоем месте я бы согласился с Вогэном.

— Боже мой, Гарри, именно этого они и добиваются. Тогда я могу спокойно оставаться на своем посту.

— Ты же сказал, что у твоих противников есть веские основания, чтобы открыть пляжи. Я думаю, Хупер прав. Рано или поздно тебе придется уступить мэру, даже если мы никогда не отыщем акулу. Ты можешь с таким же успехом отдать распоряжение сейчас.

— И позволить жуликам заграбастать деньги, а потом скрыться.

— Ну что ты можешь сделать? Будешь держать пляжи закрытыми, Вогэн найдет способ отделаться от тебя и сам откроет их. Тогда ты вообще никому не принесешь пользы. Никому. По крайней мере, если подчинишься мэру и ничего не случится, горожане поправят свои дела хоть как-то. Потом, некоторое время спустя, мы сумеем пришить Вогэну что-нибудь. Не знаю что, но наверняка что-нибудь сумеем.

— Черт с ним,— сказал Броди.— Ладно, Гарри, я подумаю. Но с пляжами я поступлю как-нибудь по-своему. Спасибо тебе.— Он повесил трубку и вернулся в кабинет мэра.

Вогэн стоял спиной к двери у окна, выходящего на юг.

— Заседание закончено,— сказал мэр, когда Броди переступил порог кабинета.

— Как это, закончено? — возразил Кэтсоулис.— Мы еще ни черта не решили.

— Конец, Тони! — сказал, повернувшись к нему, Вогэн. Не мешай мне. Все будет так, как мы договорились. Дай я потолкую с Броди. Хорошо? А теперь все уходите.

Хупер и четверо членов муниципалитета покинули кабинет. Броди наблюдал за Вогэном, который выпроваживал их. Шеф полиции одновременно и жалел и презирал мэра. Вогэн закрыл дверь, подошел к дивану и тяжело опустился на него. Он уперся локтями в колени и принялся растирать виски кончиками пальцев.

— Мы были друзьями, Мартин — сказал он.— Надеюсь, мы останемся ими.

— Медоуз говорил правду?

— Я ничего не скажу. Не могу. Просто один человек когда-то выручил меня и теперь хочет, чтобы я отплатил ему тем же.

— Иначе говоря, Медоуз прав.

Вогэн посмотрел на Броди, глаза у мэра были красные и влажные.

— Клянусь тебе, Мартин, если бы я только знал, как далеко все зайдет, я бы никогда не пошел на это.

— Сколько ты ему должен?

— Сначала я занял десять тысяч. Пытался вернуть их дважды еще давно, но Тони и его друзья ни в какую не хотели брать. Повторяли, что сделали мне подарок и не стоит беспокоиться о таком пустяке. Но они до сих пор не вернули мою долговую расписку. Несколько месяцев назад они пришли ко мне, и я предложил им сто тысяч наличными. Они заявили, что этого мало. Деньги им не нужны. Они попросили, чтобы я вложил их в одно дело. Мы все выиграем, сказали они.

— И сколько ты отвалил?

— Одному богу известно. Все до единого цента. Даже больше того. По-видимому, около миллиона долларов.— Вогэн глубоко вздохнул.— Ты выручишь меня, Мартин?

— Я лишь могу связать тебя с окружным прокурором. Если дашь показания, то, возможно, сумеешь упрятать своих дружков в тюрьму за ростовщичество.

— Меня убьют, прежде чем я успею вернуться домой от прокурора, а Элеонора останется нищей. Не такой помощи я жду от тебя, Мартин.

— Знаю.— Броди посмотрел сверху вниз на Вогэна — загнанный раненый зверь — и почувствовал жалость к мэру. Броди уже сомневался, правильно ли он поступал, упорствуя в своем нежелании открыть пляжи. Что на него влияет — ощущение своей вины или страх перед новым нападением акулы? Действительно ли он заботится о жителях города или просто хочет облегчить себе жизнь, отказываясь рискнуть?

— Вот что я скажу тебе, Ларри. Я открою пляжи. Но не для того, чтобы помочь тебе, ведь если я буду артачиться, ты все равно избавишься от меня и поступишь по-своему. Пусть люди купаются, может быть, прежде я ошибался.

— Спасибо, Мартин. Ценю твою искренность.

— Это еще не все. Я сказал, что открою пляжи. Но я расставлю на них своих людей. Хупер будет патрулировать в лодке. И каждый, кто придет на море, будет знать об опасности.

— Ты не посмеешь! — воскликнул Вогэн.— Лучше уж никого туда не пускать.

— Посмею, Ларри, именно так я и сделаю.

— Хорошо, Мартин,— Вогэн поднялся.— Ты не оставляешь мне особого выбора. Если я избавлюсь от тебя, ты, вероятно, пойдешь на пляж как местный житель, будешь бегать по нему и кричать: «Акула!» Поэтому ладно. Однако будь покладистым, Мартин, если не ради меня, то ради города.

Броди вышел из кабинета. Спускаясь по лестнице, он посмотрел на часы. Был уже второй час, и ему хотелось есть. Он прошел по Уотер-стрит к единственной в Эмити закусочной. Она принадлежала Полу Лёффлеру, однокашнику Броди по средней школе.

Броди открыл застекленную дверь и услышал слова Лёффлера: «...вроде проклятого диктатора, если хотите знать. Не понимаю, чего ему надо». Заметив Броди, Лёффлер покраснел. Когда-то он был тощим подростком, но, возглавив дело отца, не смог устоять перед бесом чревоугодия — ведь перед ним без конца маячили разные лакомства — и теперь походил на грушу.

Броди улыбнулся.

— Это ты обо мне, а, Поли?

— С чего ты взял? — сказал Лёффлер и покраснел еще больше.

— Ничего. Просто так. Если ты сделаешь мне сандвич — ржаной хлеб с ветчиной и швейцарским сыром, да еще с горчицей,— я сообщу тебе нечто приятное.

— Интересно, что бы это могло быть.— Лёффлер начал готовить сандвич.

— Я собираюсь открыть на праздник пляжи.

— Это меня радует.

— Плохие дела?

— Плохие.

— У тебя всегда плохие.

— Не такие же, как сейчас. Если положение скоро не изменится к лучшему, из-за меня вспыхнут расовые беспорядки.

— Что-то не понимаю.

— Я должен взять на лето двух ребят — рассыльных. Просто обязан. Но мне не по карману нанять обоих. Не говоря уже о том, что

сейчас двоим просто нечего делать. Поэтому я могу временно принять только одного. Один претендент — белый, другой — негр.

— Кого же ты наймешь?

— Черного. Он нуждается больше. Молю бога, чтобы второй не оказался евреем.

Броди вернулся домой в начале шестого. Когда он въехал на свою улочку, дверь открылась и Эллен выбежала ему навстречу. Она была вся в слезах и чем-то взволнована.

— В чем дело? — спросил Броди.

— Слава богу, что ты приехал. Я звонила тебе на работу, но ты уже ушел. Иди сюда. Скорее.

Она взяла мужа за руку и потащила мимо двери к навесу, где стояли бачки для мусора.

— Он там,— произнесла она, указывая на один из них.— Посмотри.

Броди снял крышку с бачка. На пакете с отбросами бесформенной кучкой лежал кот Шона — здоровый, упитанный самец по кличке Игрун. Голова кота была свернута, и желтые глаза смотрели назад.

— Черт возьми, как это случилось? — спросил Броди.— Машина?

— Нет, человек.— Эллен зарыдала.— Какой-то негодяй убил кота. Шон был здесь, когда все произошло. Вдруг из автомобиля около обочины вылез мужчина. Он поймал кота и принялся сворачивать ему голову, пока не сломал шею. Шон сказал, что она ужасно хрустнула. Потом этот человек бросил кота на лужайку, сел в машину и уехал.

— Он сказал что-нибудь?

— Не знаю. Шон дома. У него истерика, и я его понимаю. Мартин, что происходит?

Броди с шумом захлопнул крышку бачка.

— Сукин сын! — выругался он. Горло у него сдавило, и он стиснул зубы так, что на скулах заходили желваки.— Пошли домой.

Через пять минут из двери, выходившей во двор, решительно вышел Броди. Он сорвал крышку с мусорного бачка и отбросил ее в сторону. Потом нагнулся и вытащил труп кота. Отнес его к машине, швырнул в открытое окошко и сел за руль. Он выехал на дорогу, и автомобиль, взвизгнув тормозами, рванулся вперед. Промчавшись сотню ярдов, Броди в порыве ярости включил сирену.

Спустя несколько минут он подъехал к дому Вогэна — огромному каменному особняку в стиле Тюдоров на Спрейн-драйв, неподалеку от Скотч-роуд. Он вылез из машины и, держа мертвого кота за заднюю лапу, поднялся по ступенькам лестницы и позвонил. Броди надеялся, что не встретит Элеонору.

Дверь открылась, и Вогэн сказал:

— Привет, Мартин. Я...

Броди поднял кота и сунул его мэру в лицо.

— Что ты скажешь на это, подонок?

Глаза Вогэна расширились.

— В чем дело? Не понимаю, о чем ты говоришь?

— Это сделал один из твоих друзей. Прямо возле моего дома, на глазах у сына. Они убили моего кота! Это ты велел им?

— Опомнись, Мартин.— Вогэн, казалось, был искренне потрясен.— Я никогда бы так не поступил. Никогда.

Броди опустил кота и спросил:

— Ты звонил своим дружкам после того, как я ушел?

— Ну... да. Но только сообщить, что пляжи будут открыты завтра.

— И это все?

— Да. А что?

— Ты бессовестно врешь! — Броди швырнул кота Вогэну в грудь,

и кот упал на пол.— Знаешь, что заявил негодяй, который свернул шею коту? Знаешь, что он прокричал моему восьмилетнему мальчику?

— Нет. Конечно, не знаю. Откуда мне знать?

— Он сказал то же самое, что и ты. Он сказал: «Передай своему отцу. Пусть будет покладистым».

Броди повернулся и спустился с лестницы, а Вогэн остался стоять возле бесформенной кучки костей и шерсти.

10

В пятницу было пасмурно, моросил дождь, и купалась всего одна молодая пара. Они быстро окунулись рано утром — как раз в то время, когда на пляже появился один из полицейских Броди. Хупер шесть часов провел на воде и ничего не обнаружил. В пятницу вечером Броди позвонил в береговую охрану, чтобы справиться о прогнозе погоды. Броди сам толком не знал, чего хочет. Он понимал, что в три праздничных дня ему следовало бы желать яркого солнца и ясного неба. Тогда в Эмити приедет много отдыхающих, и если ничего не случится, если все будет спокойно, то ко вторнику, он, пожалуй, поверит, что акула на самом деле ушла. Если ничего не случится. Но в глубине души он мечтал о шторме и пустующих пляжах. Как бы то ни было, он умолял всех святых не допустить беды.

Броди мечтал, чтобы Хупер вернулся в Вудс-Хол. Не только потому, что тот незримо присутствовал всюду и как специалист-ихтиолог отвергал опасения шефа полиции. Броди догадывался, что Хупер каким-то образом нарушил покой его семьи. Броди было известно, что Эллен разговаривала с молодым человеком после той вечеринки: Мартин-младший упомянул как-то, что Хупер обещал устроить пикник на берегу океана и поискать с детьми раковины. Затем это недомогание в среду. Эллен сказала, что ей было плохо, и действительно выглядела измученной, когда Броди приехал домой. Но где был Хупер в среду? Почему мялся, когда Броди спросил его об этом? Впервые за много лет супружеской жизни у Броди появились сомнения, и они оставляли неприятное двойственное чувство — угрызения совести за допрос, учиненный Эллен, и боязнь, что его подозрения оправданны.

По прогнозу погоды ожидался ясный, солнечный день, ветер юго-западный со скоростью пять-десять узлов. Что ж, подумал Броди, может, это и к лучшему. Если праздники пройдут хорошо и никто не пострадает, то я, пожалуй, поверю, что акула ушла. И Хупер наверняка уедет.

Броди обещал, что позвонит Хуперу сразу после разговора с береговой охраной. Он стоял у телефона на кухне. Эллен мыла посуду после ужина. Броди знал, что Хупер остановился в гостинице «Герб Абеляра». Он увидел телефонную книгу на кухонной полке под грудой счетов, блокнотов и комиксов. Хотел было вытащить ее, но передумал.

— Мне надо позвонить Хуперу,— сказал он Эллен.— Ты не помнишь, где телефонная книга?

— Шесть — пять — четыре — три,— сказала Эллен.

— Что это?

— «Герб Абеляра». Номер телефона: шесть — пять — четыре — три.

— Откуда ты знаешь?

— У меня хорошая память на телефоны. Ты же знаешь.

Он действительно знал и выругал себя за глупую уловку. Броди набрал номер.

— «Герб Абеляра».— В трубке раздался молодой мужской голос. Отвечал ночной портье.

— Комнату Мэта Хупера, пожалуйста.

— Простите, вы не знаете, какой у него номер комнаты, сэр?

— Нет.— Броди прикрыл трубку ладонью и спросил Эллен: — Ты случайно не знаешь номер его комнаты, а?

Она только взглянула на мужа и отрицательно покачала головой.

— Нашел,— сказал портье.— Четыре — ноль — пять.

Телефон прозвенел дважды, прежде чем Хупер снял трубку.

— Это Броди.

— Да. Добрый вечер.

Броди смотрел на стену — пытался вообразить, как выглядит номер Хупера. Он увидел маленькую темную мансарду, смятую постель и сбитые простыни. Вдруг Броди показалось, что он сходит с ума.

— Я думаю, нам завтра придется поработать,— сказал он.— Прогноз хороший.

— Да, знаю.

— Что ж, встретимся в порту.

— Во сколько?

— Я полагаю, в полдесятого. Вряд ли кто-нибудь залезет в воду раньше.

— Хорошо. В полдесятого.

— Прекрасно. Да кстати,— сказал Броди,— как у вас дела с Дейзи Уикер?

— Что?

Броди пожалел, что задал этот вопрос.

— Ничего. Просто мне любопытно. Я о том, вы с ней поладили или нет?

— Гм... Почему это вас интересует? Разве вы обязаны следить за интимной жизнью своих знакомых?

— Извините. Забудьте о моей невольной бестактности.— Броди повесил трубку. Обманщик, подумал он. Что, черт возьми, происходит? Он повернулся к Эллен.— Я хотел спросить тебя, Мартин что-то говорил о пикнике на берегу. Когда это будет?

— Мы еще не решили,— ответила она.— Просто помечтали немного.

— Вот как? — Он посмотрел на нее, но она отвела взгляд в сторону.— Тебе пора спать.

— Почему?

— Ты плохо себя чувствовала. И вот уже второй раз моешь один и тот же стакан.— Он достал банку пива из холодильника. С силой дернул за металлическое ушко, и оно сломалось.— Что за черт!— выругался Броди; он швырнул банку в мусорный бачок и быстро вышел из кухни.

В субботу в полдень Броди стоял на гребне дюны, наблюдая за пляжем, протянувшимся вдоль Скотч-роуд; он чувствовал себя наполовину тайным агентом, наполовину идиотом. На нем была рубашка с короткими рукавами и плавки — он их купил специально для дежурства на берегу. Броди раздражал вид собственных ног — бледных, почти без волос. Ему хотелось прийти на пляж вместе с Эллен, тогда он не казался бы себе белой вороной, но жена не захотела, заявив, что, раз уж его в выходные не будет дома, она лучше займется домашними делами. В пляжной сумке, лежавшей на песке рядом с Броди, находился бинокль, портативная рация, две банки пива и бутерброд в целлофановой обертке. «Флика» медленно двигалась в восточном направлении приблизительно в четверти мили или в полумиле от берега. Броди наблюдал за катером и думал: «По крайней мере я знаю, где сегодня Хупер».

Береговая охрана оказалась права: день выдался отличный — безоблачный, теплый, с моря дул легкий ветерок. На пляже было пустынно. Около дюжины ребят расположились, как обычно, отдельными

группками. Несколько пар дремали; они лежали неподвижно, словно мертвые; казалось, малейшее движение могло помешать загару. Одна семья устроилась возле жаровни с древесным углем, установленной прямо на песке, до Броди доносился аромат жарившихся на решетке рубленых бифштексов.

Никто еще не купался. Две матери вместе с отцами подводили детей к воде, разрешая побарахтаться у берега, но спустя несколько минут — то ли устав ждать, то ли опасаясь акулы — приказывали малышам выйти на берег.

Броди услышал позади шелест травы и обернулся. Тучные мужчина и женщина, которым с виду перевалило за сорок, с трудом карабкались на дюну, они тащили за собой двух хныкающих мальчишек. На мужчине были брюки защитного цвета, легкая белая рубашка и кеды. На женщине — короткое платье из набивного ситца, открывавшее дряблые ляжки. В руках она держала пару сандалий. За ними виднелся автофургон, стоявший на Скотч-роуд.

— Чем могу быть полезен? — спросил Броди, когда пара взобралась на вершину дюны.

— Это тот самый пляж? — поинтересовалась женщина.

— Какой пляж вам нужен? Городской пляж находится...

— Тот самый,— сказал мужчина, вытаскивая карту из кармана. Он говорил с акцентом, выдававшим в нем жителя Куинса.— Мы повернули с автострады двадцать семь и ехали прямо по дороге. Это тот самый пляж.

— Тогда где же акула? — спросил один из сыновей, толстый мальчишка лет тринадцати.— Ты говорил, мы поедем смотреть акулу.

— Помолчи,— одернул его отец. Он обратился к Броди:— А где же знаменитая акула?

— Какая акула?

— Та, которая сожрала трех человек. Я видел ее по телику — по трем разным каналам. Есть акула, которая убивает людей. Именно здесь.

— Тут была акула,— ответил Броди.— Но ее больше нет. И если нам повезет, она сюда не вернется.

Мужчина с минуту в упор смотрел на Броди, а затем прорычал:

— Мы проделали весь этот путь лишь для того, чтобы увидеть акулу, а вы хотите сказать, что она ушла? По телику говорили совсем другое.

— Ничем не могу помочь,— ответил Броди.— Не знаю, кто вас уверил, что вы увидите эту тварь. Акулы не выходят на берег просто так, чтобы пожать вам руку, понимаете?

— Хватит дурачить меня, приятель.

Броди выпрямился.

— Послушайте, мистер,— сказал он и вытащил бумажник, засунутый за пояс плавок; он раскрыл его так, чтобы мужчина мог видеть полицейскую бляху.— Я шеф полиции города. Не знаю, кто вы или кем себя считаете, но вы не имеете права приходить на частный пляж Эмити и хулиганить. Теперь говорите, что вам надо, или убирайтесь прочь.

С мужчины сразу слетела спесь.

— Извините,— сказал он.— Это все из-за проклятых заторов на дороге и визга ребят над ухом. Я думал, что нам хотя бы удастся взглянуть на акулу. Ради нее мы и притащились сюда.

— И вы ехали два с половиной часа, чтоб взглянуть на акулу? Для чего?

— Чем-то надо заняться. В прошлые выходные мы были в заповеднике «Джангл хабитат». А в эти хотели отправиться на побережье Джерси. Но потом услышали про акулу. Ребята ее никогда не видели.

— Ну, надеюсь, что сегодня они опять ее не увидят.

— Вот неудача-то,— сказал мужчина.

— А ты говорил, мы увидим акулу,— захныкал один из мальчиков.

— Замолчи, Бенни! — Мужчина снова повернулся к Броди.— Можно мы здесь перекусим?

Броди знал, что надо бы отослать их на городской пляж, но автостоянкой возле него разрешалось пользоваться только жителям Эмити. И этим туристам пришлось бы оставить свой фургон слишком далеко от берега. Поэтому Броди сказал:

— Пожалуй, можно. Если кто-нибудь будет возражать, вы сразу уедете, но, по-моему, сегодня к вам никто не привяжется. Перекусывайте себе. Только ничего не бросайте на берегу: ни оберток от жевательной резинки, ни обгорелых спичек, иначе я оштрафую вас.

— Хорошо,— согласился глава семейства.— Ты взяла термос? — обратился он к жене.

— Забыла в фургоне,— сказала она.— Не думала, что мы останемся здесь.

— Черт знает что.— Мужчина, устало поплелся вниз к дороге. Женщина и двое ребятишек отошли в сторону на двадцать — тридцать ярдов и сели на песок.

Броди взглянул на часы: четверть первого. Он засунул руку в пляжную сумку и вынул портативную рацию. Потом нажал на кнопку и сказал:

— Ты слышишь, Леонард?

Затем отпустил кнопку.

Почти тут же послышался резкий, искаженный голос Хендрикса:

— Я слушаю, шеф. Прием.

Хендрикс добровольно согласился торчать на городском пляже. («Ты скоро поселишься на берегу»,— сказал Броди, когда Хендрикс напросился дежурить. Молодой полицейский рассмеялся в ответ: «Конечно, шеф. Если живешь в таком городе, как наш, просто грех не позаботиться о своем теле»).

— Что у тебя? — спросил Броди.— Все в порядке?

— Ничего особенно, вот только одно не понятно. Ко мне все время подходят люди и предъявляют билеты. Прием.

— Какие билеты?

— Входные, на пляж. Они говорят, что купили их в городе. Вы бы видели эти идиотские билеты. Один сейчас у меня в руках. На нем написано: «Акулий пляж. На одного человека. Два пятьдесят». Я думаю, что какой-то жулик зашибает неплохую деньгу, продавая простакам липовые билеты. Прием.

— Что они делают, когда ты возвращаешь билеты?

— Вначале приходят в бешенство, когда я сообщаю, что их надули и что вход на пляж бесплатный. Затем прямо-таки сатанеют, когда предупреждаю, что без специального разрешения нельзя пользоваться автостоянкой. Прием.

— Ты узнал, кто продает билеты?

— Мне сказали — какой-то тип. Он встречает приезжих на Мейнстрит и говорит, что пройти на пляж можно только по билетам. Прием.

— Я хочу знать, кто, черт возьми, торгует билетами. Леонард, надо его забрать. Сбегай к телефонной будке на стоянке, позвони в участок и скажи любому из наших, что я приказываю пойти на Мейнстрит и взять этого жулика. Если он приезжий, пусть выкинут паршивца из города. Если живет здесь, пусть посадят.

— По обвинению в чем? Прием.

— Неважно. Придумайте что-нибудь. За мошенничество. Только уберите его с улицы.

— Будет сделано, шеф.

— Что-нибудь еще?

— Ничего. Приехали парни с телевидения, но они ничего не делают, только расспрашивают отдыхающих. Прием.

— О чем?

— Так, обычные вопросы. Например: вы не боитесь купаться? Что вы думаете об акуле? Всякая ерунда. Прием.

— Давно они приехали?

— Рано утром. Не знаю, сколько они здесь проторчат. Все равно ведь никто не купается. Прием.

— Пусть торчат, лишь бы не пакостили.

— Конечно. Прием.

— Хорошо. Да, Леонард, тебе не обязательно каждый раз повторять «Прием». Я знаю, когда ты заканчиваешь разговор.

— Таков порядок, шеф. Нельзя без ясности. Прием — и конец.

Броди подождал с минуту, затем снова нажал на кнопку и сказал:

— Хупер, это Броди. Что там у вас? — Ответа не последовало.— Это Броди, Хупер. Вы меня слышите?

Он собрался вызвать ихтиолога в третий раз, но тут раздался голос Хупера:

— Извините, я был на корме. Мне показалось, я увидел что-то.

— Что вы увидели?

— Ничего. Уверен, там ничего не было. Просто обман зрения.

— Но что все-таки вам показалось?

— Откровенно говоря, трудно описать. Тень, наверное. И все. Солнечные блики могут сыграть такую шутку.

— Больше вы ничего не заметили?

— Ровным счетом ничего. За все утро.

— Будем действовать в том же духе. Я свяжусь с вами позже.

— Хорошо. Я подплыву к городскому пляжу через минуту-две.

Броди положил рацию обратно в сумку и вытащил бутерброд. Хлеб стал холодным и твердым — он лежал рядом с набитым льдом целлофановым пакетом, в который Броди засунул банку пива.

В половине третьего пляж опустел. Люди разошлись — кто поиграть в теннис, кто покататься на яхте, кто сделать прическу. Остались лишь человек шесть подростков да семья из Куинса.

У Броди появились солнечные ожоги — бледно-розовые пятна выступили на бедрах и на подъеме ступней, он прикрыл их полотенцем. Броди вынул рацию из сумки и вызвал Хендрикса.

— Как дела, Хендрикс?

— Все по-прежнему, шеф. Прием.

— Кто-нибудь купается?

— Нет. Окунутся и сразу назад. Прием.

— То же самое и здесь. Что слышно о продавце билетов?

— Ничего, но больше их никто не показывает. Думаю, что его спугнули. Прием.

— Ну, а ребята с телестудии?

— Они уехали. Несколько минут назад. Спрашивали, где вы. Прием.

— Что им надо?

— Понятия не имею. Прием.

— Ты сказал им?

— Разумеется. Почему бы и нет. Прием.

— Ладно. Я свяжусь с тобой позже.

Броди решил немного пройтись. Он ткнул пальцем в одно из розовых пятен на бедре. Оно тут же побелело, затем стало пунцовым, когда он отнял палец. Он встал, обернул полотенце вокруг талии, чтобы защитить бедра и ноги от солнца, и с рацией в руках зашагал к воде.

Услышав шум мотора, Броди повернул назад и опять стал взбираться на гребень дюны. У обочины затормозил белый фургон. На борту черными буквами было написано: «Радио — телевидение. Новости».

Дверца кабины со стороны водителя открылась, из нее вылез какой-то мужчина и с трудом принялся подниматься по песку к Броди.

Телевизионщик подошел ближе, и Броди подумал, что где-то ви-

дел этого молодого человека. У него были длинные вьющиеся волосы и вислые, похожие на руль велосипеда усы.

— Вы шеф полиции? — спросил он, подойдя ближе к Броди.

— Совершенно верно.

— Мне сказали, что вы здесь. Я Боб Мидлтон из новостей, четвертый канал.

— Вы репортер?

— Да. Бригада в фургоне.

— Кажется, я вас уже где-то видел. Чем могу служить?

— Хотелось бы взять интервью.

— О чем?

— О всей этой истории с акулой. Узнать, почему вы решили открыть пляжи.

Броди подумал немного. «А, черт с ним,— пронеслось в голове.— Немного рекламы городу не повредит, особенно сейчас, когда вряд ли что-нибудь произойдет, во всяком случае сегодня».

— Ладно,— сказал Броди.— Где будем беседовать?

— На пляже. Я позову бригаду. Через несколько минут мы установим аппаратуру, а пока займитесь своими делами. Я крикну, когда мы будем готовы.— Мидлтон трусцой пустился к фургону.

У Броди не было особых дел. Ему захотелось размяться, и он направился к воде.

Проходя мимо группы подростков, он услышал, как один паренек спросил:

— Ну что? У кого хватит смелости? Десять долларов, как-никак десять долларов.

— Хватит, Лимбо, перестань,— сказала девушка из той же компании.

Броди остановился шагах в пятнадцати от них, делая вид, будто рассматривает морское дно.

— Почему? — не унимался парень.— Стоящее пари. Ну, у кого хватит смелости. Пять минут назад вы все уверяли меня, что акулы здесь нет.

— Если ты такой храбрый, почему не идешь сам? — заметил другой парень.

— Я предложил первый,— ответил тот, кого звали Лимбо.— Вы же не рискнете десятью долларами, если пойду я. Ну, так как же?

С минуту все помолчали, затем один из подростков переспросил:

— Десять долларов? Наличными?

— Вот они,— Лимбо помахал десятидолларовой бумажкой.

— Далеко я должен заплыть?

— Дай подумать. На сотню ярдов. Довольно приличное расстояние. Идет?

— А как я узнаю, что проплыл сто ярдов?

— На глазок. Просто плыви и плыви, а затем остановись. Когда мы увидим, что ты примерно в ста ярдах от берега, я махну рукой, и ты повернешь обратно.

— Договорились.— Парень встал.

— Ты, Джимми, с ума сошел,— сказала девушка.— Зачем ты хочешь идти в воду? Тебе не нужны десять долларов.

— Ты думаешь, я боюсь?

— Никто не говорит, что боишься,— ответила девушка.— Эта глупая затея ни к чему, только и всего.

— Десять долларов мне не помешают,— заметил парень,— особенно теперь, когда старик перестал давать деньги на карманные расходы за то, что я курнул марихуаны на свадьбе тетки.

Парнишка повернулся и побежал к воде.

Броди окликнл его:

— Эй! — И парень остановился.

— Да?

Броди подошел к нему.

— Что ты собираешься делать?

— Иду купаться. А вам-то что?

Броди достал бумажник и показал мальчику свою полицейскую бляху.

— Ты решил искупаться? — Он увидел, как парень посмотрел мимо него на своих друзей.

— Конечно. А почему бы нет? Это ведь не запрещено, правда?

Броди кивнул. Он не желал, чтобы их слышали другие ребята, и поэтому понизил голос:

— Хочешь, я запрещу тебе идти в воду?

Парень посмотрел на него, поколебался, затем покачал головой.

— Нет, не надо. Мне пригодятся десять долларов.

— Не заплывай далеко,— посоветовал Броди.

— Ладно.

Парень побежал к воде. Бросился в набежавшую волну и поплыл.

Броди услышал за собой торопливые шаги. Мимо него промчался Боб Мидлтон.

— Эй! Вернись! — крикнул он парню. Потом замахал руками и снова позвал.

Парень перестал плыть и встал на дно.

— Что вам нужно?

— Я хочу сделать несколько снимков, когда ты входишь в воду. Не возражаешь?

— Пожалуйста,— ответил парень. И побрел к берегу.

Мидлтон повернулся к Броди.

— Я рад, что поймал его, прежде чем он успел отплыть слишком далеко,— заметил репортер.— По крайней мере, мы заснимем сегодня хоть одного купающегося.

Еще двое телевизионщиков подошли к Броди. Один из них нес шестнадцатимиллиметровую кинокамеру и штатив. На нем были армейские ботинки, рабочие брюки, рубашка защитного цвета и кожаный жилет. Другой казался пониже ростом, старше и полнее. На нем был помятый серый костюм, и он тащил прямоугольный ящик со множеством всяких делений и кнопок. На шее у него висели наушники.

— Отсюда будет хорошо, Уолтер,— сказал Мидлтон.— Дай мне знать, когда подготовишься.— Он достал из кармана записную книжку и начал задавать парню вопросы.

Телевизионщик постарше приблизился к Мидлтону и дал ему микрофон. Затем отступил к оператору, разматывая провод с катушки, которую держал в руке.

— Можно начинать,— крикнул оператор.

— Мне надо настроиться на парня,— бросил мужчина с наушниками.

— Скажи что-нибудь,— предложил Мидлтон, держа микрофон в нескольких дюймах от рта юноши.

— А что надо говорить?

— Отлично,— заметил мужчина с наушниками.

— Начинай,— сказал Мидлтон.— Сначала — крупным планом, Уолтер, затем — один кадр средним планом, хорошо? Скажешь мне, когда будешь готов.

Оператор посмотрел в видоискатель, поднял палец, просигналив Мидлтону.

— Снимаю,— предупредил он.

Мидлтон уставился в темный глаз камеры и заговорил:

— Мы находимся в Эмити, на пляже, с самого утра, и, насколько нам известно, никто еще не отважился войти в воду. Акулы нигде не видно, но опасность еще существует. Рядом со мной — Джим Прескотт, этот юноша только что решил немного поплавать. Скажи, Джим, ты не боишься, что здесь, совсем рядом с тобой, рыщет акула?

— Нет,— ответил юноша.— Не думаю, что она прячется в воде.
— Значит, ты не боишься?
— Нет.
— Ты хорошо плаваешь?
— Прилично.
Мидлтон протянул ему руку.
— Что ж, желаю удачи, Джим. Спасибо за интервью.
Юноша пожал руку Мидлтону.
— Ну,— спросил он,— что теперь делать?
— Стоп! — сказал Мидлтон.— Начнем сначала, Уолтер. Одну секунду.— Он повернулся к юноше.— Больше не задавай никаких вопросов, Джим, договорились? После того как я скажу «спасибо», просто повернись и иди в воду.
— Ладно,— сказал юноша. Он дрожал и растирал руки.
— Эй, Боб,— сказал оператор.— Парню надо обсохнуть. Он не должен быть мокрым. Ведь для телезрителей он еще не купался.
— Да, ты прав,— согласился Мидлтон.— У тебя есть полотенце, Джим?
— Конечно.— Парень побежал к друзьям и вытерся.
— Что происходит? — раздался рядом с Броди чей-то голос. Это был мужчина из Куинса.
— Телевидение,— ответил Броди.— Они приехали снять купающихся.
— Да-а? Надо было захватить плавки.
Интервью повторили, и после того как Мидлтон поблагодарил юношу, тот вбежал в воду и поплыл.
Мидлтон вернулся к оператору и сказал:
— Продолжай снимать, Уолтер. Ирв, можешь убрать звук. Мы, пожалуй, используем эту катушку как запасную.
— Сколько отснять? — спросил оператор, водя камерой за плывущим юношей.
— Футов сто,— ответил Мидлтон.— Постоим здесь, пока он не выйдет. Приготовься на всякий случай.
Броди настолько привык к отдаленному, едва слышному шуму мотора «Флики», что почти его не замечал. Он стал так же привычен, как шорох волн. Вдруг глухой рокот мотора перешел в неистовое рычание. Броди посмотрел на океан: катер, который до этого медленно и плавно двигался по волнам, круто и быстро разворачивался. Броди поднес ко рту микрофон.
— Вы заметили что-нибудь, Хупер? — спросил он. Лодка замедлила ход и остановилась.
Мидлтон услышал слова Броди.
— Дай звук, Ирв,— сказал он.— Снимай, Уолтер.— Он подошел к Броди.— В чем дело, шеф?
— Не знаю,— ответил Броди.— Это я и хочу выяснить.— Он снова вызвал: — Хупер?
— Да,— ответил голос Хупера,— я все никак не пойму, что это такое. Опять тень. Сейчас я ее не вижу. Может, у меня устали глаза.
— Тебе удалось что-нибудь записать, Ирв? — спросил Мидлтон.
Звукооператор покачал головой.
— Нет.
— В море плавает парнишка,— продолжал Броди.
— Где? — спросил Хупер.
Мидлтон сунул микрофон прямо в лицо Броди. Тот отвел его руку в сторону, но Мидлтон тут же опять поднес микрофон прямо ко рту шефа полиции.
— В тридцати, может в сорока, ярдах от берега. Я думаю, мне лучше позвать его, пусть возвращается.— Броди запихнул рацию за полотенце, повязанное вокруг талии, приложил рупором ладони ко рту и крикнул: — Эй, там, на воде! Давай выходи!

— Господи! — сказал звукооператор.— У меня чуть не лопнули барабанные перепонки.

Парень не слышал, что его звали. Он продолжал удаляться от берега.

Юноша, предложивший десять долларов, поспешил к воде на крик Броди.

— Что тут происходит?— спросил он.

— Ничего,— сказал Броди.— Я просто решил, что ему лучше вернуться на берег.

— А кто вы такой?

Мидлтон стоял между Броди и парнишкой, попеременно поднося микрофон к каждому из них.

— Я начальник полиции,— ответил Броди.— А теперь чеши отсюда! — Он повернулся к Мидлтону: — Не суйте мне под нос этот чертов микрофон, понятно?

— Не беспокойся, Ирв,— крикнул Мидлтон.— Мы это вырежем при монтаже.

— Хупер, мальчишка меня не слышит,— сказал Броди в микрофон.— Подойдите к нему и передайте, чтобы плыл к берегу.

— Конечно,— сказал Хупер.— Я буду там через минуту.

Акула теперь опустилась глубже и бесцельно двигалась над песчаным дном в восьмидесяти футах под «Фликой». Несколько часов подряд она улавливала странный звук, доносившийся сверху. Дважды акула поднималась вверх, оставаясь в одном-двух ярдах от поверхности,— она пыталась определить, что за существо с шумом движется над головой. Дважды акула снова опускалась на дно, не решаясь ни напасть, ни уплыть в сторону.

Броди видел, как катер, до сих пор двигавшийся на запад, резко повернул к берегу, поднимая фонтаны брызг.

— Снимай катер, Уолтер,— приказал Мидлтон.

Акула на глубине почувствовала, что шум изменился. Вначале стал громче, а потом все слабел и слабел по мере удаления катера. Акула накренилась, как самолет, плавно развернулась и последовала за уходящим звуком.

Юноша остановился, повернул голову над водой и посмотрел на берег. Броди замахал руками и крикнул:

— Вылезай!

Юноша помахал ему в ответ и поплыл обратно. Он плыл свободно, при вдохе поворачивая голову влево, синхронно работая ногами и руками. По расчетам Броди, паренек находился в шестидесяти ярдах от берега, через минуту или чуть позже он достигнет цели.

— Что происходит? — раздался мужской голос рядом с Броди. Это был турист из Куинса. Оба его сына стояли позади, они были возбуждены и улыбались.

— Ничего,— ответил Броди.— Я просто хочу, чтобы парень не уплывал слишком далеко.

— Акула? — спросил отец мальчиков.

— Ясное дело,— согласился один из сыновей.

— Не важно,— ответил Броди.— А ну, уходите отсюда.

— Ладно вам, шеф,— сказал мужчина.— Мы проделали такой путь.

— Убирайтесь! — прорычал Броди.

Катер Хупера шел со скоростью пятнадцать узлов, через тридцать секунд он промчался две сотни ярдов и приблизился к юноше. Хупер затормозил около пловца, двигатель продолжал работать на холостом ходу. Катер замер за линией прибоя. Хупер не рискнул подойти ближе к берегу.

Юноша услышал шум мотора и поднял голову.

— В чем дело? — спросил он.

— Ничего,— сказал Хупер.— Плыви-плыви.

Юноша опустил голову и поплыл. Волна подхватила его и подтолкнула вперед. Сделав еще два-три сильных гребка, он коснулся дна. Вода доходила ему до плеч, и он с трудом побрел к берегу.

— Выходи! — крикнул Броди.

— Выхожу,— ответил юноша.— Чего вам надо?

В нескольких ярдах позади Броди стоял Мидлтон с микрофоном.

— На чем ты остановился, Уолтер? — спросил он.

— Тот парнишка,— сказал оператор,— и полицейский. Оба. Средним планом.

— Хорошо. Ты готов, Ирв?

Звукооператор кивнул.

Мидлтон заговорил в микрофон:

— Дамы и господа, на пляже что-то происходит, но мы не знаем, что именно. Нам известно наверняка лишь одно: Джим Прескотт поплыл, а затем какой-то человек на катере вдруг заметил что-то в воде. Сейчас шеф полиции Броди поскорее выгоняет Джима на берег. Не исключено, что появилась акула, но мы толком не знаем.

Хупер дал задний ход, чтобы уйти от прибоя. Он взглянул за корму и увидел серебристую полосу, скользившую в серо-голубой воде. Она сливалась с волной, но двигалась сама по себе. Секунду Хупер не мог понять, что это такое. Потом догадался, хотя отчетливо не видел акулу.

— Берегись! — закричал он.

— Что там? — тревожно воскликнул Броди.

— Акула! Тащите мальчишку! Скорее!

Парень услышал Хупера и попытался бежать. Но вода доходила ему до груди, и он двигался медленно, с большим трудом.

Волна ударила паренька сбоку. Он пошатнулся, затем выпрямился и подался вперед.

Броди кинулся в воду и попробовал дотянуться до Джима, но волна ударила его по ногам и отбросила назад.

— Человек на катере прокричал сейчас что-то об акуле,— сказал Мидлтон в микрофон.

— Это акула? — спросил турист из Куинса, остановившись рядом с Мидлтоном.— Я не вижу ее.

— Кто вы? — спросил его Мидлтон.

— Лестер Крэслоу. Вы хотите взять у меня интервью?

— Мотайте отсюда.

Юноша двигался теперь быстрее, рассекая волны грудью, помогая себе руками. Он не видел, как позади него из воды показался плавник — коричневато-серая остроконечная лопасть.

— Вот она! — крикнул Крэслоу.— Видите ее, Бенни? Дэви? Вон она, там!

— Я ничего не вижу,— захныкал один из мальчишек.

— Вот она, Уолтер! — сказал Мидлтон.— Видишь?

— Снимаю,— сказал оператор.— Есть. Готово.

— Скорее! — крикнул Броди. Он протянул парню руку. Глаза у юноши были широко открыты от ужаса. Ноздри раздувались, из них вытекали слизь и вода. Броди схватил парня за руки и потянул к себе. Полицейский обнял его за плечи, и они вместе, спотыкаясь, вышли на берег.

Плавник скрылся под водой, и, спускаясь по склону дна океана, рыба пошла на глубину.

Броди стоял на песке, поддерживая юношу.

— Ну ты как, ничего? — спросил он.

— Хочу домой.— Джима била дрожь.

— Еще бы.— Броди повел парня к друзьям, но Мидлтон перехватил их.

— Можете вы повторить для меня? — спросил он.

— Повторить что?

— То, что вы сказали этому юноше. Можете повторить все сначала?

— Убирайтесь! — рявкнул Броди. Он подвел Джима к друзьям и обратился к тому парню, который предлагал деньги: — Отведи его домой. И отдай десять долларов.— Парень кивнул, бледный и перепуганный.

Броди увидел свою рацию, она плавала у берега в пене прибоя. Он вытащил ее, насухо вытер, нажал кнопку «Вызов» и сказал:

— Леонард, ты меня слышишь?

— Слышу, шеф. Прием.

— Здесь появилась акула. Всех гони немедленно из воды. А сам оставайся на посту, пока не придет замена. Никто не должен приближаться к кромке берега. Пляж официально закрыт.

— Хорошо, шеф. Кто-нибудь пострадал? Прием.

— Слава богу, нет. Но чуть не пострадал.

— Ладно, шеф. Прием и конец.

Когда Броди шел к месту, где оставил пляжную сумку, его окликнул Мидлтон:

— Послушайте, шеф, можно взять у вас интервью?

Броди остановился, испытывая сильное желание послать его к черту. Но вместо этого ответил:

— О чем вы хотите спросить? Вы все видели не хуже меня.

— Только пару вопросов.

Броди вздохнул и подошел к Мидлтону и его съемочной группе.

— Ладно,— сказал он.— Я готов.

— Сколько у тебя осталось пленки, Уолтер? — спросил Мидлтон.

— Около пятидесяти футов. Давайте короче.

— Хорошо. Валяй.

— Снимаю.

— Итак, шеф Броди,— сказал Мидлтон,— вам повезло, как вы думаете?

— Конечно, повезло. Парень мог погибнуть.

— Это та самая акула-убийца?

— Не знаю,— ответил Броди.— Думаю, та самая.

— Ну и что вы собираетесь теперь делать?

— Пляжи уже закрыты. Больше пока ничего нельзя предпринять.

— По-видимому, вам придется объявить, что здесь купаться опасно.

— Да, совершенно верно.

— Что это значит для Эмити?

— Неприятности, мистер Мидлтон. Огромные неприятности.

— В свете последнего происшествия, шеф, как вы оцениваете свое решение открыть сегодня пляжи?

— Как я оцениваю? Что за идиотский вопрос? Я зол, расстроен, не знаю, куда глаза девать. Рад, что никто не пострадал. Этого достаточно?

— Просто отлично, шеф,— улыбнулся Мидлтон — Благодарю вас, шеф Броди.— Мидлтон помолчал, затем добавил: — Ладно, Уолтер, хватит. Едем домой и начнем монтировать репортаж.

— Что дадим под конец? — спросил оператор.— У меня осталось около двадцати пяти футов пленки.

— Хорошо,— сказал Мидлтон.— Подожди, я попытаюсь придумать что-нибудь глубокомысленное.

Броди подобрал полотенце, пляжную сумку и зашагал к машине. Он выбрался на шоссе и увидел туристов из Куинса, стоявших рядом с фургоном.

— Это та самая акула? — спросил глава семейства.

— Кто знает? — ответил Броди.— Какая разница?

— На мой взгляд, ничего особенного, один плавник. Мои мальчишки даже разочарованы.

— Послушайте, вы, тупица. Парень чуть не погиб. Вы сожалеете, что не видели, как его сожрала акула?

— Нечего морочить мне голову,— огрызнулся мужчина.— Эта тварь к нему даже близко не подошла. Держу пари, все было подстроено для тех ребят с телевидения.

— А ну-ка, мистер, мотайте отсюда со своим выводком. Убирайтесь прочь. Немедленно!

Броди подождал, пока семья из Куинса не погрузилась в фургон. Отходя от машины, он слышал, как мистер Крэслоу сказал жене: «Так и думал, что все здесь — слюнтяи. И оказался прав. Даже полицейские».

В шесть часов вечера Броди сидел в рабочем кабинете с Хупером и Медоузом. Он уже поговорил по телефону с Ларри Вогэном — тот был пьян, в слезах и что-то бормотал о своей загубленной жизни. На столе у Броди зазвонил телефон, и он снял трубку.

— Какой-то малый назвался Биллом Уитменом, хочет вас видеть, шеф,— сказал Биксби.— Говорит, что он из «Нью-Йорк таймс».

— О, ради... Ладно, черт с ним. Пропусти.

Дверь распахнулась, и Уитмен появился в дверях.

— Я не помешал? — спросил он.

— Ничуть,— ответил Броди.— Входите. Вы помните Гарри Медоуза? — А это — Мэт Хупер из Вудс-Хола.

— Гарри Медоуза? Еще бы не помнить,— сказал Уитмен.— Благодаря ему босс поедом ел меня всю дорогу с начала до конца Сорок третьей улицы.

— За что же? — поинтересовался Броди.

— Мистер Медоуз случайно забыл рассказать мне о гибели Кристины Уоткинс. Но не забыл сообщить об этом своим читателям.

— Просто вылетело из головы,— сказал Медоуз.

— Чем могу быть полезен? — спросил Броди.

— Я хочу знать,— сказал Уитмен,—вы уверены, что все пострадали от одной и той же акулы?

Броди вопросительно посмотрел на Хупера.

— Трудно сказать,— ответил ихтиолог.— Я не видел акулу, убившую трех человек, и не разглядел как следует рыбину, которая всплыла сегодня. Я заметил только отблеск серебристо-серого цвета. Его ни с чем нельзя сравнить. Я лишь догадываюсь, что это была та самая акула. Как-то не верится, во всяком случае мне, будто у южных берегов Лонг-Айленда одновременно рыщут две акулы-убийцы.

— Что вы собираетесь делать, шеф? — спросил корреспондент у Броди.— Я говорю не о пляжах, которые, наверное, уже закрыты.

— Не знаю. А что мы можем предпринять? Господи, лучше уж ураган. Или даже землетрясение. По крайней мере они быстро кончаются. Можно осмотреться, оценить ущерб, а там и браться за дело. Здесь же ничего не поймешь. Словно какой-то маньяк бродит на свободе и убивает людей когда ему вздумается. Известно, что он есть, но его нельзя ни поймать, ни остановить. И что еще хуже — никто не ведает, кто будет новой жертвой.

— Вспомни Минни Элдридж,— заметил Медоуз.

— Да,— сказал Броди.— Я начинаю думать, что в ее словах есть доля правды.

— Кто это? — спросил Уитмен.

— Да так. Одна чокнутая.

С минуту длилось молчание. Мертвое, тягостное молчание, словно все, что можно было сказать, уже сказано.

— Итак? — начал снова Уитмен.

— Что итак? — спросил Броди.

— Надо найти выход. Можно же что-то сделать.

— Предлагайте, я буду рад. Но, по-моему, мы прилично влипли. Нам здорово повезет, если город не захиреет совсем после этого лета.

— А вы не сгущаете краски?

— Не думаю. Как по-твоему, Гарри?

— Пожалуй, нет,— сказал Медоуз.— Город существует за счет отдыхающих, мистер Уитмен. Можете назвать его паразитом, если хотите, но именно так оно и есть. Наши дойные коровки приезжают каждое лето, и Эмити живет за их счет, подбирая каждую каплю молока. Потом курортники уезжают после Дня труда. Уберите этих коровок, и мы окажемся на положении собачьих клещей, от которых сбежала собака. Мы умрем с голоду. При всех условиях грядущая зима станет самой тяжелой в истории Эмити. У нас будет так много безработных, что город превратится в подобие Гарлема.— Он усмехнулся.— Гарлем на берегу океана.

— Я бы много отдал, чтобы узнать,— сказал Броди,— почему это случилось именно с нами? Почему Эмити? Почему не Истгемптон или Саутгемптон?

— Этого,— заметил Хупер,— мы никогда не узнаем.

— Почему? — спросил Уитмен.

— Мне не хочется, чтобы вы думали, будто я оправдываюсь, потому что не сумел точно предсказать, как поведет себя акула,— сказал Хупер.— Но грань между естественным и сверхъестественным очень зыбкая. Естественные явления, как правило, имеют логическое обоснование. Однако многое просто невозможно научно объяснить. Скажем, плывут друг за другом двое юношей, акула появляется сзади, минует отставшего и набрасывается на парня, который вырвался вперед. Почему? Может, они пахнут по-разному. Может, первый шумно бьет по воде руками. Предположим, второй парень, тот, на которого не напала акула, бросается на помощь товарищу. Рыба может не тронуть его, даже отплыть в сторону, не переставая при этом терзать жертву. Считается, что белые акулы предпочитают более прохладную воду. Тогда почему одну такую тварь, подавившуюся человеческим трупом, нашли у берегов Мексики? В некотором смысле акулы подобны смерчу, который обрушивается на определенное место. Он сносит один дом, но внезапно меняет направление и не трогает соседний. Владелец разрушенного дома удивляется: «Почему досталось именно мне?» Хозяин, которому повезло, благодарит судьбу: «Слава богу».

— Хорошо,— сказал Уитмен.— Однако я все же не могу понять, почему эту акулу нельзя поймать.

— Наверное, можно,— ответил Хупер,— но вряд ли удастся. Во всяком случае при нашем снаряжении. Мы могли бы снова попытаться привадить ее.

— Вот-вот,— сказал Броди.— Бен Гарднер может рассказать нам все о приманке.

— Вы слышали что-нибудь о Куинте? — спросил Уитмен.

— Слышал,— ответил Броди.— А ты, Гарри?

— Читал о нем, кое-что появлялось в газетах. Насколько мне известно, он не совершал ничего противозаконного.

— Хорошо,— сказал Броди,— может, стоит ему позвонить?

— Вы шутите,— заметил Хупер.— Вы действительно хотите связаться с этим человеком?

— Вот что я вам скажу, молодой человек. Сейчас я готов иметь дело хоть с самим дьяволом, лишь бы он заставил акулу уйти отсюда.

— Да, но...

— Послушай, Гарри,— прервал ихтиолога Броди,— как ты думаешь, он числится в телефонной книге?

— Вы это серьезно? — спросил Хупер.

— Может быть, вы предложите что-нибудь получше?

— Нет, просто... Не знаю. Вы уверены, что он не жулик, не алкоголик, не обыкновенный шарлатан.

— Мы не можем судить о Куинте, пока не познакомимся с ним.

Броди достал из верхнего ящика стола телефонную книгу и открыл ее на букве «К». Провел пальцем сверху вниз до конца страницы.

— Нашел. Куинт. Только фамилия. Имени здесь нет. Но других Куинтов тоже не видно. Наверное, это он.

Броди набрал номер.

— Куинт,— ответил голос в трубке.

— Мистер Куинт, говорит Мартин Броди. Я шеф полиции Эмити. У нас неприятности.

— Слышал.

— Акула сегодня появилась снова.

— Опять кого-нибудь слопала?

— Нет, чуть не хватанула.

— Такая огромная рыбина вечно голодна,— заметил Куинт.

— Вы видели ее?

— Нет. Несколько раз пробовал обнаружить, но у меня было слишком мало времени. Мои клиенты не выбрасывают деньги даром. Они требуют побольше развлечений.

— Откуда вы знаете, что акула огромная?

— Из рассказов. Я прикинул в среднем ее размеры, а затем отнял футов восемь. Даже без них это та еще рыбка.

— Знаю. Вы можете нам помочь?

— Понятно. Я ждал вашего звонка.

— Ну так как?

— Надо подумать.

— Думайте.

— Сколько я заработаю?

— Сколько вы обычно берете в сутки? Мы оплатим каждый день, пока вы не убьете эту тварь.

— Не пойдет,— сказал Куинт.— За такую работенку надо платить особо.

— Что это значит?

— Как правило, я получаю двести долларов в день. Но тут редкий случай. Я соглашусь заняться акулой только за двойную плату.

— Ну нет.

— Пока.

— Подождите! Слушайте. Это просто грабеж.

— У вас нет иного выхода.

— Найдутся еще рыбаки.

Броди услышал, как Куинт насмешливо расхохотался коротким, лающим смехом.

— Конечно, найдутся,— сказал Куинт.— Один уже наловчился. Пошлите другого. Пошлите еще полдюжины. Потом, когда снова вспомните обо мне, я, пожалуй, запрошу тройную цену. Время работает на меня.

— Речь идет не о простом одолжении,— сказал Броди.— Я знаю, что вам нужно зарабатывать на жизнь. Но акула убивает людей. Надо положить этому конец, спасти человеческие жизни. И вы можете нам помочь. Возьмите хотя бы свою обычную плату?

— Вы растрогали меня,— сказал Куинт.— Вам нужно убить акулу, и я попытаюсь убить ее ради вас. Никакой гарантии не даю, но сделаю все возможное. А «все возможное» стоит четыреста долларов в день.

Броди вздохнул:

— Не уверен, что муниципалитет даст такие деньги.

— Добудьте где-нибудь.

— Когда вы сумеете поймать акулу?

— Через день, через неделю, через месяц. Кто знает? Может, никогда. Может, она уже ушла.

— Дай-то бог,— заметил Броди. Он помолчал.— Ладно,— сказал наконец Броди.— У нас иного выхода нет.

— Это уж точно.

— Вы сможете выйти завтра?

— Нет. Не раньше понедельника. У меня завтра гости.

— Гости. У вас что — званый обед?

Куинт рассмеялся все тем же обрывистым, лающим смехом.

— Гости — это те, кто нанимает судно,— ответил он.— Видно, что вы не часто занимаетесь рыбной ловлей.

Броди покраснел.

— Что верно, то верно. А вы не можете отказать своим гостям? Ведь мы все-таки платим больше, у нас преимущество перед другими.

— Нет. Это постоянные клиенты. Я не могу так поступить, иначе потеряю их. А вы случайный клиент.

— Предположим, что вы уже завтра встретите акулу. Вы попытаетесь ее поймать?

— Это сберегло бы вам кучу денег, правда? Но мы не встретим вашу рыбку. Мы пойдем прямо на восток. Там прекрасно клюет. Вам стоит попробовать как-нибудь.

— Кроме денег, вам ничего не нужно?

— Да, вот еще что,— сказал Куинт.— Мне понадобится человек. Теперь у меня нет помощника, а без него трудно вытащить такую здоровую рыбину.

— Куда же он делся? Утонул?

— Нет, ушел. Сдали нервы. На нашей работе рано или поздно это случается почти с каждым. Просто ум за разум заходит.

— Но вы-то пока держитесь.

— Конечно. Я знаю, что умнее рыбы.

— И этого достаточно: просто-напросто быть умнее?

— До сих пор выручало. Я ведь все еще жив. Ну что? Найдете мне человека?

— А вы сами не можете отыскать помощника?

— Не так быстро и не для такой работы.

— А с кем вы едете завтра?

— С одним парнишкой. Но я не возьму его на большую акулу.

— Понятно,— сказал Броди, он уже сомневался, нужно ли было звонить Куинту.— Я буду вашим помощником,— неожиданно вырвалось у Броди. Он сам удивлялся своей смелости и пришел в ужас от того, что связал себя таким обещанием.

— Вы? Ха-ха-ха!

Броди задела насмешка Куинта.

— На меня можно положиться,— сказал он.

— Вероятно. Я вас не знаю. Но вы не справитесь с акулой, если ничего не смыслите в рыбной ловле. Вы умеете плавать?

— Конечно. А что?

— Просто, если кто-то падает за борт, нужно время, чтобы развернуться и подобрать беднягу.

— За меня не беспокойтесь.

— Дело ваше. Но все равно мне нужен человек, который смыслит что-нибудь в рыбной ловле. Или хотя бы умеет управлять катером.

Броди взглянул через стол на Хупера. Меньше всего ему хотелось мотаться за акулой вместе с молодым ихтиологом — ведь на катере Хупер будет превосходить его в знаниях. Броди мог отправить Хупера на схватку с акулой одного, а сам остаться на берегу. Но он чувствовал, что такое решение означало бы капитуляцию: он словно признавал, что боится встретиться лицом к лицу со злобной тварью и не способен победить необычного врага, который воюет с его городом.

К тому же не исключено, что за целый день охоты на лодке Хупер проговорится, и Броди узнает, где провел ихтиолог прошлую дождливую среду. Броди прямо-таки с ума сходил от желания выяс-

нить, что делал Хупер в тот день, и, всякий раз думая об этом, терзался от одной и той же тревожной мысли. Броди хотелось верить, что Хупер был в кино, или играл в триктрак в клубе «Филд», или курил марихуану с каким-нибудь хиппи, или спал с девчонкой. Ему было все равно, чем занимался ихтиолог, лишь бы знать, что Хупер не встречался с Эллен. Или, наоборот, был с ней. Тогда?.. Мысль об этом была невыносима.

Броди прикрыл телефонную трубку ладонью и обратился к Хуперу:

— Может быть, вы поедете с нами? Куинту нужен помощник.

— У него даже нет помощника? Ну и лавочка!

— Неважно. Вы согласны или нет?

— Да,— ответил Хупер.— Наверное, я всю жизнь буду жалеть об этом, но ладно, пойду с вами. Хочу увидеть эту акулу своими глазами, и другого пути у меня нет.

— Хорошо, я нашел вам помощника,— сказал Броди Куинту.

— Он справится с катером?

— Справится.

— Встретимся в понедельник в шесть утра. Прихватите с собой чего-нибудь поесть. Вы знаете, как сюда проехать?

— Автострада номер двадцать семь, потом повернуть на Промистлэнд, так?

— Да. По шоссе Крэнберри-Хол. Доедете до города. Приблизительно в сотне ярдов от последних домов свернете налево, на проселочную дорогу.

— Есть какой-нибудь указатель?

— Нет, но это единственная дорога ко мне. Упирается прямо в причал.

— Там только ваш катер?

— Да. Он называется «Орка».

— Хорошо. До понедельника.

— Да, вот еще что,— сказал Куинт.— Будете платить наличными каждый день, и вперед.

— Ладно, но почему вперед?

— Я всегда беру заранее. Не хочу, чтобы вы пошли ко дну с моими деньгами, если свалитесь за борт.

— Идет,— согласился Броди.— Вы их получите.— Он повесил трубку и сказал Хуперу: — Понедельник, шесть утра, устраивает?

— Устраивает.

— Я правильно понял, ты тоже едешь, Мартин? — спросил Медоуз.

Броди кивнул:

— Это моя работа.

— Мне кажется, ты вовсе не обязан болтаться на катере.

— Ну, это уже решено.

— Как называется его катер? — спросил Хупер.

— По-моему, «Орка»,— ответил Броди.

Медоуз, Хупер и Уитмен собрались уходить.

— Желаю удачи,— сказал Уитмен.— Я даже завидую вам. Наверное, будут увлекательные поиски.

— Лучше уж без этой увлекательности,— заметил Броди.— Просто я хочу покончить с проклятой тварью.

В дверях Хупер обернулся.

— Я тут кое-что вспомнил,— сказал он.— Знаете, как австралийцы называют белых акул?

— Нет,— ответил Броди без всякого интереса.— Как?

— Белая смерть.

— Вы нарочно сказали мне об этом, а? — спросил Броди, закрывая за ним дверь.

У выхода из здания управления ночной дежурный остановил Броди:

— Вам звонили, шеф, когда вы были у себя. Я решил, что не стоит вас беспокоить.

— Кто звонил?

— Миссис Вогэн.

— Миссис Вогэн!

Броди не помнил, чтобы он хоть раз разговаривал с Элеонорой по телефону.

— Она просила передать вам, что это не к спеху.

— Сейчас позвоню ей. Она очень стеснительная, даже если б ее дом горел, она, вызывая пожарных, стала бы извиняться за беспокойство и спросила бы: не заедут ли они к ней, когда окажутся где-нибудь рядом.

Возвращаясь в свой кабинет, Броди вспомнил, что Вогэн однажды сказал об Элеоноре: «Всякий раз, когда жена выписывает чек на доллар, она оставляет чистой графу, где указывается сумма в центах, боясь оскорбить получателя своим недоверием: вдруг он подумает, что его считают способным приписать несколько центов».

Броди набрал номер телефона Вогэнов, и Элеонора тут же сняла трубку. «Сидела у аппарата»,— подумал Броди.

— Элеонора, это Мартин Броди. Вы звонили?

— О да. Ужасно неудобно беспокоить вас, Мартин. Если вы предпочитаете...

— Нет, у меня есть время. Так что вы хотели сказать?

— Это... ну, я звонила вам потому, что Ларри, как мне известно, разговаривал сегодня с вами. Я подумала, может, вы знаете, не... не случилось ли чего.

«Она не в курсе дела,— подумал Броди.— Но будь я проклят, если Элеонора Вогэн узнает чего-нибудь».

— А что произошло? О чем это вы?

— Не знаю, как начать, но... ну, Ларри, как вам известно, пьет мало. И очень редко. По крайней мере дома.

— И?

— Сегодня вечером, вернувшись домой, он не произнес ни слова. Просто прошел в кабинет и, как мне кажется, выпил почти бутылку виски. Сейчас он спит в кресле.

— Я бы не стал тревожиться, Элеонора. Вероятно, что-то его беспокоит. Все мы попадаем в тиски время от времени.

— Я понимаю. Только... с ним что-то стряслось. Я это чувствую. Он сам не свой вот уже несколько дней. Я подумала, может быть... вы его друг. Вы не знаете, что с ним такое?

«Друг»,— подумал Броди. Почти то же самое сказал Вогэн, но он выразился точнее: «Мы когда-то были друзьями».

— Нет, Элеонора, не знаю,— соврал Броди.— Впрочем, я поговорю с ним, если хотите.

— В самом деле, Мартин? Я буду очень признательна. Но... пожалуйста... не упоминайте, что я вам звонила. Он не любит, когда вмешиваются в его дела.

— Не беспокойтесь. Не скажу. Постарайтесь ненадолго уснуть

— Ничего, если он останется в кресле?

— Конечно. Только снимите с него ботинки и набросьте одеяло. Все будет в порядке.

Пол Лёффлер стоял за прилавком своей закусочной, поглядывая на часы.

— Без четверти девять,— сказал он своей жене Розе, пухленькой симпатичной женщине, которая клала масло в холодильник.— Что ты скажешь, если мы закроемся на пятнадцать минут раньше?

— После такого удачного дня, как сегодня, я согласна,— ответила Роза.— Восемнадцать фунтов колбасы! Когда это было, чтобы за день мы продавали восемнадцать фунтов колбасы?

— А швейцарского сыра,— добавил Лёффлер.— Разве когда-нибудь случалось, чтобы нам не хватило швейцарского сыра? Несколько таких деньков — и мы бы недурно заработали. Ростбиф, ливерная колбаса — все идет! Словно отдыхающие сговорились покупать бутерброды только у нас.

Подумать только: приезжают из Бруклина, Истгемптона. Один отдыхающий сказал, что приехал из Пенсильвании только ради того, чтобы посмотреть на акулу.

— Разве у них в Пенсильвании не водятся акулы?

— Кто знает? — сказал Лёффлер.— У нас становится как на Кони-Айленде.

— Городской пляж уже, наверное, похож на свалку.

— Ну и ладно. Мы заслужили один-два хороших дня.

— Я слышала, пляжи снова закрыли,— заметила Роза.

— Да. Я всегда говорил: пришла беда — отворяй ворота.

— О чем это ты?

— Так ни о чем. Давай сворачиваться.

11

Океан застыл, словно студень. Ни малейшего ветерка. Солнце пронизывало своими лучами струившиеся волны нагретого воздуха. Порой одинокая крачка вдруг бросалась вниз за добычей и снова взмывала вверх, а на воде еще долго расходились круги.

Катер, казалось, замер, едва заметно двигаясь по течению. На корме в кронштейнах торчали два спиннинга, проволочные лесы разрезали маслянистую пленку, которая тянулась за судном, уходя на запад. Хупер сидел на корме рядом с бадьей галлонов на двадцать — в ней была приманка. Каждые несколько секунд ихтиолог окунал черпак в бадью и опрокидывал его содержимое за борт.

В носовой части катера двумя рядами громоздилось десять деревянных бочонков величиной с четверть пивной бочки. Каждый опутан крепкой пеньковой веревкой толщиной в три четверти дюйма. Ее остальная часть длиной в сотню футов свертывалась в моток. К самым концам веревок были привязаны стальные гарпуны.

Броди сидел на вращающемся стуле, привинченном к палубе, и боролся с дремотой. Ему было жарко, он обливался потом. Целых шесть часов ни малейшего ветерка. Сзади шея у Броди сильно обгорела, и всякий раз, когда он поворачивал голову, воротничок форменной рубашки царапал чувствительную кожу. Броди остро ощущал запах своего пота, который, смешиваясь со зловонием рыбьих потрохов и крови, вызывал у него тошноту. Он чувствовал, что ввязался не в свое дело.

Броди посмотрел на ходовой мостик. Там стоял Куинт. На нем была белая трикотажная майка, старые, выцветшие голубые джинсы, белые носки и поношенные кеды. Броди подумал, что Куинту, наверное, около пятидесяти, и хотя, безусловно, владельцу катера когда-то было двадцать и когда-нибудь стукнет шестьдесят, полицейский не мог представить его другим. Куинт казался очень худым — при своем почти двухметровом росте он весил килограммов восемьдесят. Он был совершенно лысый, не бритый, а именно лысый, без малейших признаков растительности на голове, словно так и родился — без волос. Когда солнце стояло высоко и припекало, он надевал кепи морского пехотинца; заостренное лицо хозяина катера было обветрено. Длинный прямой нос Куинта бросался в глаза. Когда Куинт смотрел с мостика вниз, он точно задевал взглядом кончик носа. У хозяина катера были самые темные глаза, какие Броди когда-либо приходилось видеть.

От ветра, соли и солнца кожа на лице Куинта загорела и покрылась морщинами. Он пристально, почти не мигая, смотрел за корму — по воде расплывалась маслянистая пленка.

По груди Броди стекала струйка пота, и он передернулся от неприятного ощущения. Затем повернул голову, сморщившись от острой боли в шее, и посмотрел на пленку. Солнечный свет, отражаясь от маслянистой глади, резал глаза, и Броди отвернулся.

— Вам солнце не бьет в глаза, Куинт? — спросил он.— Неужели вы никогда не носите темные очки?

Куинт взглянул на него.

— Никогда,— отрезал хозяин катера.

Его голос звучал безразлично: ни дружески, ни враждебно. И не располагал к беседе.

Но Броди было скучно и хотелось поболтать.

— Почему?

— Они мне не нужны. Я вижу мир таким, какой он есть.

Броди посмотрел на часы. Было начало третьего: через три-четыре часа они на все махнут рукой и отправятся обратно.

— У вас часто выпадают пустые дни?

Утреннее возбуждение прошло, ждать было нечего, и Броди считал, что сегодня они уже не увидят акулы.

— Как «пустые»?

— Такие, как этот. Сидишь целый день — и ничего не происходит.

— Случаются.

— И вам платят, даже если день пройдет даром?

— Конечно.

— Даже если ни разу не клюнет?

Куинт кивнул:

— Это бывает не слишком часто. Обычно какая-нибудь рыба да клюнет. Или подцепишь чего.

— Подцепишь?

— Ну да, железкой.— Куинт указал на гарпун, лежащий на носу катера.

— И кого же вы цепляете, Куинт? — спросил Хупер.

— Всех рыб, что проплывают мимо.

— Вот как? Я не...

— У кого-то клюет,— оборвал его Куинт.

Броди посмотрел из-под руки за борт, но пленка везде оставалась неподвижной: ни волны, ни даже мелкой ряби.

— Где? — спросил Броди.

— Подождите секунду,— сказал Куинт. — Сейчас увидите.

С легким металлическим шелестом проволочная леса на правом спиннинге поползла вниз, врезаясь в воду прямой серебристой линией.

— Берите спиннинг,— сказал Куинт полицейскому. — Когда я дам знать, ставьте катушку на стопор и подсекайте.

— Это акула? — спросил Броди.

От мысли, что наконец-то он встретится лицом к лицу с этой рыбиной, с этим чудовищем, ночным кошмаром, у Броди забилось сердце. Во рту пересохло. Он вытер руки о брюки, вынул спиннинг из кронштейна и зажал его между ног, продолжая сидеть на стуле.

— Белая? — рассмеялся Куинт лающим смехом. — Нет. Какая-то мелочь. Малость потренируйтесь, пока ваша рыбина не найдет катер. — Куинт понаблюдал за лесой еще несколько секунд, затем приказал: — Подсекайте!

Броди нажал на стопор, наклонился и резко отпрянул назад. Конец спиннинга изогнулся дугой. Правой рукой Броди попробовал вращать ручку катушки, чтобы подтянуть рыбу, но ничего не получалось. Леса продолжала быстро уходить в воду.

— Не тратьте зря силы,— посоветовал Куинт.

Хупер, сидевший на транце, поднялся.

— Давайте я подберу лесу,— предложил он.

— Не надо,— бросил Куинт. — Оставьте спиннинг в покое.

Хупер с недоумением и слегка обиженно посмотрел на владельца катера.

«Да что ты понимаешь в этом деле?» — подумал Броди, заметив недовольство на лице Хупера.

— Если держать лесу натянутой слишком долго, то можно лишиться крючка,— спустя минуту продолжал Куинт.

— Вот как? — удивился Хупер.

— А мне говорили, что вы знаете толк в рыбной ловле.

Хупер промолчал. Он повернулся спиной к Куинту, потом сел на транец.

Броди держал спиннинг обеими руками. Рыба погрузилась на глубину и спокойно ходила из стороны в сторону.

Броди принялся наматывать лесу на катушку; он то нагибался, быстро вращая ручку, чтобы подобрать провисшую нить, то подтягивал добычу, напрягая мускулы плеч и спины. Левое запястье болело, а пальцы правой руки свело от напряжения.

— Кого я поймал? — спросил он.

— Голубую акулу,— ответил Куинт.

— Должно быть, с полтонны.

— Нет, фунтов на сто пятьдесят, не больше,— рассмеялся Куинт.

Броди подтаскивал рыбу и нагибался, подтаскивал и нагибался, пока наконец не услышал голос Куинта:

— Вы делаете успехи. Нажмите на стопор.

Броди перестал крутить ручку катушки.

Куинт лениво соскользнул по трапу с ходового мостика. Он держал в руке старую армейскую винтовку «М-1». Хозяин катера остановился у планшира и посмотрел вниз.

— Хотите увидеть рыбину? — спросил он. — Глядите.

Броди встал и, продолжая на ходу наматывать провисавшую лесу, приблизился к борту катера. Акула казалась неестественно голубой в темной морской воде. Она была около восьми футов длиной, изящная, с большими грудными плавниками. Рыба медленно ходила из стороны в сторону и больше не сопротивлялась.

— Красавица, правда? — заметил Хупер.

Куинт снял винтовку с предохранителя и, когда морда акулы оказалась в нескольких дюймах от поверхности, быстро выстрелил три раза. Пули проделали в голове рыбы аккуратные дырки, но крови не было. Акула вздрогнула и замерла.

— Готова,— сказал Броди.

— Как бы не так,— возразил Куинт. — Возможно, оглушена, но и только. — Хозяин катера достал перчатку из кармана брюк, сунул в нее правую руку и ухватил проволочную лесу. Потом вытащил нож из ножен, висевших на поясе. Пасть акулы была приоткрыта на два-три дюйма, ее правый глаз, слегка затянутый белой пленкой, тупо смотрел на Куинта. Хозяин катера засунул нож между мелкими треугольными зубами акулы и попытался их разомкнуть, но рыба намертво стиснула челюсти. Куинт тянул на себя и поворачивал нож, пока не высвободил. Он засунул его обратно в ножны и достал из кармана кусачки.

— Я думаю, вы платите неплохо, поэтому можно позволить себе остаться без крючка и поводка,— заметил Куинт. Он поднес кусачки к проволоке и собрался перекусить ее. — Минутку,— вдруг передумал хозяин катера, засовывая кусачки в карман и вновь вынимая нож. — Глядите. Это всегда вызывает восторг у моих клиентов. — Левой рукой он поднял большую часть акулы над поверхностью во-

ды и молниеносным движением распорол ей брюхо от анального плавника почти до самой головы.

Рыба обмякла, и кровавые потроха — белые, красные, голубые — вывалились в воду, словно куча грязного белья из корзины. Затем Куинт перекусил лесу кусачками, и акула соскользнула за борт. Как только голова ее оказалась под водой, рыбина начала метаться в облаке крови и внутренностей, хватая каждый кусок, проплывавший мимо пасти. Она дергалась, глотая внутренности, которые опять и опять вываливались из распоротого брюха.

— Теперь смотрите внимательно,— сказал Куинт. — Если нам повезет, через минуту здесь появятся другие голубые акулы и помогут этой твари сожрать себя. Если их будет много, мы увидим настоящий кровавый пир. Любопытное зрелище. Клиентам нравится.

Ошеломленный, Броди наблюдал, как акула продолжала хватать свои потроха. Через минуту он заметил голубую тень, поднимающуюся у хвоста растерзанной рыбины. Маленькая акула — не более четырех футов длиной — вцепилась в бок выпотрошенной жертвы. Челюсти хищницы впились в обрывок свисающего мяса. Она яростно трясла головой, извиваясь всем телом, как змея. Наконец приплывшая рыба оторвала кусок мяса и проглотила его. Вскоре появилась другая акула, потом еще и еще, и вода забурлила. Повсюду летели брызги, окрашенные кровью.

Куинт взял гарпун, лежавший под планширом. Он перегнулся через борт, подняв орудие над головой. Неожиданно Куинт резко подался вперед и тут же отпрянул назад. Маленькая акула, насаженная на острие гарпуна, извивалась всем телом и щелкала челюстями. Куинт вынул нож, распорол брюхо рыбы и выбросил ее в воду.

— Сейчас вы кое-что увидите,— сказал он.

Броди не мог определить, сколько акул кишело возле катера в бурлящей воде. Мелькали, перекрещиваясь, плавники, рыбы били хвостами. Порой среди всплесков слышалось хрюканье, когда сталкивались две огромные акулы. Броди посмотрел на свою рубашку — она вся промокла и была забрызгана кровью.

Пиршество продолжалось несколько минут, после него возле катера остались лишь три большие акулы, они сновали взад и вперед у самой поверхности.

Мужчины молча смотрели за борт, пока не уплыли и эти рыбины.

— С ума можно сойти,— произнес Хупер.

— Вам не нравится? — спросил Куинт.

— Вы угадали. Мне не нравится, когда живые существа умирают ради потехи людей.

Куинт фыркнул, и Хупер тут же спросил:

— А вам?

— Мне-то что. Нравится не нравится — это моя работа.

Куинт полез в холодильник и достал другой крючок с поводком. Владелец катера приготовил наживку еще на берегу. С помощью плоскогубцев он прикрепил поводок к концу проволочной лесы и бросил наживку за борт, потратив тридцать ярдов лесы.

Хупер снова начал швырять приманку в воду.

— Кто-нибудь хочет пива? — спросил Броди.

Куинт и Хупер кивнули, тогда он спустился вниз и достал из холодильника три банки. Выходя из каюты, Броди заметил две старые, потрескавшиеся и покоробившиеся фотографии, приколотые кнопками к переборке. На одной был изображен Куинт, стоящий по пояс в куче крупной, необычной рыбы. На другой красовалась мертвая акула, лежащая на берегу. Броди не смог определить ее размеры, потому что не с чем было сравнить рыбину.

Броди поднялся наверх, раздал пиво и уселся на стул.

— Я видел фотографии внизу,— сказал он Куинту. — Что это за рыба, среди которой вы стоите?

— Тарпон,— ответил Куинт. — Не так давно я рыбачил во Флориде. Никогда не видел ничего подобного. Мы, должно быть, поймали тридцать — сорок тарпонов, причем больших, всего за четыре вечера.

— И вы привезли эту рыбу на берег? — спросил Хупер. — Полагалось бросить ее обратно в воду.

— Клиенты захотели оставить улов. Наверное, чтобы сфотографировать. Во всяком случае из тарпонов получилась неплохая подкормка, когда их порубили на куски.

— Судя по вашим словам, они полезнее мертвые, чем живые.

— Конечно. Как почти все рыбы. И многие животные. Я никогда не пробовал живой говядины,— рассмеялся Куинт.

— А на другом фото? — спросил Броди. — Обыкновенная акула?

— Ну, не совсем обыкновенная. Это большая белая акула длиной футов четырнадцать-пятнадцать. Весила больше трех тысяч фунтов.

— Как вы ее добыли?

— Гарпуном. Но надо сказать,— Куинт хохотнул,— сначала трудно было разобрать, кто за кем охотится.

— Что вы имеете в виду?

— Проклятая тварь атаковала катер. Без всякого предупреждения, сразу. Мы сидели на корме, занимаясь своими делами, и вдруг — бабах! Словно на нас налетел товарняк. Моего помощника сбило с ног. И он шлепнулся на палубу, а клиент завопил истошным голосом, что мы тонем. Затем эта сволочь саданула еще разок. Я всадил в нее гарпун, и мы погнались за гнусной тварью — боже мой, должно быть, мы летели за ней до середины Атлантического океана.

— Как же вы следили за акулой? — спросил Броди. — Почему она не ушла на глубину?

— Не могла. За ней волочился бочонок. Он не давал акуле улизнуть. Она затянула его под воду, но ненадолго. Вскоре акула устала и поднялась ближе к поверхности. Поэтому мы просто шли за бочонком. Спустя пару часов мы всадили в эту тварь еще два гарпуна, и, наконец, она всплыла совсем обессиленная; мы накинули веревку ей на хвост и потащили на буксире к берегу. Наш клиент все время нес разную чепуху, так как был уверен, что мы потонем и акула нас сожрет.

Но самое смешное впереди. Когда мы приволокли красавицу и пришвартовались, целые и невредимые, этот кретин подходит ко мне и предлагает пятьсот долларов, если я скажу, будто он поймал акулу на крючок. Она была продырявлена гарпунами, а он хотел, чтобы я поклялся, будто он поймал ее на крючок! Я послал его к черту. Тогда он запел на другой лад: потребовал скостить плату за прогулку наполовину: видите ли, я лишил его возможности поймать акулу. Я сказал, что если б я разрешил ему половить, то остался бы без крючка, трехсот ярдов металлической лесы, катушки, удочки, а главное, без рыбины — это уж точно. Тут он заговорил о той необыкновенной рекламе, которую я получу после оплаченной им поездки. А я ответил: пусть он даст мне деньги, а рекламу оставит себе и попробует намазать ее на пресную галету для себя и своей жены.

— Вы тут интересно говорили о лове на крючок,— сказал Броди.

— О чем?

— Я обратил внимание на одно место в вашем рассказе. Вы ведь не стали ловить акулу на крючок?

— Что я, круглый идиот? Конечно нет. Судя по тому, что я уже слышал, пойманная мною акула — просто щенок по сравнению с той, которая донимает вас.

— Тогда для чего заброшены спиннинги?

— По двум причинам. Первая — белая акула спокойно может взять одну из этих маленьких наживок. Она перекусит лесу в два счета, но, по крайней мере, нам будет известно, что она здесь. Это хороший сигнал. Вторая — никогда не определишь, кого привлечет сюда запах приманки потом; даже если ваша акула не появится, может, клюнет другая рыбка.

— Какая же, например?

— Кто знает. Вдруг поймаем что-нибудь съедобное? Как-то мне попалась меч-рыба, в Монтоке можно получить два пятьдесят за фунт ее мяса. Или вдруг клюнет чего-нибудь интересное, к примеру акула-мако, поймать ее — одно удовольствие. Раз уж вы платите четыре сотни долларов, то можете хоть поразвлечься.

— Предположим, белая акула все же появится здесь,— сказал Броди. — Что вы сделаете сначала?

— Попытаюсь приманить ее, чтобы она кружила вокруг катера, пока мы не доберемся до нее. Особой хитрости здесь не надо: акулы — довольно глупые создания. Все зависит от того, как она себя поведет. Если нападет на катер, мы просто побыстрее нашпигуем ее гарпунами, а затем отплывем в сторонку и пусть изматывает себя. Если же акула хватанет приманку, мы не сможем ее удержать. Тем не менее я попытаюсь не дать ей уйти, удержать эту тварь, рискуя оборвать лесу. Акула наверняка мигом разогнет крючок, но, быть может, нам удастся подтянуть ее ближе и метнуть гарпун. Как только я всажу в нее хоть одну железку, поймать ее будет вопросом времени. Скорее всего она подойдет к катеру на небольшой глубине, привлеченная приманкой. И тут нам придется решать, что делать дальше. Наживки у нас недостаточно, чтобы долго удерживать акулу. Огромная рыбина тут же втянет ее в себя и даже не почувствует, что проглотила. Поэтому нам надо будет подсунуть ей какое-нибудь особенное лакомство, от которого она не сможет отказаться, а в нем будет сидеть большой крюк — он и удержит рыбину, пока мы не всадим в нее парочку гарпунов.

— А если акула заметит крюк,— сказал Броди,— она не возьмет приманку?

— Возьмет. У акул нет разума, это не собаки. Они жрут все. Можете бросить пустой крюк, и акула проглотит его. Одна такая рыбешка подплыла однажды к лодке моего друга и хотела слопать подвесной мотор. Она выплюнула его, так как он застрял у нее в горле.

— Что это за «особенное лакомство», Куинт? — спросил Хупер, который сидел на корме и бросал в воду приманку.

— «Особенное лакомство», от которого акула не сможет отказаться? — переспросил Куинт. Он улыбнулся и ткнул пальцем в сторону зеленого пластмассового бачка для мусора, стоявшего посередине судна. — Посмотрите. Оно там, я приберег его именно для такой акулы. Другие этого не стоят.

Хупер подошел к бачку, отбросил металлические зажимы и поднял крышку. Он заглянул внутрь и застыл с открытым от изумления ртом. В воде плавал крошечный тупоносый дельфинчик длиной не более двух футов. Тельце сохраняло вертикальное положение, и дельфинчик медленно покачивал безжизненной головой в такт движению судна. Из дыры под нижней челюстью торчало ушко огромного крюка для ловли акул, а из брюшка — острие того же крюка. Хупер сжал руками края бачка.

— Детеныш,— произнес он.

— Не совсем,— ответил Куинт с ухмылкой. — Эмбриончик.

Хупер пристально разглядывал дельфина несколько секунд, затем с шумом захлопнул крышку бачка.

— Где вы его достали?— спросил он.

— Милях в шести отсюда на восток. А что?

— Я имею в виду, как вы его достали?

— Очень просто. Из утробы матери.

— Вы убили ее?

— Конечно нет,— засмеялся Куинт.— Она прыгнула на судно и проглотила горсть снотворных пилюль.— Куинт помолчал, ожидая смеха, но Броди с Хупером серьезно смотрели на него.— Вы же знаете, что такое лакомство не купишь за здорово живешь,— добавил владелец катера.

Хупер не сводил глаз с Куинта. Он был вне себя от ярости и возмущения.

— Вам известно, что дельфины находятся под охраной?— спросил он.

— Когда я рыбачу, сынок, я ловлю все, что хочу.

— А как же законы? Неужели...

— Чем вы занимаетесь, Хупер?

— Я ихтиолог. Изучаю рыб. Поэтому и приехал сюда. Разве вам не сказали?

— Когда люди нанимают мое судно, я не задаю лишних вопросов. Ну, хорошо, вы изучаете рыб и тем зарабатываете на жизнь. Но если бы вам пришлось трудиться по-настоящему,— я имею в виду такой труд, когда каждый цент достается потом и кровью,— вы бы знали больше о законах. Верно, дельфины находятся под охраной. Только это не помешает Куинту поймать одного-двух малышей для наживки. Закон ввели, чтобы остановить массовое уничтожение дельфинов, запретить богатым бездельникам охотиться на них в свое удовольствие. Вот что я вам скажу, Хупер: можете сколько угодно беситься и скулить, но больше не говорите Куинту, будто он не имеет права поймать несколько рыб, чтобы заработать себе на хлеб насущный.

— Послушайте, Куинт, дело в том, что дельфинам грозит истребление, они могут полностью исчезнуть. И вы ускоряете этот процесс.

— Не пудрите мне мозги! Скажите рыбакам, промышляющим тунца,— пусть они прекратят заманивать дельфинов в свои сети. Скажите капитанам японских судов для ярусного лова — пусть перестанут бить их гарпунами. И все пошлют вас куда подальше. Им надо кормить людей. И мне тоже. Надо кормить себя.

— Понятно,— сказал Хупер.— Вы будете ловить дельфинов, пока ловится, а если они исчезнут, плевать, тогда вы найдете себе другое дело. Какая глупость!

— Осторожней на поворотах, сынок! — пригрозил Куинт. Голос у него был глухой, невыразительный, он смотрел Хуперу прямо в глаза.

— Что?

— Не советую называть меня дураком.

Хупер не хотел обидеть Куинта и удивился, что тот воспринял его слова как оскорбление.

— Вы напрасно сердитесь. Я просто хотел...

Броди, который сидел между Хупером и Куинтом, решил положить конец их спору.

— Прекратите же, Хупер!— сказал он.— Мы здесь не для того, чтобы обсуждать проблемы охраны богатств океана.

— Что вы понимаете в экологии, Броди? — разозлился Хупер.— Держу пари, эта наука означает для вас лишь то, что для окружающей среды вредно жечь листья у себя на заднем дворе.

— Послушайте, вы. Приберегите вашу дешевую демагогию прожигателя жизни для кого-нибудь еще.

— Вот оно, значит, в чем дело! Демагогия прожигателя жизни. Зависть к чужому богатству сидит у вас в печенках, верно?

— Послушайте, черт вас побери! Мы здесь для того, чтобы покончить с акулой-убийцей, и если один дельфин поможет нам спасти бог знает сколько людей, то его жизнь — не такая уж дорогая плата.

Хупер криво усмехнулся.

— Выходит, теперь вы эксперт по спасению жизней, а? — обратился он к Броди.— Давайте посмотрим. Сколько людей могло бы остаться в живых, если бы вы закрыли пляжи сразу после...

Броди вскочил и, не отдавая себе отчета в том, что делает, пошел на Хупера.

— Заткнитесь!— крикнул полицейский.

Он по привычке поднес руку к бедру, но замер, обнаружив, что кобуры нет. Броди испугался, вдруг осознав, что готов был выстрелить в Хупера. Противники застыли, уставившись друг на друга.

Обстановку разрядил короткий, резкий смешок Куинта.

— Ну и ослы,— заметил он.— Как только вы поднялись на борт сегодня утром, я сразу подумал, что драки не миновать.

12

На следующий день они опять отправились на поиски акулы, по-прежнему ярко светило солнце. Они покинули порт в шесть утра. Дул слабый юго-западный ветер, обещая принести прохладу. У мыса Монток было неспокойно. Но к десяти часам бриз выдохся, и катер застыл на зеркальной поверхности океана, словно картонный стаканчик в луже. На небе — ни облачка, но солнце было подернуто густой дымкой. Направляясь в порт, Броди слышал по радио, будто загрязнение воздуха в Нью-Йорке достигло критического уровня — что-то изменилось в химическом составе атмосферы. Люди заболевали сотнями, старики и хроники умирали один за другим.

Броди надел сегодня рабочую одежду. На нем была белая рубашка с короткими рукавами и высоким воротничком, легкие хлопчатобумажные брюки, белые носки и кеды. Чтобы убить время, он захватил с собой книгу, которую позаимствовал у Хендрикса.

Броди не хотелось тратить время на болтовню, он боялся опять поссориться с Хупером. Наверное, ихтиологу стыдно за вчерашнее, подумал Броди. Сегодня они почти не разговаривали друг с другом, предпочитая обращаться к Куинту. Броди не мог притворяться, будто ничего не произошло, и по-приятельски относиться к ихтиологу.

Полицейский заметил, что по утрам Куинт молчалив, сдержан и необщителен. Каждое слово из него приходилось точно вытаскивать клещами. Однако к концу дня хозяин катера смягчался. Утром, когда они вышли в океан, Броди спросил Куинта, куда направляется катер.

— Не знаю,— ответил хозяин катера.

— Не знаете?

Куинт несколько раз отрицательно покачал головой.

— Но где же мы будем искать акулу?

— Выберем местечко.

— А как вы его определите?

— Никак.

— Вы пойдете по течению?

— Пожалуй, да.

— А глубину вы учитываете?

— Отчасти.

— Что вы хотите сказать?

Куинт молчал и пристально смотрел прямо перед собой в сторону горизонта. Броди уже решил, что хозяин катера не станет отвечать на его вопрос.

— Такая большая акула вряд ли будет плавать на мелководье,— наконец процедил Куинт.— Но трудно угадать.

Броди понимал, что надо прекратить разговор и оставить Куинта в покое, но полицейского разбирало любопытство, и он снова спросил:

— Если мы найдем акулу или она найдет нас, нам повезет, не так ли?

— Пожалуй.

— Отыскать эту рыбину так же трудно, как иголку в стоге сена.

— Вы преувеличиваете.

— Почему?

— Если течение быстрое, то жирная пленка приманки разойдется к концу дня миль на десять или даже больше.

— А не лучше ли нам остаться здесь на всю ночь?

— Зачем?— спросил Куинт.

— Ведь пленка распространится еще дальше. Если она покрывает десять миль за день, то за сутки она покроет все двадцать.

— Не очень-то хорошо, если пленка протянется на слишком большую площадь.

— Почему?..

— Она собьет акулу с толку. Если мы проболтаемся здесь месяц, то застелим пленкой весь этот чертов океан. Не вижу смысла.— Куинт усмехнулся, очевидно представив себе океан, затянутый пленкой.

Броди замолчал и принялся читать книгу.

К полудню Куинт разговорился. Лесы плавали в пленке уже больше четырех часов. Как только они легли в дрейф, Хупер взялся за ковш, хотя никто ему этого не поручал; теперь он сидел на корме, методично черпал и выливал за борт приманку. Около десяти какая-то рыба взяла наживку по правому борту, вызвав минутное оживление. Это была пятифунтовая пеламида, она лишь с трудом могла ухватить такой крючок. В десять тридцать небольшая голубая акула клюнула у левого борта. Броди подтянул рыбину, Куинт подцепил ее багром, распорол брюхо и швырнул обратно в воду. Акула вяло схватила несколько кусков собственного мяса, затем скользнула на глубину. Ни одна хищница не приплыла на пиршество.

В начале двенадцатого Куинт заметил серповидный спинной плавник меч-рыбы. Они молча ждали, надеясь, что рыбина возьмет наживку, но она не обращала внимания на приманку и бесцельно кружила в шестидесяти ярдах от кормы. Куинт подергал лесу — потянул ее так, чтобы приманка прыгала и казалась живой рыбешкой, но все напрасно. Тогда Куинт решил загарпунить меч-рыбу. Он запустил двигатель, велел Броди с Хупером сматывать лесы, а сам повел катер широкими кругами. Один гарпун уже был насажен на древко, обмотанный веревкой бочонок стоял на носу, дожидаясь своего часа. Куинт объяснил процесс охоты: Хупер поведет катер, он, Куинт, устроится на носу, держа гарпун наготове. Когда они подойдут ближе к рыбе, Куинт будет указывать гарпуном, куда направлять катер. Хупер должен разворачиваться до тех пор, пока гарпун не покажет прямо вперед. Это все равно что держать курс по стрелке компаса. Если им повезет, они подойдут к рыбе незаметно и Куинт метнет гарпун — бросок приблизительно на двенадцать футов почти отвесно. Броди надо стоять у бочонка и следить, чтобы веревка не запуталась, когда рыба начнет уходить на глубину.

Все шло как надо, охота сорвалась в последний момент. Медленно двигаясь с приглушенным мотором, тихий рокот которого был едва слышен, катер приближался к рыбе — она лежала на поверхности, отдыхая. Судно прекрасно слушалось руля, и Хупер следовал абсолютно точно в указанном Куинтом направлении. Вдруг неведомо почему рыба почувствовала опасность. И когда Куинт замахнул-

ся, чтобы бросить гарпун, она рванулась вперед, ударила хвостом и стремительно пошла на глубину. Куинт метнул свое орудие, но промазал на шесть футов.

Теперь катер снова стоял у края пленки.

— Вы спрашивали вчера, часто ли выпадают пустые дни,— спросил хозяин катера Броди.— Редко у нас бывает два таких дня подряд. Пора уже появиться голубым акулам.

— А в чем дело, погода виновата?

— Может быть. Люди чувствуют себя довольно скверно. Вероятно, и рыбы тоже.

Они пообедали — бутерброды и пиво, и когда кончили, Куинт проверил, заряжена ли его винтовка. Затем скрылся в рубке и вернулся с каким-то устройством, которого Броди раньше никогда не видел.

— Вы не выбросили банку из-под пива?— спросил Куинт.

— Нет,— сказал Броди.— Зачем она вам?

— Сейчас увидите.

Приспособление напоминало гранату с длинной ручкой — эдакий металлический цилиндр. Куинт засунул пивную жестянку в цилиндр, повернул его, пока не раздался щелчок, и вынул из кармана холостой патрон двадцать второго калибра. Вставил патрон в небольшое отверстие у основания цилиндра и покрутил рукоятку — послышался еще один щелчок. Он протянул приспособление Броди.

— Видите курок,— сказал Куинт, указывая на конец рукоятки.— Нацельте эту штуковину в небо и, когда я скомандую, нажмите на курок.

Куинт взял винтовку «М-1», снял с предохранителя, вскинул ее и крикнул Броди:

— Давайте.

Броди нажал на курок. Раздался резкий выстрел, от которого слегка отдало в руку, и пивная жестянка взлетела прямо в небо. Она вращалась в воздухе и сверкала в ярких солнечных лучах, точно бриллиант. На самом верху она какую-то долю секунды замерла, и тут Куинт выстрелил. Он целился пониже банки, чтобы попасть в нее в то мгновение, когда она начнет падать, и пробил дно. Раздалось громкое, звонкое — дзинь! — и жестянка, кувыркаясь, упала в воду. Она не утонула, а плавала, накренившись и покачиваясь, на поверхности океана.

— Хотите попробовать?— спросил Куинт.

— Конечно,— ответил Броди.

— Помните, целиться надо, когда банка зависнет на самом верху, и брать немного ниже. Если захотите попасть в жестянку на лету, придется стрелять с упреждением, а это гораздо труднее. Если промахнетесь, подождите чуть-чуть, а потом опять ловите ее на мушку, только тогда, повторяю, с упреждением.

Броди передал хозяину катера метательное устройство, взял винтовку и расположился у планшира. Когда Куинт зарядил цилиндр, Броди крикнул: «Давайте!»— и жестянка полетела ввысь. Броди выстрелил. Мимо. Он сделал вторую попытку на верхней точке дуги. Мимо. В третий раз Броди взял слишком большое упреждение, и банка упала в воду.

— Черт возьми, не так-то просто,— сказал полицейский.

— Нужно немного потренироваться,— заметил Куинт.— Посмотрим-ка, попадете ли вы сейчас.

Жестянка держалась стоймя в неподвижной воде в пятнадцати — двадцати ярдах от катера. Половина ее виднелась над поверхностью. Броди прицелился, взяв чуть пониже воображаемой ватерлинии, и нажал на спусковой крючок. Раздалось металлическое — цок!— и пуля ударила в бок жестянки у самой воды. Жестянка исчезла.

— А вы, Хупер?— спросил Куинт.— Осталась одна жестянка, но мы можем выпить пива и освободить еще несколько банок.

— Нет, спасибо,— ответил Хупер.

— А в чем дело?

— Ни в чем. Я просто не хочу стрелять, вот и все.

Куинт усмехнулся.

— Вас беспокоят плавающие в воде жестянки? Мы выбрасываем в океан горы жестянок. Они ржавеют и засоряют дно.

— Не в этом дело,— сказал Хупер, стараясь не отвечать на поддразнивание Куинта.— Мне просто не хочется.

— Боитесь оружия?

— Боюсь? Нет.

— Вы хоть раз в жизни стреляли?

Броди удивился настойчивости Куинта, его радовало замешательство Хупера, но он не понимал, почему хозяин катера стремится вывести из себя ихтиолога. Может быть, Куинта охватывает раздражение, когда ему надоедает сидеть сложа руки и рыба не ловится.

Хупер тоже не знал, чего добивается Куинт, но ему не нравились придирки хозяина катера. Он чувствовал, что Куинт заманивает его в какую-то ловушку.

— Что за вопрос,— сказал он.— Я стрелял раньше.

— Где? В армии?

— Нет. Я...

— Вы служили?

— Нет.

— Я так и думал.

— Что вы хотите этим сказать?

Броди уставился на Хупера, наблюдая за ихтиологом, и на какую-то долю секунды поймал на себе ответный взгляд.

Хупер отвел глаза и покраснел.

— Что вы задумали, Куинт?—спросил он.— Чего вам надо?

Куинт откинулся на спинку стула и осклабился.

— Абсолютно ничего,— сказал он.— Просто болтаю немного, чтобы скоротать время. Вы не будете возражать, если я возьму жестянку, когда вы допьете пиво. Может быть, Броди захочет еще раз выстрелить.

— Нет, не возражаю,— ответил Хупер.— Но только отстаньте от меня, ладно?

Час все сидели молча. Броди дремал, натянув шляпу на глаза, чтобы защитить лицо от солнца. Хупер расположился на корме, черпал и выливал за борт приманку, изредка встряхивая головой, чтобы прогнать сон. А Куинт сидел на ходовом мостике, глядя на пленку, его кепи морского пехотинца было сдвинуто на затылок.

Вдруг Куинт спокойно сказал:

— К нам пожаловала гостья.

Броди тут же проснулся. Хупер вскочил. Леса по правому борту плавно и очень быстро натягивалась.

— Возьмите спиннинг,— сказал Куинт. Он сорвал кепи и бросил его на скамейку.

Броди вынул спиннинг из кронштейна, поставил его между ног и крепко сжал руками.

— Когда я дам знать,— сказал Куинт,— тормозите катушку и подсекайте.— Леса перестала разматываться.— Подождите. Рыба разворачивается. Потянет опять. Не стоит подсекать ее сейчас, иначе выпустит крючок.— Но леса лежала на воде, провисшая и без всякого движения. Спустя несколько минут Куинт выругался.— Чтоб меня разорвало. Тащите.

Броди начал выбирать лесу. Она шла легко, слишком легко. Будто на ней не было приманки.

— Придерживайте лесу двумя пальцами, а то она запутается,— сказал Куинт.— Что бы там ни было, но это «что-то» сняло наживку нежно, как надо. Должно быть, слизнуло ее.

Леса выскочила из воды и повисла на конце спиннинга. Ни крючка, ни наживки, ни поводка. Проволока аккуратно перекушена. Куинт сбежал с мостика и осмотрел ее. Он потрогал конец, провел пальцами по краям среза и внимательно оглядел пленку за бортом.

— Я думаю, мы только что повстречались с вашей подругой,— заметил он.

— Что? — спросил Броди.

Хупер соскочил с планшира.

— Вы, должно быть, шутите,— возбужденно сказал он.— Это же великолепно.

— Я лишь предполагаю,— ответил Куинт.— Хотя, держу пари, что так оно и есть. Проволока перекушена чисто. С одного раза. Акула, по-видимому, даже не почувствовала ее. Просто втянула наживку и захлопнула пасть. Вот и все.

— Ну, и что мы теперь будем делать? — спросил Броди.

— Подождем и посмотрим, не возьмет ли акула другую наживку и не выйдет ли на поверхность.

— А что, если использовать дельфинчика?

— Только когда я буду уверен, что нас беспокоит ваша любимица,— сказал Куинт.— Если увижу ее и буду знать, что это достаточно большая тварь, которая стоит того, чтобы скормить ей дельфина. Рыбы уничтожают все подряд, и я не хочу тратить ценную наживку на какое-нибудь ничтожество.

Они ждали. Поверхность воды оставалась спокойной. Единственным звуком было шлепанье приманки, которую бросал Хупер. Но вот повело лесу по левому борту.

— Не вынимайте спиннинг из кронштейна,— сказал Куинт.— Нет смысла, вдруг она перекусит и эту лесу.

Кровь Броди забурлила, закипела. Его охватили нервное возбуждение и боязнь при мысли о том, что где-то рядом находится существо, силу которого трудно себе представить. Хупер стоял у планшира левого борта, не отрывая взгляда от бегущей лесы.

Леса замерла и обвисла.

— Проклятье,— выругался Куинт.— Снова оборвала.— Он взял удилище и начал выбирать лесу на катушку. Перекушенная леса показалась над бортом, крючка не было, как и прежде.— Попробуем еще разок,— проговорил Куинт,— но я прикреплю поводок потолще. Разумеется, это ее не напугает, если мы имеем дело с вашей пакостью.— Он полез в морозильную камеру за приманкой, потом снял проволочный поводок. Достал из ящика в кубрике цепь фута в четыре длиной и толщиной три восьмых дюйма.

— Похожа на поводок для собаки,— заметил Броди.

— Это и есть бывший поводок,— согласился Куинт. Он прикрепил проволокой один конец цепи к ушку крюка с наживкой, другой — к металлической лесе.

— Может, она перекусит и эту цепь?

— Думаю, что да. Вероятно, на это уйдет немного больше времени, но она все равно перекусит, если пожелает. Я лишь хочу подразнить ее немного и выманить на поверхность.

— А что делать, если ничего не получится?

— Пока не знаю. Я, конечно, мог бы взять четырехдюймовый крюк для акул и крепкую цепь, насадить несколько кусков приманки и опустить наживку за борт. Однако если акула заглотнет крюк, мне с ней не справиться. Она вырвет любой кнехт, поэтому, пока я не вижу ее, не стоит рисковать.— Куинт сбросил крюк с наживкой за борт и потравил несколько ярдов лесы.— Иди сюда, ты, потаскуха! Дай же посмотреть на тебя.

Трое мужчин следили за лесой по левому борту. Хупер нагнулся, зачерпнул полный ковш приманки и выбросил ее на пленку. Что-то привлекло его внимание и заставило обернуться налево. Он увидел нечто такое, отчего у Хупера вырвался хриплый крик — нечленораздельный, но достаточно выразительный; двое других мужчин посмотрели в его сторону.

— Боже мой! — произнес Броди.

В десяти футах от кормы, ближе к правому борту, торчала плоская, конической формы голова акулы. Чудовище высунулось из воды, наверное, фута на два. Сверху голова была темно-серая, на ней выделялись два черных глаза. Ближе к пасти, где серый цвет переходил в кремово-белый, располагались ноздри — глубокие прорези в бронированной коже. Пасть была слегка приоткрыта, в темной мрачной полости виднелись огромные треугольные зубы. Акула и люди смотрели друг на друга, наверное, секунд десять. Затем Куинт заорал:

— Дайте гарпун!

Повинуясь собственному крику, он бросился вперед и начал возиться с гарпуном. Броди схватился за винтовку. В это мгновение акула бесшумно ушла под воду. Мелькнул длинный серповидный хвост. Броди выстрелил и промахнулся — акула исчезла.

— Ушла,— сказал Броди.

— Фантастика! — произнес Хупер.— Вот это акула! О такой я даже не мечтал. Диковинная рыба! Одна голова, должно быть, фута четыре в поперечнике.

— Возможно,— согласился Куинт, направляясь к корме. Он отнес туда два гарпуна, два бочонка и две веревки.— На случай, если акула вернется,— пояснил он.

— Вы когда-нибудь видели такую рыбу, Куинт? — спросил Хупер. Его глаза горели от восторга и возбуждения.

— Пожалуй, нет,— ответил Куинт.

— Как вы думаете, какая у нее длина от головы до хвоста?

— Трудно сказать, футов двадцать. Может, больше. Не знаю. Вообще, между этими тварями нет особой разницы, если они больше шести футов. Стоит им достичь такой длины, и они уже опасны. Эта сволочь тоже опасна.

— Дай бог, чтобы она вернулась,— сказал Хупер.

Броди почувствовал озноб и содрогнулся.

— Странно,— произнес он, качая головой.— Такое впечатление, будто она ухмылялась.

— Они всегда так выглядят с открытой пастью,— сказал Куинт.— Не считайте ее умнее, чем она есть. Всего лишь безмозглая помойная яма.

— Как вы можете так говорить? — возмутился Хупер.— Это настоящая красавица. Подобные существа заставляют нас поверить в бога. Они показывают, на что способна природа, когда задумает что-то сотворить.

— Бред,— отрезал Куинт и взобрался по трапу на ходовой мостик.

— Вы хотите забросить дельфина? — спросил Броди.

— Не нужно. Мы уже раз заставили ее выйти на поверхность. Она появится снова.

Не успел Куинт договорить, как неясный шум заставил Хупера обернуться. До него донесся какой-то свистящий звук, казалось, свистела вода.

— Смотрите,— воскликнул Куинт. Акула шла прямо к катеру. В тридцати футах от борта виднелся треугольный спинной плавник более фута высотой, он разрезал волны, оставляя позади волнистый след. За ним возвышался огромный хвост, с силой ударявший по воде.

— Она атакует катер!— закричал Броди. Он невольно опустился на стул, как бы пытаясь спрятаться от опасности.

Куинт сбежал с мостика, чертыхаясь.

— Без всякого предупреждения на этот раз,— сказал он.— Дайте мне гарпун.

Акула была уже совсем рядом с катером. Она подняла плоскую голову, тупо посмотрела на Хупера черным глазом и прошла под судном. Куинт поднял гарпун и повернулся в сторону левого борта. Древко ударилось о стул, наконечник отскочил и упал на палубу.

— Подлюга! — заорал Куинт.— Она еще там? — Он нагнулся, схватил наконечник и снова насадил его на древко.

— С вашей стороны, с вашей! — вопил Хупер.— Здесь она уже прошла.

Куинт повернул голову и увидел серо-коричневый силуэт акулы — она удалялась от катера и все глубже уходила под воду. Куинт отбросил гарпун, с яростью схватил винтовку и разрядил всю обойму в воду вслед акуле.

— Сволочь! — выругался он.— Предупреждай меня в следующий раз.— Затем он положил винтовку и захохотал.— Пожалуй, надо сказать ей спасибо,— заметил Куинт.— По крайней мере она не напала на катер.— Он посмотрел на Броди.— Напугала вас немного?

— Больше чем надо,— сказал Броди. Он потряс головой, словно собираясь с мыслями.

— Я все еще не могу поверить своим глазам.— Он представил себе, как торпедообразное тело несется в темноте вперед и разрывает на части Кристину Уоткинс; как мальчик беспечно плывет на матраце, и вдруг его хватает какое-то чудовище; Броди знал, что подобные кошмары будут терзать его все время — он будет видеть сны, полные насилия и крови, несчастную женщину, обвиняющую его в том, что он убил ее сына.

— Не говорите мне, что это — рыба,— произнес Броди.— Она больше похожа на чудовищ из приключенческих фильмов.

— И тем не менее это рыба,— сказал Хупер. Он никак не мог успокоиться.— И какая рыба! Черт возьми, почти мегалодон.

— Что? — не понял Броди.

— Конечно, я чуть преувеличил,— ответил Хупер,— но рыбу таких размеров можно назвать мегалодоном, правда? Что вы скажете, Куинт?

— Я скажу, что вы перегрелись на солнце,— бросил хозяин катера.

— Нет, в самом деле. Как по-вашему, каких размеров могут достигать эти рыбы?

— Я не всезнайка. Думаю, она длиной футов двадцать, поэтому можно сказать, что такие твари достигают двадцати футов. Если я завтра увижу акулу длиной в двадцать пять футов, то скажу, что они вырастают до двадцати пяти футов. Предположения и плевка не стоят.

— А все-таки до каких размеров вырастают акулы? — спросил Броди и тут же пожалел. Ему казалось, что, обращаясь к ихтиологу с этим вопросом, он как бы признает его авторитет.

Однако Хупер был слишком увлечен, взволнован и счастлив, чтобы воспользоваться своим превосходством.

— В этом-то все и дело,— сказал ихтиолог,— что никто этого не знает. В Австралии одна акула запуталась в цепях и утонула. Она была длиной в тридцать шесть футов, так по крайней мере сообщалось в газетах.

— Почти в два раза больше, чем наша,— заметил Броди. Полицейский с трудом верил даже в существование только что увиденной акулы и уж тем более не представлял себе необъятных размеров рыбины, о которой говорил ихтиолог.

Хупер согласно кивнул в ответ.

— Обычно люди считают длину в тридцать футов пределом для акулы, но эта цифра обманчива. Вот и Куинт говорил: если они встретят завтра чудовище длиной в шестьдесят футов, то подумают, что это и есть самая крупная акула. Но представьте себе нечто поразительное — вдруг где-то в океанских глубинах обитают громадины длиной в сотню футов, и это может оказаться правдой.

— Какая чепуха,— сказал Куинт.

— Я не говорю, что так оно и есть,— продолжал Хупер.— Я говорю, что это возможно.

— Все равно чепуха.

— Может быть. А может быть, и нет. Обратите внимание на латинское название этих акул — Carcharodon carcharias, их ближайший предок назывался Carcharodon megalodon и жил приблизительно тридцать — сорок тысяч лет тому назад. Найдены зубы мегалодона. Их длина шесть дюймов. Из этого следует, что ископаемая акула имела длину от восьмидесяти до ста футов. И у нее были точно такие же зубы, какие мы видим у гигантских белых акул в наши дни. Предположим, что обе акулы принадлежат к одному и тому же виду. Какие у нас доказательства, что мегалодоны в самом деле вымерли? И почему? Этим хищникам хватает пищи. Если уж киты не голодают, то и гигантские акулы спокойно прокормятся. Нам никогда не приходилось видеть белых акул длиной в сто футов, но это отнюдь не означает, что их не существует в природе. Гигантским акулам не надо подниматься на поверхность. Они могут найти пищу в морских глубинах. Мертвых акул не выбрасывает на берег, у них нет плавательного пузыря. Попробуйте представить себе, как выглядит стофутовая белая акула? Вы знаете, на что она способна и какой силой обладает?

— Страшно даже подумать,— проговорил Броди.

— Она должна быть размером с паровоз, а пасть набита зубами, похожими на ножи мясника.

— Вы хотите сказать, что наша акула всего лишь детеныш? — Броди почувствовал себя слабым и беззащитным. Такая рыба может проглотить целый катер.

— Нет, это взрослая акула,— сказал Хупер.— Я уверен. Просто акулы как люди. Один человек вырастает до пяти футов, другой — до семи. Боже, я все бы отдал, лишь бы взглянуть на какого-нибудь большого мегалодона.

— Вы просто сумасшедший,— заметил Броди.

— Нет, вы только вообразите. Это все равно что найти снежного человека.

— Эй, Хупер,— сказал Куинт,— может, хватит сказок, не пора ли бросать приманку за борт? Я не прочь поймать хоть что-нибудь.

— Конечно,— согласился Хупер. Он вернулся на свое место на корме и принялся выплескивать приманку в воду.

— Думаете, она вернется? — спросил Броди.

— Не знаю,— ответил Куинт.— Никогда не предугадаешь, что выкинут эти твари.— Он достал из кармана блокнот и карандаш. Вытянул левую руку по направлению к берегу. Зажмурил правый глаз и посмотрел по воображаемой линии вдоль указательного пальца, затем нацарапал что-то в блокноте. Потом Куинт сдвинул руку на несколько дюймов левее, снова посмотрел и снова что-то записал.

— Определяю наше местонахождение,— сказал Куинт, опережая вопрос полицейского.— Хочу отметить, где находится катер, чтобы завтра прийти на это же место, если акула больше не появится.

Броди бросил взгляд в сторону берега. Даже пристально всматриваясь из-под ладони, он различал лишь едва заметную полоску земли.

— Как вы ориентируетесь?

— По маяку на косе и городской водонапорной башне. Они оказываются под разным углом в зависимости от того, где ты находишься.

— Разве их видно? — Броди напряг зрение, но ничего не мог заметить, кроме бугорка на полоске земли.

— Конечно, видно, и вы бы увидели, если бы провели на море тридцать лет.

— Вы действительно думаете, что акула останется здесь? — усмехнувшись, заметил Хупер.

— Не знаю,— ответил Куинт.— Но мы обнаружили ее именно здесь.

— Ясно, что она никуда не ушла от Эмити,— вставил Броди.

— Конечно, потому что она ухитрялась добывать себе корм,— сказал Хупер. В его голосе не было ни иронии, ни издевки. Однако это замечание больно резануло Броди по сердцу.

Они прождали еще часа три, но акула так и не вернулась. Течение ослабело, и пленка почти не расползалась.

— Давайте, пожалуй, возвращаться,— предложил Куинт в начале шестого.— Хватит на сегодня, а то терпение может лопнуть.

— Куда, по-вашему, ушла акула? — спросил Броди. Вопрос был задан впустую: он знал, что точного ответа быть не может.

— Куда угодно,— сказал Куинт.— Когда их ищешь, то не находишь поблизости. А вот когда они не нужны, то эти бестии тут как тут. Попробуй догадайся.

— Так вы считаете, что нам не следует оставаться на ночь и бросать приманку?

— Нет. Я уже говорил: плохо, если пленка расползется на слишком большое расстояние. Мы не взяли с собой никакой еды. И последнее, что немаловажно,— вы не платите мне за круглосуточную работу.

— А если бы я заплатил?

Куинт задумался.

— Нет смысла. Это заманчиво, но мы продежурим ночь впустую. Пленка разойдется далеко, она только запутает нас, и даже если рыба окажется совсем рядом, то мы все равно об этом не узнаем, разве только она нападет на катер. Поэтому я взял бы с вас деньги лишь за ночлег на борту. Однако я не хочу поступать так по двум причинам. Прежде всего, если пленка сильно расползется, она испортит нам завтрашний день. Второе, я предпочитаю, чтобы ночью судно стояло в порту.

— Понятно,— сказал Броди.— Вашей жене, вероятно, тоже будет спокойнее, если вы проведете ночь дома.

— У меня нет жены,— безразлично сказал Куинт.

— О, извините.

— Не за что. Она мне просто не нужна.— Куинт повернулся и поднялся по трапу на ходовой мостик.

Эллен готовила детям ужин, когда в дверь позвонили. Мальчики смотрели телевизор в гостиной.

— Откройте дверь, пожалуйста! — крикнула она им.

Эллен услышала щелчок замка, чьи-то голоса, а спустя минуту увидела Ларри Вогэна — он остановился в дверях кухни. Прошло меньше двух недель с тех пор, как они виделись в последний раз, однако перемена в наружности мэра была такой разительной, что Эллен с удивлением уставилась на него. Как всегда, Вогэн был одет с иголочки — голубой спортивный пиджак с двумя пуговицами и застегнутая доверху рубашка, серые брюки и модные мокасины. Изменилось только его лицо. Он резко похудел, у него появились морщины как у большинства людей, и так не имеющих лишнего веса. Глаза у Вогэна ввалились и стали, как показалось Эллен, светлее обычного — бледно-серыми. Кожа тоже посерела и заметно обвисла на щеках. Он беспрестанно облизывал и без того влажные губы.

Эллен смутилась, когда заметила, что смотрит на него до неприличия долго.

— Привет, Ларри,— сказала она и опустила глаза.

— Привет, Эллен. Я зашел, чтобы...— Вогэн отступил на несколько шагов назад и заглянул в гостиную.— Можно, я чего-нибудь выпью?

— Конечно. Ты знаешь, где бар. Налей сам. Я бы за тобой поухаживала, но у меня испачканы руки.

— Не беспокойся. Я управлюсь.— Он открыл шкаф, где хранилось спиртное, достал бутылку и налил полный стакан джина.— Как я уже сказал, я зашел, чтобы попрощаться.

Эллен отвернулась от плиты.

— Ты уезжаешь? Надолго? — спросила она.

— Не знаю. Возможно, навсегда. Здесь мне больше нечего делать.

— А как же твой бизнес?

— Вылетел в трубу. Или скоро вылетит.

— Что значит — вылетел в трубу? Бизнес не может так просто прогореть.

— Возможно, но я все потерял. То немногое, что осталось, перейдет к моим... компаньонам.— Он словно выплюнул это слово и затем, точно желая избавиться от неприятного привкуса во рту, сделал большой глоток джина.— Мартин говорил тебе о нашем разговоре?

— Да.— Эллен посмотрела на сковороду и перевернула курицу.

— Я думаю, ты теперь будешь плохо думать обо мне.

— Я тебе не судья, Ларри.

— Я никогда не хотел никого обидеть. Надеюсь, ты этому веришь?

— Верю. Элеонора что-нибудь знает?

— Ничего, бедняжка. Я хочу оградить ее от всего, если смогу. Это одна из причин моего отъезда. Она любит меня, ты знаешь, очень не хочется, чтобы мы оба лишились... этой любви.— Вогэн облокотился на раковину.— Сказать тебе кое-что? Иногда я думаю — и думал время от времени все эти годы,— что мы с тобой могли бы стать прекрасной парой.

Эллен покраснела.

— Что ты имеешь в виду?

— Ты из хорошей семьи. У тебя обширные связи, ради которых мне приходилось тратить столько сил. Мы подошли бы друг другу и заняли подобающее нам положение в Эмити. Ты красивая, хорошая, сильная. Ты была бы для меня настоящей находкой. И я думаю, что смог бы создать тебе такую жизнь, которая пришлась бы тебе по душе.

Эллен улыбнулась.

— Я не такая сильная, как ты думаешь, Ларри. Я не знаю, какая я... находка.

— Не прибедняйся. Надеюсь, Мартин понимает, каким владеет сокровищем.— Вогэн допил джин и поставил стакан в раковину.— Впрочем, уже поздно предаваться мечтам.— Он подошел к Эллен, взял ее за плечи и поцеловал в голову.— До свидания, дорогая,— сказал он.— Вспоминай иногда обо мне.

Эллен посмотрела на него.

— Хорошо.— Она поцеловала его в щеку.— Куда ты едешь?

— Не знаю. Или в Вермонт, или в Нью-Гэмпшир. Возможно, начну продавать земельные участки любителям лыжного спорта. Кто знает? А может, сам займусь лыжами.

— Ты говорил Элеоноре?

— Я сказал ей, что мы, вероятно, уедем из Эмити. Она только улыбнулась и ответила: «Как хочешь, Ларри».

— Вы скоро отправитесь?

— Как только переговорю со своими адвокатами о моих... долгах.

— Пришли нам открытку и сообщи свой адрес.

— Хорошо. До свидания.— Вогэн вышел из кухни, и Эллен слышала, как хлопнула входная дверь.

Накормив детей ужином, она поднялась в спальню и присела на кровать. «Жизнь, которая пришлась бы тебе по душе»,— сказал Вогэн. Какой бы она могла быть, эта жизнь? Обеспеченность? Признание? Она никогда бы не вспоминала с сожалением о своем детстве, ибо ничего для нее не изменилось бы. Ей бы не хотелось вернуть прошлое, самоутвердиться, доказать себе, что она может нравиться, не надо было бы изменять Мартину с Хупером.

Хотя вряд ли. Она наверняка обманывала бы Броди просто так, скуки ради, подобно многим женщинам, которые проводили целые недели в Эмити без мужей, пока те работали в Нью-Йорке. С Ларри Вогэном она жила бы без всяких волнений, обеспеченно, но пусто.

Размышляя над словами мэра, Эллен начала сознавать, что с Броди она не была так уж несчастлива, как мог себе представить Ларри Вогэн, а пережитые вместе радости и невзгоды еще больше сблизили их. И чем яснее она это видела, тем больше сожалела о том, сколько лет ушло на то, чтобы понять, как много затрачено времени и нервов в бесплодных попытках вернуть прошлое. Вдруг ее охватил страх — страх, что она прозрела слишком поздно, что с Броди может что-нибудь произойти, прежде чем она воспользуется плодами своего прозрения. Она взглянула на часы: двадцать минут седьмого. Ему следовало уже быть дома. Что-то случилось с ним, подумала она. О, пожалуйста, боже, только не с ним.

Эллен услышала, как внизу открылась дверь. Она спрыгнула с кровати, выскочила в коридор и сбежала вниз по лестнице. Она обхватила Броди за шею и крепко поцеловала в губы.

— Бог мой,— сказал он, когда она отпустила его.— Вот это встреча.

13

— Я не позволю погрузить эту штуковину на мое судно,— сказал Куинт.

Они стояли на пристани. Светало. Солнце вычертило линию горизонта, но над океаном поплыли низкие облака. Легкий бриз дул с юга. Судно было готово к отплытию. Бочонки выстроились рядком в носовой части; спиннинги торчали вертикально в кронштейнах. Тихо урчал двигатель, он выбрасывал на поверхность воды пузырьки, когда небольшие волны заливали выхлопную трубу, и кашлял дизельной гарью, которую подхватывал и уносил вверх слабый ветерок.

На другом конце пристани какой-то мужчина сел в небольшой грузовик, включил мотор, и машина стала медленно удаляться по грязной дороге. Надпись, выведенная на двери грузовика, гласила: «Вудс-Хол, Институт океанографии».

Куинт стоял спиной к катеру, глядя на Броди и Хупера, которые расположились по обе стороны алюминиевой клетки. Она была чуть более шести футов высотой, шесть футов в длину и четыре фута в ширину. Внутри находился щит управления, а сверху — два цилиндрических баллона. На полу клетки лежали акваланг, регулятор, маска и гидрокостюм.

— Почему вы не хотите брать клетку? — спросил Хупер.— Она легкая, и я могу ее привязать где-нибудь, она никому не будет мешать.

— Займет слишком много места.

— Я уже говорил,— вставил Броди,— но он и слушать не хочет.

— Да что это такое в конце-то концов? — спросил Куинт.

— Клетка для защиты от акул,— пояснил Хупер.— Ныряльщики пользуются ими в открытом океане. Мне привезли ее из Вудс-Хола на грузовике, который только что уехал.

— И зачем она вам?

— Когда мы найдем акулу или когда она найдет нас, я спущусь в клетке под воду и сделаю несколько снимков. Никому еще не удавалось сфотографировать такую большую акулу.

— Не выйдет,— сказал Куинт.— Только не с моего катера.

— Почему?

— Глупости, вот почему. Умный человек знает свои возможности. Вы еще мало каши ели.

— Откуда вы знаете?

— Никому не удастся такое. Эта акула слопает вашу клетку на завтрак.

— Слопает? Ну, не думаю. Согласен, она может броситься на клетку, может даже попытаться схватить челюстями прутья, но вряд ли акула захочет ее проглотить.

— Захочет, если увидит такую сочную приманку, как вы.

— Сомневаюсь.

— Ладно, хватит болтать.

— Слушайте, Куинт, подобная возможность представляется раз в жизни. Я не стал бы вас ни о чем просить, если бы не увидел вчера эту рыбину. Она редкостная, во всяком случае в нашем полушарии акул вроде нее никто не встречал. Я смотрел фильмы о гигантских белых акулах, но еще никому не удавалось заснять двадцатифутовую рыбину в открытом океане. Ни разу.

— Куинт же сказал вам: хватит болтать,— вмешался Броди.— Так что забудьте о вашей клетке. И потом, я не хочу отвечать за вас. Мы здесь для того, чтобы убить акулу, а не снимать о ней любительский фильм.

— Почему вы должны отвечать за меня? Я действую совершенно самостоятельно.

— Ну нет, я за вас отвечаю. За катер платит Эмити, поэтому будет так, как я скажу.

Хупер обратился к Куинту.

— Я заплачу вам.

Куинт улыбнулся.

— Да ну? И сколько?

— Хватит болтать,— повторил Броди.— Мне неважно, что скажет Куинт. Я против того, чтобы вы брали с собой эту штуковину.

Хупер не обратил внимания на слова Броди.

— Сто долларов. Наличными,— предложил он хозяину катера.— И вперед, как вы любите.— Хупер полез в задний карман за бумажником.

— Я сказал: нет,— уперся Броди.

— Ну как, Куинт? Сто зелененьких. Наличными. Вот они.— Хупер отсчитал пять банкнот по двадцать долларов и протянул их Куинту.

— Не знаю,— сказал Куинт.— Но деньги манили его, и он добавил: — Плевать, пусть подыхает себе, если хочет, я не стану удерживать.

— Если возьмете клетку, Куинт,— сказал Броди,— то лишитесь своих четырехсот долларов. «Пусть Хупер сводит счеты с жизнью в свободное от работы время»,— подумал полицейский.

— Если клетка останется на берегу, я не поеду с вами,— сказал Хупер.

— Ну и не надо, черт возьми,— разозлился Броди.— Можете сидеть здесь, мне все равно.

— Не думаю, чтобы это понравилось Куинту. А, Куинт? Вы пойдете в море вдвоем с шефом? Согласны?

— Мы найдем себе помощника,— сказал Броди.

— Валяйте,— огрызнулся Хупер.— Желаю удачи.

— Трудно найти,— сказал Куинт.— Особенно в такой короткий срок.

— Пошло все к дьяволу,— разозлился Броди.— Отложим поездку на завтра. А Хупер может возвратиться в Вудс-Хол и забавляться со своими рыбками.

Хупер был зол, гнев ослепил его. Поэтому он не смог удержаться, и у него вырвалось:

— Я способен и на большее.

На несколько секунд воцарилось гробовое молчание. Броди уставился на Хупера, не желая верить своим ушам, он не знал, сколько скрытого смысла таилось в словах ихтиолога, а сколько пустой похвальбы. И вдруг на Броди нахлынула неистовая ярость. Он сделал два шага к Хуперу, схватил его обеими руками за воротник и кулаками сдавил горло.

— Что? Что вы сказали?

Хупер задыхался. Он вцепился в пальцы Броди.

— Ничего! — ответил ихтиолог через силу.— Ничего! — Он пытался отступить назад, но Броди еще крепче сжал его горло.

— Что вы хотели сказать?

— Да говорю же вам, ничего! Вы разозлили меня. Вот я и выпалил первое, что пришло на ум.

— Где вы были днем в прошлую среду?

— Нигде! — В висках у Хупера стучало.— Отпустите. Вы задушите меня!

— Где вы были? — Броди все сильнее давил кулаками на горло.

— В гостинице! Теперь пустите!

Броди ослабил руки.

— С кем? — спросил он, взмолившись про себя: «Боже, пусть это будет кто угодно, только не Эллен».

— С Дейзи Уикер.

— Вранье! — Броди снова сдавил ненавистное горло и почувствовал, что на глазах у него выступили слезы.

— Что вам надо от меня? — прохрипел Хупер, пытаясь высвободиться.

— Дейзи Уикер — несчастная лесбиянка! Что вы делали вместе, вязали?

В голове у Хупера помутилось. Руки Броди словно железным обручем сдавили артерии на шее Хупера. Веки у Хупера задрожали, и он стал терять сознание. Броди отпустил воротник и с силой оттолкнул ихтиолога. Хупер растянулся на пристани, с трудом хватая ртом воздух.

— Что вы на это скажете? — продолжал допрашивать Броди.— Или вы способны спать с кем угодно, даже с лесбиянкой?

Голова у Хупера быстро прояснилась, и он ответил:

— Нет, я не знал, что она лесбиянка, а потом было уже слишком поздно.

— Что? Уж не хотите ли вы сказать, что она поднялась к вам в номер, а затем передумала? Ни одна лесбиянка не пойдет на это.

— А она пошла! — сказал Хупер, стараясь без заминки отвечать на вопросы Броди.— Она сказала, что хочет... что настало время попытаться стать нормальной женщиной. Но потом у нас ничего не вышло. Это было ужасно.

— Вы городите чепуху!

— Нет. Можете справиться у нее сами.— Хупер знал, что это всего лишь слабая увертка. Броди легко было проверить. Но Хуперу больше ничего не пришло в голову. Вечером он может по пути домой позвонить Дейзи Уикер из телефонной будки и попросить ее подтвердить его слова. Или может просто больше не возвращаться в Эмити — повернуть на север, сесть на паром в Ориент-Пойнте и покинуть штат, прежде чем Броди успеет связаться с Дейзи Уикер.

— Справлюсь,— заверил Броди.— Не сомневайтесь.

Броди услышал позади себя смех Куинта.

— Сроду ничего такого не слышал,— сказал Куинт.— Надо же — спать с лесбиянкой.

Броди пристально посмотрел в глаза Хупера, пытаясь увидеть в них хоть искорку лжи. Но Хупер уставился в настил пристани.

— Ну так что? — спросил Куинт.— Выходим сегодня или нет? Все равно, Броди, вам придется платить.

Броди был потрясен. Ему хотелось отложить поездку, вернуться в Эмити и узнать, что связывало Хупера и Эллен. Но, предположим, худшие опасения подтвердятся. Как ему поступить? Потребовать ответа у Эллен? Избить ее? Уйти от жены? А какой прок от этого? Надо подождать, все обдумать.

— Выходим,— кивнул он Куинту.

— С клеткой?

— С клеткой. Если наш болван ищет смерти — его дело.

— Мне-то что,— сказал Куинт.— Давайте грузить этот цирк.

Хупер поднялся и подошел к клетке.

— Я пойду на борт,— сказал он хрипло.— Сначала передвиньте клетку на край причала и наклоните ко мне, а потом помогите мне оттащить ее в угол.

Броди с Куинтом поставили клетку на край причала, и полицейский удивился, насколько она легкая. Даже вместе со снаряжением аквалангиста клетка весила не больше двухсот фунтов. Они наклонили ее в сторону Хупера, который ухватился за два прута, и подождал, пока к нему спустится Куинт. Двое мужчин легко поставили клетку в самый угол под ходовую рубку. Хупер привязал ее двумя веревками.

Броди спрыгнул на борт.

— Отчаливаем,— бросил он.

— Вы забыли мне дать кое-что?

— Что?

— Четыреста долларов.

Броди вынул конверт из кармана и передал его Куинту.

— Вы умрете богатым человеком, Куинт.

— Моя золотая мечта. Отдайте кормовой швартов.— Куинт отвязал носовой и боковые тросы и бросил их на палубу; когда отдали кормовой швартов, он завел мотор и отчалил от пристани. Куинт повернул руль направо, выжал ручку акселератора, и катер быстро пошел по спокойному морю мимо Хикс-Айленда и Гоф-Пойнта, огибая Шагуонг и Монток. Скоро маяк на мысе Монток остался позади, и они легли на курс зюйд-зюйд-вест в открытом океане.

Судно плавно покачивалось на волнах, и Броди постепенно успокаивался. Может быть, Хупер говорил правду. Это не исключено. Ни один человек не стал бы лгать, если его легко проверить. Эллен никогда не обманывала его раньше, он был уверен в этом. Она даже не флиртовала с другими мужчинами. Однако, сказал он себе, все случается впервые. И опять при этой мысли у него сжалось горло. Его раздирали чувства ревности и унижения, бессилия и возмущения. Он вскочил со стула и поднялся на ходовой мостик.

Куинт подвинулся на скамейке, освободил место, и Броди уселся рядом.

— Вы, ребята, чуть не набили друг другу морду там, на пристани,— хохотнул Куинт.

— Пустяки.

— Не скажите. Что, думаете, он завел шашни с вашей женой?

Услышав слова, так грубо выражавшие его собственные мысли, Броди вздрогнул от неожиданности.

— Вас это не касается,— огрызнулся он.

— Какое мне дело. Но я не думаю, будто он способен на что-нибудь путное.

— Меня не интересует, что вы думаете,— отрезал Броди, желая поскорее переменить тему разговора.— Мы идем на прежнее место?

— На то самое. Теперь уже недалеко.

— Вы считате, акула все еще там?

— Кто знает? Нам не остается ничего другого.

— Только позавчера вы говорили по телефону, будто обманете любую рыбу. Так? Значит, вы уверены в успехе?

— Почти. Просто надо уметь разгадать их уловки. В этом все дело. Они глупы как пробки.

— Вам никогда не попадалась умная рыба?

— Нет.

Броди вспомнил злобную, ухмыляющуюся морду акулы, которая смотрела на него из воды хищными глазками.

— Я не знаю,— сказал он.— У этой вчерашней рыбины был очень уж подлый вид. Будто она понимала, что делает.

— Глупости, ни черта она не понимала.

— Может, некоторые рыбы способны мыслить?

— Рыбы? — Куинт рассмеялся.— Вы им льстите. Рыба не человек, хотя я считаю, что порой встречаются люди такие же тупые, как рыбы. Нет, акулы не умеют думать. Они ведут себя по-разному, но спустя какое-то время вы узнаете их уловки.

— Значит, акула не может быть врагом, который бросил вызов людям?

— Нет. Она нам такой же враг, как канализационная труба — водопроводчику. Стараясь прочистить трубу, он, возможно, и проклинает ее, и колотит по ней гаечным ключом. Однако водопроводчик знает, что труба ему не враг. Время от времени я наталкиваюсь на какую-нибудь капризную рыбину, которая доставляет мне больше хлопот, чем другие, но тогда я просто прибегаю к особым средствам.

— Но ведь есть рыбы, которых вы никак не можете поймать?

— Конечно, только это вовсе не значит, что они умные или хитрые. Они просто либо сыты, либо слишком проворны, либо у вас не та наживка.— Куинт помолчал с минуту, затем продолжал:— Однажды,— сказал он,— рыба чуть меня не слопала. Это было лет двадцать назад. Я загарпунил здоровую голубую акулу, а она как рванет и стянула меня за борт.

— И что же вы сделали?

— Вскарабкался на транец с такой быстротой, точно взлетел по воздуху. Мне повезло, что я свалился за корму, которая сидела глубоко в воде. Если бы я упал с середины борта, мне пришлось бы плохо. Во всяком случае, я мгновенно взобрался обратно, и рыба не успела меня заметить. Она в то время пыталась избавиться от гарпуна.

— Ну, а если бы вы свалились за борт и акула увидела бы вас? Можно что-нибудь предпринять?

— Конечно. Молиться. Это все равно что упасть с самолета без парашюта и надеяться, что угодишь в стог сена. Спасти может только бог, а поскольку он сам толкнул вас за борт, я не дам и пяти центов за вашу жизнь.

— Одна женщина в Эмити считает, что все наши неприятности ниспосланы свыше,— заметил Броди.— Она утверждает, что это своего рода божья кара.

Куинт улыбнулся.

— Вполне возможно. Бог сотворил эту проклятую тварь и может приказывать ей, что делать.

— Вы серьезно?

— Да нет. Я не очень суеверный.

— Тогда почему же, по-вашему, акула пожирает людей?

— Городу не везет.— Куинт оттянул назад ручку акселератора. Судно сбавило скорость и закачалось на волнах. Куинт достал из кармана клочок бумаги, развернул его, прочитал запись и проверил ориентировку по вытянутой руке. Он повернул ключ зажигания, и мотор заглох. В наступившей тишине было что-то тяжелое и гнетущее.— Ну, Хупер,— сказал Куинт,— бросайте эту дрянь за борт.

Хупер снял крышку с бадьи и начал вываливать приманку в океан. Первая порция шлепнулась в тихую воду, и маслянистое пятно начало медленно расползаться на запад.

К десяти часам подул довольно сильный ветерок. По воде пошла рябь, потянуло приятной прохладой. Было тихо-тихо, лишь время от времени слышался всплеск за кормой, когда Хупер бросал приманку.

Броди сидел на стуле, борясь с дремотой. Он зевнул, затем вспомнил, что оставил внизу недочитанный детектив. Встал, потянулся, потом спустился по трем ступенькам в кубрик. Он нашел книгу и начал уже подниматься на палубу, как тут его взгляд упал на холодильный ящик.

Он посмотрел на часы и подумал, что время на судне остановилось.

— Я хочу выпить пива,— крикнул он.— Вам принести?

— Мне не надо,— откликнулся Хупер.

— Давайте, что за вопрос,— сказал Куинт.— Постреляем в жестянки.

Броди достал из ящика две банки, оторвал металлические кольца и начал подниматься по лестнице. Он поставил ногу на последнюю ступеньку и вдруг услышал спокойный голос Куинта:

— А вот и мы.

Вначале Броди подумал, что Куинт говорит о нем, но затем увидел, как Хупер вскочил с транца, присвистнул и сказал:

— Ого! Это и в самом деле наша гостья!

Броди почувствовал, что у него бешено забилось сердце. Он быстро поднялся на палубу и спросил:

— Где?

— Вон там,— показал Куинт.— Прямо за кормой.

Глаза Броди скоро привыкли к свету, и тогда он увидел плавник — неровный, коричневато-серый треугольник, разрезавший волны, а дальше за ним виднелся серпообразный хвост, который упруго бил по воде. Она плывет ярдах в тридцати от катера, решил Броди. Может быть, в сорока.

— Вы уверены, что это наша акула? — спросил он.

— Она,— ответил Куинт.

— Что вы собираетесь делать?

— Ничего. Во всяком случае до тех пор, пока мы не определим, что ей тут надо. Хупер, продолжайте бросать эту пакость. Попробуем приманить ее ближе.

Хупер поднял бадью на транец и вывалил часть приманки в воду. Куинт прошел вперед и насадил гарпун на древко. Он поднял бочонок и зажал его под мышкой. Перекинул через свободную руку бухту веревки и взял гарпун. Он принес снасть на корму и сложил на палубе.

Акула кружила взад и вперед по пленке, стремясь определить, откуда шел запах крови.

— Сматывайте лесы,— сказал Куинт Броди.— Они теперь нам без надобности.

Броди смотал лесы одну за другой, и наживки шлепнулись на палубу.

Акула чуть приблизилась к катеру, продолжая медленно кружить рядом.

Куинт поставил бочонок на транец слева от бадьи Хупера и бросил возле нее веревку. Потом сам вскарабкался на транец и выпрямился, держа в согнутой правой руке гарпун.

— Ну давай,— позвал он.— Давай иди сюда.

Но акула продолжала держаться футах в пятидесяти от лодки.

— Я не достану ее,— сказал Куинт.— Надо, чтобы она подошла ближе. Броди, возьмите кусачки — они у меня в заднем кармане, откусите наживку и бросьте ее за борт. Может, запах еды заставит ее

подойти к нам. И постарайтесь наделать побольше шуму, когда будете бросать наживку. Пусть почует, что здесь есть чем позавтракать.

Броди сделал, как ему было сказано, шлепая по воде багром; он не спускал глаз с плавника акулы, ему казалось, что она вот-вот появится из глубины и схватит его за руку.

— Бросьте еще наживку, раз уж вы за это взялись,— сказал Куинт.— Она там, в ящике. И швырните жестянки с пивом тоже.

— Жестянки с пивом? Зачем?

— Нужно кидать все, что попадется под руку. Чем больше, тем лучше, лишь бы привлечь эту тварь.

— А если бросить дельфина? — спросил Хупер.

— Что с вами, мистер Хупер? — удивился Куинт.— Мне казалось, что вы против этого.

— Неважно,— возбужденно ответил Хупер.— Я хочу увидеть акулу.

— Успеется,— сказал Куинт.— Подождем немного.

Приманка медленно плыла в сторону акулы, одна жестянка колыхалась на поверхности воды, удаляясь от кормы. Однако рыба все равно не подходила к катеру.

— Черт,— выругался Куинт.— Похоже, выбора нет.— Он отложил гарпун и спрыгнул с транца. Потом откинул крышку с бачка для мусора, стоявшего рядом с Броди, и полицейский увидел безжизненные глаза крошечного дельфинчика, который покачивался в морской воде. Броди стало противно, и он отвернулся.

— Ну, малыш,— сказал Куинт.— Пришло твое время.— Он вынул из кормового отсека длинную цепь-поводок и просунул один ее конец в ушко крюка, торчавшего под нижней челюстью дельфина. К другому концу цепи Куинт привязал пеньковую веревку толщиной в три четверти дюйма. Он потравил несколько ярдов веревки, отрезал ее и хорошенько обмотал вокруг утки на планшире правого борта.

— По-моему, вы говорили, что эта акула вытащит любой кнехт,— заметил Броди.

— Вполне возможно,— ответил Куинт.— Но держу пари, я всажу в нее гарпун и перережу веревку, прежде чем она успеет вырвать утку.— Куинт взял цепь и бросил ее на транец к правому борту. Потом забрался на транец сам и потянул дельфина к себе. Вынул нож из ножен, висевших на поясе. Левой рукой поднял дельфина перед собой. Затем правой сделал несколько неглубоких надрезов на брюшке животного. Капли зловонной темной жидкости упали в воду. Куинт швырнул дельфина за борт, потравил шесть футов веревки и наступил на нее. Дельфинчик, плавно покачиваясь, погрузился в воду приблизительно в шести футах от лодки.

— Чересчур близко,— заметил Броди.

— Так надо,— сказал Куинт.— Я не смогу попасть в акулу, если она окажется в тридцати футах от катера.

— Почему вы наступили на веревку?

— Чтобы малыш плавал там, где он сейчас находится. Я не хочу привязывать его к утке так близко от катера. Если акула схватит дельфина и не сможет развернуться, то начнет биться здесь, рядом с судном, и разнесет нас в щепки.— Куинт поднял гарпун и посмотрел на плавник акулы.

Акула приближалась, все еще двигаясь кругами; с каждым рывком она сокращала расстояние между собой и катером на несколько футов. Затем хищница остановилась в двадцати или двадцати пяти футах от судна и на секунду, казалось, застыла, повернув голову к людям. Вдруг ее хвост исчез, спинной плавник подался назад и скрылся, а из воды поднялась огромная морда с черными бездонными глазами и пастью, приоткрытой в зловещей ухмылке.

Броди уставился на акулу, оцепенев от ужаса, ему казалось, что он видит дьявола.

— Эй, рыба,— позвал Куинт. Он стоял на транце, расставив ноги, крепко сжимая в руке древко гарпуна.— Иди посмотри, что мы для тебя приготовили.

Какое-то время акула наблюдала за ними из воды. Затем голова ее бесшумно скрылась.

— Куда она ушла? — спросил Броди.

— Сейчас вернется,— ответил Куинт.— Иди, рыбка,— заворковал он.— Иди, милая. Иди получи свой завтрак.— Он нацелил острие гарпуна на плавающего дельфина.

Неожиданно катер с силой бросило в сторону. Куинт поскользнулся и упал спиной на транец. Гарпун соскочил с древка и загремел по палубе. Броди завалился на бок. Инстинктивно схватил спинку стула и закрутился вместе с ним. Хупера отбросило назад и ударило о планшир левого борта.

Веревка, привязанная к дельфину, сильно натянулась и дрожала. Волокна на узле, затянутом вокруг утки, стали лопаться. Планшир под уткой затрещал. Но вот веревка дернулась, провисла и упала завитками на воду рядом с судном.

— Черт побери! — воскликнул Куинт.

— Похоже, акула догадалась, что вы собирались делать,— сказал Броди.— Точно знала о приготовленной ловушке.

— Проклятие! В жизни не видел, чтобы рыба выкидывала такое.

— Она сообразила, что если собьет вас с ног, то сможет спокойно съесть дельфина.

— Чушь, она просто нацелилась на дельфина и промахнулась.

— С противоположной стороны катера?— заметил Хупер.

— Все это ерунда,— заключил Куинт.— Как бы там ни было, она нас надула.

— Но как она сошла с крюка? — спросил Броди.— Она же не выдернула утку.

Куинт подошел к планширу правого борта и потянул веревку.

— Она либо просто перекусила цепь, либо... эх, так я и думал.— Куинт перегнулся через планшир и схватил цепь. Он вытащил ее на палубу. Она была цела — зажим все еще держал ушко крюка. Но сам крюк никуда не годился. У стального цевья не было больше загиба. Оно стало почти прямым с двумя маленькими бугорками в том месте, где он когда-то был выкован.

— Бог мой! — произнес Броди.— Она сделала это зубами?

— Разогнула чисто, что надо,— сказал Куинт.— Вероятно, у нее ушло на это секунды две.

Броди ощутил пустоту в голове. В кончиках пальцев покалывало. Он опустился на стул и несколько раз глубоко вдохнул, стараясь подавить нараставший страх.

— Куда она, по-вашему, ушла? — спросил Хупер, стоя на корме и глядя в воду.

— Где-нибудь здесь, недалеко,— ответил Куинт.— Думаю, она вернется. Этот дельфин был для нее все равно что анчоус для тунца. Она будет продолжать поиски пищи.— Куинт собрал гарпун, свернул веревку и положил снасть на транец.— Нам остается только ждать. И бросать приманку. Я приготовлю еще несколько наживок и спущу их за борт.

Броди наблюдал за Куинтом — тот обвязывал веревкой каждую наживку и опускал ее за борт, прикрепляя другой конец веревки к уткам, кронштейнам для спиннингов, куда только мог. Когда с дюжину наживок уже плавало вокруг судна в разных местах и на разной глубине, Куинт поднялся на ходовой мостик и уселся там.

Броди захотелось поддразнить Куинта.

— Похоже, это и в самом деле умная рыба,— начал полицейский.

— Умная или нет, откуда мне знать,— сказал Куинт.— Однако она выкидывает такие штучки, на какие не была способна ни одна из

рыбин, с которыми мне до сих пор приходилось иметь дело.— Он помолчал, затем добавил, обращаясь скорее к себе, чем к Броди: — Но я поймаю эту суку. Обязательно поймаю.

— Почему вы так уверены?

— Уверен, вот и все. А теперь оставьте меня в покое.

Это был приказ, а не просьба. И хотя Броди хотелось говорить о чем угодно, лишь бы не думать о страшном чудовище, притаившемся в воде, там, под ними, он больше не сказал ни слова, Броди взглянул на часы: одиннадцать ноль пять.

Они караулили, ожидая в любую минуту, что за кормой поднимется плавник, разрезающий воду. Хупер бросал приманку, она напоминала Броди понос всякий раз, когда шлепалась в воду.

В половине двенадцатого Броди вздрогнул от резкого звонкого щелчка. Куинт одним махом слетел с трапа, пробежал по палубе и вскочил на транец. Он схватил гарпун и поднял его, изготовясь, всматриваясь в воду за кормой.

— Что это было, черт возьми? — спросил Броди.

— Она вернулась.

— Откуда вы знаете? Что это за звук?

— Лопнула проволока. Акула взяла наживку.

— Почему она лопнула? Почему акула просто не сняла наживку?

— Она, по-видимому, не перекусывала проволоку. Рыба втянула ее, а когда захлопнула пасть, леса оказалась у нее за зубами. Акула, наверное, сделала так,— Куинт резко дернул головой в сторону,— и леса лопнула.

— Но почему мы услышали щелчок, если проволока лопнула под водой?

— Она не лопнула под водой, черт возьми! Она разорвалась прямо здесь.— Куинт указал на несколько дюймов обвисшей проволоки, привязанной к утке в центре катера.

— Ну и ну! — произнес Броди. Полицейский еще смотрел на оборванный конец, как вдруг увидел, что другая леса у планшира в нескольких футах от первой тоже ослабела.— Акула взяла еще одну приманку,— заметил он. Броди встал, подошел к планширу и вытянул лесу.— Она, должно быть, была прямо под нами.

— Никто не хочет искупаться? — спросил Куинт.

— Давайте спустим клетку за борт,— предложил Хупер.

— Вы шутите? — проговорил Броди.

— Нет, не шучу. Возможно, клетка привлечет акулу.

— А вы залезете в клетку?

— Нет, вначале посмотрим, как поведет себя рыба. Ваше мнение, Куинт?

— Можно попробовать,— сказал хозяин катера.— Вреда не будет, если мы опустим ее в воду, к тому же вы заплатили за это.— Он отложил гарпун и вместе с Хупером подошел к клетке.

Они опрокинули ее набок. Хупер открыл дверцу и залез внутрь. Потом достал акваланг, регулятор, маску, неопреновый гидрокостюм и сложил все на палубе. Они поставили клетку вертикально и отнесли к планширу правого борта.

— У вас есть две веревки? — спросил Хупер.— Я хочу привязать клетку к катеру.— Куинт спустился вниз и вернулся с двумя мотками веревки. Они прикрепили одну к кормовой утке, другую — к кнехту в центре палубы, затем привязали свободные концы к потолку клетки.

— Порядок,— сказал Хупер.— Давайте опускать.

Они подняли клетку, наклонили ее и столкнули за борт. Она погрузилась в воду на глубину в несколько футов, насколько позволяли веревки. Потом зависла, медленно поднимаясь и опускаясь вместе с волнами. Трое мужчин стояли у планшира, глядя в воду.

— Почему вы думаете, что акула заметит клетку и поднимется на поверхность? — спросил Броди.

— Я не говорил «поднимется»,— ответил Хупер.— Я сказал: «появится». Думаю, она появится, чтобы взглянуть на клетку и убедиться, съедобна ли она.

— Это нам ничего не даст,— заметил Куинт.— Мне не попасть в акулу, если она будет на глубине двенадцати футов.

— Если акула здесь,— сказал Хупер,— она, возможно, покажется на поверхности. Сейчас у нас нет выбора.

Но акула не появлялась. Клетка спокойно покачивалась в воде.

— Слизнула еще наживку,— сказал Куинт, указывая вперед.— Она там, это точно.— Он перегнулся через перила и заорал: — Чтоб ты лопнула! А ну-ка выходи, дай я достану тебя!

Спустя пятнадцать минут Хупер сказал:

— Ну, ладно,— и спустился вниз. Он поднялся через несколько минут с кинокамерой в водонепроницаемом чехле и, как показалось Броди, с тросточкой, на конце которой болтался ремешок.

— Что вы собираетесь делать? — спросил Броди.

— Хочу спуститься в воду. Может быть, я привлеку акулу.

— Совсем рехнулись. А если она и впрямь появится?

— Сначала я сделаю несколько снимков. Потом попытаюсь ее убить.

— Чем, позвольте узнать?

— Вот этим,— Хупер поднял трость.

— Отличная мысль,— ехидно хмыкнул Куинт.— Если ваш прутик не сработает, тогда хоть защекочете ее до смерти.

— Что это? — спросил Броди.

— Одни называют такой «прутик» стреляющей тростью. Другие — автоматическим контактным оружием. Это — подводное ружье.— Хупер потянул за концы трости, разделив ее на две части.— Сюда,— сказал он, указывая на патронник,— загоняют патрон двенадцатого калибра.— Он достал патрон из кармана и сунул его в патронник, затем вновь соединил части трости.— Если рыба подойдет к вам довольно близко, достаточно ткнуть ее концом ружья, и оно выстрелит. Если попадете точно — в единственно уязвимое место в мозгу,— то убьете ее.

— Даже такую большую рыбину?

— Пожалуй, да. Если попасть точно.

— А если нет? Допустим, ты промазал всего на какой-то волосок.

— Этого я и боюсь.

— Я бы тоже боялся,— вставил Куинт.— Мало приятного, если разъяренный динозавр весом в пять тысяч фунтов попытается тебя слопать.

— Меня тревожит другое,— сказал Хупер.— Как бы не спугнуть рыбину, если я промахнусь. Она может уйти на дно, и мы никогда не узнаем, сдохла она или нет.

— Пока она не сожрет кого-нибудь еще,— заметил Броди.

— Это верно.

— Вы совсем спятили,— сказал Куинт.

— Вы так считаете? До сих пор вам не удалось сладить с этой рыбиной. Мы можем проторчать здесь целый месяц, и она будет продолжать заглатывать наживки у нас под носом.

— Она поднимется,— сказал Куинт.— Попомните мои слова.

— Вы скорее умрете от старости, чем она поднимется, Куинт. Кажется, эта рыбка напугала вас. Она играет не по правилам.

Куинт посмотрел на Хупера.

— Вы учите меня моему ремеслу? — спросил он ровным голосом.

— Нет. Но я говорю, что с этой рыбиной вам не справиться.

— Вот как. Вы считаете, что сделаете это лучше, чем я?

— Думайте что хотите. Но, по-моему, я могу убить эту рыбу.

— Красиво, прямо как в театре. Что ж, валяйте.

— Прекратите,— возмутился Броди.— Надо запретить ему лезть в воду.

— А вам-то что? — удивился Куинт.— Насколько я понял, вы-то не должны возражать; пусть себе спускается и больше никогда не поднимется. По крайней мере перестанет...

— Замолчите! — Броди охватили противоречивые чувства. Ему было все равно, будет жить Хупер или нет. Пожалуй, он где-то даже надеялся, что Хупер погибнет. Однако смерть ихтиолога была бы бессмысленна и напрасна. Мог ли он действительно желать ему гибели? Нет. Пока нет.

— Давайте,— сказал Куинт Хуперу.— Лезьте в свою клетку.

— Сейчас.— Хупер снял рубашку, кеды, брюки и стал натягивать неопреновый гидрокостюм.— Когда я буду в клетке,— сказал он, всовывая руки в резиновые рукава,— стойте здесь и не спускайте с меня глаз. Наверное, вы сможете подстрелить акулу из винтовки, если она окажется достаточно близко от поверхности.— Он посмотрел на Куинта.— Держите гарпун наготове...

— Я знаю, что мне делать,— проговорил Куинт.— Побеспокойтесь лучше о себе.

Надев костюм, Хупер насадил регулятор на шейку акваланга, завинтил барашек и открыл вентиль. Он два раза вдохнул и убедился, что воздух из баллонов поступает исправно.

— Помогите мне надеть акваланг, пожалуйста,— попросил он Броди.

Броди поднял акваланг и подержал его, пока Хупер продевал руки в лямки и закреплял ремень на поясе. Затем ихтиолог натянул на голову маску.

— Я забыл про балласт,— сказал Хупер.

— Вы забыли свои мозги,— бросил Куинт.

Хупер просунул правую руку в ремешок подводного ружья и взял камеру.

— Готово,— проговорил он. Ихтиолог подошел к планширу.— Беритесь за веревки и тяните, пока не поднимете клетку из воды. Я открою дверцу сверху и залезу внутрь, а потом вы снова опустите клетку. Я не буду пользоваться баллонами для всплытия, если только не оборвется одна из веревок.

— Или не будет перекушена,— заметил Куинт.

Хупер посмотрел на Куинта и улыбнулся:

— Спасибо и на этом.

Куинт и Броди потянули за веревки, и клетка поднялась из воды.

— Хватит,— проговорил Хупер, когда дверца показалась на поверхности. Он плюнул в маску, растер слюну по стеклу и надел маску. Проверил регуляторную трубку, вставил загубник в рот и вдохнул. Затем перегнулся через планшир, откинул задвижку на дверце и распахнул ее. Он уже закинул было колено на планшир, но вдруг остановился.

— Совсем забыл,— сказал ихтиолог, вынув загубник изо рта. Нос Хупера закрывала маска, поэтому голос прозвучал глухо и гнусаво. Ихтиолог прошел по палубе и поднял свои брюки. Порылся в карманах и что-то достал.

Потом расстегнул «молнию» на груди.

— Что это? — спросил Броди.

Хупер показал акулий зуб в серебряной оправе. Точно такой же, какой он подарил Эллен. Хупер опустил его за воротник костюма.

— Осторожность никогда не помешает,— сказал он с улыбкой. Хупер вернулся к борту, сунул загубник в рот и встал коленями на планшир. Он сделал вдох и нырнул прямо в открытую дверцу клетки. Броди наблюдал за ихтиологом, думая: а так ли уж ему хочется знать правду о нем и Эллен.

Хупер остановился, не касаясь дна клетки, развернулся и выпрямился. Он дотянулся до дверцы и закрыл ее. Потом посмотрел на Броди, просигналил рукой — все в порядке и встал на дно клетки.

— Наверное, можно опускать,— сказал Броди. Они потравили веревки, клетка погружалась до тех пор, пока дверца не оказалась футах в четырех от поверхности.

— Возьмите винтовку,— сказал Куинт полицейскому.— Она в сетке для вещей. Заряжена.— Сам он взобрался на транец и поднял гарпун.

Броди сошел вниз, нашел винтовку и поспешил обратно на палубу. Он оттянул затвор и дослал патрон в патронник.

— На сколько ему хватит воздуха? — спросил Броди.

— Не знаю,— ответил Куинт.— На его век хватит. Сомневаюсь, чтобы он успел израсходовать и этот воздух.

— Возможно, вы правы, но вы же сами говорили, что нельзя угадать, как поведут себя акулы.

— Да, но тут другое дело. Это все равно что сунуть руку в огонь и надеяться не обжечься. Нормальный человек так бы не поступил.

Хупер подождал, пока рассеялись пузырьки после его погружения. В маску набралась вода; чтобы ее очистить, он откинул голову назад, нажал на стекло и несколько раз с силой выдохнул через нос. Он чувствовал себя наверху блаженства. К нему пришло захватывающее ощущение свободы и покоя, которое он всегда испытывал на глубине. Он был один в голубой тишине, искрящейся под лучами солнца, плясавшими на поверхности воды. Тишину нарушало лишь хриплое дыхание — он слышал низкий глухой шум, когда вдыхал воздух, и мягкое бульканье пузырьков при выдохе. Ихтиолог замер, и наступила полная тишина. Без балласта его тело было слишком легким, и Хуперу приходилось держаться за прутья, чтобы акваланг не ударялся о дверцу наверху. Он развернулся и посмотрел на судно, серый корпус которого слегка покачивался прямо над головой. Вначале клетка раздражала его. Она ограничивала свободу, а ему так хотелось вдоволь поплавать под водой. Но потом он вспомнил, зачем здесь находится, и обрадовался, что может чувствовать себя в безопасности.

Он поискал взглядом акулу. Хупер знал, что рыба не стояла под катером, как думал Куинт. Она вообще не могла стоять на месте или отдыхать. Она должна была двигаться, чтобы жить.

Хотя и ярко светило солнце, видимость была неважной, не более сорока футов. Хупер медленно поворачивался, пытаясь рассмотреть что-нибудь в темноте и уловить малейшее движение. Он взглянул под катер, где вода казалась не синей, а серой, а дальше и просто черной. Вокруг ничего. Он посмотрел на часы и подсчитал, что если будет дышать равномерно, то сможет оставаться под водой по крайней мере еще минут тридцать.

Одна наживка, увлекаемая течением, проскользнула между прутьями клетки и, болтаясь на лесе, коснулась маски. Хупер вытолкнул ее из клетки.

Он бросил взгляд вниз и уже было отвел глаза, как тут же снова их опустил. Прямо к нему из темной синевы медленно и плавно поднималась акула. Она всплывала, казалось, без всяких усилий, похожая на демона смерти, летящего на роковое свидание.

Хупер смотрел на нее как завороженный, испытывая сильное желание поскорее убраться наверх, но он чувствовал, что не смог бы даже двинуться с места. Когда акула приблизилась, он поразился ее расцветке; с катера она казалась сплошь коричневато-серой, но на глубине огромная рыбина преобразилась — верхняя часть ее тела была темно-серого, стального цвета, отливающего голубизной там, где на нее падали солнечные блики. Вся нижняя часть была покрыта кремовыми и белесыми пятнами.

Хупер хотел поднять камеру, но руки не повиновались ему. Еще чуть-чуть, уговаривал он себя, еще чуть-чуть.

Акула приблизилась тихо, словно тень, и Хупер отпрянул назад. Голова рыбины находилась уже всего в нескольких футах от клетки, и вдруг она лениво развернулась и поплыла перед глазами Хупера, словно горделиво демонстрируя свои необычайные размеры и мощь. Вначале проплыл ее нос, затем челюсти, приоткрытые, улыбающиеся, вооруженные рядами зазубренных треугольных зубов, затем черный бездонный глаз, явно устремленный на него. Потом показались жаберные щели — бескровные надрезы на стальной коже.

Хупер робко просунул руку между прутьями и потрогал ее бок. На ощупь он был холодный и твердый, не шероховатый, а гладкий, словно винил. Хупер провел по телу акулы кончиками пальцев — вдоль грудного плавника, анального плавника — пока, наконец (рыбе, казалось, не будет конца), его пальцы не коснулись хвоста.

Акула продолжала удаляться от клетки. До Хупера донеслись слабые хлопки, и он увидел, как три вертикальных спирали пузырьков быстро побежали с поверхности, постепенно замедляя ход, и вскоре остановились значительно выше рыбы. Пули. Нет, еще не время, сказал он себе. Пусть пройдет еще разок, надо заснять ее на пленку. Акула стала разворачиваться, эластичные грудные плавники изменили угол наклона.

— Какого черта он мешкает? — возмутился Броди.— Почему не стреляет?

Куинт не ответил. Он стоял на транце, зажав гарпун в руке, вглядываясь в воду.

— Плыви, рыбка,— промурлыкал он.— Плыви к Куинту.

— Вы видите ее? — спросил Броди.— Что она делает?

— Ничего. Пока ничего.

Акула скрылась в толще воды, она превратилась в призрачное серебристо-серое пятно, описывающее медленный круг. Хупер взял камеру и нажал на спуск. Он знал, что фильм не получится, если акула не приблизится к клетке еще раз, а ему хотелось снять гигантскую рыбину в то мгновение, когда она появится из темноты.

Он заметил, глядя в видоискатель, что акула повернула к нему. Она двигалась быстро, с силой ударяя хвостом, пасть то открывалась, то закрывалась, будто ей не хватало воздуха. Хупер поднял правую руку и изменил фокусное расстояние. Не забудь изменить его снова, когда она развернется, сказал он себе.

Но акула не развернулась. Дрожь сотрясала все ее тело, когда она подплыла к Хуперу. Акула ударила в клетку головой, просунула морду между двумя прутьями и раздвинула их. Она ткнула Хупера в грудь и отбросила назад. Камера выскользнула из рук ихтиолога, загубник выпал изо рта. Рыба повернулась на бок и, ударив мощным хвостом, протиснула свое огромное тело в глубь клетки. Хупер шарил руками вокруг головы, пытаясь нащупать загубник, но не мог найти его. Грудь ихтиолога разрывалась от нехватки воздуха.

— Она атакует! — закричал Броди. Он схватил веревку и изо всех сил потянул ее на себя, отчаянно пытаясь поднять клетку.

— Черт вас побери! — заорал Куинт.— Бросьте веревку! Бросьте ее!

— Я не могу ее бросить! Я должен вытащить его на поверхность! Да поднимайся же ты наконец!

Акула выскользнула назад из клетки, резко повернула вправо и стала обходить ее. Хупер закинул руки за голову, нащупал дыхательную трубку и провел по ней рукой, пока не нашел загубник. Он сунул его в рот и, забыв выдохнуть, втянул в себя воздух. Вместе с ним в легкие попала вода. Хупер давился и захлебывался, пока наконец не очистил загубник, тогда он сделал судорожный вдох. Только после этого ихтиолог заметил широкую щель между прутья-

ми и увидел, как в нее просовывается огромная морда. Он поднял руки над головой, хватаясь за прутья дверцы.

Акула протискивалась в щель, с каждым ударом хвоста все больше раздвигая прутья. Хупер, прижавшись спиной к задней стенке клетки, увидел приближающуюся к нему пасть. Он вспомнил про ружье, попытался опустить правую руку и взять его. Акула снова сделала рывок, и Хупер с ужасом обреченного понял, что сейчас она схватит его.

Челюсти сжали туловище ихтиолога. Хупер словно попал под чудовищный пресс. Он судорожно ударил кулаком в черный глаз. Рыба сжала челюсти плотнее, и последнее, что увидел Хупер перед смертью, был акулий глаз, смотревший на ихтиолога сквозь облако его крови.

— Она схватила Хупера! — закричал Броди.— Сделайте же что-нибудь!

— Парень уже мертв,— сказал Куинт.

— Откуда вы знаете? Может, мы сумеем спасти его.

— Он мертв.

Акула убралась из клетки с Хупером в челюстях. Ее тело вздрогнуло; сильно ударив хвостом, она рванулась вперед и стала всплывать вместе с добычей.

— Она поднимается! — крикнул Броди.

— Берите винтовку! — Куинт согнул руку, приготовившись бросить гарпун.

Акула выскочила из воды в пятнадцати футах от катера в фонтане брызг. Тело Хупера свешивалось по обе стороны пасти — голова и руки безжизненно болтались с одной стороны, ноги — с другой.

Акула выскочила из воды всего на несколько секунд, но Броди показалось, что он заметил сквозь стекло маски застывшие, мертвые, широко раскрытые глаза Хупера. Акула на мгновение застыла победно в воздухе, как бы бросая смертельный вызов людям и одновременно выражая свое презрение к ним.

Броди схватил винтовку, когда Куинт метнул гарпун. В такую мишень трудно было не попасть: у борта белело огромное брюхо акулы. Но гарпун пролетел чуть выше рыбы, которая уже начала уходить на глубину.

Еще какой-то миг акула оставалась на поверхности, над водой была видна ее голова со свисающим из пасти телом Хупера.

— Стреляйте! — завопил Куинт.— Господи, да стреляйте же!

Броди выстрелил не целясь. Первые две пули угодили в воду перед акулой. Третья, к ужасу Броди, попала в шею Хупера.

— А ну вас, дайте мне эту хреновину,— прорычал Куинт, выхватывая у Броди винтовку. Он быстро вскинул ее к плечу и два раза выстрелил. Но акула, равнодушно взглянув на них, уже скрылась под водой. Пули шлепнулись там, где только что торчала ее голова. Казалось, акулы никогда и не было. Ни звука, кроме шелеста легкого ветерка. Сверху клетка выглядела целехонькой. Вода оставалась спокойной. Только Хупера уже не было в живых.

— Что теперь делать? — спросил Броди.— Ради всего святого, скажите, что мы можем сделать? Наверное, придется возвращаться на берег.

— Вернемся,— ответил Куинт.— Только немного позже.

— Позже? Что вы задумали? Мы бессильны, с этой рыбиной нам не справиться. Она — само исчадие ада.

— Сдаетесь, приятель?

— Сдаюсь. Нам остается одно: спокойно сидеть и ждать, когда бог, или природа, или тот, кто напустил на наш город эту тварь, не решит, что с нас довольно. Человеку такое не под силу.

— Любому, кроме меня,— проговорил Куинт.— Я уничтожу эту тварь.

— Не думаю, что мне удастся достать еще денег после сегодняшнего несчастья.

— Плевать на деньги. Они меня больше не интересуют.

— Что? — Броди посмотрел на Куинта; хозяин катера стоял на корме, устремив взгляд на то место, где недавно торчала голова акулы; он словно ожидал, что рыбина может появиться в любую минуту с истерзанным трупом в зубах. Куинт внимательно изучал океан, страстно желая снова сразиться со страшной хищницей.

— Я убью эту гадину,— сказал Куинт Броди.— Если хотите, поедем со мной или оставайтесь дома. Но я все равно ее убью.

Куинт говорил, и Броди не мог отвести взгляда от его глаз. Они казались такими же темными и бездонными, как у акулы.

— Я с вами,— сказал Броди.— У меня нет иного выхода.

— Да,— произнес Куинт.— У нас нет иного выхода.— Он вынул нож из ножен и протянул его Броди.— Вот. Давайте избавимся от клетки и пора назад.

Судно пришвартовалось к пирсу. Броди спустился на берег и направился к своей машине. У выхода из порта стояла телефонная будка, он остановился возле нее, вспомнив, что хотел позвонить Дейзи Уикер. Но Броди подавил в себе это желание и пошел к машине. «Зачем? — подумал он.— Если между ними и было что-то, то теперь все позади».

Однако по дороге в Эмити ему не давала покоя мысль о том, как отнеслась Эллен к смерти Хупера, о которой ей сообщили из береговой охраны. Куинт связался с берегом еще до того, как они снялись с якоря, и Броди попросил дежурного передать Эллен, что у него все в порядке.

Когда Броди приехал домой, Эллен давно перестала плакать. Слезы бежали злые, горькие, она жалела Хупера не потому, что очень любила его, просто он был еще одной жертвой проклятой твари, и Эллен страдала от бессилия. Разорение Ларри Вогэна огорчило ее гораздо больше. Он был дорогим, близким другом. А Хупер — только случайным любовником. Она не привязалась к нему. Эллен просто была благодарна Хуперу за приятно проведенное время и не считала себя ничем ему обязанной. Она опечалилась, узнав, что он погиб. Хотя точно так же она переживала бы известие о смерти Дэвида. Для нее оба они уже стали далеким прошлым.

Эллен услышала, как Броди подъехал к дому, открыла дверь, выходившую во двор. Боже мой, как измучился Мартин, подумала она, наблюдая за мужем, пока он шел к дому. Покрасневшие глаза ввалились, плечи опущены.

Эллен поцеловала мужа у входа в дом.

— По-моему, тебе надо выпить,— сказала она.

— Да, неплохо бы.— Он прошел в гостиную и тяжело опустился в кресло.

— Что тебе налить?

— Все равно. Только побольше и покрепче.

Она вышла в кухню, наполнила стакан, смешав поровну водку с апельсиновым соком, и подала мужу. Затем присела на ручку кресла Мартина и погладила его по голове.

— Вот она, твоя лысинка,— сказала Эллен, улыбнувшись.— Я так давно не ласкала тебя и совсем забыла о ней.

— Удивительно, как еще у меня не выпали последние волосы. Боже мой, никогда не чувствовал себя таким старым и бессильным.

— Надо думать. Ну ничего, теперь все уже позади.

— Если бы,— сказал Броди.— Как бы мне этого хотелось.

— О чем ты говоришь? Все кончено, разве не так? Больше ты ничего не в силах сделать.

— Завтра мы выходим в море. В шесть утра.

— Ты шутишь.

— Нет.

— Зачем? — Эллен была ошеломлена.— Что ты можешь предпринять?

— Поймать акулу. И убить ее.

— Ты веришь в успех?

— Не очень. Но Куинт верит. Боже, как он верит.

— Тогда пусть едет один. Пускай гибнет сам.

— Я не могу отказаться.

— Почему?

— Это моя работа.

— Это не твоя работа! — Эллен охватили ярость и страх, в глазах появились слезы.

— Да, ты права,— немного подумав, сказал он.

— Тогда почему ты не можешь остаться дома?

— Трудно объяснить. Пожалуй, я и сам толком не знаю.

— Ты хочешь что-то доказать самому себе?

— Возможно. Не знаю. После гибели Хупера я готов был все бросить.

— Что же заставило тебя изменить решение?

— Наверное, Куинт.

— Ты хочешь сказать, что он навязал тебе свою волю?

— Нет. Он ничего мне не говорил. Я просто чувствую... Не знаю, как сказать. Но нельзя отказаться от борьбы. Так нам не избавиться от акулы.

— Но почему именно вы должны избавлять город?

— Трудно сказать. Для Куинта убить акулу — дело чести.

— Ну, а для тебя?

— А я просто выживший из ума полицейский,— попытался улыбнуться Броди.

— Не шути так со мной! — воскликнула Эллен, и слезы хлынули у нее из глаз.— А как же я и дети? Ты что, ищешь смерти?

— Нет, боже мой, нет. Просто...

— Ты слишком много берешь на себя. Считаешь, что один виноват во всем.

— В чем?

— В гибели мальчика и старика. Думаешь, если убьешь акулу, все будет по-прежнему. Хочешь ей отомстить.

Броди вздохнул.

— Может быть, и так. Не знаю. Я чувствую... верю, что город можно спасти только в том случае, если мы уничтожим эту тварь.

— И ты готов рисковать жизнью, пытаясь...

— Не будь глупенькой. Я не хочу умирать. Вообще, не хочу выходить в море на этом проклятом катере. Думаешь, мне приятно болтаться в океане? Да меня просто мутит от страха.

— Тогда зачем ты едешь? — В голосе Эллен слышалась мольба.— Ты думаешь только о себе.

Броди был потрясен. Ему никогда не приходило в голову, что его можно обвинить в эгоизме, ведь он только стремился искупить свою вину.

— Я люблю тебя,— сказал он.— Ты знаешь это... что бы там ни случилось.

— Нечего сказать, любишь,— заметила она с горечью.— Вот это любовь.

Весь ужин они промолчали. Когда они кончили есть, Эллен собрала грязную посуду, вымыла ее и поднялась наверх. Броди прошел в гостиную, погасил свет. Он потянулся к выключателю, чтобы по-

тушить лампу в прихожей, и тут услышал легкий стук в дверь. Броди открыл ее и увидел Медоуза.

— Привет, Гарри,— сказал он.— Входи.

— Нет,— сказал Медоуз.— Слишком поздно. Я просто хотел занести тебе кое-что.— Он протянул Броди большой светло-желтый конверт из плотной бумаги.

— Что это?

— Открой и увидишь. Мы потолкуем завтра.— Медоуз повернулся и зашагал по тропинке к обочине, где стояла его машина с зажженными фарами и работающим мотором.

Броди запер дверь и открыл конверт. Внутри лежала верстка первой полосы завтрашнего номера «Лидера». Две передовицы были жирно обведены красным фломастером. Броди прочитал:

СЛОВА СКОРБИ

В последние три недели Эмити переживает одну ужасную трагедию за другой. Жители и друзья города потрясены страшной угрозой, которую никто не может ни предотвратить, ни объяснить.

Вчера гигантская белая акула оборвала еще одну человеческую жизнь. Мэт Хупер, молодой океанограф из Вудс-Хола, погиб, пытаясь уничтожить грозную хищницу.

Можно спорить, разумно ли вел себя Хупер, вступив в отчаянную борьбу с акулой. Но как бы мы ни назвали его поступок — смелым или безрассудным, двух мнений быть не может — Хупер пошел на риск, который привел его к трагическому концу, из благородных побуждений. Не жалея личного времени и средств, он хотел помочь отчаявшимся жителям Эмити избавиться от акулы-людоеда.

Он был нашим другом и отдал свою жизнь, чтобы мы, его ближние, могли жить спокойно.

...И СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

С тех пор как акула-убийца появилась в водах Эмити, один человек ни на минуту не забывал о своем служебном долге, стремясь защитить своих сограждан. Это — начальник городской полиции Мартин Броди.

После того как стало известно о первой жертве акулы, Броди хотел сообщить жителям города об опасности и закрыть пляжи. Однако ему возражал хор менее благоразумных голосов, включая и голос редактора этой газеты. «Не бойся, все будет нормально»,— заверяли шефа полиции отцы города. Но мы ошибались.

Кое-кто в Эмити не спешил извлечь урок из случившегося. После второго нападения акулы Броди снова потребовал закрыть пляжи, но подвергся оскорблениям и угрозам. Его наиболее рьяные критики руководствовались не общественными интересами, а личной выгодой. Но Броди продолжал настаивать на своем и опять оказался прав.

Сейчас он рискует жизнью, участвуя в экспедиции, в которой погиб Мэт Хупер. Мы все должны молиться за его благополучное возвращение и выразить ему благодарность за исключительное мужество и честность.

— Спасибо тебе, Гарри,— искренне сказал Броди.

Около полуночи подул сильный северо-восточный ветер — он со свистом прорывался сквозь сетчатые окна и дверь. Ветер принес с собой проливной дождь, капли которого попадали в спальню. Броди встал с кровати и закрыл окно. Он попробовал опять заснуть, но в

воспаленном мозгу клубились беспокойные мысли. Броди снова поднялся, накинул халат, спустился в гостиную и включил телевизор. Он переключал каналы, пока не нашел какой-то фильм — «Уик-энд в отеле Уолдорф» с участием Фреда Астера и Джинджер Роджерс. Потом он сел в кресло и тут же начал клевать носом.

Проснулся он в пять утра от гудения контрольной сетки телевизора; Броди выключил телевизор и прислушался к завыванию ветра за окном. Ветер утих и, казалось, дул теперь с другой стороны, но дождь все лил и лил. Броди подумал, не отменить ли поездку с Куинтом, но решил, что звонить хозяину катера бессмысленно: надо выходить в море, даже если начнется шторм. Он поднялся наверх и тихонько оделся. Прежде чем покинуть спальню, посмотрел на Эллен — она хмурилась во сне.

— Я правда люблю тебя, ты ведь знаешь,— прошептал он и поцеловал жену в лоб. Броди начал спускаться по лестнице; неожиданно ему захотелось зайти в детскую и взглянуть на мальчиков. Они спали.

14

Когда Броди приехал в порт, хозяин катера уже поджидал полицейского; высокий, долговязый Куинт в блестящем желтом дождевике выделялся на фоне темного неба. Он затачивал наконечник гарпуна.

— Я собрался было вам позвонить,— сказал Броди, натягивая непромокаемый плащ.— К чему бы такая погода?

— Да ни к чему,— ответил Куинт.— Скоро разгуляется. А если и нет, нам все равно. Акула будет на месте.

Броди посмотрел на стремительно летящие облака.

— Довольно пасмурно.

— Нормально,— сказал Куинт и прыгнул на борт катера.

— Мы выходим вдвоем?

— Вдвоем. А вы что, ждете кого-то еще?

— Нет. Но я подумал, что вы бы не отказались от лишней пары рук.

— Вы знаете эту рыбину не хуже любого другого, лишние руки тут не помогут. К тому же это касается только нас с вами.

Броди ступил с пирса на транец и уже собирался соскочить на палубу, как тут заметил в углу брезент, под которым явно что-то лежало.

— Что там? — спросил полицейский, указывая на него пальцем.

— Овца.— Куинт повернул ключ зажигания. Мотор чихнул разок, завелся и ровно заработал.

— Для чего? — Броди сошел на палубу.— Вы хотите принести ее в жертву?

Куинт коротко, мрачно хохотнул.

— Может, и не мешало бы,— сказал он.— Нет, это приманка. Дадим акуле немного позавтракать перед смертью. Отвяжите кормовой линь.— Он прошел вперед и отдал носовой и боковой швартовы.

Когда Броди взялся за кормовой линь, он услышал шум автомобиля. Они увидели две зажженные фары мчавшейся по дороге машины, она подъехала к пирсу и со скрипом затормозила. Из кабины выскочил мужчина и побежал к «Орке». Это был репортер «Таймс» Билл Уитмен.

— Чуть было вас не прозевал,— сказал он, задыхаясь.

— Что вам надо? — спросил Броди.

— Хочу поехать с вами. Или, вернее, я получил задание.

— Сущая чепуха,— сказал Куинт.— Не знаю, кто вы, но я никого не возьму. Броди, отдавайте кормовой швартов.

— Почему? — спросил Уитмен.— Я не буду путаться под нога-

ми. Может, даже смогу помочь. Послушайте, приятель, это же сенсация. Если вы идете за акулой — я с вами.

— Мотайте отсюда,— бросил Куинт.

— Я найму лодку и все равно поеду.

— Валяйте,— рассмеялся Куинт.— Посмотрим, какой дурак согласится вас везти. Да еще попробуйте нас найти. Океан большой. Отдавайте швартов, Броди!

Броди швырнул кормовой линь в воду. Куинт отжал ручку акселератора вперед, и катер отчалил от пирса. Броди оглянулся и увидел, как Уитмен зашагал по пирсу к своей машине.

Океан за Монтоком был неспокойный — дул сильный юго-восточный ветер. Судно качалось на волнах, зарываясь носом в воду и поднимая фонтаны брызг. Туша овцы подпрыгивала на корме.

Когда они вышли в открытый океан, держа курс на юго-запад, катер выровнялся. Дождь утих и только слегка моросил, с каждой минутой все меньше белых барашков сбегало с гребней волн. Им оставалось минут пятнадцать хода до места, где они повстречали акулу, когда Куинт сбросил скорость.

Броди посмотрел в сторону берега. Уже рассвело, и он ясно различил водонапорную башню — черное пятно, возвышавшееся над серой полосой земли. Маяк продолжал гореть.

— Мы еще не дошли до места,— заметил Броди.

— Нет.

— Мы всего в двух-трех милях от берега.

— Да, около того.

— Тогда почему вы остановились?

— У меня есть предчувствие.— Куинт указал влево на россыпь огней вдали, на берегу.— Там Эмити.

— Ну и что?

— Мне кажется, что сегодня акула появится где-нибудь здесь.

— Почему?

— Я же сказал: у меня такое предчувствие. Это не всегда можно объяснить.

— Два дня подряд мы находили ее вдали от берега.

— Или она находила нас.

— Не понимаю, Куинт. То вы утверждаете, что умных рыб нет в природе, то превращаете эту акулу в какого-то гения.

— Ну, вы преувеличиваете.

Броди не понравился хитрый, загадочный тон Куинта.

— Что вы затеяли?

— Ничего. Если я ошибаюсь, так ошибаюсь.

— А завтра мы будем искать акулу в другом месте? — Броди лелеял надежду, что интуиция подводит Куинта и им представится еще день передышки.

— Может, и сегодня, но только позднее, хотя я не думаю, что нам придется долго ждать.— Куинт заглушил мотор, прошел на корму и поставил бадью с приманкой на транец.— Начинайте бросать приманку,— сказал он, передавая Броди черпак. А сам снял парусину с овцы, завязал веревку вокруг ее шеи и положил животное на планшир. Он полоснул овцу ножом по животу и швырнул тушу за борт, позволил ей отплыть от катера футов на двадцать, потом прикрепил веревку к кормовой утке. Затем прошел на нос, отвязал два бочонка и принес их на корму вместе с двумя бухтами веревки и гарпунными наконечниками. Он поставил бочонки на транец по обе стороны от себя, каждый рядом со своей бухтой, и насадил наконечник на древко гарпуна.— Порядок,— сказал Куинт.— Теперь остается только ждать.

Уже совсем рассвело, но небо предвещало пасмурный день. На берегу один за другим стали гаснуть огни.

Броди тошнило от зловонной приманки, которую он вываливал за борт, и он пожалел, что ничего не поел перед тем, как выйти из дома.

Куинт оставался на ходовом мостике, следя за игрой волн.

У Броди заболела спина — он устал сидеть на жестком транце, рука онемела от непрерывного вычерпывания приманки. Поэтому он поднялся, потянулся и, встав спиной к корме, попробовал орудовать черпаком другим способом.

Вдруг в каких-то пяти футах от себя он увидел чудовищную голову акулы. Акула находилась так близко, что он мог протянуть руку и дотронуться до нее ковшом,— ее черные глаза смотрели в упор на полицейского, серебристо-серый нос, казалось, был нацелен прямо на него, а приоткрытая пасть улыбалась.

— О боже! — воскликнул потрясенный Броди, но тут же подумал, что акула, должно быть, торчала здесь давно.— Она здесь!

Куинт слетел вниз по трапу и в одно мгновение оказался на корме. Когда он вскочил на транец, голова акулы скрылась под водой, а через секунду ее челюсти с лязгом вцепились в борт. Она мотала головой из стороны в сторону. Броди успел схватиться за утку и вцепился в нее, он был не в силах оторвать взора от глаз акулы. Катер содрогался и дергался всякий раз, когда акула двигала головой.

Куинт, поскользнувшись, упал на колени на транец. Акула разжала челюсти и исчезла, а судно снова спокойно стояло на воде.

— Она ждала нас! — завопил Броди.

— Знаю,— сказал Куинт.

— Как она...

— Не имеет значения,— оборвал его Куинт.— Теперь она у нас в руках.

— Она у нас в руках? Вы видели, что она проделала с катером?

— Потрясла его как следует, ну и что?

Веревка, привязанная к овце, натянулась, задрожала, затем ослабела.

Куинт выпрямился и поднял гарпун.

— Она взяла овцу. Через минуту вернется опять.

— Почему она не схватила овцу сразу?

— У нее дурные манеры,— осклабился Куинт.— Давай выходи, гадина. Выходи и получай то, что заслужила.

Куинта охватило лихорадочное возбуждение: черные глаза горели, рот искривился в оскале, пульсировали жилы на шее, побелели суставы пальцев.

Катер содрогнулся, вновь послышался глухой удар.

— Что она делает? — воскликнул Броди.

— Выходи оттуда, дрянь! — закричал Куинт, перегнувшись через борт.— Что, струсила? Тебе не удастся угробить меня, сначала я тебя прикончу.

— Почему «угробить?» — спросил Броди.— Что происходит?

— Она хочет прокусить дыру в этой дерьмовой посудине, вот что! Осмотрите днище. Выходи, подлая тварь! — Куинт высоко поднял гарпун. Броди стал на колени и поднял крышку люка над машинным отделением. Он заглянул в темное помещение, испачканное мазутом. В трюме была вода, но она всегда там стояла, Броди не заметил пробоины.

— Кажется, все в порядке,— сказал он.— Слава богу.

Спинной плавник и хвост появились в десяти ярдах справа от кормы и начали снова приближаться к катеру.

— А, плывешь,— ласково проговорил Куинт.— Плывешь.— Он стоял, широко расставив ноги, его левая рука оперлась о бедро, правая с гарпуном была высоко поднята над головой. Когда акула оказалась в нескольких футах от катера, направляясь прямо к нему, Куинт метнул гарпун.

Стальной наконечник вонзился в акулу прямо перед спинным плавником. Акула врезалась в катер, корма задрожала, и Куинт упал на спину. Он ударился головой о ножку стула, по шее потекла струйка крови. Он вскочил на ноги.

— Я достал тебя! Достал тебя, подлюга! — заорал Куинт.

Веревка, привязанная к наконечнику гарпуна, побежала за борт вслед за погружавшейся акулой, и когда она размоталась до конца, бочонок соскользнул с транца в воду и исчез.

— Она затянула его с собой! — воскликнул Броди.

— Не надолго,— ответил Куинт.— Акула вернется, и мы всадим в нее еще гарпун, и еще, и еще, пока она не выдохнется. И тогда она наша! — Куинт перегнулся через транец, внимательно всматриваясь в воду.

Уверенность Куинта передалась Броди, и теперь он тоже был одновременно и рад, и взволнован, и даже спокоен. К ним пришло освобождение, освобождение от угрозы смерти.

— Ура! — завопил Броди. И тут увидел кровь, струившуюся по шее Куинта.

— Вы разбили себе голову,— сказал полицейский.

— Тащите еще бочонок,— распорядился Куинт.— Несите его сюда. И не запутайте бухту. Я хочу, чтобы она разматывалась как по маслу.

Броди побежал на нос, отвязал бочонок, накинул бухту на руку и принес все это Куинту.

— Вон, идет,— проговорил Куинт, указывая влево. Бочонок выскочил на поверхность и закачался на воде. Куинт потянул веревку, привязанную к древку, и поднял его на борт. Он насадил новый наконечник и поднял гарпун над головой.

— Всплывает!

Акула появилась на поверхности в нескольких ярдах от катера. Она была похожа на стартующую ракету. Из воды показались нос, челюсти и грудные плавники, затем дымчато-белое брюхо, брюшной плавник и огромный хвост.

— Я вижу тебя, сволочь! — заорал Куинт и, подавшись вперед, метнул второй гарпун. Острие вонзилось в живот акулы, как раз в то мгновение, когда ее огромное тело падало вперед. С оглушительным всплеском она шлепнулась брюхом в воду, подняв над катером густую тучу брызг.

— Готова! — воскликнул Куинт, когда вторая бухта размоталась и веревка ушла за борт.

Катер качнулся раз, другой, затем послышался глухой треск.

— Ты еще не успокоилась, да? — крикнул Куинт.— Больше тебе не унести ни одного человека, скотина! — Куинт завел мотор. Он выжал ручку газа вперед, и катер стал удаляться от бочонков, качавшихся на воде.

— Она что-нибудь натворила? — спросил Броди.

— Наверное. У нас немного осела корма. Она, похоже, пробила катер. Ничего страшного. Мы выкачаем воду.

— Значит, кончено,— сказал Броди радостно.

— Что кончено?

— Рыба, считай, сдохла.

— Не совсем, глядите.

За катером следовали, не отставая от него, два красных деревянных бочонка, увлекаемые гигантской акулой. Каждый из них разрезал воду, толкая перед собой волну и оставляя позади водяной шлейф.

— Она преследует нас! — закричал Броди.

Куинт согласно кивнул.

— Почему? Уж не думает ли она утолить нами свой голод?

— Нет. Она собирается драться.

Впервые Броди увидел выражение беспокойства на лице Куинта. Это были не страх и не тревога, а скорее озабоченность игрока — словно кто-то без предупреждения изменил правила игры или повысил ставки. Заметив перемену в настроении Куинта, Броди испугался.

— Вы когда-нибудь раньше видели, чтобы рыба выкидывала такое? — спросил он.

— Такое? Нет. Я уже говорил — иногда акулы набрасывались на катер. Однако стоило только вонзить в них гарпун, и они тут же отплывали в сторону, пытаясь освободиться от него.

Броди посмотрел назад. Катер двигался со средней скоростью, повинуясь поворотам штурвала, Куинт вел суденышко наугад. Бочонки все время следовали за ними по пятам.

— Черт с ней. Если она хочет схватки, то получит ее.— Куинт сбросил скорость, перевел двигатель на холостой ход, сбежал с ходового мостика и вскочил на транец. Лицо его снова оживилось.— Эй, пожирательница падали! — крикнул он.— Иди получай еще.

Бочонки продолжали приближаться, бороздя воду, сначала в тридцати ярдах от катера, потом в двадцати пяти, потом в двадцати. Броди увидел, как огромная серая тень метнулась вдоль правого борта, возле самой поверхности воды.

— Она здесь! — закричал полицейский.— Плывет сюда.

— Проклятие! — воскликнул Куинт, ругая себя за то, что неправильно рассчитал длину веревки. Он схватил гарпун и побежал вперед. Он встал на носу, держа гарпун наготове.

Акула тем временем ушла за пределы досягаемости. Ее хвост виднелся в двадцати футах впереди катера. Два бочонка ударились о корму почти одновременно. Они подпрыгнули, разошлись по обе стороны судна и проплыли мимо.

Акула удалилась ярдов на тридцать, потом повернула назад. Ее голова показалась на поверхности, затем снова ушла вниз. Она принялась бить из стороны в сторону хвостом, торчавшим из воды словно парус.

— Вон она,— закричал Куинт.

Броди быстро полез по трапу на ходовой мостик. Оттуда он увидел, что Куинт откинул правую руку назад и привстал на носки.

Акула ударила в катер головой с шумом, похожим на приглушенный взрыв. Куинт метнул гарпун. Он вонзился над правым глазом рыбины и крепко там засел.

— Отлично! — воскликнул Куинт.— Попал в голову! — Теперь в воде плавали три бочонка, скользя по поверхности. Затем они ушли на глубину.

— Черт подери! — выругался Куинт.— Какая-то бешеная рыбина, ныряет с тремя гарпунами и бочонками, которые тянут ее на поверхность.

Неожиданно катер вздрогнул, казалось, он подпрыгнул, потом опустился. Бочонки выскочили из воды, два — с одной стороны судна, один — с другой. Затем они снова исчезли внизу. Через несколько секунд бочонки появились в двадцати ярдах от судна.

— Бегите вниз,— сказал Куинт, подготавливая еще один гарпун.— Взгляните, не сделала ли эта тварь какую-нибудь пакость.

Броди скатился вниз, в каюту. Там было сухо. Он сдвинул потертый коврик и открыл люк. Со стороны кормы хлестала струя воды. Тонем, подумал Броди, и ему тут же припомнились ночные кошмары, которые он видел в детстве. Броди поднялся на палубу.

— Похоже, дело дрянь,— сказал он Куинту.— Под каютой полно воды.

— Пойду посмотрю сам. Вот, держите,— Куинт передал Броди гарпун.— Если акула вернется, пока я буду внизу, врежьте ей как следует.— Он прошел на корму и спустился вниз.

Броди встал на носовой мостик с гарпуном в руке и посмотрел на плавающие бочонки. Они лежали на воде почти неподвижно, лишь изредка покачиваясь, когда акула проплывала под ними. «Почему ты никак не сдохнешь?»— мысленно обратился Броди к акуле. Он услышал шум электрического мотора.

— Ничего страшного,— сказал Куинт, направляясь на нос судна. Он взял гарпун у Броди.— Она пробила дыру, это верно, но насосы справятся с водой. Мы сможем взять ее на буксир.

Броди вытер руки о штанину.

— Вы в самом деле собираетесь тащить ее на буксире?

— Да. Когда сдохнет.

— Когда это случится?

— Когда совсем выбьется из сил.

— А теперь?

— Будем ждать.

Броди посмотрел на часы. Восемь тридцать.

Три часа они стояли на месте, следя за бочонками, которые беспорядочно, все медленнее и медленнее кружили по воде. Вначале они уходили вниз каждые десять — пятнадцать минут и всплывали в нескольких ярдах от прежнего места. Затем стали погружаться реже, а примерно с десяти до одиннадцати часов все время держались на плаву.

Дождь прекратился, и ветер перешел в легкий бриз. Небо казалось сплошным серым покрывалом.

— Как вы думаете? — спросил Броди.— Она сдохла?

— Сомневаюсь. Но, возможно, она вот-вот отдаст концы, мы попробуем накинуть веревку ей на хвост и подтащить к катеру, прежде чем она пойдет ко дну.

Куинт снял бухту веревки с бочонка, стоявшего на носу. Привязал один ее конец к кормовому кнехту, а на другом сделал петлю.

У подъемной стрелы стояла электрическая лебедка. Куинт включил мотор, проверил, работает ли она, затем выключил. Он запустил двигатель и направил судно прямо к бочонкам. Он вел катер медленно, осторожно, готовый к любым неожиданностям в случае нападения акулы. Однако бочонки лежали неподвижно.

Когда они приблизились к ним, Куинт перевел мотор на холостые обороты. Он перегнулся через борт, подцепил веревку багром и вытащил один бочонок на борт. Куинт попробовал отвязать веревку от бочонка, но узел намок и затянулся. Тогда он вынул нож из ножен, висевших на поясе, и перерезал веревку. Куинт воткнул нож в планшир, взял веревку в левую руку, а правой столкнул бочонок на палубу.

Он забрался на планшир, продел веревку через шкив на верхушке подъемной стрелы, затем протянул ее через шкив лебедки. Накрутив веревку несколько раз вокруг барабана, он включил мотор. Веревка натянулась, и катер под тяжестью рыбы сильно накренился на правый борт.

— Как, лебедка выдержит? — спросил Броди.

— Должна. Мы не вытащим рыбину из воды, но держу пари, что подтянем ее к катеру.— Барабан поворачивался медленно, со скрипом, делая полный оборот каждые три-четыре секунды. Веревка дрожала от напряжения, с нее на рубаху Куинта стекали капли воды.

Вдруг веревка пошла слишком быстро. Она запуталась на барабане, свернувшись узлом. Судно резко выпрямилось.

— Веревка оборвалась? — спросил Броди.

— Вот дьявол, нет! — вскрикнул Куинт, и Броди увидел в его глазах страх.— Эта сволочь всплывает! — Куинт бросился к штурвалу и дал полный вперед. Но было слишком поздно. Акула со страшным свистом выскочила из воды прямо рядом с катером. Она поднялась во всю свою гигантскую длину, и охваченный ужасом Броди был

поражен ее огромными размерами. Акула затмила небо, нависнув над его головой. Ее грудные плавники, жесткие и прямые, хлопали, точно крылья, и когда акула падала вперед, казалось, что они тянутся к Броди.

Акула обрушилась на корму катера, раздался оглушительный треск, и волны захлестнули судно. Вода хлынула через транец. Спустя несколько секунд Куинт с Броди стояли по пояс в ней.

Акула лежала на корме, ее челюсти были в каких-нибудь трех футах от груди Броди. Тело ее содрогнулось, и Броди показалось, что он увидел свое отражение в ее черном, величиной с бейсбольный мяч глазу.

— Черт тебя подери, подлюга! — заорал Куинт.— Ты потопила мое судно! — Один бочонок заплыл в кубрик, привязанная к нему веревка извивалась, словно клубок змей. Куинт схватил гарпунный наконечник, привязанный к концу этой веревки, и вонзил его в мягкое белое брюхо акулы. Кровь хлынула из раны и залила руки Куинта.

Судно тонуло. Корма полностью скрылась под водой, а нос катера высоко поднялся.

Акула соскользнула с кормы и исчезла в волнах. Веревка, привязанная к гарпунному наконечнику, который Куинт вонзил в рыбину, последовала за ней.

Неожиданно Куинт потерял равновесие и упал спиной за борт.

— Нож! — закричал он, приподнимая левую ногу над водой, и Броди увидел, что ступня Куинта запуталась в веревке.

Броди посмотрел на планшир правого борта. Нож торчал на том месте, куда его воткнул Куинт. Броди ринулся к правому борту, выдернул нож и повернул обратно, с трудом передвигаясь в глубокой воде. Охваченный бессильным ужасом, он видел, как Куинт с широко открытыми, умоляющими глазами протягивал к нему руку, медленно погружаясь в темную воду.

Послышалось чмоканье — тонущий катер засасывало на глубину. Вода доходила Броди уже до плеч, и он с отчаянием ухватился за подъемную стрелу. Вдруг из воды выскочила спасательная подушка, и Броди схватил ее.

Внезапно в двадцати ярдах от себя он увидел хвост и спинной плавник. Акула ударила хвостом, и спинной плавник приблизился к Броди.

— Убирайся, черт тебя побери! — пронзительно закричал полицейский.

Акула продолжала плыть, еле-еле, постепенно сокращая расстояние между собой и Броди. Бочонки и запутанные бухты веревок тащились следом за ней. Но вот подъемная стрела скрылась под водой, и Броди выпустил ее из рук. Он попытался вскарабкаться на нос катера, который стоял теперь почти вертикально, но прежде чем он успел добраться туда, нос задрался еще выше, затем быстро и бесшумно ушел под воду.

Броди вцепился в подушку, он держал ее перед собой и, болтыхая ногами, поплыл без особого труда.

Акула подошла ближе. Она находилась всего в нескольких футах от Броди, он видел ее конусообразный нос. Полицейский в отчаянии завопил и закрыл глаза в ожидании страшной смерти.

Но ничего не произошло. Он открыл глаза. Акула почти касалась Броди, она была в одном-двух футах от него и вдруг остановилась. Затем Броди увидел, как гигантское тело стального цвета начало погружаться в мрачную бездну. Казалось, оно исчезло как призрак во тьме. Броди опустил лицо в воду и открыл глаза. Сквозь щипавшую их соленую пелену он увидел, что акула опускалась в пучину медленно, грациозно вращаясь, увлекая за собой тело Куинта — его руки были раскинуты в стороны, голова запрокинута назад, рот открыт в немом протесте.

Акула исчезла из вида. Она остановилась где-то во тьме, удерживаемая плавающими бочонками, а тело Куинта зависло в воде, медленно колеблясь в полумраке.

Броди все смотрел и смотрел на Куинта, пока не почувствовал боль в легких от недостатка воздуха. Он поднял голову, протер глаза и заметил вдали темное пятно водонапорной башни. Броди принялся бить ногами по воде — он плыл к берегу.

Повесть о гигантской акуле и маленьком городе

Если отвлечься от заметно оскудевшей за последние годы традиции модернистской литературы и попытаться представить как бы в разрезе всю толщу современной американской художественной прозы, то внимание наблюдателя сосредоточится прежде всего на трех основных подразделениях. Верхушку огромной книжной горы образуют в США произведения ответственно мыслящих писателей, которые ставят перед собой цель глубокого реалистического исследования первостепенных проблем нашего времени. Таких книг, конечно же, совсем немного; в иные, «малоурожайные» годы речь вообще идет тут о считанных единицах. На другом же полюсе, а точнее — ниже уровня художественной критики, находится основная масса книжной полиграфической продукции. Это то, что обычно именуется «поп-беллетристикой», антилитературой, чтивом. В русском языке не существует, по-видимому, термина, с должной точностью охватывающего тот пласт печатной продукции, что существует параллельно «большой литературе» и видоизменяется в соответствии с общими судьбами буржуазной культуры Запада. Без учета этого пестрого вороха эрзац-товаров, рассчитанных на скорое и невзыскательное потребление, невозможно вести речь о культурно-идеологических процессах современности во всей их полноте и многогранности.

Но помимо этих двух противоположных по своему идейно-эстетическому знаку общностей в литературе США можно выделить еще и своего рода «промежуточную», пограничную зону, вмещающую в свои пределы множество беллетристических произведений. Стереотипизация, упрощенность мотивировок, в первую очередь психологических, — такова самая очевидная и, пожалуй, ведущая особенность этого «развлекательного чтения, отделяющая его от высокохудожественного творчества. Приметой последнего является ориентация на открытие, познание пока еще неведомого; прозаики же «промежуточной зоны» довольствуются вторичностью. От соблазна пойти по проторенной колее, прибегнуть к готовым решениям из собственного опыта, а то и заимствованным, не застрахован и иной даровитый автор. Несомненно, что одним из подводных камней, о которые нередко разбивается челн писательского воображения, является издавна присущая литературе США всепроникающая коммерциализация. Поэтому для большой группы мастеровых от литературы следование определенным сюжетно-изобразительным канонам служит почти верной гарантией появления еще одной «хорошо сделанной книги», подчас неотличимой на недостаточно опытный глаз от настоящего произведения искусства и, стало быть, «обреченной на успех».

В послевоенные годы нередкие визиты в этот «литературный полусвет» совершали некоторые американские прозаики, пользовавшиеся до этого заслуженной репутацией зорких художников, бескомпромиссных реалистов. На сегодняшний день наиболее показательным для литературы «промежуточной зоны» следует признать творчество таких флагманов развлекательного жанра, как известные нашему читателю Артур Хейли и Роберт Ладлэм. Питер Бенчли, автор романа «Челюсти», — еще одно имя в этом ряду.

Сама по себе степень самобытности, весомости идейно-образного материала в «Челюстях» сравнительно невелика. Всякий, кто даже бегло знаком с классической американской литературой, тут же вспомнит по ассоциации роман Г. Мелвилла «Моби Дик» и повесть Э. Хемингуэя «Старик и море». Выстраивая сюжет книги, Бенчли, как смышленый знаток своего ремесла, использует это знание, нимало не смущаясь тем, что его роман несоизмерим с творениями классиков по богатству изобразительных средств и глубине философской мысли. Однако то, что низводит писателя до уровня неловкого подражания великим образцам, подчас не затрагивает впрямую собственно познавательных аспектов его работы. Роман «Челюсти» принадлежит своему времени, 70-м годам XX века, и, будучи реалистическим в основе произведением, он откликается на некоторые явления современной социальной действительности Соединенных Штатов. Постараемся прокомментировать эту перекличку.

Действие книги Бенчли происходит летом 1973 года на Лонг-Айленде, «длинном острове», одним концом уткнувшемся в обширную гавань Нью-Йорка, а своим побережьем развернутым к Атлантическому океану. Десяткам тысяч не самых богатых нью-йоркцев, которым не по карману отпуск во Флориде или на Багамских островах, протянувшиеся на многие мили песчаные пляжи Лонг-Айленда предоставляют совсем неплохую возможность для летнего отдыха. В описании же вымышленного городка

стихов, отмеченных романтическим колоритом. Тем не менее экстремизм отдельных положений манифестов Сики не означал решительного разрыва с традицией и по сути дела не соответствовал его поэтической практике, которая все же (по крайней мере на взгляд европейского читателя) осталась в русле традиции.

Отталкиваясь от классических образцов, Сики стремился создать собственную поэтику. «Главный мой принцип — выражать с предельной ясностью те поэтические качества объекта, которые сам я нахожу красивыми, причем в той форме, которая кажется мне наиболее приемлемой для выражения прекрасного», — заявил Сики. Основой творчества был провозглашен принцип «отражения действительности» («сясэй»), который сам поэт определял как реализм. Сняв канонические ограничения, Сики расширил границы поэтической лексики.

Насколько успешно Сики удалось применить свои требования на практике, можно судить хотя бы по тому, что сейчас в Японии вся история хайку условно делится на четыре эпохи: Басё, Бусона, Исса и Сики. За свою недолгую жизнь Сики воспитал блестящую плеяду учеников. Его дом в Нэгиси, на окраине Токио, где поэт, прикованный к постели параличом, безвыездно прожил последние годы, стал местом литературного паломничества и дал название школе танка «Нэгиси-ха». Упорно сопротивляясь болезни, Сики ни на один день не прекращал диктовать критические статьи и эссе. Скорбной исповедью звучат стихи знаменитого цикла «Сквозь стеклянную дверь», проникнутые сознанием неотвратимого конца и мучительной любовью к жизни.

В отличие от статей и манифестов Сики, книги его стихов увидели свет лишь после смерти поэта. Стараниями его учеников в 1904 г. вышло собрание танка Масаока Сики «Песни бамбукового селенья», а в 1924 г. собрание хайку «Оголенные деревья в зимних горах».

Без преувеличения можно сказать, что все крупнейшие поэты XX в. жанров танка и хайку в той или иной степени явились учениками Сики, если даже впоследствии они и пошли дальше учителя. Именно таким учеником был Сайто Мокити (1882—1953).

Выходец из крестьянской семьи, Сайто окончил медицинский факультет университета и большую часть жизни проработал врачом-психиатром. В литературных кругах Токио рано обратили внимание на талантливого молодого врача. Ито Сатио, друг и ученик Сики, возглавлявший ведущий журнал танка того времени «Асиби», писал, обращаясь к начинающему поэту: «Вы обладаете поистине редкостным дарованием. Прошу вас об одном — ни на что не отвлекаясь, отдавать все силы поэзии».

Между тем литературный мир в начале века продолжал бурлить. Поклонники французской поэзии создали мощную школу символизма. Натуралисты клеймили эстетов и сочиняли отталкивающие в своей приземленности вирши. Набирали силу разного рода авангардные течения и группировки.

В то же время романтика простых человеческих радостей и горестей оживала под пером Исикава Такубоку. Жгучую, всепобеждающую страсть воспевала в своих пятистишиях Есано Акико. Страна, очнувшаяся от многовекового сна, жаждала новых песен.

Для Сайто Мокити подлинным откровением послужил посмертный сборник танка Сики, дававший ключ к новому пониманию природы и человека. Однако поэтический темперамент Сайто сковывала завещанная автором «Песен бамбукового селенья» строгость и скупость изобразительных средств. По-своему истолковывая «отражение жизни», он наполнил реалистические образы экспрессией, придал стихам внутреннюю напряженность, которой прежде не знала поэзия танка. Сборник «Багряное зарево», вышедший в 1913 г., положил начало творческому пути поэта. За ним последовали десятки новых книг, где наряду с тонкими пейзажными зарисовками и красочными жанровыми сценами можно встретить и рефлективные философские пятистишия — плоды зрелой умудренности. За свои литературоведческие опыты в области классической поэзии Сайто Мокити был удостоен премии Академии художеств. В 1951 г. поэт был награжден орденом Культуры.

Масаока Сики и Сайто Мокити — два имени, воплощающие замечательные достижения новой японской поэзии. За ними стоят десятки других имен, о которых пока еще мало известно за пределами Японии, но которым еще предстоит занять свое место в мировой литературе. Залогом тому служит непреходящий интерес к поэзии Страны восходящего солнца — поэзии древней и вечно юной, обновляющейся, как сама природа.

МАСАОКА СИКИ

Хайку из книги «Оголенные деревья в зимних горах»

* * *

В эту ночь напоен
ароматом цветущих каштанов
приют мой в горах...

* * *

Сколько печали
в красоте этих каменных форм!
Светильник садовый...

* * *

Родные края!
Отовсюду, куда ни взгляну,
улыбаются горы...

* * *

Кружатся птицы,
вьется дым далеких костров
над лугом увядшим...

* * *

То не лотосы ли
цветут где-нибудь по соседству?
Полустанок безлюдный...

* * *

Дождь и день, и два...
Снова сумерек дожидаюсь
в хижине горной.

* * *

Сосной одинокой
этот образ мыслится мне —
осень в Нэгиси...

* * *

Уж давно ничего
в моей жизни не происходит.
Кончается осень...

* * *

У ограды цветок
в пору зимнего увяданья —
неужели роза?!

* * *

Зимний сумрачный день.
Одиноко летит над лугом
большая птица...

* * *

Зимний день потускнел.
За жнивьем вдалеке сгустился
сумрак вечерний...

* * *

Крик фазана вдали.
Облака вершиной раздвинув,
гора темнеет...

■ ■ ■

Восьмая луна.
Тихо плещут волны прибоя
под сенью вишен...

■ ■ ■

Словно глыбы земли,
там и сям темнеют домишки
в полях осенних...

■ ■ ■

Холод осенний.
Встав с постели, хожу и хожу
по коридору...

■ ■ ■

Солнце в пору дождей.
«Сегодня пела цикада», —
в дневнике отмечаю...

■ ■ ■

Повесил фонарь
на дерево подле дома.
Ночные цикады...

■ ■ ■

Не видно луны —
но на темных волнах серебрится
лунная дорожка...

■ ■ ■

Деревушка —
сплошь абрикосы да ива,
абрикосы да ива...

■ ■ ■

Что за зонтик ко мне
пожаловал с черного хода?
Ливень весенний...

■ ■ ■

На дворе снегопад,
но под вечер окрашены в пурпур
дальние горы...

Танка из книги «Песни бамбукового селенья»

■ ■ ■

Вот передо мною
следы, что оставила кисть,—
стихи я читаю
и думаю, глядя на свиток:
«Хороши творения древних!»

■ ■ ■

Дождик пошел —
я соломенный зонт подставляю,
прикрывая пион.
Под зонтом слегка розовеют
лепестки цветка в полумраке...

■ ■ ■

В зеленой траве
на дальней окраине сада
под сенью сосны
бледно-желтые, чуть заметны,
притаились цветы сурепки...

Из цикла «Сквозь стеклянную дверь»

■ ■ ■

В доме дверь застеклив,
все ждал я первого снега —
и настал этот день:
поутру проснувшись, любуюсь
белоснежным убранством сада...

■ ■ ■

Свет дневной наконец
проник к изголовью больного
сквозь стеклянную дверь.
На сосне молодой близ дома
воробьи беспокойно скачут...

■ ■ ■

Сквозь стеклянную дверь
с печального ложа болезни
вижу угол двора —
на шесте бельевом примостившись,
окликает меня ворона...

■ ■ ■

Облетели цветы
с ветки сливы, поставленной в вазу,
а на сливе в саду,
не раскрывшись, бутоны увяли
под холодным дыханьем ветра...

■ ■ ■

Железная клетка,
в ней маленькое деревцо —
а чиж и доволен:
напевая, легко порхает
за решеткой с ветки на ветку.

■ ■ ■

Распустилась листва
на кусте пиона в горшочке,
но не время еще —
в этой зелени свежей и сочной
ни единого нет бутона...

■ ■ ■

Тонкий лист жестяной
на веранде смутно мерцает —
сквозь стеклянную дверь
я ловлю луны отраженье
в крыше маленькой птичьей
клетки...

■ ■ ■

Я бумагой прикрыл
абажур ночника у ложа —
и сияет в ночи,
озаряя сад мой и рощу,
ясный, незамутненный месяц...

■ ■ ■

Вот кукушка поет.
Я голову поднимаю,
сквозь стеклянную дверь
в сумрак сада смотрю безмолвно,
дивной лунной ночью любуюсь...

■ ■ ■

Я подумал о том,
что надо бы сделать подпорки
для побегов вьюнка, —
но, быть может, поры осенней
мне уже не дано дождаться...

■ ■ ■

Не за тем ли в саду
опадают милые сердцу
желтых роз лепестки,
чтоб явить еще раз воочью,
всю тщету и суетность мира?..

САЙТО МОКИТИ

Из книги «Багряное зарево»

■ ■ ■

В морозную ночь,
проснувшись перед рассветом,
я дверь приоткрыл —
меж стволов бамбуковой рощи
лунный блик, киноварный
отблеск...

■ ■ ■

Оглянулся назад
на могучие горные кряжи —
до чего же тесны
эти улочки городские,
по которым снова шагаю!..

■ ■ ■

Листья сухие
скорбят о листве молодой —
и всей душою
о судьбе увядшей листвы
молодые листья скорбят...

■ ■ ■

Так вот она, жизнь!
В камышах прибрежных, в осоке
на пруду луговом
посреди вечерней равнины
заунывно поют лягушки...

■ ■ ■

На зеленом лугу
в лучах заходящего солнца
долго-долго стою —
из расселины меж валунами
долетает голос цикады...

■ ■ ■

В безлюдных горах
под слоем листвы облетевшей
внезапно мелькнул
печальный отсвет заката —
бочажок лесной у тропинки...

■ ■ ■

Серебристый покров
окутал зимние горы.
Там и сям на снегу
вижу тропки в долине горной —
что за люди их протоптали?..

■ ■ ■

Месяц ущербный
скоро за тучи зайдет —
неразличимы
в этом сумеречном мерцанье,
возвращаются лодки с моря...

■ ■ ■

Прикоснулась к руке
язычком нежно-розовым кошка —
и в касании том
мне открылась будто впервые
бытия печальная прелесть...

■ ■ ■

Нынче утром нежданно
запах дикого перца принес
ветер, с гор налетевший, —
и от пряного аромата
на душе так сладко, так больно!..

Из книги «Неотшлифованная яшма»

■ ■ ■

Озаренная солнцем,
белея в просторах полей,
вьется лента дороги —
как не вспомнить о том пути,
что зовем мы коротко «жизнь»!..

■ ■ ■

Поднявшись с гнезда,
над утесом птица кружится
и падает вниз —
разрывает клекот орлиный
однозвучную песню ветра...

■ ■ ■

Хорошо на душе!
Вижу радугу в зимнем небе,
вижу, как вдалеке
по тропинке уходит в горы
Какубэй, соседский мальчишка...

■ ■ ■

«Скоро станет темно,
скоро-скоро вечер настанет!» —
мерный ропот дождя,
что тревожит мертвые листья
в оголенной дубовой роще...

■ ■ ■

Должно быть, с небес,
объятых безмолвием ночи,
невидим во мгле,
накрапывает чуть слышно
прозрачный дождик весенний...

Из книги «Белые горы»

■ ■ ■

Как покорны они
веленью всевластного рока!
Вот одна за другой
поднимаются горные птицы,
улетают прочь из лощины...

■ ■ ■

Беспросветный туман,
окутавший горные склоны,
не рассеялся днем.
Вот уже отцветают, блекнут
колокольчики луговые...

■ ■ ■

Собирая ракушки,
по гальке вдоль моря бреду —
в перламутровых створках
оживают передо мною
дней былых печальные блики...

■ ■ ■

Плеск волн в тишине.
пронзительные до боли,
летят и летят
с другого берега Сайдзё
осенних цикад напевы...

■ ■ ■

Вихрь суровой судьбы,
Разящий, пощады не зная,
дни мои торопя,
я встречаю без сожаленья
и без горечи запоздалой...

Е. КНИПОВИЧ

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД СОВЕТСКИХ ЛИТЕРАТОРОВ И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПИСАТЕЛИ МИРА

Заметки на полях стенограммы

В августе 1934 года состоялся Первый всесоюзный съезд советских писателей. Отмечая 50-летие этого события, мы предоставляем слово известному советскому литератору Е. Книпович, члену Союза писателей СССР с 1934 года. Она была лично знакома с делегатами и гостями съезда, о которых пойдет речь в статье, а со многими из них и дружна.

Когда возвращаешься памятью к каким-нибудь значительным событиям в истории нашей культуры, происшедшим немало десятилетий тому назад, начинаешь отчетливо видеть, что значение их многообразно, что основное содержание их проступает в большом и малом, во всех особенностях его связи со временем, историей.

Да, значение Первого всесоюзного съезда советских писателей проступило и во всеобъемлющем докладе Горького, и в выступлениях крупнейших художников слова Советского Союза — в их обобщенном или «исповедальном» рассказе о времени и о себе, и в сотне приветствий коллективов рабочих и крестьян, интеллигенции, которые пришли отдать дань любви и уважения первому форуму своих народных писателей, и в том, что съезд направил слова дружбы, сердечной признательности Ромену Роллану, Эрнсту Тельману, революционным писателям Китая.

Не имея возможности объять необъятное содержание этого события, я хотела бы лишь сделать кое-какие заметки на полях его обширных стенограмм, заметки, посвященные одному важнейшему вопросу.

Большое, великое проявляется, начиная как будто с малого, почти «организационного». Так интернационалистский пафос Первого всесоюзного съезда советских писателей, пятидесятилетие которого мы отмечаем в этом году, проявляется и в том, что докладам «по жанрам», или по отдельным вопросам творческой работы, предшествовало восемь широких и обстоятельных докладов о литературах братских республик. Украина и Белоруссия, Грузия и Армения. Татария, Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан во весь голос рассказали о своих литературах, о лежащих в их основе народных, национальных традициях, о дружбе и связях с великой русской культурой.

Литература СССР осознала себя и выступила на съезде как единая многонациональная. Но не менее остро проявился в работе съезда и ее глобальный интернационализм. И опять-таки — начиная с частного. *Делегатами* Первого съезда *советских* писателей были Иоганнес Бехер и Фридрих Вольф, Антал Гидаш и Джованни Джерманетто, Бруно Ясенский, Эми Сяо, Бела Иллеш — художники-эмигранты, чьей второй и любящей родиной стал Советский Союз.

Материалы работы Оргкомитета, предшествовавшей созыву съезда, дают еще одно любопытное свидетельство глобальности интернационалистского пафоса этого форума.

Сорок гостей писателей зарубежных стран, присутствовали на съезде. Они не просто отозвались на приглашение, но многие сами просили о нем, считая для себя честью участвовать в этом форуме. Речи их в нелегкие предгрозовые тридцатые годы вносили свою и всегда дружескую ноту в общие размышления о задачах мастеров культуры. Наряду с мыслями о великих испытаниях и суровой борьбе, которая еще предстояла, на съезде со всей силой звучала и вера в победу дела мира, дружбы, братства, общей работы, с такою отчетливостью выраженная во многих речах и, пожалуй, прежде всего в речи Леонида Леонова.

Он выступил в первый же день прений по докладу Горького и докладам национальных республик, и сейчас, пятьдесят лет спустя, вызывает невольное изумление, я бы сказала, пророческое звучание его слов:

«Этот век, может быть, самый емкий исторический период из всех, через которые проходило человечество. На наших глазах будут образовываться все новые советские республики, в грозе и буре будет просыпаться самосознание колониальных стран,

будут создаваться все более совершенные формы человеческого общежития.

Товарищи, мы еще будем участниками мировых конгрессов социалистической литературы, которые уже не уместятся в этом зале. В том большом доме, где мы встретимся еще не однажды, мы будем пожимать руки делегатов Африки, Австралии, Южной Америки. На повестке дня будут стоять уже не только вопросы, трактующие рождение нового человека, но и вопросы могущественной борьбы со стихиями, все большего расширения деятельности человека в космосе»[1].

Надо всем нам помнить, что слова эти сказаны за семь лет до начала Великой Отечественной войны, за одиннадцать лет до победы над фашизмом, за десятилетия до ряда национально-освободительных и революционных войн, наконец, за двадцать три года до того, как в космосе подал голос первый советский спутник, и за двадцать семь лет до космического подвига Юрия Гагарина.

Будущее в двуедином его образе — грядущих испытаний и неизбежной победы — снова и снова вставало в речах советских и зарубежных мастеров культуры. Трезвость взгляда, суровость самооценки, гордый оптимизм, звучавший в этих речах,— был еще и оптимизмом молодости. Потому что молодой была страна, молодым был состав делегатов съезда. Мне уже приходилось лет двадцать тому назад говорить о том, что по нынешним понятиям Первый всесоюзный съезд советских писателей можно было бы назвать «совещанием молодых». Большинство известных писателей-делегатов совсем недавно или не так давно перешагнули порог тридцатилетия. Другое дело, что в их творческом арсенале уже были «Разгром» и «Барсуки», «Орда» и «Брага», «Города и годы» и другие произведения, ставшие нашей классикой, а в личных биографиях событий и дел хватило бы не на одну, а на несколько человеческих судеб. Однако послушать их самих — так сделано было еще очень мало, и стояли они лишь на подступах к выполнению тех обязанностей, которые на художника возлагает современность.

Путь некоторых делегатов на съезд был нелегким. Хотя на мандате Фридриха Вольфа значилось «Москва» — прибыл «Фридрих Максимович» (так он любил называть себя) из фашистской Германии. «Он встал на лыжи,— пересказывал его выступление Вс. Вишневский,— и как старый боец, как старый немецкий красногвардеец, он прорвал четыре линии пограничных кордонов, чтобы прийти сюда и драться здесь за СССР и за красную Германию». И хотя на мандате делегата Эми Сяо стояло «Дальневосточный край», говорил поэт-эмигрант от имени революционных писателей Китая — о беспримерном мужестве «китайского Чехова» Лу Синя, о подпольной работе Мао Дуня.

«В заключение я хочу сообщить,— окончил свою речь Эми Сяо,— как в Китае оценивают советскую литературу... На втором съезде китайских советов Максим Горький был избран почетным членом президиума».

Иностранные делегаты и иностранные гости были равноправны. Так, Арагон, будучи гостем, приветствовал съезд от Ассоциации революционных писателей и художников Франции, среди которых он назвал Анри Барбюса и Жан-Ришара Блока, Ромена Роллана, Поля Вайяна-Кутюрье и многих других.

«Наша Ассоциация приветствует съезд,— говорил Арагон,— имеющий значение не только для огромного дела советского пролетариата, строящего наряду с социализмом культуру будущего, но имеющий и глубокое международное значение. Этот съезд окажет помощь и покажет пример в области литературного творчества революционным писателям всего света. Эта помощь, этот пример лишний раз подтвердят истину, которую безуспешно пытаются отрицать наемные подстрекатели: ту истину, что уже 17 лет СССР является стимулом мировой революции и ее главным защитником во всех областях: и в области культуры, и в борьбе с империалистической войной.

Советские писатели заложили фундамент не только своей собственной работы, но работы тех писателей, которые во всем свете борются совместно с пролетариатом; фундамент настоящей материалистической литературы, единственной, которая может служить делу пролетариата и тем самым — всего человечества».

Арагон выступил на съезде как уполномоченный и «полпред» не только Ассоциации революционных писателей и художников Франции, но и того «Комитета бдительности и антифашистского действия», который по инициативе профессора Ланжевена и некоторых других ученых был образован после попытки путча, предпринятой фашистами 6 февраля 1934 года.

«Тот факт,— сказал в конце речи Арагон,— что одному и тому же человеку поручено передать приветствие съезду от Ассоциации революционных писателей и художников и от «Комитета бдительности», показывает, что в настоящий момент во Франции перед лицом фашизма образовался единый культурный фронт как единый пролетарский фронт и что лицом к лицу с фашизмом писатели Франции приветствуют своих товарищей, писателей Советского Союза.

Товарищи! От имени «Комитета бдительности и антифашистского действия» я приветствую здесь не только присутствующих советских писателей, но и отсутствующих, находящихся в заключении антифашистских писателей, и в первую очередь крупных писателей — Людвига Ренна и Осецкого».

Писатели-борцы, деятели культуры, общественные деятели, жертвы фашизма, узники — живые и мертвые — вставали в речах делегатов и Советского Союза и зарубежных стран. Убитых — Эриха Мюзама, Рихарда Шерингера, Эриха Барона и Франца Брауна; живых, узников концлагерей и тюрем,— Людвига Ренна и Карла Осецкого—всех их вспомнил в своей речи Вайскопф. Нашедших вторую родину в

[1] Выступления участников съезда здесь и далее цитируются по «Стенографическому отчету Первого всесоюзного съезда советских писателей». М., 1934.

Стране Советов — Иоганнеса Бехера и Антала Гидаша — назвал Бела Иллеш. Он, в частности, сказал: «...западные пролетарские революционные писатели говорят: «Руки прочь от нашей родины!» И не только пролетарские писатели считают своей родиной Советский Союз, который строит социализм.

Но заявить, что Советский Союз — наша родина, нетрудно. Наши пролетарские писатели делают не только заявления — они действуют.

Укажу на такой пример...— продолжал Иллеш.— В 1930 г. датский радиоцентр предложил ему (Людвигу Ренну.— Е. К.) прочитать несколько страниц «Войны» по радио в Дании. Он поехал в Копенгаген и по радио начал читать свой роман, прочел две или три фразы, закрыл книгу и сказал: «Все это неважно, товарищи. Важно, что готовится новая война, новая интервенция против родины трудящихся всего мира, против Советского Союза. Лучше поговорим о том, как готовится эта война, какую роль играют и датская буржуазия, и датское правительство в подготовке новой войны против Советского Союза».

Конечно, микрофон сейчас же выключили, а на другой день один из членов правительства Дании в интервью одной из датских газет на вопрос о том, что он думает о выступлении Ренна, заявил, что Ренн — идиот. Когда перед Ренном поставили вопрос, что он думает об этом мнении члена правительства, он ответил: «Может быть, я и идиот. Но это не важно. Важно, что готовится война против Советского Союза, важно посмотреть, какую роль играют в этой подготовке и датская буржуазия, и датское правительство; и дальше в своем интервью он сказал то, что хотел передать по радио».

И Бела Иллеш сделал вывод: «Так работают и действуют революционные писатели Запада в защиту Советского Союза».

Голос революционных писателей Германии звучал на съезде, пожалуй, отчетливей, чем другие голоса, потому что угроза фашизма, нависшая над Западной и Центральной Европой, в их стране стала уже страшной реальностью.

О судьбе товарищей, истязуемых, убитых, пытками вынуждаемых к самоубийству в фашистских застенках, говорил в своем выступлении Вилли Бредель: «Товарищи писатели, я сам провел тринадцать месяцев в концентрационном лагере. Меня посадили не национал-социалисты, нет, меня арестовал социал-демократический полицейский сенатор в Гамбурге еще во время избирательной кампании перед приходом к власти Гитлера. Фашистам я достался по наследству. Тринадцать месяцев концентрационного лагеря, из них одиннадцать месяцев одиночки, подземелья и избиения — этот путь я тоже прошел. Этот путь стоил жизни стольким революционным рабочим и революционным интеллигентам!»

И в эти одиннадцать месяцев — лишенный занятий, книг, писем, общения с внешним миром — он, как и другие товарищи (об этом вновь и вновь говорили на съезде зарубежные писатели), не раз черпал мужество в мыслях о творчестве писателей страны социализма; герои «Железного потока» и «Цемента», бойцы, строители—герои многих хорошо известных за рубежом советских книг — были помощниками революционных писателей Запада в их нелегкой борьбе и судьбе, и это не было голословным утверждением. Будущие революционные писатели еще мальчишками зачитывались рассказами Горького. И теперь в их речах вставали партизаны Фадеева, строители заводов Гладкова, борцы за новое в деревне — герои Панферова, Демьяна Бедного, многих, многих других.

Причем восприятие литературы, уроки литературы сливались для революционных писателей с восприятием, уроками той великой революции, которая эту литературу родила.

«Есть ли еще кто-нибудь, кто отрицает романтику нашей эпохи? — говорил делегат Антал Гидаш.— Чем назвать как не романтикой, когда в 1906 г. в Венгрии незабвенный для меня сапожный подмастерье Дембо Симон дал 5 крейцеров на освобождение Максима Горького, заключенного в тюрьму в царской России, а сегодня я здесь слушаю Алексея Максимовича, товарища Горького, как крупнейшую фигуру литературы нового мира.

Чем назвать как не романтикой, когда 14 лет тому назад прибывший в Чехословакию из России венгерец-военнопленный рассказал мне по-венгерски в прозе «Главную улицу» Демьяна Бедного и «Левый марш» Маяковского и этим дал мне первый толчок к пролетарской литературе?»

И вот что еще любопытно: во многих выступлениях советских делегатов литература зарубежных стран становилась одной из тем.

По-разному. Чаще — в разоблачении писателей открыто реакционных, нередко в критике, достаточно резкой, корифеев западной литературы, таких, как Джойс или Пруст.

М. Бажан и М. Кольцов, И. Эренбург и многие другие посвятили этой тематике добрую половину своих выступлений, но еще настойчивее у тех же делегатов звучал призыв к единству всех сил, противостоящих войне и фашизму, призыв чутко относиться к тем художникам, которые лишь вступают или способны вступить в ряды борцов против реакционных сил современности. «Я считаю, товарищи...— говорил Михаил Кольцов,— что в нынешней обстановке мы должны сказать писателям Запада и Востока: всякий, кто против фашизма и войны,— всякий такой является нашим попутчиком, всякого такого мы считаем на нашей стороне, в нашем лагере. Ибо мы знаем, товарищи, что важно только встать на путь — и уже есть большие шансы пройти до конца».

«Не нужно нам от съезда одного подсчета наших успехов,— говорил в своей речи В. Шкловский.— Нам нужен план, нам нужно предвидение будущего, нам нужно научиться писать завтра не только на себя, а вместе с теми товарищами, которые приехали к нам с Запада, писать для всего мира — во имя нового гуманизма, против нового средневековья». И еще. Почти в каждом втором или третьем выступлении звучало слово «будущее», слово об ответственности за него, за «бережное отношение к нему», как сказал в своем вы-

ступлении Лев Кассиль. И не этим ли «бережным отношением к будущему» объясняется то, что единственным содокладом, предшествовавшим «восьмиголосому» выступлению братских республик, был доклад С. Маршака о детской литературе и ее новых задачах. Будущее во всей своей сложности вставало и в исторической реальности и, соответственно, в речах делегатов. Еще не было аншлюса Австрии и позорных дней Мюнхена, но в фашистской Германии уже гибли ее лучшие сыновья, горели на кострах книги больших писателей всех времен и народов, и знаменитая актриса Елена Вейгель была арестована прямо на сцене во время представления пьесы ее мужа Бертольта Брехта «Мать» (по роману Горького). Гость съезда — верный друг наш Жан-Ришар Блок рассказал о Франции, о том, как после попытки фашистского путча в Париже 6 февраля 1934 года Франция восстала, доказывая волю французского пролетариата к борьбе, а 9 февраля трупы коммунистов лежали на улицах Парижа.

Основную «тональность» съезда в заключительном слове определил А. М. Горький.

«...они,— говорил он о силах империализма и фашизма,— готовят новую всемирную бойню, организуют массовое истребление пролетариев всего мира на полях национально-капиталистических битв, цель которых — нажива, порабощение мелких народностей, превращение их в рабов Африки — полуголодных животных, которые обязаны каторжно работать и покупать скверные, гнилые товары только для того, чтобы короли промышленности накопляли жирное золото — проклятие трудового народа, золото, ничтожными пылинками которого капиталисты платят рабочим за то, что они сами на себя куют цепи, сами против себя вырабатывают оружие.

Вот перед лицом каких острых соотношений классов работал наш всесоюзный съезд, вот накануне какой катастрофы будем продолжать работу нашу мы, литераторы Союза Советских Социалистических Республик! В этой работе не может быть и не должно быть места личным пустякам. Революционный интернационализм против буржуазного национализма, расизма, фашизма — вот в чем исторический смысл наших дней. Что мы можем сделать? Мы уже сделали кое-что. Нам неплохо удается работа над объединением всех сил радикальной, антифашистской интеллигенции, и мы вызываем к жизни пролетарскую, революционную литературу во всех странах мира. В нашей среде присутствуют представители почти всех литератур Европы. Магнит, который привлек их в нашу страну,— не только мудрая работа партии, разума страны, героическая энергия пролетариата республик, но и наша работа».

И Горький еще раз напомнил о неразрывном единстве идейной и художественной весомости произведений литературы. «Наш съезд работал на высоких нотах искреннего увлечения искусством нашим и под лозунгом: возвысить качество работы! Надо ли говорить, что, чем совершеннее орудие, тем лучше оно обеспечивает победу. Книга есть главнейшее и могущественное орудие социалистической культуры».

Эта требовательность в понимании стоящих перед литературой задач как бы подводила итог той жесткой самооценке, какую давали себе, своей работе крупнейшие писатели Советского Союза в выступлениях на съезде. Не стремясь, как я уже говорила, «объять необъятное», я попыталась сделать лишь кое-какие заметки на полях стенограммы съезда, заметки, посвященные одной теме, одному вопросу. Но вопросу великому и основополагающему.

Горький думал, что уже следующий съезд советских писателей «будет украшен многими десятками литераторов Запада и Востока, литераторов Китая, Индии...».

И он (так же как и Леонов) точно ощутил и предсказал если не «форму», то значение для будущего интернационального пафоса, интернациональной направленности работы Первого съезда писателей.

Все советские делегаты состоявшегося год спустя в Париже Международного конгресса писателей в защиту культуры, а также конгресса, организованного в 1937 году в осажденном фашистами Мадриде, были делегатами Первого съезда советских писателей.

За пятьдесят лет, прошедших со времени Первого всесоюзного съезда писателей, свершились те исторические события, которые изменили и соотношение сил на мировой арене, и саму карту мира. Ценой огромных усилий и огромных жертв была предотвращена та катастрофа — мировое господство фашизма,— о которой предупреждал Горький.

И хребет фашизму, в середине тридцатых годов как раз выходившему на мировую арену, был сломан прежде всего беспримерным подвигом советского народа. Содружество социалистических стран, национально-освободительные движения открыли колониальным и зависимым странам путь к новой жизни — все это вошло в плоть и кровь социалистической культуры, все это подняло на более высокую ступень литературу советскую и мировую, все это укрепило неразрывную связь прогрессивных сил нашей планеты.

Это укрепляет веру в необратимость тех исторических процессов, которые составляют содержание нашей эпохи.

Но вместе с тем активизируются и силы империалистической реакции, готовой в самоистребительном безумии обречь на гибель само человечество.

И в сегодняшней идейной борьбе с особой любовью и уважением мы берем в руки старое, грозное, нержавеющее оружие, доставшееся нам в наследство от Первого нашего всесоюзного съезда.

◆

Советская литература за рубежом

Выступая на Первом всесоюзном съезде советских писателей, Максим Горький призывал своих соратников по перу «создать ту могучую литературу, которая нужна не только нашей стране, народам нашей страны, но нужна... всему миру».

С тех пор прошло пятьдесят лет. Советская литература, принесшая в мир новые представления о жизни и человеке, о социальной справедливости и нравственных основах бытия, завоевала международное признание. Советскую книгу зарубежные читатели воспринимают и как явление художественной культуры, испытывая ее идейное, нравственное, эстетическое воздействие, и как надежный источник познаний о Советском Союзе.

О «нужности миру» нашей литературы, о ее роли в духовном формировании своих соотечественников хорошо сказал с трибуны Шестого съезда советских писателей (1976) известный немецкий писатель Герман Кант: «... реальность социалистической Германской Демократической Республики такова, что люди, которым сейчас, скажем, тридцать шесть — сорок, выросли вместе с Ниловной и Павлом Корчагиным, что свою «путевку в жизнь» они получили благодаря «Разгрому» и «Молодой гвардии», что «первые радости» они видели на морях, там, где «белеет парус одинокий», и что глубокое «счастье» и глубокую трагедию они постигли благодаря «Тихому Дону» и «Русскому лесу»... Им знакомы и «Золотая роза» и «Белый пароход», они встречались с людьми, подобными «настоящему человеку», «искателям» или «Теркину», с «сыновьями и отцами», «рожденными не солдатами», но ставшими ими во время «блокады», на «Волоколамском шоссе», на «горячем снегу» и в «бурю». Не перечисляя имен авторов, Г. Кант остроумно определил значение советской литературы цепочкой названий двух десятков наиболее популярных книг советских авторов

По признанию зарубежной прессы, во многих странах не только произведения советской классики — М. Горького, В Маяковского, А. Твардовского, М. Шолохова, но и произведения многих современных писателей прочно вошли в круг чтения. «Такие имена, как Нагибин, Распутин, Айтматов, Трифонов, могли бы сделать честь любой литературе»,— пишет норвежская газета «Дагбладет». Советская литература все чаще рассматривается как преемница традиций великих русских писателей — Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова, и это тоже свидетельство авторитета нашей культуры. О возросшем авторитете и популярности советской литературы говорят и многие другие факты.

За годы 1976—1980 книги советских авторов вышли на 47 языках мира. (Данные библиографического указателя «Произведения советских писателей в переводе на иностранные языки». М . ВГБИЛ, 1981 год.)

Василь Быков, по данным ЮНЕСКО, опубликованным и в нашей печати, является одним из самых читаемых в мире писателей.

В Японии готовится уникальное для этой страны издание — 12-томная подписная библиотека современной русской литературы, куда войдут произведения Шукшина, Астафьева, Белова, Вампилова, Искандера, Можаева, Окуджавы, Орлова, Распутина и других. Два первых тома — в них включены произведения Шукшина — уже вышли и были встречены широкой публикой с большим интересом.

Миланское издательство «Мурсиа» — одно из крупнейших в Италии — постоянно знакомит своих читателей с достижениями нашей литературы. В серии «Советская проза» уже изданы романы Бондарева, Маркова, Распутина и других. А книга Г. Троепольского «Белый Бим Черное ухо», выпущенная фло-

рентийским издательством «Джунти», была удостоена в 1981 году премии «Банкареллино». Это — премия, которую присуждают дети Италии лучшей переводной книге года.

Западногерманский актер Герхард Хаасе выступил во многих городах ФРГ с литературной композицией по поэме Евтушенко «Мама и нейтронная бомба». Чтение стихов сопровождалось исполнением музыкальных произведений (Равель, Дебюсси, мелодии ансамбля «Роллинг стоунз»), а также иллюстративным материалом — рисунки Пикассо, фотографии военных лет, диапозитивы.

В феврале 1984 года в Дели состоялся симпозиум, на котором индийские русисты — из 60 высших учебных заведений страны — обсуждали русскую «деревенскую» прозу. А в апреле этого года в Югославии Совет стружских вечеров — традиционного международного фестиваля поэзии — присудил высшую награду фестиваля «Золотой венок» советскому поэту Андрею Вознесенскому.

Расширилась и география распространения советской книги. Она выходит теперь на арабском, бенгальском, бирманском, маратхи, пенджаби, персидском, сингальском и на других языках, то есть выходит в тех странах, где раньше о ней не имели никакого представления. Наша многонациональная литература стала важной частью мирового литературного процесса. В противоборстве идей, в противоборстве добра и зла, мира и войны она завоевывает все новых друзей. Есть у нее и противники, которые предвзято, с позиций антикоммунизма толкуют ее прошлое и настоящее, а иногда отрицают и само понятие — «советская литература».

В некоторых странах наша книга встречает немало трудностей и препятствий на пути к читателю. Американская читающая публика, к примеру, очень слабо знакома с современной советской литературой. Книги советских авторов почти не переводят в США. «В атмосфере «холодной войны» становится все труднее и труднее привлекать внимание издателей к переводу произведений советских авторов»,— признавались американские переводчики, участники недавней международной встречи друзей советской книги в Москве. Даже те критики, которые не скрывают своего отрицательного отношения к нашей социальной системе, вынуждены признать, что западную литературу в Советском Союзе знают лучше, чем советскую на Западе.

Тем отраднее, когда известные писатели капиталистических стран проявляют внимание к произведениям нашей литературы, нашим литературным достижениям. Джон Апдайк выступил в журнале «Харперс» с рецензией на книгу повестей Ю. Трифонова, вышедшую в США. По горячей и настойчивой рекомендации известного английского писателя Чарльза Сноу издательством «Макмиллан» была выпущена на английском языке повесть В. Распутина «Живи и помни». Популярный французский писатель и публицист Андре Вюрмсер регулярно откликался в «Юманите» на книги советских авторов — Шукшина, Симонова, Бондарева, выходящие во Франции. Одна из последних его работ — статья о повести В. Быкова «Мертвым не больно».

В социалистических странах книжные издательства и «толстые» журналы систематически знакомят своих читателей с достижениями нашей литературы. Советская литература здесь широко распространяется, изучается, пропагандируется. У литератур европейских социалистических стран много общего, и вместе с тем в каждой стране есть своя специфика социального и духовного опыта, свои традиции, в том числе традиции восприятия русской классической и советской литературы. В Венгрии, например, советское искусство долгое время — весь хортистский период — было под запретом, осыпалось бранью и насмешками. Пропагандистам советской книги поначалу было нелегко.

В наши дни широкое сотрудничество между социалистическими странами в сфере духовной жизни, в сфере литературы выражается и в интенсивном обмене произведениями прозы, поэзии, критики, публицистики, и в совместных изданиях, и в двуязычных изданиях. Это только отдельные моменты процесса реального взаимообогащения наших литератур.

Рубрика «Советская литература за рубежом» существует в журнале «Иностранная литература» с 1981 года. Три-четыре раза в году мы сообщаем нашим читателям о том, какие книги советских авторов, в каких странах и в каких издательствах увидели свет за рубежом в последнее время. Большую помощь в этой работе оказывают журналу Всесоюзное агентство по авторским правам и Всесоюзная государственная библиотека иностранной литературы.

Данные за последние четыре года, опубликованные в нашей рубрике, не претендуют на полноту. И все же они дают основания для некоторых выводов.

Мы видим, что за рубежом по-прежнему широко издаются произведения советской классики — книги Горького, Маяковского, Шолохова, Леонова, Островского — и по-прежнему большим вниманием пользуется творчество Айтматова, Астафьева, Белова, Бондарева, Быкова, Вознесенского, Грековой, Евтушенко, Окуджавы, Распутина, Рыбакова, Симонова, Тендрякова, Трифонова, Шукшина.

За границей широко издаются и изучаются также произведения советских авторов двадцатых—тридцатых годов. Книги Бабеля вышли в ГДР, Италии, Франции; Эренбурга — в ГДР, Польше; Зощенко — в ГДР, Нидерландах, Турции; Федина — в ГДР, Италии; Ю. Олеши — в Венгрии, Польше; Мандельштама — в ГДР, Франции, ФРГ; Цветаевой — в Италии, ГДР; А. Платонова — в Нидерландах, Франции; М. Булгакова (Сочинения в 7-ми томах) — в ГДР.

Зарубежного читателя интересует не только художественная проза, но и произведения самых разных жанров. Научно-художественная биография «Иммануил Кант» А. Гулыги вышла в ФРГ (тремя изданиями), роман-эссе Л. Гинзбурга «Разбилось лишь сердце мое...» — в Болгарии, документально-художественная повесть Ю. Давыдова «Две связки писем» — в Венгрии, Польше.

Популярно и наше литературоведение: в Болгарии вышла книга Л. Леонова «Литература и время»; в Венгрии — «Франсуа Рабле, народная культура средневековья и Ренессанса» М. Бахтина; в Польше и ГДР — «Лев Толстой» В. Шкловского; во Франции — «Исторические корни волшебной сказки» В. Проппа.

Нельзя не отметить большой интерес к советской фантастике. Книги известных советских фантастов братьев Стругацких изданы за последние годы во Франции, Великобритании, ФРГ, Нидерландах, Польше, Венгрии, Финляндии; повести В. Савченко — в США, Венгрии; книги И. Ефремова — в Венгрии, ГДР; повесть В. Шефнера — в Великобритании, фантастическая повесть хирурга и ученого Н. Амосова «Записки из будущего» — в ФРГ.

И еще одно наблюдение. Зарубежные издатели стали более активно обращаться к литературам народов СССР. Наша «многоплеменная, многоязычная», по словам Горького, литература известна теперь далеко за пределами нашей родины. В социалистических странах прилагаются немалые усилия и к тому, чтобы произведения многонациональной советской литературы переводились непосредственно с языка оригинала. Только за последние годы в Болгарии были изданы книги И. Авижюса, Э. Межелайтиса, Ю. Смуула, Р. Гамзатова; в Венгрии — М. Унта, Ю. Мушкетика, О. Чиладзе; в ГДР — Э. Ветемаа, А. Нурпеисова, в Польше — Г. Матевосяна, Н. Думбадзе; в Чехословакии — Ч. Амирэджиби, М. Слуцкиса.

В этом номере публикуется очередная наша информация о книгах советских писателей, вышедших за границей в текущем году.

БОЛГАРИЯ

Роман ЙОНАСА АВИЖЮСА «Хамелеоновы цвета». Издательство «Народна култура».

Сборник повестей и рассказов АНАТОЛИЯ АНАНЬЕВА «Перевалы». Издательство «Народна младеж».

Повесть БОРИСА БАЛТЕРА «До свидания, мальчики». Издательство «Христо Г. Данов».

Роман ЮРИЯ БОНДАРЕВА «Выбор». «Партиздат».

Пьесы АЛЕКСАНДРА ВАМПИЛОВА. Издательство «Народна култура».

Роман СЕРГЕЯ ЗАЛЫГИНА «Южноамериканский вариант». Издательство «Христо Г. Данов».

Роман КОНСТАНТИНА ФЕДИНА «Необыкновенное лето». «Партиздат».

ВЕНГРИЯ

Повесть АЛЕКСАНДРА АДАМОВИЧА «Каратели». Издательство «Зрини».

Повествование в рассказах ВИКТОРА АСТАФЬЕВА «Царь-рыба». Издательство «Европа».

Роман МИХАИЛА БУЛГАКОВА «Белая гвардия». То же издательство.

Роман ИОСИФА ГЕРАСИМОВА «Эффект положения». То же издательство.

Роман ВЕНИАМИНА КАВЕРИНА «Два капитана». Издательство «Мора».

Сборник прозы МАТИ УНТА. Издательство «Европа».

Роман БУЛАТА ОКУДЖАВЫ «Бедный Авросимов». То же издательство.

Роман ЮРИЯ ОЛЕШИ «Три толстяка». Издательство «Мора».

Роман ВЛАДИМИРА САВЧЕНКО «Открытие себя». Издательство «Космос».

Роман ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Время и место». Издательство «Магветё».

ГДР

«Мой брат играет на кларнете» и другие повести АНАТОЛИЯ АЛЕКСИНА. Издательство «Киндербухферлаг».

Сборник прозаических произведений ИСААКА БАБЕЛЯ. Издательство «Фольк унд вельт».

Повесть ГРИГОРИЯ БАКЛАНОВА «Меньший среди братьев». То же издательство.

Повесть ВАСИЛИЯ БЫКОВА «Альпийская баллада». «Ферлаг дер национ».

Повесть МАКСИМА ГОРЬКОГО «Городок Окуров». Издательство «Ауфбау».

Повесть И. ГРЕКОВОЙ «Вдовий пароход». Издательство «Фольк унд вельт».

Роман САВВЫ ДАНГУЛОВА «Кузнецкий мост» (Книга 3-я). То же издательство.

Фантастическая повесть ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО «Ардабиола». То же издательство.

Роман ИВАНА ЕФРЕМОВА «Туманность Андромеды». То же издательство.

Роман ВЛАДИМИРА ОРЛОВА «Альтист Данилов». Издательство «Нойес лебен».

Повесть ЮЛИАНА СЕМЕНОВА «ТАСС уполномочен заявить...». Издательство «Фольк унд вельт».

Сборник поэм и стихов ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА. То же издательство.

Роман АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО «Аэлита». Издательство «Ауфбау».

Рассказ МИХАИЛА ШОЛОХОВА «Судьба человека». Издательство «Реклам».

ДАНИЯ

Поэма ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО «Мама и нейтронная бомба». Издательство «Спутник».

Роман МИХАИЛА ШОЛОХОВА «Тихий Дон». То же издательство.

Киноповесть «Калина красная» и рассказы ВАСИЛИЯ ШУКШИНА. То же издательство.

СБОРНИК РАССКАЗОВ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ под общим названием «Лисья усмешка». Издательство «Виндросе».

НОРВЕГИЯ

Роман ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «И дольше века длится день». Издательство «Тиден».

Рассказ ЮРИЯ НАГИБИНА «Терпение». Издательство «Каппелен».

Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Тяжелый песок». Издательство «Гюльдендаль».

ПОЛЬША

Повесть АНАТОЛИЯ АЛЕКСИНА «Безумная Евдокия». Издательство «Наша ксенгарня».

Сборник статей МИХАИЛА БАХТИНА «Вопросы литературы и эстетики». Издательство «Чительник».

Стихотворения ВЛАДИМИРА БРИТАНИШСКОГО. То же издательство.

Роман ВИЛЯ ЛИПАТОВА «Игорь Саввович». Издательство «ПИВ».

Избранные стихи ВЕЛЕМИРА ХЛЕБНИКОВА. Издательство «ЛСВ».

Рассказ МИХАИЛА ШОЛОХОВА «Судьба человека». Издательство «ПИВ».

Роман АЛЕКСАНДРА ЭБАНОИДЗЕ «Два месяца в деревне, или Брак по-имеретински». Издательство «КиВ».

ФРАНЦИЯ

«Театральный роман» МИХАИЛА БУЛГАКОВА. Издательство «Лаффон».

Повесть ВАСИЛИЯ БЫКОВА «Мертвым не больно». Издательство «Мессидор».

Книга АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО «Бесконтрольное» и повесть-притча «О». Издательство «Галлимар».

Книга ВЛАДИМИРА ПРОППА «Исторические корни волшебной сказки». То же издательство.

ФРГ

Повесть ВИКТОРА АСТАФЬЕВА «Перевал». Издательство «Парабель».

Повесть НАТАЛИИ БАРАНСКОЙ «Цвет темного меду». Издательство «Зуркамп».

Стихи АНДРЕЯ БЕЛОГО. Издательство «Тинк».

Избранные произведения АЛЕКСАНДРА БЛОКА. Издательство «Ханзер».

Повесть КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКОГО «Беспокойная юность». Издательство «Фишер».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Роман МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВА «Ивушка неплакучая». Издательство «Лидове накладателстви».

Повесть ВИКТОРА АСТАФЬЕВА «Пастух и пастушка». Издательство «Словенски списователь».

Стихотворения НИКОЛАЯ ЗАБОЛОЦКОГО. Издательство «Прагенсис».

Сборник рассказов ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА. Издательство «Ческословенски списовател».

Путевые дневники и повесть в них ВИКТОРА КОНЕЦКОГО «Вчерашние заботы». Издательство «Словенски списователь».

Роман ВИТАУТАСА СИРИОС-ГИРА «Рай» красного дерева». Издательство «Вышеград».

Роман АЛЕКСАНДРА ЧАКОВСКОГО «Блокада». Издательство «Наше войско».

ШВЕЙЦАРИЯ

Роман ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА «Огненный ангел». Издательство «Л'аж д'ом».

Поэмы СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА «Исповедь хулигана» и «Пугачев». То же издательство.

Повесть ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Живи и помни». То же издательство.

◆

Литературные портреты

ВОЛОДЯ ТЕЙТЕЛЬБОЙМ

ПУТИ И НАДЕЖДЫ ХУЛИО КОРТАСАРА

Ростом он был около двух метров и навсегда сохранил наружность подростка. Славное мальчишеское лицо. Лицо веснушчатого шотландца, сказал кто-то. И взгляд ребенка, добавил другой. Тяжелая болезнь—лейкемия—давно уже вынесла ему приговор, и он это знал. Но умер от инфаркта в больнице Сен-Лазар, куда лег всего за десять дней до смерти. Кортасару было тогда шестьдесят девять лет. 14 февраля кучка друзей проводила его с улицы Мартель, где он жил, на кладбище Монпарнас. Его похоронили рядом с могилой Бодлера. Церемония, по словам одного из друзей, прошла без всякой «официальщины», как и жизнь того, кого хоронили.

Смерть Кортасара была почти неслышной: каким-то образом она связала воедино все нити его жизни, соединила конец с началом.

Кортасар любил парадоксы в литературе [1], и судьба его тоже была не лишена парадоксов: аргентинец, он родился 26 августа 1914 года в Брюсселе, а умер, будучи формально французским гражданином. На землю своих родителей он приехал в 1918 году. Детство провел в Банфиэль, возле Буэнос-Айреса — города, который навсегда остался ему родным. Неизгладимый отпечаток наложил на него и другой город — Париж, где он жил с 1951 года.

В Париже Кортасар написал лучшие свои книги, но никогда не забывал о шумном, многолюдном городе, где провел молодость. Говорят, что в его первом романе «Выигрыши» (1960) дано метафорическое изображение Буэнос-Айреса; книга ставит перед читателем вопрос и о смысле существования этого современного Вавилона, и о смысле жизни вообще. Выпустив такие важные и сложные книги, как «Истории о кронопах и славах» (1962), «Игра в классы» (1963) — «контрроман, который можно читать разными способами»,— сборник рассказов «Все огни — огонь» (1966), книги-коллажи «Восемьдесят миров за один день» (1967), «Последний раунд» (1969), роман-лабиринт «62. Модель для сборки» (1968), «Проза-обсерватория» (1972), «Тот, кто бродит вокруг» (1977), «Некто Лукас» (1979), он возвращается к своей излюбленной теме и пишет тексты к фотографиям в книге с ностальгическим названием «Буэнос-Айрес, Буэнос-Айрес» [1].

Связь с родиной, противоречивая и изменчивая, оделила его иным видением мира, иным взглядом на литературу: «Из Аргентины уехал человек, для которого апогеем действительности, как мечтал Малларме, должна стать книга; в Париже родился тот, для кого апогеем литературы должна будет стать действительность». И далее, в том же письме от 1967 года известному кубинскому писателю Роберто Фернандесу Ретамару, он добавляет: «Мои проблемы, как ты, наверное, почувствовал, читая «Игру в классы», продолжают оставаться проблемами метафизическими: это мучительный разрыв между противоестественно ошибочным существованием нашим как индивидуумов и как народов в современном мире и предвидением будущего, когда человеческое общество поднимется наконец на новую ступень — будущего, практический прообраз которого мы видим в социализме, а духовный — в поэзии».

Хулио Кортасар стоит в ряду великих мастеров латиноамериканской литературы нашего века. Его имя присоединяют теперь к именам тех, кто связан с так называемым «латиноамериканским бумом» в литературе, но по сути дела оно возникло раньше. Быть может, писателю повезло мень-

[1] Подробнее о творчестве Х. Кортасара см.: И. Тертерян. Новейший парадоксалист («ИЛ», 1974, № 7).

[1] Рассказы и новеллы Х. Кортасара печатались в «ИЛ», 1970, № 1; 1978, № 9; 1982, № 5.

ше, чем другим, получившим столь широкого, я бы сказал — широчайшего читателя? В этом отношении его, пожалуй, не сравнишь с Гарсиа Маркесом. Однако многие считают Кортасара самым неожиданным и глубоким мастером, сумевшим разглядеть фантастическое, колдовское в повседневности, смелым экспериментатором в области литературной формы, первооткрывателем иного, удивительного мира. Его книги, которые трудно распределить по жанрам, поначалу могут ошарашить, в них есть то, что назвали умением ухватиться за раскаленный гвоздь, вбитый над пропастью,— но, вчитываясь в них, понимаешь, как они нужны людям.

Когда один любитель задавать глубокомысленные вопросы полюбопытствовал, тревожит ли Кортасара будущее романа, он ответил со свойственным ему тактом: «Меня беспокоит не столько будущее романа, сколько будущее человека». И он говорил правду. Эти слова выражали не просто точку зрения, но целую философию. «Фантаст без фантомов», как однажды сказали о нем, он, не состоя ни в какой партии, навсегда, без колебаний, вступил в ряды защитников латиноамериканских народов и латиноамериканских революций, был непримиримым противником диктаторских режимов, терзающих континент, и всех тех, кто посягает на свободу «Нашей Америки», как называл ее Хосе Марти.

В последней статье Хулио Кортасара, опубликованной в январе 1984 года,— «О различных способах убивать» — шла речь о попытках, в стиле Рейгана — Киркпатрик, потопить в крови никарагуанскую революцию: «Неужели мы оставим Никарагуа в одиночестве в этот скорбный час испытаний, воистину ее «гефсиманский час»?» И в Никарагуа хорошо знали позицию Кортасара и ценили ее. «Мы едем во Францию скорбно склонить головы у могилы брата никарагуанцев, каким был Хулио Кортасар»,— сказал министр внутренних дел этой страны, писатель Томас Борхе. Кортасар решительно отстаивал справедливое дело Никарагуа и в рафинированно-интеллектуальной среде Парижа, в атмосфере «утонченности», где хорошим тоном считается глухота к требованиям «тех, кто внизу». Он был беззаветно предан делу освобождения Латинской Америки. В январе 1983 года — и это так для него характерно — Кортасар в последний раз приехал в Гавану на заседание Постоянного комитета деятелей культуры «За суверенитет народов Нашей Америки». В некрологе «Дома Америк» («Каса де лас Америкас») говорится: «Гражданин мира, он пустил глубокие корни в нашей многострадальной земле, он защищал Чили, свою истинную родину — Аргентину, другие страны Нашей Америки». Он отдавался этой деятельности по велению сердца. И поэтому несомненно прав был испанский поэт Феликс Гранде, сказавший: «Может быть, смерть Кортасара должна представляться нам финалом своего рода истории любви».

Поселок «Пабло Неруда»

Кортасар впервые приехал в Чили в 1970 году — его пригласили присутствовать на церемонии вступления Сальвадора Альенде на пост президента республики. Писатель хотел побывать не столько на приемах, сколько в бедных рабочих предместьях. Особенно притягивало его одно, имеющее отношение к поэзии — поселок «Пабло Неруда». Я поехал вместе с ним. И увидел, как он, ошеломленный, молча созерцает невероятное сочетание нищеты с поэзией, которая утверждается здесь гордо, во весь голос. Чилийцы знают, как рождается такой поселок,— из безысходности, от нужды. Это бесстрашная и неописуемая акция, в которой участвуют тысячи бездомных семей. Они собираются вместе, тайком, под покровом ночи занимают пригородные пустыри, а на рассвете, с первыми лучами солнца, тут уже красуется скопище — нет, не домов, но жалкого подобия жилищ: маленькие, поставленные наспех палатки и лачуги, вместо пола в них подчас еще сырая глина, почти грязь, зато на крыше горделиво реет маленький чилийский флажок, как будто их обитатели хотят во всеуслышание заявить: мы — тоже Америка, у нас тоже есть право на жизнь и на кров над головой.

Когда мы приехали в поселок, там были уже намечены улицы, иные еще без домов, а просто прочерченные по земле. К шесту, воткнутому в землю на будущем перекрестке, прибили доску с надписью, сделанной четкими черными буквами: «Улица Двадцати стихотворений о любви». Дальше шла улица Собранья закатов, улица Всеобщей песни, улица Плаваний и возвращений и так далее и так далее. Удивленно смотрели на все это глаза гостя. В его взгляде читались и радость и печаль. Конечно, то не был Город солнца Кампанеллы. То был поселок «Пабло Неруда» — город в кортасаровском стиле, где ужас побеждается надеждой. И еще — здесь мы наблюдали технику, механику бунтарства в действии. Эти надписи, выведенные черными буквами, говорили о разрушении привычного, о поэзии, ставшей действенной союзницей народа — тех, у кого нет ничего, но кто бесстрашно начал путь, ведущий в завтра, в новую жизнь, тех, кто провозглашает победу фантазии и мечты, рискуя при этом свободой (позднее в тюрьме побывали многие нынешние жители поселка) и даже жизнью, не боясь отчаянных импровизаций, ибо печать импровизации лежала на всем этом скорбном, странном и прекрасном поселке-поэме.

Кортасара захватила сила воображения, мечты, способной преобразовать жизнь, когда она, мечта, становится необычным, смелым поступком, умением простого человека найти путь к свободе и сделать поэзию своим знаменем. То, на что смотрел писатель, казалось ему неправдоподобным, как полет космонавтов, и вместе с тем у него рождалось ощущение, что именно здесь лежит ключ к решению конкретных человеческих проблем. Значит, можно изменить мир, изменить красиво — так, как сделали эти люди, восставшие против привычных схем буржуазного мышления. В тот день, говорил он, ему удалось коснуться новых основ бытия, увидеть, как преображается человек под влиянием собственных поступков. А мне этот маленький пыльный поселок напомнил известную

мысль Ленина о том, что надо мечтать, но при условии, что наши мечты не должны быть оторваны от реальной действительности. Для скольких людей эти слова стали маяком!

Дома и траншеи

А потом — уже в другие времена, при других обстоятельствах — я встретился с ним в Нормандии, на вилле Ла-Манкель. Он приехал с женой поздно, в своем сером автофургоне, чем-то похожем на фургон передвижного цирка. Было воскресенье. И здесь словно повторилась, хоть и не столь грандиозно, история, описанная в рассказе «Южное шоссе». Только наоборот. Им надо было воскресным вечером выбраться из Парижа, чтобы навестить больного Пабло Неруду. Истошно сигналили автомобили, сплошная вереница «таунусов», «мерседесов-бенц», «шкод», «пежо», «рено» и «вольво» двигалась в сторону города. Для поездки требовались крепкие нервы, но Кортасар, сидевший за рулем, был терпелив и спокоен; наконец они увидели дом поэта — огромный сарай, где в стародавние времена крестьяне изготовляли черепицу.

Неруда встретил гостей, сидя в кресле. Как в рассказе «Здоровье больных», надо было делать вид, что все нормально, что нет причин для беспокойства. Но тот вечер и впрямь прошел прекрасно. Поэт был в хорошем настроении, у него ничего не болело. Разговор начался в сумерки и затянулся до двух ночи. В воздухе носилось ощущение, что здоровье Пабло не так уж плохо, и даже больше — что болезнь отступила. Хулио оставил по себе впечатление лучшего из врачей, такого, который не говорит о медицине, о лекарствах, об операциях. Я спрашивал себя, не забыл ли Кортасар, как болен поэт. Он даже не задал вопроса о здоровье. Впрочем, он приехал в Ла-Манкель вовсе не для того, чтобы беседовать о недугах, не для того, чтобы привезти пакет с фруктами и посидеть у постели. Оба писателя явно радовались встрече; они обсуждали политические события, строили планы. Конечно же, центральной темой было положение в Чили. Позже, когда посреди ночи мы вышли проводить Кортасара, он сказал мне: «Я должен больше видеться с ним».

В третий раз я встретился с Кортасаром у него дома, в Париже. Вернее, в доме его жены. Чувствовалось, что в этом особняке живут люди, за спиной у которых целые поколения, воспитанные в утонченности, в правилах строгого этикета. Меня потряс официант в белых перчатках, прислуживавший за столом,— я просто не привык видеть их в частных домах. Это выглядело как сцена из фильма. Но, разумеется, было бы бестактным делиться своими впечатлениями с кем-либо из приглашенных — я восхищался ими так же, как и хозяином дома. А кроме того, нас волновали более важные темы. Только что произошел переворот. И человек, в свое время пригласивший Кортасара в Чили на торжественную церемонию, уже погиб в пылающем президентском дворце Ла-Монеда, там же, где принимал писателя. Двенадцатью днями позже за ним последовал и хозяин виллы Ла-Манкель. Было стерто само название поселка «Пабло Неруда» и удивительные имена его улиц...

Приглашенных было трое: Габриэль Гарсиа Маркес, чилийский писатель Ариэль Дорфман и я. И обед устроили не только для того, чтобы пригубить доброе вино дружбы, но прежде всего — чтобы посоветоваться, как помочь Чили. Высказывалось много идей. Возникло предложение организовать международное сообщество, которое разоблачало бы перед общественностью преступления хунты. Меня тронули старания Кортасара сделать что-нибудь практическое. Я понял, что он один из тех деятелей культуры, которые хотят быть социально полезными. А ведь разговор происходил в тот момент, когда интеллектуальный мир Парижа захлестнула волна политического скептицизма. Считалось, что все революции ни к чему не ведут, а те писатели, художники и мыслители, которые хотели участвовать в освободительных движениях, рассматривались как люди безнадежно наивные или предатели — не ясно только, кого или что они предавали.

Кортасар не употреблял в разговоре громких слов, но ему нравилось процитировать иногда любимого поэта, вспомнить удачную фразу. «Да,— как-то сказал он,— деятели культуры не всемогущи, они не выступают, как говорил Шелли о поэтах-романтиках, в роли законодателей человечества. (При всей мягкости Кортасар вовсе не был наивен.) Деятели культуры не могут сами по себе определять судьбы наших народов, но они выполняют работу авангарда, который освещает пути в будущее — как с точки зрения прогрессивных политиков, так и тех, кто читает их очерки и статьи, романы, стихи, пьесы, смотрит фильмы и телевизионные постановки, слушает музыкальные произведения, разглядывает творения изобразительного искусства».

То был серьезный, обстоятельный разговор. Мы, оба чилийца, начинали — каждый по-своему — жизнь эмигрантов. Другие двое, большие писатели, избрали добровольное изгнание. В какой-то степени наши судьбы были схожи. Мы не могли въехать в свою страну, не могли жить в ней. Им не было запрещено вернуться на родину, но это было опасно. Они писали и публиковались за пределами своих стран, где их книги запрещались цензурой, изымались на почтах, где их боялись печатать и продавать в книжных магазинах, часто даже читать. Однако Кортасар верил, что человек интеллектуального труда способен сделать многое, так или иначе заставить услышать себя, стать сильнее угнетателей. Эта вера родилась у него под влиянием многих событий, но особенно ярким светом озарила внутренний мир писателя Кубинская революция. Ему необходимо было участвовать в процессе, ведущем к освобождению Латинской Америки. Он с грустью говорил об огромном числе неграмотных на континенте. И очень важным для него был тот факт, что революции, происходящие там, прежде всего избавляют человека от неграмотности, будят его

мысль. Кортасар считал, что труд интеллигента, совершающего эту работу, не напрасен.

Часто мы убеждаемся, что место настоящей поэзии — в бою. Разве можно забыть, что первое издание нерудовской «Испании в сердце» вышло в испанской республиканской армии, в разгар национально-революционной войны испанского народа против фашизма. Че Гевара пишет в дневнике, что носил с собой экземпляр «Всеобщей песни», и подчеркнул строки о «маленьком отважном капитане», относящиеся к Боливару. Уругвайский писатель Фернандо Бутассони рассказывает, как однажды, в июне 1983 года, нашел в траншее бойцов-сандинистов, у самой границы с Гондурасом, потрепанный экземпляр «Игры в классы»; зеленый переплет был запачкан, из корешка торчали нитки. Шел обстрел; Бутассони принялся листать роман. Боец, находившийся рядом, сказал: «Мы читаем ее все вместе. Один читает вслух, остальные слушают».

Когда Бутассони спросил, почему он думает, что место книги в траншее, а не в тылу, боец ответил: «Получается так, будто тип, который писал этот роман, воюет здесь, в окопе, вместе с нами».

«Тип, который писал этот роман», знал, как важно быть в траншее, на линии огня, воюя самым действенным своим оружием — книгами.

Духовный изгнанник

В феврале 1975 года Хулио Кортасар приехал в Мехико, чтобы принять участие в третьей сессии Международной комиссии по расследованию преступлений военной хунты в Чили. Быстрым шагом пересек он холл отеля, где проходили заседания, искоса поглядывая на фреску Диего Риверы. Слушал свидетелей, описывавших царство несказанного ужаса — убийства, пытки, исчезновение политических заключенных,— и пришел к мысли, что классическое изображение ада у Данте Алигьери выглядит почти безобидным в сравнении с этой действительностью. Потому что, «если даже мы перечтем целиком весь «Ад» Данте,— говорил он,— мы не найдем рассказа о том, как ребенка подвергают пыткам в присутствии родителей,— и продолжал: «Все, о чем мы услышали сегодня утром, непоправимо. Уже никто не вернет мертвых их родным...»

От имени чилийцев я попросил его выступить со словом о культуре. Правда, обратился к нему всего за несколько часов до заседания. Кортасар мягко посетовал, что ему не сказали раньше. Он сумел бы подготовить что-нибудь более стоящее. Но и не думал отказываться, ибо знал, что его слова очень помогут нам. В тот день писатель говорил пылко и вдохновенно. «Хотя культура — естественный элемент моей жизни, мне стыдно говорить о культуре в такой час, это словно унижает меня; и однако же, так не должно быть — сейчас необходимо говорить о культуре...» Он рассказал, что был в Чили в 1970 и в 1973 годах, в начале и в конце пребывания у власти правительства Народного единства, и по причине того, что назвал «профессиональной деформацией», обращал особое внимание на культурную жизнь Чили. Кортасар отметил изменения, происшедшие в те годы во всех предместьях Сантьяго, увидел, что книги тогда продавались повсюду и стоили не дороже пачки сигарет. В стране многое делалось, чтобы раскрепостить умы, пробудить восприимчивость к красоте, постепенно и неуклонно воспитывать человеческую личность, раскрывать способности каждого. Учение сказал Кортасар, само по себе ничего не определяет: палачи ведь тоже ходили в школы. Культура — это не только знания. «Фашизм,— заключил он,— имеет полное основание ненавидеть народную культуру и бояться ее, ибо это — серебряная пуля, которая в старинных легендах поражает кровопийцу, вампира, и восход солнца кажется еще прекраснее».

Будем же помнить его слова!

В тот раз мы не могли долго разговаривать: мне надо было уезжать. Я лишь упомянул о том, что чилийская хунта запретила продажу и распространение марксистской литературы, среди которой фигурировали «Мексиканец» Джека Лондона, а также книги Кортасара рядом с произведениями таких авторов-«марксистов», как Теккерей, Томас Манн, Пушкин, Достоевский, Герберт Уэллс, Гоголь, Чехов, Гамсун, Оскар Уайльд, Хемингуэй, Гарсиа Лорка, Сомерсет Моэм, Кафка. 11 сентября 1973 года на наших улицах запылали костры: горели рукописи чилийских писателей. В подвалах издательства «Киманту» лежало около двух миллионов томов, и все они были брошены в огонь. То, что не уничтожило пламя, пошло под нож. Прочесывались библиотеки университетов, профсоюзов, крестьянских общин, жгли книги, отобранные в домах при обысках. Говорили мы и о том, как расправилась хунта с учебными материалами, со школьной программой. Было запрещено преподавание истории Французской революции, да и почти всей истории, поскольку «это могло бы вызвать политические дискуссии». Попало под запрет изучение проблем современной экономики. Что касается философии, то разрешалось знакомить лишь с античными философами. Взамен запрещенных книг — в том числе и произведений «опасного» писателя Хулио Кортасара — чилийцам предписывалось изучать заявления хунты, материалы официальных пресс-конференций, распоряжения и речи генералов...

Мы наскоро распрощались. И весьма вовремя: в Мехико вот-вот должны были приехать наемные убийцы во главе с агентом ДИНА[1] и ЦРУ, североамериканским гангстером Майклом Таунли — им было поручено нас убить. Конечно, тогда мы этого не знали, но отъезд из Мексики оказался спасительным.

Хулио Кортасар всегда был точен и не опаздывал на встречи. В мае 1979 года он приехал в родной город Коперника, старинный Торунь. Здесь, на берегах Вислы

[1] ДИНА — пиночетовская контрразведка.

чилийский художник Роберто Матта огласил свое страстное заявление; он призывал «без страха открыть глаза-глагол в область инфракрасного», ибо мы «точно слепые, которые видят лишь во сне». Необходимо, провозглашал он, «видеть всю правду внутренним оком».

Кортасар воспринимал действительность так же непосредственно, как и Роберто Матта, и тоже, но на свой лад, призывал видеть мир внутренним оком — оком совести. Чтобы вырваться из темной шахты, утверждает Матта, надо «перестроить умы интеллигенции». Кортасар выразил это по-иному, менее метафорично: «Мы, писатели, выступающие за дело народов, которые, подобно народу Чили, страдают от угнетения и несправедливости, переживаем сейчас особенно трудные годы, но трудность эта — условие sine qua non, непременное условие всякой истинно передовой, истинно прогрессивной литературы, и поэтому такие трудности не имеют для нас негативного смысла; совсем наоборот, они наполняют нас страстностью, становятся еще одной причиной чтобы писать».

Далекий от тщеславия, он ясно понимал, что его путь — это путь не одинокого художника, а мужественного борца. В мрачные 1940—1941-й годы, вспоминал он, в Буэнос-Айресе на коротких волнах звучала нацистская пропаганда. Каждая программа начиналась словами: «Говорит Германия, защитница культуры». Последователи Гитлера в Чили, Аргентине, Уругвае тоже говорили о культуре. Для Кортасара культура несовместима с уничтожением человека. Интеллигент должен полностью осознать свой долг, выиграть сражение против уныния и пессимизма и твердо понять, что культура — боевое оружие.

Ко времени встречи в Торуне прошло уже шесть лет после военного переворота в Чили и три — после переворота в Аргентине. Сходство между событиями по обе стороны Анд было слишком велико, чтобы показаться случайностью. «Два года назад моя книга,— говорил Кортасар,— была запрещена в Аргентине, потому что содержала, среди прочих, два рассказа, которые военная хунта сочла оскорбительными для режима». И после этого писатель со всей ясностью ощутил, что он не просто эмигрант, но духовный изгнанник. Однако по сути дела, считал Кортасар, настоящим изгнанником был аргентинский народ, отгороженный, оторванный от художественных, литературных, научных ценностей, которые создавали лучшие его творцы. То же можно сказать и о чилийском народе, о народах Уругвая и Парагвая. Но народ не заставишь замолчать; художники, живущие внутри страны, даже под страхом смерти будут продолжать работу. Возникает культурное сопротивление: поначалу почти целиком подпольное, оно выходит затем на улицы, становится коллективным, даже массовым. Кортасар цитировал лозунг, написанный на плакате, который ему привезли из Чили: «Берегись! На улице — поэзия!»

Всю жизнь Кортасар оставался верен своим принципам, не разрешая приспешникам реакционных режимов манипулировать ни его произведениями, ни его именем и, напротив, сотрудничая в передовой, борющейся прессе. Так, он послал резкое письмо в реакционную чилийскую газету «Меркурио», протестуя против перепечатки в ней серии его статей, помещенных во многих латиноамериканских и испанских газетах, и подчеркнул, что считает своим долгом в эти дни писать только для прессы, выражающей мнение и волю народов. Мы, чилийцы, издатели журнала «Араукария», можем полностью подтвердить справедливость его слов. С безграничной щедростью и охотой откликался он на наши просьбы, зная, что его имя поможет журналу приобрести читателей, завоевать престиж. И надо добавить еще вот что: если его просили написать статью, он никогда не ссылался на занятость, не уклонялся, не заводил речь об отсрочках. Он выглядел человеком, с удовольствием выполняющим свою работу. И мы не забудем его благородства, его готовности помочь, его широкой, теплой улыбки.

Выступая в Торуне, Кортасар призвал деятелей культуры уподобиться древнеримскому трибуну, который не уставал повторять, что Карфаген должен быть разрушен. Надо упорно и настойчиво бороться и в области культуры (хотя, подчеркивал он, это только одна из сторон борьбы) до тех пор, пока не будет разрушен «этот фашистский Карфаген, поработивший мирный, свободолюбивый и веселый народ». В заключение он сказал: «Чилийский народ поверит в нас лишь тогда, когда будет убежден, что наши слова и наши книги соответствуют нашим поступкам». В его случае тут не было противоречия. Он следовал этому принципу до конца.

Рассказы

В конце октября 1980 года, за несколько дней до избрания Рейгана президентом США, мы встретились с Кортасаром в Калифорнии, в Пало-Альто, у чилийского писателя Фернандо Алегриа. Кортасар читал курс лекций в университете Беркли. В них писатель говорил о литературе и о ее связи с жизнью. Он утверждал, что понимать мир — значит работать в нем. Его книги — вовсе не упражнения в бегстве от действительности, его фантазия не уводит от людей, а помогает нащупать контакты с ними. Очистить повседневность от тусклости привычного, сражаться против оледенения духа, иными словами, преобразить человека,— в этом суть эстетики Кортасара.

Наш разговор то и дело возвращался к предстоящим выборам. Миру грозила опасность. По вине Рейгана земной шар мог оказаться на грани ядерной войны. Кортасар утверждал, что реальность может быть намного страшнее любых фантазий.

В Беркли Кортасар беседовал со студентами о мировом значении испаноязычной литературы, которая во второй половине XX века достигает небывалого расцвета, но при этом не отрывается от корней. Литературы Латинской Америки, утверждал он, достигли зрелости и стали всемирным явлением, не теряя при этом своих особенностей. Один из университетских

курсов в Соединенных Штатах он, словно поддразнивая слушателей, назвал «Аргентинский язык». И любой читатель может заметить, что, хотя Кортасар не культивирует креолизм, его произведения имеют безошибочно аргентинскую окраску.

И все же Кортасар — загадка. Эвелин Пикон Гарфилд написала книгу в 266 страниц (она вышла в мадридском издательстве «Гредос»), озаглавленную «Сюрреалист ли Хулио Кортасар?». Ответить на этот вопрос можно и так: Кортасар — житель Буэнос-Айреса, обитавший в Париже.

Наша следующая встреча была спокойной, совсем домашней. Мы вошли в старый кирпичный парижский дом, довольно скромный, без лифта, и позвонили в одну из квартир. Нам открыла немолодая француженка и, не дожидаясь вопросов, указала наверх большим пальцем, добавив: «Это этажом выше». Оказалось — вот вам пример абсурда в повседневной жизни — что у обеих квартир одинаковые номера. Такое совпадение не раз доставляло неприятности и Кортасару, и его гостям. Однако нам повезло, мы сумели найти того, кого искали, и провели мирный уютный вечер. Хулио, похожий на большого ребенка, старательно мыл тарелки; видно было, что он охотно разделяет с молодой женой домашние заботы; он улыбался, шутил, и вокруг царила атмосфера теплоты, наконец обретенного семейного счастья. Потом он принялся ходить по комнате, протянув длинную руку, снял с полки пластинку нам в подарок — то были танго на слова Кортасара в исполнении группы «Седрон». И разговор снова перешел на тему, скользящую по его рассказам,— джаз. Он с удовольствием объяснял особенности джаза разных эпох и стилей, он любил эту музыку, в которой есть нечто необычное, удивительное, отстраненное.

Потом Кортасар был нашим почетным гостем. Не дома, а в театре Жана-Луи Барро и Мадлен Рено, где мы отмечали пятую годовщину журнала «Араукария». Кортасар только что приехал из Никарагуа, где получил орден Рубена Дарио[1] — высшую награду страны. Для него эта награда означала «как бы конец долгого-долгого странствия по землям и морям времени, завершение пути, длившегося целую жизнь, которая вступает в пору заката, ничем не гордясь, но и не склонив головы».

Закат. Ничем не гордиться. Не склонять головы. Вот автопортрет человека, который знает, что может спокойно умереть в любую минуту, ибо ему нечего стыдиться за свои поступки. В час, когда вспоминаешь о детстве, вспоминаешь «Беседу кентавров», первую далекую встречу с Рубеном Дарио. Никарагуа, сказал Кортасар, не Аркадия; ее дорогам далеко до швейцарских. Но в этой бедной стране, где одна часть народа обучила другую, революционная культура похожа на стаю птиц, парящую в вышине. «Стая одна и та же, но каждую секунду ее контур, порядок птиц и скорость полета меняются: стая то взмывает вверх, то падает вниз, вычерчивая новый волшебный рисунок». Кортасар был убежден, что именно такой и должна стать человеческая культура. Он всегда считал литературу делом серьезным, но увиденное в Никарагуа убедило его, что литература там не соль или сахар, не приправа, которую добавляют, чтобы придать вкус блюду; там, говорил он, это одно и то же: приправа и есть пища.

Значит, равнозначны литература и жизнь со всеми ее поворотами, сложностями и загадками, со всеми ее законами, исключениями и случайностями. Оливейра — герой «Игры в классы» — как-то сказал, что надо «защищать жизнью идеи, несущие освобождение народам». После получения ордена Рубена Дарио Кортасар не переставал думать о Никарагуа. Он сказал мне, что его тревожит все более разреженная атмосфера вокруг этой страны, создаваемая политикой Рейгана, что, пока жив, он будет непрерывно искать способы помочь Никарагуа.

Последний раз я видел его в здании ЮНЕСКО в Париже. Там к нему относились как к своему. И вправду, то был словно его дом. Долгие годы работал он в ЮНЕСКО переводчиком. В стенах этого здания находил друзей на всю жизнь. В тот день почетной гостьей здесь была вдова Пабло Неруды Матильде Уррутиа, приехавшая на вечер, посвященный памяти великого чилийца. Вечер получился удивительный. Кортасар говорил о певце и страннике Неруде, поэте, оказавшем на него такое влияние в ранней молодости. Неруда стал как бы краеугольным камнем в формировании его литературных вкусов, озарил его, как молния, убедил, что можно сделать невероятное. И все это Кортасар поведал нам мягко, проникновенно, отодвигая себя на второй план.

Однажды Кортасар назвал себя охотником на мошек, которого ничуть не занимают смутные взаимоотношения со славой. В тот раз я спросил его, что он пишет. Он ответил одним словом — рассказы, точно хотел сказать: всякие истории, ничего существенного. Рассказы, необходимые или не столь уж необходимые вещицы, пустяки — или все на свете; рассказы-лабиринты, маленькие обманы при участии читателя — или большие истины. И, однако, эти произведения Кортасара открывают нам внутренние связи сущего.

Тогда я не знал, что вижу его в последний раз.

Провозвестник открытий

В конце января я был в Париже и сразу же спросил про Кортасара. Мне хотелось его повидать. Он болен, услышал я в ответ. Еще не раз пробовал я попасть к нему, но безуспешно. Как-то не приходило в голову, что Кортасар может умереть. Вероятно, оттого, что великий писатель — а он был великим писателем — воплощается или перевоплощается, по-моему, в свои книги и в разные времена может давать разные ответы. Я его так и не увидел — и теперь в моей памяти Кортасар запечатлелся чередой образов, двойников, выглядывающих из его книг. Если природа—

[1] С речью Х. Кортасара, произнесенной при вручении этой награды, знакомит читателя «ИЛ», № 4, 1984.

это пространство, то время — это человек, переменчивое, преходящее существо, которое иногда способно, как это удалось Кортасару, оставить свой след на земле.

За год до смерти он заявил в печати: у него такое ощущение, что ему не хватит времени написать книги, которые хотелось бы написать, и увидеть, как осуществятся идеалы, за которые он боролся. «Немного грустно,— сказал он кубинской журналистке Анубис Галарди,— думать о том, что время для меня убывает. Я ясно понимаю, что не увижу, как сбудутся мои мечты, как Латинская Америка добьется полного суверенитета, но это никоим образом не заставляет меня считать, что я проиграл». Он говорил Галарди, что с детства восставал против смерти: «Смерть всегда была для меня неким безобразием, страшной несправедливостью по отношению к жизни». И он решил разведать, в чем ее волшебство, докопаться до ее тайны. «Поэтому все оставило на мне такие глубокие отметины: любовь, разочарование, болезнь — все это я изведал сполна. Каждая минута была для меня важной, значительной».

В юности он писал стихи, потом превратился в рассказчика, но поэзия продолжала быть его тайной любовью, неким личным дневником. В интервью он сказал кое-что и об этом: «В конце жизненного пути мне приятно думать, что эти стихи будут читать те, кто меня любит. Поэтому я собрал их и решил опубликовать в книге под названием «Если это вечер». Когда его попросили подвести кое-какие итоги, он сказал: «Я доволен, что написал свои рассказы — их около восьмидесяти — и такой роман, как «Игра в классы». И тут же со смущением добавил: «Для писателя книги — точно дети, и как это бывает, иногда родители особенно любят одного из них, независимо от достоинств и недостатков. Так произошло с книгой «62. Модель для сборки», она для меня вроде маленькой дочки, некрасивой, зато в глубине души самой любимой».

В книге «Автонавты космострады» (созданной в соавторстве с женой, Кароль Данлоп) автомобиль ползет по шоссе, как черепаха. Тридцать три дня от Парижа до Марселя. Это не такая вечность, как в «Южном шоссе», где путешествие длится — или застывает на месте — целый год. Тридцать три дня — как это мало. Последняя короткая дорога любви. Месяц безраздельного счастья. «Как быстро все кончилось!..» Не будем говорить здесь о финале. Влюбленные умрут чуть позже. Как Ромео и Джульетта — не одновременно, но от одного недуга.

В месяц смерти Кортасара вышла последняя его книга «Никарагуа, неистовая и нежная». Авторские права на нее — как на книгу «Автонавты космострады» (1983) — он полностью передал никарагуанскому народу. А в свое время, в 1973 году, деньги, полученные вместе с премией «Медичи» за роман «Книга Мануэля» (премия эта присуждается во Франции за лучшую переводную книгу года), он передал борцам за свободу Чили.

В декабре прошлого года Хулио Кортасар после многолетнего отсутствия вернулся в Буэнос-Айрес. Он хотел повидать свою мать и свою страну. Кортасар постоянно переписывался с матерью, уединенно живущей в аргентинской столице. В письмах она бранила его, называла лентяем. «Ты должен больше работать, прежде выходили твои статьи в газетах, рецензии на твои книги, но уже давно я не встречаю ни строчки». Сын грустно улыбался: добрая старушка и не подозревала, что его имя было запрещено аргентинской военной хунтой.

Кортасар оставался в Буэнос-Айресе чуть больше недели — болезнь подгоняла его. Приезд его прошел почти незамеченным. Он был слишком скромен, чтобы требовать к себе внимания, а страна бурлила в ожидании больших перемен. Столь же тихим было и его возвращение в Париж. Кортасар оставался аргентинцем до конца своих дней. Напечатал немало статей, направленных против военной диктатуры, боролся за восстановление в родной стране прав человека. Когда в 1981 году ему выдали французский паспорт, ничего не изменилось. До последних месяцев жизни он каждый четверг приходил вместе с другими эмигрантами к аргентинскому посольству в Париже, протестуя против репрессий, похищений людей, требуя выяснить судьбы пропавших без вести.

Многие считают, что Хулио Кортасар был Колумбом, открывшим Европе латиноамериканскую литературу, пожалуй, раньше, чем сделали это Алехо Карпентьер и Гарсиа Маркес. Проза Кортасара виртуозна и сугубо интеллектуальна, но, изображая ситуации, на первый взгляд невероятные, он захватывает, будоражит читателя, умеет пробудить в нем совесть.

Кортасар постоянно переводил — не только для ЮНЕСКО, но и для разных издательств. Настоящими шедеврами стали его переводы из Эдгара По.

Человек, уходя, оставляет свой портрет неоконченным. И по законам бессмертия — а именно им подчинена судьба Кортасара — живым предстоит дописывать этот портрет, печалясь об ушедшем и дивясь светлым глубинам его открытий.

Перевод с испанского
ВЕРОНИКИ СПАССКОЙ

◆

ВОЙНА, ПОЛИТИКА И ПРЕССА

«Сальвадор после Вьетнама: знакомая картина»

«*Америка воюет*» — эти слова, вынесенные на обложку одного из недавних номеров американского еженедельника «Ньюсуик», отражают суть политики теперешней администрации США, претендующей на господство в глобальном и космическом масштабе. Почти четверть века назад объявленный Дж. Ф. Кеннеди курс «Новые рубежи» обернулся для Америки позорным поражением во Вьетнаме, общественным кризисом, крушением традиционных представлений, образующих костяк «американской мечты». «Раны Вьетнама» не зажили и сегодня. И нынешний президент хотел бы вычеркнуть из памяти народа воспоминания о «непопулярной войне», о «другой Америке», возвысившей тогда голос против всего, что заставило признать американское общество «больным», и сегодня, почти десять лет спустя после окончания войны, борющейся за предотвращение новых Вьетнамов.

«*Эра неуверенности в себе позади*», — заявил президент в одном из выступлений в кузнице армейских кадров Вест-Пойнте. Теперешняя администрация стремится сплотить нацию идеей реванша, заботясь о том, чтобы средства массовой информации укоренили в сознании американцев восприятие каждого нового локального конфликта как неизбежного шага единой глобальной стратегии защиты жизненных интересов США, главных хранителей «свободного мира». Тот же «Ньюсуик», например, напечатал репортаж об одной из частей специального назначения, проходящих подготовку перед отправкой за рубеж.

«Наши лидеры сознают,— заявил один из будущих «защитников мира»,— настоятельную необходимость восстановить былую гордость армии. Мы, черт возьми, лучше наших послужных списков, но нам никогда не выбраться из-под них, пока мы не победим. Нам страшно нужна победа — все равно где... Американцы хотят всего и сразу».

В конце войны во Вьетнаме и вскоре после нее американские журналисты, а вслед за ними ветераны, социологи и психологи сделали немало, чтобы показать Америке подлинное лицо войны. Недаром сегодняшние реваншисты хотели бы переключить общественное недовольство с тех, кто развязал войну, на тех, кто ее критиковал. Лучшие из появившихся за это время книг о Вьетнаме написаны журналистами. Для художественной литературы Вьетнам и сегодня остается слишком «горячей» историей. Лишь один из крупных американских писателей, Джеймс Джонс, решился взяться за эту тему, опубликовав «Вьетнамский дневник», к сожалению не делающий ему чести[1].

О том, что Вьетнам, по образному выражению одного из историков США, «застрял в горле Америки, словно кость»,

[1] «Viet Journal» (1974) явился результатом краткого визита писателя во Вьетнам по приглашению друга-генерала. Книга проникнута сочувствием к представителям американской армии, раздражением по отношению к стране, где Америка проигрывает войну, и тем представителям либеральной Америки, которые «исказили» подлинную картину этой войны и таким образом «оклеветали» свою страну, способствовали ее поражению. «Мои друзья-либералы скажут, что армейские промыли мне мозги...» — писал Джонс, понимая, что эта книга вызовет много возражений. И в своей публицистической книге о второй мировой войне «WW II» (1975) Джонс прежде всего пишет о бесчеловечности, противоестественности войны, независимо от ее характера.

свидетельствует резко обострившееся в начале 80-х годов внимание средств массовой информации к «неоконченной войне».

На обложке декабрьского номера 1983 года журнала «Коламбиа джорнализм ревью» во весь угол цветная фотография: сидящий на подножке вертолета вооруженный до зубов американский солдат, а внизу, под его ногами, раскинулась зеленая, далекая и нереальная с такой высоты, но четко различимая, как на экране телевизора, чья-то земля. Главные темы номера вынесены на его обложку и набраны крупными красными буквами: ВОЙНА, ПОЛИТИКА И НАША ПРЕССА. Автор первой статьи «О лице Сальвадора» Майкл Массинг пишет о начатой в марте прошлого года кампании по приведению информации, поступающей из Сальвадора, в «товарный» вид. Президент обрушился тогда на репортеров, сообщавших о фактах, неприятных для правительства США. На самом деле, считает автор, ему следовало бы говорить о том, как легко удалось справиться с «жесткой» прессой: теперь неугодные сообщения не пропускают, из Сальвадора убрали всех репортеров, хорошо знающих страну, некоторых под угрозой смерти. Эти корреспонденты, утверждает Массинг,

«лишь сообщали о делах наших друзей в Сальвадоре, которые творят такие вещи которые взволновали бы читателей в любой стране». «...возникают существенные вопросы: насколько свободна американская пресса в Сальвадоре и нужно ли США поддерживать столь тесный контакт с силами безопасности правящего в Сальвадоре режима?»

Сегодня немногие журналисты задают эти вопросы; по мнению Массинга, это является совершенно очевидным доказательством, что правительство успешно манипулирует прессой. Особенно широкий резонанс имела история Рея Боннера, корреспондента «Нью-Йорк таймс» в Сальвадоре. Адвокат по образованию, он начинал карьеру у известного «журналиста-расследователя» Ральфа Надера. В Сальвадор он попал в 1980 году, имея за плечами лишь полтора года журналистской работы. Но очень быстро Боннер приобрел известность тем, что, по словам одного из его коллег:

«Он разрушил официальную версию о Сальвадоре».

Как утверждал другой его коллега:

«Обычно у репортеров кишка тонка, чтобы участвовать в операциях партизан или им не хватает пороху, чтобы выступать против политики правительства, когда их корреспонденции ежедневно читают конгрессмены. А корреспонденции Боннера были великолепны. Их смысл состоял в том, что правительство США, будучи заинтересованной стороной, распространяет о положении в стране ложную информацию. Кому-то нужно было сказать правду, и Боннер сделал это».

По свидетельству одного из редакторов «Нью-Йорк таймс», Розенталя, правительство очень часто дает понять, что тот или иной корреспондент неугоден в той или иной стране. Он сам, например, был отозван из Польши. В таких случаях журналист становится «противоречивой» фигурой. В крупных газетах не любят, когда, как принято говорить, «журналист становится больше поставляемой им информации». Газета предпочитает «объективного сборщика информации», то есть корреспондента, чьи сообщения не выделяются из общего потока материалов, ориентированных на позицию правительства. Рей Боннер, «не будучи профессионалом», не учел этого правила.

Но, как подчеркнул Розенталь, любое утверждение о том, что правительство оказало давление на газету, можно было бы назвать

«...мифом... Никогда никто из представителей посольства США в Сальвадоре или правительственных чиновников не давал мне указаний отозвать Боннера. Они слишком тонко работают и не допускают таких промахов».

«Атака справа, — пишет М. Массинг, — *была яростной».*

Особенно постаралась газета «Уолл-стрит джорнал», которая обвинила Боннера в непрофессиональной доверчивости к партизанам и романтизме в отношении их, сравнила его со знаменитым корреспондентом «Таймс» Гербертом Мэтьюсом, который был с Фиделем Кастро в горах Сьерра-Маэстра и брал у него интервью.

Однажды, когда Боннер обедал в ресторане, ему сообщили, что военная хунта охотится за ним. Три дня он скрывался в американском посольстве в Сальвадоре, а на четвертый ему удалось нелегально пересечь границу Перу и таким образом спастись.

С Реем Боннером обошлись либерально. Вспомним подлинную историю, которая легла в основу американского фильма «Без вести пропавший»: как утверждало посольство США в Чили, молодой американский журналист пропал без вести во время переворота, осуществленного военной хунтой. Как выяснилось, он был уничтожен чилийской хунтой по указанию американского посольства в Чили, поскольку располагал доказательствами причастности ЦРУ к перевороту.

Автор статьи «Так что же — была пресса причиной поражения во Вьетнаме или нет?» Чарльз Мор анализирует утверждение правительства о том, что пресса была причиной поражения Америки во Вьетнаме. Сегодня, пишет он, многие пересматривают факты, о которых сообщали американские средства информации в ходе войны.

«Ревизионисты», пишет Ч. Мор, ставший известным журналистом во Вьетнаме, утверждают сегодня, что «истерические репортажи» из Вьетнама вызвали внутриполитический кризис в США, а телевизионные передачи породили «фатальное отвращение» к войне. Сегодня они обвиняют журналистов, работающих в Латинской Америке, «в этих же грехах».

«Большинство этих людей не являются историками и не пользуются соответственной методикой».

На деле же, пишет Ч. Мор, и тогда и сегодня правительство и армейские верхи не устраивают сами факты, а не их оценка:

«Корреспонденты ничего не придумывали и ничего не преувеличивали. Большинство репортеров, и я сам в их числе, поддерживали политику правительства».

Критика касалась лишь методов ведения войны, утверждает автор:

«В основном своем потоке информация была осторожной и успокоительной. Возможно, оглядываясь сегодня назад, ее нужно оценить как излишне успокоительную.

Просматривая сегодня телевизионную хронику тех лет, поражаешься, как далека была Америка от мировой истории, как защищена от войн, терзавших мир... Почему же ее не волновали фотографии прежних войн?.. Сегодня особенно очевидно, насколько телевидение стремилось акцентировать все, что обещало победу, неизменно подчеркивая при этом необходимость усиления борьбы, диктуемую угрозой со стороны противника».

Третий материал номера «Зеленые береты из нашей прессы» Алана Прендергаста рассказывает о корреспондентах американского журнала «Солджер оф форчун» («Солдат удачи»), которые гордятся, что могут делать то, что официально запрещено американским военным советникам в Сальвадоре — принимать непосредственное участие в боевых операциях. «Коламбиа джорнализм ревью» помещает фотографию двоих из этих «парней в кустах», снявшихся на фоне трупов сальвадорских партизан. Журнал «Солдат удачи», рассказывает автор, печатает воспоминания невоспетых «героев» Вьетнама, рекламирует новое оружие, дает инструкции по ведению партизанской войны. Главный его хлеб — репортажи с места боя: «Горящая Африка», «Гватемала: страна, где мы можем победить», «Сражаясь в Сальвадоре: США забыли, как выигрывать войны?» и т. п. Он предлагает читателю армейский жаргон, захватывающие детали, гордится своим бешеным антикоммунизмом, не жалеет красок, рисуя образ современного американского солдата, «одинокого волка».

«И хотя,— пишет А. Прендергаст,— неофициальный девиз журнала: «Смерть тиранам», на деле он поддерживает любой реакционный, прозападный, враждебный СССР режим...

Именно эта мысль так дорога тем, кто вырабатывает стратегию США: сегодня необходимо убедить всех оппонентов внутри страны и за ее пределами, что не сама война является недопустимым средством решения каких-либо проблем, а ошибки, которые привели США к поражению. Г. Киссинджер, например, готов сегодня признать, что Вьетнам был ошибкой: Америка не учла целый ряд оказавшихся существенными моментов.

Сегодня тогдашний госсекретарь, историк по образованию, заявляет:

«Мы пришли в Центральную Америку не для переговоров. Мы пришли... как и в другие страны — учиться».

Нужно учиться побеждать — в войне с коммунизмом. Этой задаче подчинена сегодня американская пропаганда, усилия которой и способствуют популярности журнала «Солдат удачи», чьи читатели — это главным образом резервисты и военнослужащие. Его редактор Р. К. Браун не может похвастать своим пером, но за его плечами солидный опыт офицера ЦРУ в Юго-Восточной Азии, участия в операциях «зеленых беретов», он кавалер боевых наград «Бронзовая звезда» и «Алое сердце». Р. К. Браун считает разумным использовать американских военных советников в Сальвадоре непосредственно в деле, провести вербовку соответствующих кадров среди ветеранов Вьетнама.

Как видим, и политики и журналисты разных убеждений связывают свои размышления о перспективах Америки с опытом Вьетнама. Наиболее ярким и характерным образцом обострившейся сегодня полемики стал телевизионный сериал «Вьетнам: история», снятый Р. Эллисоном по вышедшей в конце прошлого года одновременно с фильмом, одноименной книге Стэнли Карноу. Этот четырнадцатичастный фильм — самая грандиозная работа телевидения США: он обошелся в четыре с половиной миллиона долларов, потребовал шести лет труда в 70 архивах мира. Чисто по-американски все рецензенты прежде всего сообщают эти впечатляющие цифры. Большинство из них положительно оценивают декларированный создателями картины (автор книги является сценаристом) объективизм, желание предоставить зрителю и читателю возможность самому «думать, судить о событиях».

Однако фильм вызвал и некоторое раздражение. Так «Ньюсуик» заметил, что он дает основания и для недовольства и для удовлетворения как «голубям», так и «ястребам». «Тайм» высказался более определенно: почти десять лет не было ни фильмов, ни парадов... Журнал назвал фильм «Телевизионным памятником телевизионной войне», в котором особенно ценны исторические детали. Но рецензент обвинил авторов в излишнем внимании к разрушительной деятельности США во Вьетнаме.

Характерен вывод:

«Картина помогает тем, кто не знал войны, понять ее, а тем, кто знал, возможно, примириться с ней»,

то есть картина работает по принципу: объяснить, оправдать (понять — простить) и помочь забыть.

По-иному видятся плоды «объективности» авторов картины рецензенту журнала «Нэйшн» Питеру Бискайнду, который считает, что именно последнее обстоятельство и обеспечило фильму «Вьетнам: история» столь широкую благожелательную

прессу, тогда как другие, действительно более объективные картины были обойдены молчанием.

«Что дает эта множественность точек зрения, проясняет ли она правду или стирает ее? Не является ли принцип баланса идеологическим артифактом, помогающим центру (который в конечном счете и вел войну) в его стремлении обезвредить критику справа и слева».

Анализируя, например, эпизод, аналогичный Сонгми, автор утверждает, что вопрос о достоверности факта остается открытым:

«Что вообще такое баланс, цифры, акценты, расставленные авторами картины? В данном случае левые услышат вьетнамцев, правые — морских пехотинцев, а центр, выслушав обе стороны, скажет: Вьетнам был трагедией, в которой никто не виноват».

П. Бискайнд подчеркивает, что сама терминология, используемая «объективным» голосом за кадром, свидетельствует об эмоциональной причастности авторов к оценке событий. Так, Хо Ши Мин и его сторонники — «мятежники» и «националисты», пока речь идет об их войне против французов, когда же в конфликт вступают американцы, они превращаются в «коммунистов».

«В фильме нет и намека на всю глубину расизма,— пишет П. Бискайнд,— который насаждался правительством и генералитетом, на знаменитый призыв «вернуть Вьетнам в средние века бомбежками»... Наоборот, политики и генералы — хорошие, разумные люди, американцы выглядят с экрана лучше французов. Что, наша война была более справедливой? Или в 1964, 1974 годах вьетнамцы больше заслуживали смерти, чем в 1954-м?

Нет, конечно. Напрашивается вывод, что, будучи американцами, создатели фильма сняли его в Америке, главным образом на американские деньги и для американцев, придя при этом к удобному заключению о том, что, если наша война и не была более справедливой, то она была более «сложной». Гнев остался за кадром, в нем присутствует сочувствие к представителям Америки. Десять лет спустя мы выглядим на экране гораздо рассудительней... Поразительно, что выражение «американский империализм» используется в картине только свидетелями из Северного Вьетнама, создатели не дали слова ни одному из видных представителей протестовавшей против войны Америки...

Памятуя о нашей широко известной способности забывать историю... мы можем позволить себе вспомнить недавнюю войну во Вьетнаме и послушать, что говорят граждане этой страны. Подхватив определение Майкла Арлена, назвавшего свою книгу «Война в гостиной»[1]*, вьетнамскую войну стали называть «первой телевизионной войной Америки». А поскольку средства массовой информации не были допущены в Гренаду, Вьетнам может остаться и последней американской войной, которую страна увидит на своих экранах...*

Авторы фильма не смогли ответить и на поставленный ими же в начале картины вопрос: чем был Вьетнам для Америки — благородной миссией или позорным предприятием? Правда состоит в том, что эта война была преступлением. Трагедией же является тот факт, что у авторов фильма не хватило убежденности, чтобы заявить об этом. В своем стремлении угодить всем и во всем создатели фильма не справляются даже с собственной задачей — поддержать позицию центра. Их фильм играет на руку правым силам. Левых же он еще раз убеждает в том, что Америка — «аморальная империалистическая держава». Сегодня очевидно, что мы в своей политике сделали полный круг».

Такова же, по мнению П. Бискайнда, и книга Карноу объемом в 750 страниц. Стэнли Карноу начинал свою карьеру в журналах знаменитого своими реакционными взглядами создателя современной американской прессы Генри Люса, чья «тяжелая рука» угадывается уже в первых абзацах книги.

«С нашими ребятами, погибшими во Вьетнаме, умерла мечта об «американском веке»,— пишет Стэнли Карноу.

«Много фактов, мало анализа и много трепа»,— заключает рецензент «Нэйшн».— *Для политического обозревателя у Карноу слишком рудиментарные представления о политике. Попробовал бы он предложить свою формулу: «Война без победителей, война между жертвами» вьетнамцам».*

Напомним, однако, что и тех американцев, которые писали «горячую» историю войны во Вьетнаме, в подавляющем большинстве мало интересовало мнение вьетнамцев. Их волновало настоящее и будущее собственной страны, престижу которой война наносила непоправимый урон. Наблюдая ее в самом Вьетнаме, они писали о том, что «ошибки» политиков и генералов оборачиваются «Апокалипсисом сейчас»[2]. Эти корреспонденции и книги, которые читала вся Америка, и сегодня мешают историкам приучать страну думать о войне во Вьетнаме «спокойно, как о Троянской войне».

Нынешнему хозяину Белого дома хотелось бы быть популярным и среди тех, кто обвиняет его предшественников в том, что во Вьетнаме Америка вела себя «не как мировой жандарм, а как нянька» и среди новобранцев. Естественно, что его и его единомышленников раздражают прогнозы социологов и психологов, занятых искалеченными судьбами ветеранов Вьетнама: по их мнению, и к 1990 году пик самоубийств среди ветеранов еще не будет достигнут.

«Ветераны вернулись домой без победы,— заявил президент,— потому что им

[1] Автор разоблачает американское телевидение, превратившее войну в привычный киносериал, военную игру.

[2] Одноименный фильм Ф. Копполы, снятый по сценарию М. Герра, созданному на основе его книги «Официальные сообщения», был показан на VI Международном кинофестивале в Москве.

было отказано в разрешении победить... Никогда вновь мы не пошлем свою армию в страну, где мы не собираемся побеждать».

Точка зрения Стэнли Карноу, высказанная им еще за полгода до выхода картины и книги на страницах газеты «Интернэшнл геральд трибюн», отвечает нынешнему официальному курсу. В статье «Осмотрительность — да, но берегитесь изоляционизма» он утверждал, что между ситуацией в Сальвадоре и Вьетнаме больше различий, чем сходства.

«Наиболее мрачная картина вырисовывается, когда думаешь о том, что США могут так разнервничаться по поводу неясных ситуаций за рубежом... из-за любого сделанного там в сердцах выстрела, что окажутся в изоляции в то время, когда у них есть глобальные обязательства, которыми они не могут пренебрегать.

Возможно, Сальвадор — не та война и не в том месте, как, безусловно, и Вьетнам. Нет сомнения в том, что диктатура в Сальвадоре не стоит жизни и одного американца. И тем не менее Латинскую Америку нельзя бросить на произвол революционного гнета. В идеале США должны, не устраняясь от мировых проблем, отстаивать свои интересы и защищать их разумно и реалистично».

Как видим, позиция Карноу полностью совпадает с курсом нынешней администрации на объединение нации идеей возможного глобального господства.

Над статьей Карноу газета напечатала материал известного журналиста, представителя либеральной «другой Америки» Тома Уикера «Сальвадор после Вьетнама: знакомая картина».

«Хотя правительство и не намерено прислушаться к мнению конгресса, не говоря уже о мнении американского народа,— писал Т. Уикер,— если нас чему-то и научил Вьетнам, так это тому, как опасно вмешиваться в дела иностранной державы без поддержки конгресса и народа. Можно надавить на конгрессменов, но со временем это приведет к поражению.

Если меня упрекнут в том, что я оглядываюсь на опыт Вьетнама, я готов принять этот упрек»,— заканчивал он свои рассуждения.

К сожалению, эта критика отражает типичные либеральные иллюзии, упования на американскую «демократию». Еще более редкий для буржуазной прессы США случай — позиция журналов «Коламбиа джорнализм ревью» и «Нэйшн»: эти голоса тонут сегодня в хоре неоконсервативного шовинистического толка. Как пишут нынешние американские историки-консерваторы, либералам, на чей счет постарались списать неудачи прошлого, «трудно защищать свои позиции». И тем не менее достичь желаемого единства взглядов на прошлое, настоящее и будущее Америки, увлечь ее милитаристской мечтой не удается. Такие яркие критические произведения, как запечатлевшая сюрреалистическую атмосферу тотального террора публицистическая книга Джоан Дидион «Сальвадор», столь необычный для телевидения США фильм «На следующий день», позволяют надеяться на то, что, как это было в середине 60-х годов, ширящаяся волна массового антивоенного движения поможет реалистическим голосам и в американской культуре зазвучать с новой силой.

На следующий день после показа фильма «На следующий день»

Как известно, в ноябре 1983 года американское телевидение показало картину режиссера Николаса Мейера «На следующий день», снятую «Американ бродкастинг копмании». Фильм рассказал о последствиях ответного ядерного удара по США для двух городов—Канзас-Сити, где расположена ракетная база, и близлежащего Лоуренса. Удара, полученного Америкой в результате того, что, говоря словами Стэнли Карноу, именно США, «разнервничавшись по поводу неясной ситуации» в Европе, наносят первый ядерный удар. В этом и состояло принципиальное отличие фильма «На следующий день» от множества других лент, рассказавших о последствиях ядерной атаки. Вспомним, например, что в ставшем классикой фильме прогрессивного американского режиссера Стэнли Крамера «На последнем берегу» обойден вопрос о том, кто начал войну. Не говоря уже о ряде картин последнего времени, в которых нападение неизменно совершает Советский Союз. После того, как цензура сделала купюры в сорок минут экранного времени, Эй-би-си показала картину, несмотря на кампанию протеста, организованную противниками фильма. Опасаясь взлета антивоенных настроений, Белый дом заботился о том, чтобы приглушить нежелательную реакцию на показ фильма: обсуждали, когда лучше выступить президенту — до или после показа. Позже от этой идеи отказались. Было решено, что после просмотра телевидение покажет пресс-конференцию, которую проведет госсекретарь Джордж Шульц. Раздавались голоса и против участия правительства в обсуждении фильма: ибо оно, таким образом, придаст вес этому незначительному, по их мнению, событию, «всего лишь телевизионному фильму».

Однако, как было подсчитано, картину посмотрели 50 миллионов американцев, в пять раз больше зрителей, чем обычно смотрят программы Эй-би-си. Фильм демонстрировался и обсуждался в школах, университетах, церквах. Его увидели 46% всех владельцев телевизоров, он занял 12-е место по популярности в истории телевидения США. Пять месяцев американская пресса и телевидение отшлифовывали «сценарий» реакции на него, как всегда стремясь создать впечатление объективности: цитируя мнение «другой стороны» и тут же опровергая его пространными рассуждениями, поддерживающими

официальную точку зрения. Примечательно, что освещение фильма в печати велось в терминах, используемых при обсуждении военных действий,— что характерно сегодня для американской прессы.

Самый большой комментарий был опубликован на страницах журнала «Тайм» под названием «Выпадение осадков после телевизионной атаки». Подзаголовок гласил: «После всего шума — больше вопросов, чем ответов». «Тайм» стремился доказать, что этот «наивный», как назвал его Г. Киссинджер, фильм не повлиял на отношение американцев к внешней политике правительства. Он оказал воздействие лишь на представителей «поколения звездных войн», молодежь до 25 лет, которых приучают думать, что Америке ничего не страшно ни на Земле, ни в космосе. До показа фильма, сообщал журнал, 7% населения верило, что можно выжить в ядерной войне, после него — 5%. Журнал цитировал слова жителя Канзас-Сити: «Фильм заставил задуматься: что же мы можем сделать, чтобы предотвратить этот ужас?»

«Хороший вопрос», заметил «Тайм» и, продемонстрировав таким образом свою объективность, тут же перевел рассуждения в нужную ему плоскость — ядерное оружие нельзя уничтожить, необходимо добиваться гарантий его неприменения, а фильм...

«вместо того, чтобы способствовать улучшению отношений с СССР, разжигает политические страсти».

Журнал привел слова Г. Киссинджера, сказанные на пресс-конференции:

«Подобный подход слишком примитивен... Мы не можем строить свою политику, запугивая самих себя до смерти».

Как утверждал «Тайм», акции Рейгана после показа фильма лишь поднялись, а сам он выразил удовлетворение тем обстоятельством, что, по его мнению, фильм не опасен, поскольку он не несет никакой новой информации. В своем выступлении по радио после показа картины президент, пишет «Тайм», скорее

«хотел выиграть войну, чем успокоить свой народ».

Однако несмотря на то, что фильм оказался «слабым» и «не подействовал», в этом же номере, после репортажа о реакции на фильм «На следующий день», журнал опубликовал сообщение на целую страницу о двух других картинах, которые шли по каналу Эй-би-си четыре вечера, сразу же вслед за картиной «На следующий день». Эти фильмы, «Игра в кризис» и «Ночью на проводе», были сняты той же Эй-би-си, как пишет «Тайм»,

«не специально, но их трудно не связать с предыдущим показом».

Картины, «не специально» показанные вслед за фильмом «На следующий день», «Тайм» почему-то называет «документальными драмами», хотя они совершенно очевидно являются подделкой под документальный жанр: Эй-би-си пригласила на роли президента и членов его кабинета бывших правительственных чиновников и журналистов, которые разыгрывали на телеэкране работу правительства во время возможного ядерного кризиса. В фильме «На следующий день» президент США, правительство страны выглядят бессильными помочь населению. Их заявления по радио о том, что они делают все возможное, звучат горькой иронией, пустой демагогией для людей, умирающих на выжженной земле. Но главное — президент заверяет свой народ в том, что, преодолев нынешнюю катастрофу, Америка выиграет следующую войну. Таким образом и ответный ядерный удар рассматривается как урок науки побеждать. В картинах «Игра в кризис» и «Ночью на проводе» все обошлось: воображаемый кабинет ликвидировал кризис, договорившись в последний момент (иначе кто же станет смотреть фильмы?) с русскими. Как пишет журнал, эти фильмы показали, что

«на деле все происходит совсем не так необратимо и быстро, как в картине «На следующий день».

Решения принимают живые люди, с непосредственными человеческими чувствами — времени предотвратить роковой исход будет достаточно, утверждает «Тайм».

Дважды писал о фильме «На следующий день» журнал «Ньюсуик». Первый раз сразу же после предварительных просмотров картины, в октябре. Журнал признавал, что этот фильм

«поставил самую важную из современных проблем, с точки зрения восприятия это самый страшный фильм, а с политической точки зрения — самый взрывчатый».

Однако, как и «Тайм», «Ньюсуик» тут же переводит внимание читателя с проблемы угрозы ядерной войны на вопрос о том, какую роль сыграла картина в политическом противостоянии США, оплота «свободного мира», «угрозе со стороны СССР».

«Ньюсуик» иронически цитирует слова президента Эй-би-си Брандона Стоддарда, который «скромно» назвал картину «самой важной из всех когда-либо снятых нами или кем-либо другим». Выражая сомнения относительно художественных достоинств фильма, «Ньюсуик» поддерживает мнение других органов американской печати о том, что фильм вышел в очень неудачный момент, когда США разместили в Европе свои «першинги», и способствовал поддержанию кампании протеста против присутствия американских ядерных ракет на территории европейских государств, подстегнув

«истерию неподготовленной публики».

В ответ на обвинения в том, что Эй-би-си играли на руку русским, компания поспешила заявить, что фильм

«не был политическим аргументом».

Однако, как неоднократно подчеркивал в своих интервью режиссер картины, именно стремление воздействовать на чувства людей, понимание значения этой реакции и побудило его сделать фильм:

«Я ни на секунду не предавался иллюзии, что создаю художественный шедевр,— говорил Николас Мейер.— С самого начала я задумал свой фильм как своего рода гигантский плакат, если угодно, рекламный призыв, подчиненный социальным целям»...

Из публикаций американской печати очевидно, что Эй-би-си отдавала себе отчет в неизбежном политическом резонансе фильма. Стремясь усилить его эмоциональное воздействие, она хотела, чтобы все рекламные перебивки (без которых невозможен показ даже такой картины) шли до того момента, как на экране будет показан ядерный взрыв, то есть в самом начале фильма. «Ньюсуик» сообщает, что Эй-би-си не только не удалось перераспределить рекламу, но ей пришлось искать рекламные агентства, которые согласились бы поместить свои материалы в такой непатриотический фильм.

В заключение статьи «Ньюсуик» использует обычный прием видимости сбалансированной оценки.

«Какова бы ни была наша позиция,— пишет журнал,— трудно не признать образные достоинства этого необычного для телевидения фильма. По меньшей мере он перевел невообразимое из области абстракции в область реальных представлений, показал — вот как выглядит ядерный Армагеддон».

И тут же журнал возвращает читателя к идее неизбежности ядерного противостояния:

«Самым мрачным моментом является кадр, в котором над футбольным полем в Канзасе, где игроки увлеченно гоняют мяч, нависает тень советских ракет. Легко представить, как угрожающе выглядела бы подобная тень над полями Украины».

Несколько месяцев спустя, когда фильм «На следующий день» вышел на телеэкраны во многих странах мира, «Ньюсуик» вновь заверил читателя в том, что общественный резонанс картины не оправдал надежд ее создателей. В репортаже из Японии он сообщал, что опасения относительно того, что фильм вызовет взлет антиядерного движения в стране, «оказались ложной тревогой»: фильм посмотрело только 30 тысяч зрителей, в шесть раз меньше, чем последний американский боевик из сериала о Джеймсе Бонде «Никогда не говори «никогда», сюжет которого в духе массовой культуры, и политику превращающей в игру, связан с распространением ядерного оружия. На основании этой статистики «Ньюсуик» делает вывод о том, что в этой стране

«затяжная ядерная аллергия прошла»...

И если

«немногочисленные проявления антиядерных настроений и выльются в Японии в антивоенное движение, сравнимое по масштабам с европейским, то это произойдет очень нескоро...»

«Мы хотели не только показать людям последствия атомного взрыва,— сказал Джош Бэран, представитель движения за разоружение с помощью средств массовой информации,— но развернуть диалог общественности. Самое главное, что произойдет на следующий день после показа «На следующий день».

Как видим, американская система средств массовой информации постаралась убедить общественность в том, что «на следующий день» — ничего не произошло. Однако сама продолжительность пропагандистской кампании, ее размах и уровень привлеченных к ней сил говорят о том, что фильм явился серьезным «политическим аргументом».

Т. РОТЕНБЕРГ

КУЛЬТУРА ДЛЯ МАСС ВМЕСТО «МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ»

Передовая творческая интеллигенция Анголы и Мозамбика всегда боролась за создание национальной культуры, однако после завоевания независимости условия коренным образом изменились. Новый общественно-политический статус государств влечет за собой использование новых методов, хотя они и базируются на богатом, накопленном за долгие годы подполья опыте.

«Сейчас ангольские общественные деятели обладают как раз тем, чего им так не хватало прежде,— политической властью,— утверждает в «Размышлениях о национальной культуре» ангольский культуролог Энрике Абраншес.— Завоевав политическую власть, они обрели многочисленных помощников — от Национального совета по культуре и Союза ангольских писателей до самой народной, низовой организации, объединяющей массы. Подобный процесс происходил в Советском Союзе после Октябрьской революции и, в общих чертах, во всех социалистических странах».

Хотя на первый взгляд это может показаться парадоксальным, вопрос о народности культуры встал с наибольшей остротой в Анголе и Мозамбике именно в начале 80-х годов. В чем причина этого несколько неожиданного явления?

Во-первых, оно объясняется исторически, всем ходом литературного процесса: развитие культуры в африканских странах происходит, как известно, ускоренными темпами, а убыстренность не всегда мирно сосуществует с линейностью, и в литературах «ускоренного развития» исключений из правил встречается, пожалуй, не меньше, чем самих правил. В результате сложного стечения обстоятельств получилось, например, что произведе-

ния ангольских писателей, опубликованные в середине 70-х — начале 80-х годов (исходная точка — 1974-й, год португальской революции, когда ангольцы получили возможность издавать в Португалии свои книги), но созданные пятью — десятью годами раньше, в тюрьмах, концлагерях или в эмиграции и в партизанских отрядах, оказались более сложными, герметическими по стилистике, чем стихи и рассказы, написанные в 50-х годах молодыми участниками общественно-культурных организаций «Идем открывать Анголу» (1948) и «Молодые поэты Анголы» (1950).

Во-вторых — что не менее важно,— изменился адресат, назначение литературы: прозаики и поэты обращаются уже не к образованной европейской интеллигенции и не к ассимилированной элите африканских стран, а непосредственно к народу, поскольку предметом их пристального внимания является теперь просвещение широких слоев, сокращение разрыва между элитарным и массовым читателем.

Нынешний этап культурного строительства отмечен ростом национального самосознания, что находит отражение в многочисленных публикациях на страницах печати, касающихся проблем развития современной культуры Анголы и Мозамбика.

«Литература играет у нас в стране все более значительную роль... возрастает ее педагогическая функция. Писатель — это педагог, даже если он об этом и не подозревает, истинный педагог, воспитывающий все общество»,—

утверждает ангольский романист и драматург Пепетела в своей статье, опубликованной на страницах общественно-литературного журнала «Стремление», первый номер которого вышел в свет еще в 1982 году. Казалось бы, появление нового журнала не могло расцениваться в интенсивной культурной жизни независимой Анголы как исключительное, из ряда вон выходящее событие, тем более что в Луанде уже публиковались к этому времени два периодических издания, посвященных проблемам культуры,— «Лавра э офисина» (орган Союза ангольских писателей) и «Новембро». И все же выход третьего журнала был воспринят общественностью страны как явление в высшей степени симптоматичное — еще один крупный шаг по пути «массификации» культуры, приобщения к ней все более широких слоев населения.

Дело в том, что «Стремление» печатает стихи и рассказы лишь начинающих писателей, находясь в полном распоряжении участников «молодых литературных бригад». Бригады эти, не случайно называемые также «бригадами надежд», возникли в начале 80-х годов в Луанде и других крупных городах Анголы, и отличительной особенностью их с самого начала стал массовый, общедоступный характер: вступить в бригаду может каждый, кто интересуется вопросами культуры и стремится повысить свой общеобразовательный уровень. Важную часть повседневной работы «бригад» составляют семинары молодых авторов, на которых не только обсуждаются новые произведения, но и рассматриваются более общие вопросы — о принципах построения повести и романа, о критериях оценки, о задачах литературной критики и т. д. Поэт и прозаик Мануэл Руй отмечает в статье «Размышления о бригадах», что они

«возникли в сложный исторический момент, когда противоречия между капитализмом и социализмом особенно обострились. В Анголе в это время происходит бурный рост национального самосознания, и главная цель бригад, как и всех литературных объединений,— крепить общенародное единство».

Цель нового журнала — сугубо дидактическая, что подчеркивается словами Агостиньо Нето, взятыми в качестве эпиграфа: *«Все мы, надеюсь, единогласны в том, что писатель должен вписываться в свою эпоху и формировать общественное сознание, что он должен активно способствовать усовершенствованию человечества»*.

Сугубо просветительская устремленность литературы повлекла за собой агитационную и в широком смысле демократическую установку «смешанной» прозы начала 80-х годов и ее существенные отличия от аналогичного ей в современной португальской литературе жанра — внешнюю непритязательность, развлекательный характер, живость изложения; девиз создателей «смешанной» прозы — «просвещать»; из-за высокого пока процента неграмотных адресуются эти произведения скорее слушателю, чем читателю. Стремление сочетать «приятное с полезным» приводит к тому, что в тексте книг появляются авторские комментарии, поучения, неожиданно возникает перебивающая основной рассказ беседа с читателем или слушателем, назначение которой — установить с ним теснейший контакт и взаимопонимание.

Сделать культуру доступной народу — одна из главнейших задач национального строительства в португалоязычных странах Африки. Однако в решении этой задачи много трудностей и препятствий, и особенно серьезное из них — последствия пятивекового господства колонизаторов, активно и целенаправленно внедрявших в повседневный быт африканцев чуждую им культуру и цивилизацию далекой Европы.

Поэтому после завоевания в 1975 году независимости писатели этих стран прежде всего задались целью установить, какой должна быть подлинно национальная литература и является ли «португальская культура, послужившая некоторым слоям оторванных от своего народа ангольцев той культурой, которая должна быть представлена как выражение культурных устремлений ангольского народа». Агостиньо Нето, которому принадлежат эти слова, отвечает на такой вопрос отрицательно, не умаляя в то же время роли плодотворных контактов и влияний и предупреждая об опасности шовинизма в культурной политике:

«Шовинизм в области культуры столь же вреден, сколь вредны были многие положения возникшей сразу же после Октябрьской революции концепции «пролетарской культуры», против крайностей которой выступил Ленин, отстаивая свое убеждение в том, что Страна Советов должна во что бы то ни стало обращаться к своему культурному наследию, используя его для построения новой социалистической культуры, предназначенной для широких масс».

Под воздействием мировой, в первую очередь из-за общего языка — португальской и бразильской литературы в португалоязычной Африке создавалась не только литература, ставшая впоследствии краеугольным камнем в фундаменте новой, формирующейся национальной культуры, но и литература для элиты, прежде всего для жителей бывшей метрополии, а также немногочисленной прослойки африканской интеллигенции, получившей образование в Европе. Элитарная культура, возникшая в полном соответствии с официальной доктриной о гармоническом развитии лузо, или португало-тропического сообщества, не могла, естественно, способствовать ни процветанию народа, ни формированию его общественного самосознания. Романы на ангольские темы эмигрировавших в Африку португальцев или эпопеи из жизни мозамбикских колонистов, написанные ими самими на местном материале, невозможно причислить к литературе Анголы и Мозамбика. И руководители молодых союзов писателей в этих странах (Союз ангольских писателей был создан в 1977 г., Ассоциация мозамбикских писателей—в 1982 г.) тщательно отбирают среди многочисленных книг, так или иначе связанных с африканской тематикой, те, которые действительно можно считать подлинно ангольскими или мозамбикскими, исключая из своего культурного наследия все случайное, предназначенное для развлечения элиты.

Столь же отрицательную позицию занимают ангольцы и мозамбикцы в отношении «массовой культуры» — ее намеренно сниженный в угоду «потребителю» — безликой и безымянной массе — художественный уровень, расплывчатые критерии добра и зла, хорошего и дурного представляются им наследием колониализма, пагубным результатом политики духовной ассимиляции.

Вот почему несколько расплывчатому понятию «cultura de masas», которое можно перевести двояко — и как «культура для масс», и как «массовая культура», ангольские и мозамбикские писатели предпочитают понятие более четкое — «cultura massificada», т. е. «культура для масс».

Говорить о «массовости» в применении к литературам португалоязычной Африки, где процент неграмотных еще очень велик, хотя делается все возможное для скорейшей ликвидации неграмотности, пока не приходится.

Современное положение в отечественной культуре вызывает пристальный интерес у ангольских и мозамбикских писателей и общественных деятелей. Руй Ногар, генеральный секретарь Ассоциации мозамбикских писателей, в интервью корреспонденту португальской газеты «Жорнал даз летраш, артеш э идейаш» говорит о знаменательных переменах в литературе Мозамбика. Новый этап ее развития обусловлен социалистическим строительством в НРМ, периодом так называемой «национальной реконструкции» страны, когда наряду с возросшим самосознанием народа крепнет и самосознание отдельной личности.

«Писатель независимого Мозамбика не может довольствоваться лишь своей профессией,— утверждает Руй Ногар.— Как гражданин, писатель должен заниматься политической деятельностью, чтобы стали реально осуществимыми стоящие перед страной задачи: построение нового общества, развитие социализма, помощь всем, кто способствует делу мира, прогресса и благосостояния народов...

Новый этап в развитии мозамбикской литературы ознаменовался не только тем, что в ней появился довольно многочисленный отряд молодых, взращенных революцией писателей,— продолжает генеральный секретарь Ассоциации,— но и коренным изменением ее проблематики, переходом от обличения пагубных последствий колонизации к более насущным и злободневным задачам социалистического строительства. Характерно в этом отношении выступление президента НРМ Саморы Машела во время вручения ему диплома почетного члена Ассоциации мозамбикских писателей, в котором Самора Машел призвал писателей обратить все внимание на современность. Хотя призыв президента писать о современности и своевременен и справедлив,— отмечает Руй Ногар,— накопленный за долгие годы борьбы опыт далеко не исчерпан и его необходимо осмыслить и обобщить».

Таким представляется мозамбикскому поэту один из путей, способствующих превращению отечественной культуры, которую «питает новая революционная действительность, революционные завоевания народа», в подлинно национальную культуру для широких народных масс.

Е. РЯУЗОВА

◆

Публицистика

ПОЛ ГАРРИСОН

ГОРОД В ГОРОДЕ

Жизнь под лезвием ножа

Главы из книги

Перевод с английского И. ГУРОВОЙ.

На прошлогодней книжной ярмарке во Франкфурте этот томик скромно стоял на общем стенде английских издательских фирм. Его не рекламировали проспекты, его обошла молчанием большая британская пресса. Быть может, потому, что по своей разоблачительной глубине, по силе воздействия он не укладывается в прокрустово ложе концепций, насаждающихся английской буржуазной идеологией.

Чего только не было наговорено и написано в Англии в последние десятилетия в стремлении опровергнуть основные положения марксистско-ленинской теории о классах. Говорилось и о классовой мобильности, и размывании грани между классами, писались теоретические исследования о наступлении эры «всеобщего благосостояния», установлении классового мира. При этом выпячивалось второстепенное, смазывалось главное.

А главное состоит в том, что материальное положение трудящихся Британии типично для класса эксплуатируемого. Степень его эксплуатации растет безостановочно, что, с одной стороны, сопровождается повышением интенсивности труда, а с другой — возрастанием социальных проблем бедности и безработицы. Экономический кризис последних лет выбросил за ворота предприятий не десятки, а сотни тысяч рабочих рук, обрек на физические и моральные мучения миллионы англичан.

Увеличивающаяся эксплуатация, неуверенность в завтрашнем дне, неустойчивость материального положения под влиянием спадов экономики, инфляции и безработицы, разрастание обширных «зон нищеты» на социальной карте страны — вот вехи, попрежнему определяющие путь рабочего человека в капиталистической действительности.

Именно об этом и повествует книга Пола Гаррисона. Свой анализ и выводы он основывает не только на статистических данных одного из лондонских районов нищеты, но и на беседах с живыми людьми, с жертвами современного британского капиталистического общества.

Книга написана и касается положения дел в начале восьмидесятых годов, то есть уже в период правления партии консерваторов, сделавших ставку на ликвидацию даже тех уступок социально-экономического порядка, которые английский рабочий класс сумел вырвать у буржуазии за послевоенное время. Потакая интересам военно-промышленного комплекса у себя в стране и за океаном, правительство тори развернуло беспрецедентную программу вооружения и установки на Британских островах американских носителей ядерной смерти. А это не может в еще большей степени не сказаться на положении простых англичан, на участи обездоленных.

Вместе с тем появление книги Пола Гаррисона — показатель наличия среди демократической общественности страны сил, которые понимают не только пагубность курса правящих кругов страны, но и необходимость единства рабочего класса в его борьбе за свои демократические и социальные права.

О. ВАСИЛЬЕВ

© Paul Harrison, 1983

Что такое «город» в «городе»?

В погожий день с вершины Парламент-Хилл в Хэмпстеде, между шпилем церкви св. Михаила в Хайгейте и стеклянно-стальными небоскребами Лондонского Сити, можно различить шесть гигантских домов-башен. Это центр Хакни, района, до которого из Хэмпстеда и Хайгейта три мили с небольшим, но по социальным меркам — добрых три тысячи. В Англии «внутренние города» отделяются от фешенебельных кварталов пропастью, которая зияет между богатством и бедностью.

Город в городе — это социальный антипод буржуазной благополучной Англии, замкнутый в себе микрокосм, мир, где все язвы, разъедающие наше общество,— одна большая рана.

«Внутренний город» представляет собой — и будет представлять в дальнейшем — самую наболевшую и неразрешимую из всех проблем современной Англии, ибо его отличают самый высокий процент безработицы, наиболее тяжелые жилищные условия, неимоверная скученность неимущих, в свою очередь порождающая стремительный рост преступности.

Этот сгусток социальных зол отнюдь нельзя считать исключением: ту же безысходную нищету можно видеть в стране повсюду, только во внутреннем городе она как в фокусе сосредоточивает нужду, экономический спад и крушение социальных устоев, характерные для всей страны. Хакни не просто точка на карте, но символ и воплощение дна общества. Вот почему, рассказывая о Хакни, я веду речь обо всей Англии.

Проблемы таких районов порождаются тесным взаимодействием трех факторов. Во-первых, это районы, выросшие вокруг старых промышленных предприятий — текстильных, например, или кораблестроительных, или (несколько позже) сталелитейных, автостроительных и нефтеочистительных. В прошлом они нередко процветали, но теперь захирели из-за перемен в международной торговле, технологии и транспортных связях. Старые фирмы часто скупаются более крупными компаниями или поглощаются национализированными монополиями, так что судьбы их обитателей все чаще вершатся в неизвестном «далеке» в соответствии с равнодушным подсчетом возможных прибылей, при котором социальные издержки попросту игнорируются.

Во-вторых, это районы, нередко застраивавшиеся в прошлом веке домами, которые предназначались для низкооплачиваемых рабочих и давным-давно отслужили свой срок. Новые же муниципальные дома тоже обычно очень неудобны, вокруг нет ни парков, ни скверов — только обветшание и бесчеловечный бетон.

В-третьих, среди их обитателей очень высок процент малоквалифицированных или деквалифицировавшихся рабочих, поскольку в связи с модернизацией производства их профессиональные навыки уже устарели. Это районы высокой безработицы и низких доходов, откуда не выбраться, так как у тамошних обитателей нет средств на переезд в другой район и даже на то, чтобы оплатить транспорт до места работы, если бы посчастливилось найти ее в другом районе. Люди там подобны домам, в которых они живут, их эксплуатировали, пока они давали прибыль, а затем бросили на произвол судьбы — пусть прозябают, если смогут.

Сосредоточенность множества обездоленных в одном месте приводит к неблагоприятным последствиям: у местных муниципальных властей не хватает ни средств, ни штатов, а потому здравоохранение там поставлено из рук вон плохо и школьное образование ведется на крайне низком уровне. Зато очень высок уровень преступности, бессмысленного хулиганства и распада семей.

«Внутренний город», воплощение умирающей промышленности, ветшающих жилищ и забытых людей, расползается по стране, точно раковая опухоль, поражая все новые и новые районы, становясь все более угрожающей; сейчас, в первой половине 80-х годов, он превратился в зловещий символ будущей участи всех английских городов, избежать которой можно лишь радикально изменив современный политический курс страны.

Хакни — город в Большом Лондоне

Сравнения — вещь рискованная, но я убежден, что Хакни имеет все основания претендовать на титул «самого жуткого места в Англии».

Безусловно, многие тамошние жители возмутятся и скажут, что их район вовсе не так уж плох. Да, конечно,— для тех, у кого есть машины, телефоны, счета в банке и благоустроенные, принадлежащие им жилища. Они-то не ходят опасными улицами, нося при себе весь наличный капитал, не выстаивают часами в очередях на автобусных остановках, не поднимаются с тяжелыми сумками на верхние этажи, потому что лифт снова не работает, если он вообще существует. Они не страдают от сырости и холода, не терпят унижений в отделах социального обеспечения и не ждут месяцами необходимого ремонта. А самое главное, в Хакни они живут по собственному желанию и могут в любую минуту переехать. Их не томит ощущение безнадежности, обреченности на эту пожизненную тюрьму. Ведь для бедняков Хакни — место настолько страшное, что единственное спасение они видят в бегстве. Но как бежать? У них нет ни денег, чтобы купить себе дом или квартиру, ни диплома, ни квалификации, чтобы найти работу в другом районе...

Те, кто рискует сломать шею

«Мэдиен-роуд, № 28. Проверить крышу и устранить протечки» — указано в наряде. Старый дом викторианской эпохи с очень крутой крышей. С задней стороны тянется железная решетчатая галерея, которая подрагивает под ногами. Внизу — крохотные, заросшие бурьяном садики. Один завален старыми кинескопами, в другом беснуется овчарка, облаивая кровельщиков. Только желоб вдоль фасада отделяет их от каменных плит тротуара, в двенадцати метрах внизу. Крыша находится в типичном для Хакни состоянии: осыпается по краям и вокруг гвоздей. Кое-где плитки сдвинулись, и дождь заливает чердак. Риск велик: на таких крышах всегда скользко из-за крошки, а в дождь опасность возрастает многократно. Правда, при дожде кровельщикам работать не полагается, они могут указать в рабочем листе — «сырая погода», но... за него не выплачивают сверхурочных. А потому они работают под дождем. Снег и лед еще опаснее, а также морозный воздух, от которого пальцы цепенеют и утрачивают гибкость.

— Нам выдают перчатки,— объясняет Эндрю,— но мы их не надеваем. В них уже толком ни за что не ухватишься. А если поскользнуться...

Руки Грэма и Эндрю посерели от шиферной пыли и испещрены синеватыми шрамами и рубцами — края плиток остры как бритва, а осколки вонзаются под кожу. В 1980 году прежний подручный Грэма провалился сквозь крышу — подгнили стропила.

— Все на него так и посыпалось: плитки, кирпичи, перекрытия... А меня хохот душит. Не потому, что смешно, а от страха, истерика началась. Он сильно ушиб спину. И знаете, сколько дней ему оплатили по болезни? Ровно два. На той неделе мне плиткой с пальца всю кожу содрало. Сделали противостолбнячную прививку в ногу, и я четыре дня еле ходил, но на работу являлся. Все делал Эндрю. Если я две недели проболею, приходится у матери занимать полсотни фунтов, иначе не вывернешься. Даже полного заработка нам не хватает, чуть не каждую неделю занимаю фунтов пять. И должен сейчас двести восемьдесят. Жена у меня из тех женщин, которые не умеют ждать. Вот сейчас облицевала кухню, а нам это не по карману. Ей тоже пришлось пойти работать — сестрой в зубоврачебной клинике на половинную ставку, так что мы друг друга почти не видим. Я ухожу без четверти семь, когда она еще спит — позже нельзя, обязательно в затор попадешь. Домой я возвращаюсь в начале седьмого, а ей надо в клинику. Я кормлю ребятишек ужином, укладываю их спать, а потом для нее ужин готовлю. Посидим вместе часполтора, и мне уже спать пора. А завтра все сначала.

Семейная жизнь

— Ну, а Эндрю,— продолжает Грэм,— я просто не понимаю, как он вообще держится. Ведь он приносит домой меньше, чем я даю жене на хозяйство.

После дня работы на крутых крышах Эндрю Цокаллис возвращается в квартирку на одиннадцатом этаже огромного муниципального дома, где живет с женой Бернадеттой и двумя маленькими сыновьями — Питеру еще нет двух лет, а Джорджу всего девять месяцев. Бернадетта, хорошенькая двадцатидвухлетняя ирландка, выглядит нервной и замученной, хотя старается держать себя в руках.

Три документа лимитируют их существование. Во-первых, платежная ведомость. За неделю, кончившуюся 29 ноября 1981 года, его общий заработок составил 107 фунтов 8 пенсов, слагающихся из твердой ставки, сверхурочных и премиальных. Как будто бы не так уж плохо — пока вы не посмотрите в графы вычетов: подоходный налог, национальное страхование и будущая пенсия, забирающие 22 фунта 29 пенсов. На руки он получает 77 фунтов. Такова одна из основных причин бедности этой семьи: колоссальные вычеты. Но добавим 9 фунтов 50 пенсов пособия на детей и получим полную цифру семейного дохода: 87 фунтов 29 пенсов. А теперь заглянем во второй документ — книжку коммунальных расчетов. Квартплата составляет 19 фунтов 28 пенсов, коммунальные сборы — 12 фунтов 64 пенса и еще круглый год по 7 фунтов в неделю за воздушное отопление. Вычтем скидку по квартплате, равную 9 фунтам 46 пенсам, и получим 29 фунтов 46 пенсов — сумму, которую Эндрю платит за квартиру каждую неделю. Тяжелая рука Тэтчер видна и тут: квартирная плата в муниципальных домах беспощадно повышается, а коммунальные сборы неизбежно растут, чтобы компенсировать проводимое правительством сокращение расходов на социальные нужды. И, наконец, третий документ: счет за электричество — электрическую плиту, освещение и отопление спальни. Три зимних месяца обошлись в 119 фунтов, то есть по 9 фунтов 15 пенсов за неделю. Зимой расходы на квартиру и отопление забирают 44% семейного дохода.

Квартира же маленькая, тесная, и малыши требуют постоянного присмотра. Из вентиляционных отверстий ползут муравьи и тараканы.

— Как-то вечером глядим, а в кроватке Джорджа тараканы кишмя кишат,— вспоминает Эндрю.— По всем кроватям и шкафам расползлись. Бернадетта даже расплакалась. Спать было невозможно. Пришлось посхать ночевать к моей матери.

Цокаллисы переехали сюда два года назад, когда Бернадетта ждала Питера.

— Мне тут сразу не понравилось,— рассказывает она,— но они сказали, что ничего другого не будет, а нам некуда

было деваться. Я боюсь высоты. Мне от нее тошно становится. И район отвратительный. Я знаю, что сейчас повсюду плохо, но Хакни — это предел.

Едва переехав, они встали на очередь для получения другой квартиры — и не только из-за страхов Бернадетты, но и по чисто финансовым соображениям, поскольку здесь квартплата им не по средствам. Однако из жилищного отдела Совета Большого Лондона им всякий раз отвечают, что «их случай не относится к первоочередным». А главное, они задолжали за квартиру 200 фунтов. Эндрю вызывали в суд как злостного неплательщика.

— Я захватил туда бутылку с двумя сотнями тараканов, чтобы показать, в каких условиях мы живем, но судья ничего и слушать не хотел, а сказал только, что раз я задолжал, то должен платить полтора фунта в неделю в погашение. Я объяснил, что мы этого не можем, а он сказал: должны смочь.

После оплаты квартиры и зимнего отопления у них остается в неделю 48 фунтов 68 пенсов. По распоряжению суда из этой суммы вычитается полтора фунта. Далее плата за телевизор — 2 фунта 70 пенсов, бумажные пеленки для малышей — 5 фунтов, молоко — 7 фунтов, сигареты — 3 фунта. Таким образом, у них остается только 29 фунтов 48 пенсов в неделю на все остальные нужды — «еду, одежду, развлечения, предметы первой необходимости, книги, газеты, спиртные напитки, туризм». Но на самом деле — только на еду и предметы первой необходимости. Все остальное недоступно. Бернадетта говорит:

— Вот трачу каждую неделю пять фунтов на бумажные пеленки, потому что не смогла накопить 24 фунта на две дюжины стирающихся. Прежде я много курила — двадцать сигарет в день, а теперь растягиваю их на двое суток. Надо бы совсем бросить, но я без сигарет с ума сойду. Пробовала уже. У меня тут же начинается настоящая депрессия. И с Эндрю чаще ругаемся. Забот столько, что одно облегчение — покурить. Вот и с едой: куплю десяток котлет на фунт, и это на два дня. Мясное филе или ветчина нам больше не по карману. Ни кексов, ни пирожных покупать не могу... Вот сегодня пришлось потратиться на два кремовых пирожных — Питер схватил пакет с полки в универсаме, когда я отвернулась, и сжевал уголок. Прежде я пекла домашние торты. А теперь где уж! Мальчикам даже заварного крема купить не на что. Только говядины немного, морковь, горошек, яйца, маргарин и хлеб. А для бутербродов — ничего. Эндрю уходит утром без завтрака, а на работе пообедать ему не на что. Он жалуется, что у него живот от голода сводит. Я вот сегодня утром только выпила чаю с гренками, и ужинать тем же будем.

Иногда я плáчу, — продолжает она,— потому что не могу купить мальчикам новую одежду. Все, что они носят,— либо кто-нибудь подарил, либо уже подержанное. У Эндрю молния на брюках сломалась, так он не может отдать их в починку. С тех пор как поженились, мы ни разу нигде не бывали. Сидим по вечерам перед теликом. И в гостях бываем только у моих родителей. Правда, чаще они к нам приезжают, потому что у нас нет денег на автобус.

— Меня обдирают прямо в день получки,— говорит Эндрю.— Я докуриваю сигареты Грэма, на свои денег нет. И хожу на работу пешком, а это полчаса...

Ловушка, в которую они попали с квартирной платой, невозможность выбраться из дома, который они ненавидят, истерзали нервы Бернадетты и дурно сказываются на их семейной жизни. Они уже три раза всерьез заговаривали о разводе, и причина ссор — всегда деньги.

— Как Эндрю мало заработает, так мы и начинаем собачиться. Месяца полтора назад он принес девяносто один фунт, и у нас был настоящий праздник. Но последнее время — то семьдесят пять фунтов, а бывает, семьдесят три. Как-то принес всего шестьдесят один фунт, но я же не могу сократить покупки. Мне же все равно надо платить за квартиру. Вот тут и начинается: всю ночь мы друг друга изводим. А скоро Рождество. Разве справедливо, что мы так мучаемся? А они снова повышают что могут. (Как раз накануне было объявлено, что квартплата в муниципальных домах с апреля увеличивается на два с половиной фунта, а взносы на национальное страхование — на полтора. Это значительно превысит прибавку к заработной плате, на которую может рассчитывать Эндрю.) Они же знают, что нам неоткуда взять такие деньги, так почему они все повышают и повышают? Нам ведь от жизни так мало надо: немножко денег на еду и приличную одежду. Но они все отбирают у нас, пенса не остается.

И Бернадетта права. Их бедность — отнюдь не такая уж вопиющая по меркам Хакни — определяется в конечном счете не ростом цен на продовольствие, одежду и другие товары первой необходимости и не чрезмерными требованиями «алчных» рабочих, но непосредственно политикой правительства.

«Бедняки-бездельники» — безработица и неравенство

Безработица превратилась в могучий рычаг усугубления неравенства, уже существующего в английском обществе — в государстве «всеобщего благосостояния», давшего задний ход. Какое может быть равенство в борьбе с инфляцией? Туже всего пояса приходится затягивать тем, кто и без того был самым худым. Наиболее сокрушительные удары обрушиваются на самые бедные районы и самых обездоленных. Данные по Хакни рассказывают печальную повесть, отражающую положение по всей

стране. Безработица ударила по рабочим заметно сильнее, чем по служащим: за 1979—1980 годы рабочие места в промышленности сократились на 14%, а в учреждениях и конторах — только на полпроцента. Она ударила сильнее по женщинам — с 1979 года по 1981-й женская безработица росла вдвое быстрее мужской — и по цветным, по сравнению с белыми. Экономический спад сказался на молодежи, неквалифицированных рабочих и на инвалидах сильнее, чем на людях зрелого возраста, квалифицированных рабочих и здоровых.

В апреле 1981 года безработица среди инвалидов в Хакни достигла 38%, то есть более чем в два с половиной раза превысила средний уровень. В эту статистику попал и Айен Джонсон. На вид его не сочтешь инвалидом: хорошо сложенный тридцатилетний уроженец Глазго с копной черных волос, бандитскими усами и татуировкой на могучих руках: крест, сердце, синяя птица, репейник — символ Шотландии, и слова «Айен» и «мама», а также его армейский номер. В шестнадцать лет, бросив школу, без каких-либо профессиональных навыков он пошел в армию и прослужил три года, считая срок в Северной Ирландии, откуда вернулся слегка прихрамывая и с большим шрамом ниже левого плеча. Был он артиллеристом.

— Мы чуть не каждый день вели на полигоне учебную стрельбу. Орудия так и бьют над самым ухом. Нам выдавали резиновые затычки, но они все время терялись.

Демобилизовавшись, Джонсон перебивался случайными заработками, потом стал барменом. В безработные он попал из десятников на маленькой фабрике.

— Чистыми я получал всего 60 фунтов в неделю, но каждый раз, когда управляющему хотелось отдохнуть, он отдавал мне ключи и назначал меня заместителем. Когда он последний раз укатил в отпуск, явились владельцы и давай придираться ко всему... Ну, я и сказал: вот ваши ключи и катитесь к черту! Взял и ушел. Это было в апреле восьмидесятого.

Время совсем не идеальное, чтобы хлопать дверями. В период спада благоразумные рабочие смиряют гордость или, по выражению другого моего собеседника: «Скажут тебе — пляши! Ну и пляшем». Однако Джонсон через неделю подыскал подходящую работу на складе, и управляющий уже подробно объяснял, в чем будут состоять его обязанности, поэтому он не сомневался, что место за ним. Но тут зазвонил телефон.

— Врач звонил, что не подхожу по состоянию здоровья. Я не поверил. Пошел к нему, а он говорит: «Мне очень жаль, но вы — глухой». Я рассмеялся ему в лицо, а он мне аудиограмму показывает: высоких тонов не слышу. Тогда я пошел к специалисту. Он это подтвердил и посоветовал искать тихую работу, чтобы вовсе не оглохнуть. Только где такую найдешь?

Джонсон не сомневался, что глухотой обязан службе в артиллерии, но не пытался получить пособие, поскольку такие пособия выдаются только тем, кто двадцать лет или больше исполняли работу, связанную с повышенным шумом, и могут доказать, что именно такая работа — причина глухоты. Пальба из тяжелых орудий в списке подобных занятий не значится. В надежде найти подходящее место Джонсон 21 января 1981 года зарегистрировался как инвалид. По закону лица, нанимающие более 19 рабочих, обязаны минимум 3% мест предоставлять инвалидам. Однако за соблюдением этого закона никто не следит. Зеленая инвалидная карточка, теоретически предназначенная облегчать участь рабочих, потерявших здоровье, в период экономической депрессии, когда более чем достаточно здоровых безработных, только затрудняет получение работы.

— Покажешь карточку, а на тебя глядят, словно ты с Марса явился, и вежливо объясняют: «Извините, но наша инвалидная квота уже полна». И все тут! Не пойдешь же проверять, кто у них инвалид, а кто нет.

Джонсон осел в продовольственном магазине, но по роду своих обязанностей должен был почти постоянно находиться в помещении с холодильными установками. От их шума у него начались головные боли, и через полтора месяца ему пришлось уйти. Теперь у него звенит в ушах круглые сутки. Он подумывал, не выбросить ли зеленую карточку и выдать себя за здорового, но его остановило опасение, что в таком случае он лишится права на компенсацию, если совсем потеряет слух, пока будет работать, хотя история его глухоты, по всей вероятности, не позволит ему претендовать на компенсацию.

Когда я с ним познакомился, он не работал уже год и три месяца.

— Очень я стал раздражительный. Чуть что — выхожу из себя. Скука заедает. Да найди я место, круглые сутки бы работал, лишь бы не скучать. От этого безделья просто на стенку лезешь. Даже телевизор нельзя смотреть, ведь для безработных программ не имеется. И я все меньше надеюсь, что найду хоть что-нибудь. Еще только к двери подходишь, а уж думаешь: какого черта, только зря это проклятое время теряю. От центра по трудоустройству толку никакого. Роешься, роешься в карточках и вдруг находишь что-нибудь стоящее, станешь наводить через девицу справки — и, конечно, место уже занято. Даже жутко становится. Возьмите любую карточку — и гарантирую, что место не получите, потому что оно уже ушло.

Джонсон живет в Хакни у замужней сестры, дает ей еженедельно 10 фунтов, а себе оставляет только 9 фунтов 20 пенсов (школьники, подрабатывая, и то получают больше!). Это значит, что он не может купить ни новой одежды, ни развлечься. Однако самыми тяжелыми переживаниями безработные обязаны государству.

— Хуже всего отдел социального обеспечения. Сидишь три часа, ждешь, а когда наконец тебя примут, то говорят так, словно им наплевать на тебя или на собственные обязанности. Можно, конечно, позвонить по телефону, но к ним ведь не пробьешься. Я как-то в автомат полтора фунта монет просадил. Секретарша все повторяла: «Извините, что заставляю вас ждать». А когда наконец соединила с кем надо, всего-то четыре секунды понадобилось, чтобы дело решить. Чек на пособие я получаю по четвергам, но иногда он приходит только в субботу, и тогда здорово несладко. Я как-то отправился туда, высидел свои три часа, а этот тип мне заявляет: «Если не получите чек завтра, приходите еще раз, и я дам вам форму для заявления». Я говорю: чего же мне завтра опять три часа в очереди ждать, дайте форму сейчас. Нет, говорит, у нас такой порядок. Я заспорил, тогда он справился у инспектора. Я говорю: дайте я сам с инспектором потолкую. Нет, говорит, извините, но он занят. Ну ладно, подожду, пока он освободится. А он мне: инспектор не освободится до вечера. Вот так всегда. Дескать, еще один бездельник явился, лентяй на пособии. Словно они из своего кармана платят. Сморчок какой-нибудь говорит с тобой так, будто ты последнее дерьмо. Так бы и дал ему в морду.

Юность на пособии

Безработица ударила по молодежи сильнее, чем по остальным возрастным группам. Нанятого последним увольняют первым — это правило в первую очередь затрагивает молодых рабочих и служащих. Администрация фирмы, проводя сокращения, выбирает тех, у кого стаж короче, экономя таким образом на выплате компенсации, а нанимать предпочитает людей с опытом — ведь юношей и девушек еще надо обучать. На практике выясняя, какое занятие им по вкусу, а точнее — не по вкусу, молодые люди к тому же чаще склонны менять работу, но если уйти с работы в период глубокого застоя, найти другую очень трудно.

С каждым годом пребывания правительства Тэтчер у власти будущее молодежи в Хакни все более омрачается. Раньше каждый год к декабрю большая часть выпускников куда-нибудь пристраивалась и конкуренция из-за мест была относительно невелика. В декабре 1979 года в списках трех бюро по трудоустройству молодежи значилось три кандидата на каждую вакансию. Положение не из легких, но через год на каждое свободное место претендовало уже тридцать два молодых кандидата. К декабрю 1981 года у каждого ищущего работу имелось в среднем 138 соперников.

Дафна Стюарт, заведующая районным отделом по трудоустройству, подчеркивает, что перспектива становится все мрачнее. Наниматели повышают запросы, требуют отличных аттестатов. Работа, которую удается подобрать для счастливчиков, часто носит временный характер и не открывает никаких возможностей.

— И сами выпускники страшно переменились, — говорит она. — Прежде мы сталкивались с упрямым нежеланием смотреть на вещи трезво, с честолюбивым упорством — мальчик во что бы то ни стало хотел стать астронавтом или специалистом по автомобильным моторам. А теперь они приходят и говорят: «Я на все согласен». Они совсем отчаялись. И лица у них — краше в гроб кладут, такие расстроенные! А у многих даже нет денег, чтобы съездить туда, где есть шанс получить место, и нет приличного костюма.

Рассказ о неудачниках

Июньское утро. Четверг. В гулком обветшалом церковном зале четверо безработных парней играют двое на двое в футбол. Воротами служат крышки, снятые с радиаторов. В углу безработная девушка раскладывает пасьянс, а двое школьников (один прогулял уроки, а другого с них выгнали) подвизаются на бильярде.

Футбольный матч завершен, и ко мне подходит Тони Ривелья. У него уже вид вечного неудачника: оплыл, волосы нечесаны, щеки и подбородок заросли двухдневной щетиной. На нем потрепанные (и единственные) джинсы, грязный свитер. Ему восемнадцать лет и без работы он три месяца — но это для него не новость: с тех пор как он кончил школу в июле 1979 года, он уже четвертый раз получает пособие по безработице.

— Если бы я мог выбирать работу, то стал бы спортивным журналистом. Или актером — это у меня получается, но из всех работ, какие я перепробовал, ни одна не по душе. Сначала я был носильщиком, но потом уехал в Рим к родным. Там я подрабатывал, но прожить на это было нельзя. Ну и вернулся. Три месяца перебивался на пособии, потом нашел место посыльного в Сити. Платили дерьмово: получал тридцать два фунта в неделю, и шесть уходило на дорогу. Я объяснил, что не могу так существовать, и попросил прибавки, но мне отказали, и я ушел. Шесть недель я не получал пособия, потому что ушел сам. Месяца через два устроился на бензоколонку, семьдесят два фунта в неделю за шесть ночных смен, с одиннадцати вечера до восьми утра, но если я приносил домой тридцать — сорок фунтов, это была удача. С меня все время вычитали то двадцать фунтов, то двадцать пять: каждый раз, как проверяли счетчики на колонках, у них итог не сходился. Я сказал, что, значит, счетчики барахлят, а они — нет, счетчики в порядке. Через три месяца меня уволили, потому что я забыл спустить кассовый ящик в желоб, а его сперли. В нем было полтораста фунтов, и их вычли из моей зарплаты. Я совсем без гроша остался. И опять шесть не-

дель сидел без пособия — дескать, работу я потерял по своей вине.

Через три месяца,— продолжает Тони,— меня взяли на швейную фабрику срезать лишние нитки с готовых платьев за сорок семь фунтов в неделю. Чтобы добраться к восьми, вставать приходилось в шесть, автобусы ведь ходят черт знает как. Мастер там все время мне угрожал. Уроню платье с плечиков, а он орет: «Попробуй урони еще раз, я тебе в нос дам!» — «А ну, давайте!» — говорю. Очень мне хотелось съездить ему по морде, но не осмелился. С фабрики меня уволили потому, что я отпросился со второй половины дня: совсем тошно стало от пара и запаха глажки. А вечером у нас был футбольный матч. Не мог же я подвести товарищей, не то бы меня из команды выгнали. Только я ногу подвернул. На следующий день мастер увидел, что я хромаю, и спросил, как это меня угораздило. А я сдуру правду сказал. «Ах, так работать ты болен, а футбол гонять здоров!» Ну и уволил меня. И опять шесть недель без пособия жил.

Очень меня злит, когда говорят, будто я не ищу работы. Я же ее дни и ночи искал. Первые недели, как меня уволили, изо всех сил старался хоть что-нибудь найти. Ну, а потом остываешь. Что за радость все время слышать: «нет», «нет», нет»? Теперь проснусь утром и никуда идти не хочется. Заранее знаю, что ничего не найду. Я уже подумывал, не совершить ли преступление, но знаю, что так нельзя, да я и не смогу. Разве что у матери в кошельке иной раз пошарю. О будущем не думаю. Лучше ведь не станет.

Все это Тони говорит без горечи, как будто покорившись судьбе.

Тони — типичный для Хакни молодой человек, который не получает в школе ни профессиональных навыков, ни подлинных знаний. Годы и опыт заставят его считаться с властями и глотать унижения, но до известного предела. Когда рабочих рук не хватает, нанимателя мирятся с этими тихими бунтарями, но в период спада они берут надежных, послушных и дипломированных. А от таких, как Тони, быстро отделываются, и они обречены на юность, не отвечающую ожиданиям эпохи, на искусственно продленную юность, то есть полную зависимость от благотворительности родственников, когда парень не может ни купить себе что-нибудь из одежды, ни пригласить куда-нибудь девушку, ни просто развлечься.

Безработные девушки, с которыми я знакомился, по большей части казались не столь деморализованными, как их сверстники. Во-первых, на них лежат заботы о доме и они находят, чем заняться, помогая матери; во-вторых, их мечты о будущем не сосредоточены на том, как пробиться, сделать карьеру, хорошо зарабатывать. А что до развлечений, то у них ведь есть работающие поклонники. И все-таки даже для девушек безработица — тяжелое, гнетущее испытание.

Когда я в три часа дня зашел к родителям Кэролайн Уэймут, хорошенькой девчонки восемнадцати лет, она все еще была в халате.

— Я всегда хотела быть стюардессой. За два года до окончания школы я написала во все авиакомпании и получила ответ, что надо обратиться в бюро путешествий. А там мне сказали, что у меня в школе были не очень хорошие отметки и я могу рассчитывать только на работу продавщицы. Устроиться мне удалось только в универсальный магазин. Но я оттуда ушла. Некоторые покупатели смотрят на тебя, словно ты грязь у них под ногами. Вот почему многие девочки не любят обслуживать, а собираются в сторонке и болтают. Сейчас я ищу другую работу, но у меня нет денег, чтобы ездить по объявлениям. Одна поездка в Уэст-Энд и обратно обошлась мне в три фунта. А я получаю в неделю всего пятнадцать и десять отдаю маме. Вот и выходит, что поехать по объявлению я могу раз в две недели. А нанимателя теперь очень разборчивы, чтобы работать в кондитерской, подавай аттестат с отличием! Пойти куда-нибудь вечером теперь так дорого, что мне самой не по карману. А чтобы за меня платили, я не хочу: пусть не думают, что я за это что-то должна! Провести где-нибудь вечер стоит не меньше десяти фунтов. Если просто зайти в бар немножко выпить, это обойдется в семь фунтов на такси и два фунта за стакан лагера [1] и бокал кока-колы с водкой. Если все-таки решим поесть, то несчастный кебаб с рисом — это пять фунтов, ну а бифштекс потянет на все двадцать. Вечером я просто должна ездить на такси. Возвращаться по Парк-роуд пешком я боюсь. Одну мою подругу, она меня проводила с вечеринки, на обратном пути ограбили и чуть ногу ей не перебили — она пять недель пролежала. Если наденешь украшения, надо их прятать, не то сорвут. Домой я могу вернуться, только если кто-нибудь меня проводит до самых дверей...

Безработица и все возрастающая стоимость развлечений лишают Кэролайн Уэймут радостей беззаботной юности. И, как мы увидим ниже, разгул преступности, который внушает ей такой страх, в значительной мере — следствие этих же двух факторов.

Неподвижное время

Хуже всего с работой у цветной молодежи, особенно юношей. Непрекращающаяся скрытая дискриминация усугубляется последствиями низкого уровня образования, а те, кто работает, испытывают больше всяких придирок и неприятностей, чем белые. Безработные черные юноши большую часть времени проводят на улице, где им постоянно угрожают полицейские допросы.

С Майклом, черным пареньком семнадцати лет, я познакомился в молодеж-

[1] Легкое пиво *(нем.)*

ном клубе, помещающемся в старом викторианском особняке в самом центре европейского квартала в Хакни.

С 1980 года клуб открывает свои двери и днем. Внутри до ночи щелкают бильярдные шары, басисто завывает видеомагнитофон, словно в насмешку предлагающий «Вырваться на свободу», по кирпичику разнеся тюремную стену. Безработные черные ребята, коротающие тут время, великолепно овладели этим искусством, хотя в реальной жизни им никак не удается проломить стену, которую воздвигла вокруг них за последние семь лет политика монетаризма...[1] Майкл кончил школу в июле 1980 года с пятью низкими оценками, после чего шесть месяцев жил на пособие, а затем три месяца учился на электротехнических курсах, цель которых — помочь молодежи в трудоустройстве. Стипендия — 23,5 фунта плюс 2,5 фунта на дорожные расходы — превращалась практически в нуль после того, как он выплачивал 10 фунтов за питание и дорогу, а 10 фунтов отдавал матери. После этого — снова пособие по безработице, но поскольку он получает 19 фунтов 20 пенсов (1981) в неделю и не имеет никаких расходов на работе и на дорогу, его финансовое положение заметно лучше, чем тогда, когда он учился на курсах.

— Из-за денег я совсем извелся. Родители мне помогают, только от этого совсем уж плохо. Мама была больничной санитаркой, а сейчас не работает. Отец плотник, но он все жалуется, что даже пару новых ботинок купить не может. И все пристает, чтобы я нашел работу. А я спрашиваю: где я найду ее? Я написал во все электрофирмы, какие есть в справочниках. Ответ один: набора нет, обратитесь в будущем году. Бюро по трудоустройству молодежи предлагает самую паршивую работу, а трудоцентр успевает послать до тебя сто человек, так что шансов нет. Да теперь у меня и денег нет, чтобы куда-нибудь поехать узнать. Вот приду сюда, сыграю на бильярде, погуляю по улицам, вернусь домой, включу музыку, но все это мне осточертело... Сейчас модно воровать, чтобы хорошо одеться, а меня это не интересует — слишком уж хлопотно, и ничего на этом не выиграешь. И чтобы с девчонкой познакомиться, нужны деньги. Если денег нет, они и знать тебя не хотят. Преступником стать? Я все время об этом думаю. Вот бы ограбить банк, и все такое! Но у меня смелости не хватает. Увижу на улице женщину и уже прикидываю, как бы вырвать у нее сумочку. А потом подумаю: вот и у мамы кто-нибудь так. И отворачиваюсь.

Время ложится тяжелым бременем на плечи тех, кто не имеет работы. Оно теряет весь свой позитивный потенциал: оно не служит для того, чтобы зарабатывать деньги и тратить их и тем более — чтобы осуществлять мечты и честолюбивые замыслы, добиваться намеченной цели. Время — это пустыня, через которую надо пройти, которую надо преодолеть.

День превращается в зияние между двумя спячками. Время, которое с успехом убивается работой, воскресает, когда работы нет. Джейк, друг Майкла, сформулировал это немного иначе: «Когда работаешь, то что-то делаешь. А когда нет работы, ты почти мертвяк. Чтобы чувствовать, что живешь, надо что-то делать».

— Время для этих мальчиков не имеет значения,— говорит Ирвин Хорсфорд, основатель молодежного клуба.— Для них нет разницы между полуночью и полуднем. Утром они просыпаются, коротают день и опять спят. У них нет ни целей, ни стремлений. Суточный ритм смещается, теряет связь со светом и тьмой. Встаешь, когда люди обедают, а ложишься на рассвете. Способность рассчитывать время пропадает — договариваешься встретиться и не приходишь. Когда же чудом появляется возможность устроиться на работу, ее нередко теряют, потому что организм не может снова приспособиться к необходимости рано вставать и жить по часам. Так безработный преображается в человека, не способного работать.

Разбитые семейные очаги

...И все-таки тяжелее всего кризис сказывается на семьях с маленькими детьми. Высокая квартирная плата, отмена налоговых скидок на детей и пособий для покупки одежды — эти и другие факторы повысили расходы и снизили доходы молодых семей.

Стив Кейпс, худощавый, немножко нескладный двадцатитрехлетний квалифицированный рабочий, совсем недавно принадлежал к рабочей элите: он работал не покладая рук, был экономен, обзавелся собственным домиком и откладывал деньги на черный день. И за какой-то год он, его жена Айрин и их трое детей — четырехлетняя Ли, трехлетняя Мэнди и двухмесячный Стив — оказались на грани нищеты.

Кейпс начал работать еще в школе, в юном возрасте тринадцати лет, трудясь в обход закона тридцать два часа в неделю на ременной фабрике, где и остался, кончив школу.

— Я что делал? Покупал собственное сырье и оставался после работы еще на два-три часа. За неделю я мог изготовить две с половиной тысячи ремней: один вечер строчил, второй пряжки вшивал, а на третий упаковывал. Может, с каждого ремня я только несколько пенсов выгадывал, но складывались они в порядочную сумму.

Он все время работал, по вечерам и в выходные: три вечера — в пивной, по субботам и воскресеньям — у отца, хозяина маленькой строительной конторы, и по воскресеньям же обслуживал ларек на Бриклейнском рынке. В девятнадцать лет он некоторое время жил на

[1] Основа экономической политики правительства М. Тэтчер. Предусматривает сокращение капиталовложений в промышленность (отсюда рост безработицы) и расходов на социальные нужды.

пособие, обучаясь водить грузовики, чтобы получить профессиональные водительские права. Ему быстро удалось найти работу в крупной транспортной фирме. Рабочий день у него был долгим, но домой он приносил по 180 фунтов в неделю, а бывало и по 275. Они купили домик в Нортгемптоне.

— Всего год назад у нас была собственная крыша над головой, необходимая одежда, хорошая машина — «трайэмф-стэг», за которую я выплачивал страховку в 360 фунтов. Я даже подумывал продать ее и купить «дженсен» — всю жизнь мечтал о «дженсене», но теперь это надо выкинуть из головы. Теперь и велосипеда не купить.

В ноябре 1980 года дела пошли плохо. Фирма отменила сверхурочные, а потом они перешли на трехдневную рабочую неделю. Он приносил домой уже только 140 фунтов в неделю, затем и вовсе 54 фунта. И вот в марте 1981 года фирма, нанимавшая 800 человек, сократила 120 из них.

— Они сделали это подло — сократили тех, у кого стаж был меньше двух лет, чтобы не платить компенсации. А почти у всех маленькие дети и выплаты по кредиту. Мы думали, не объявить ли забастовку, но тогда они нас просто бы вышвырнули вон. Да и те, кого оставили, не хотели нас поддерживать. У них-то была работа.

Стив уже не мог выплачивать кредит, им пришлось продать домик, выручив сверх потраченных на него лишь несколько сот фунтов, и вернуться в Хакни, где после нескольких месяцев, проведенных в общежитии для бездомных, им предложили квартиру, здесь я и разговариваю со Стивом.

— Я не подавал заявления о дополнительном пособии — подумать не мог, как буду заполнять все эти бумажки. Ну, и надеялся, что подвернется какая-нибудь работа. У нас были сбережения — 845 фунтов, мы на них и жили. Один раз я, правда, направился в отдел социального обеспечения, но была такая очередь, что я плюнул и ушел. Жена заложила даже обручальное кольцо за 10 фунтов. Мы нарочно не стали брать под него больше — а то потом не сможем выкупить.

В прошлый понедельник у нас осталось всего одиннадцать пенсов, так что пришлось мне встать на учет,— продолжает Стив.— С нами все. Раньше мы каждый день принимали ванну, а теперь не всегда удается вымыться раз в неделю. Прежде мы ездили в зоопарк или к морю, а теперь ходим на Хакнейское болото и ловим лягушек в старых отстойниках. Прежде я спокойно выкладывал двадцать пять фунтов, чтобы поужинать где-нибудь с бутылочкой вина, а теперь мне даже рыба с чипсами не по карману. Как живу? Встаю, отправляюсь в центр по трудоустройству, обхожу несколько фирм, возвращаюсь домой, смотрю телевизор, зеваю, потому что скучища все это, и ложусь спать. Так и живу. Я в пяти транспортных агентствах записан на случай временной работы, но за две недели меня только раз вызвали на один день. Строительства никакого не ведется, а нанимателя этим пользуются. Год назад платили 15—20 фунтов в день, а теперь предлагают 8—9, а выпускникам школ платят и вовсе по 4 в день. Многие мои друзья должны пользоваться пособием и скрывают от инспектора, если им удается подработать. Так и говорят, что Тэтчер сделала их мошенниками. Ненавижу ее! Если она выступает по телевизору, я сразу выключаю. Я считаю, надо бы собраться всей страной и пойти на Даунинг-стрит. Но только люди друг за друга не стоят. Сплошь индивидуалисты. По-моему, страна никогда уже на ноги не встанет. С нами покончено. Если бы я мог эмигрировать, завтра уехал бы. Лучше бы в тридцатые годы жить, а не сейчас! Я бы предпочел воевать на второй мировой войне! Или в школу вернуться. Если бы остановить время, и чтобы всегда шестнадцать!

Как грустно слышать эти беспомощные излияния от такого энергичного, предприимчивого молодого человека. Увольнение оглушило его, словно взрыв бомбы: внезапный удар, который он не мог ни предотвратить, ни смягчить, открыл ему его внутреннее бессилие, о котором он прежде и не подозревал.

Восемнадцатилетний черный юноша, пополнивший ряды безработных сразу после школы, выразил то же чувство: «Когда я был маленьким, как легко жилось! Ни о чем можно было не заботиться!»

Современный «Закон о бедных» Социальное обеспечение

Основная цель нашего современного «Закона о бедных» заключается в том, чтобы, поддерживая человека на грани выживания, время от времени проверять, действительно ли его нужда так велика, а это сопряжено не только с волокитой, но и с систематическим унижением тех, кто пользуется пособием. Во-первых, потому, что лишает их суммы, необходимой для всех домашних нужд, и отводит им роль попрошаек. Во-вторых, потому, что государство скупится, и у соответствующих отделов и бюро возникает соблазн сводить все просьбы к минимуму, вовсе отказывать или урезывать просимые суммы, словно торгуясь на рынке с пройдохой-торговцем. Документы просителя, его готовность работать, его интимная жизнь и честность подвергаются назойливой и дотошной проверке, которая глубоко оскорбляет и возмущает всех, кто обращается за пособием. Истории, которые я слышал от самых разных людей, конкретны, убедительны и настолько похожи, что вывод может быть только один: такая ситуация не случайна, а типична.

...Меры, проводимые правительством Тэтчер, усугубляя последствия мирового экономического спада, заметно увеличили нагрузку, ложащуюся на отдел социального обеспечения, не только из-

за гигантского скачка безработицы, но и из-за постоянных повышений квартплаты и коммунальных сборов, к которым вынуждены прибегать муниципальные советы. К тому же министерство здравоохранения и социального обеспечения не замедлило внести свою лепту в «борьбу с расточительностью»: если в апреле 1979 года разбором заявлений о пособиях по стране занималось 98 369 служащих этого министерства, то три года спустя, когда армия безработных выросла до полутора миллиона, это число сократилось до 95 543 человек. И пусть министры заявляют, что в результате этого деятельность отделов социального обеспечения стала эффективнее, на самом деле трудности, с которыми сталкиваются люди, обращающиеся в эти отделы, заметно увеличились.

Социальное обеспечение и преступность

В теории социальное обеспечение, гарантируя обездоленным определенный прожиточный минимум, должно препятствовать развитию преступности, но к началу 80-х годов наша система настолько разложилась, что сама начала толкать людей на скользкий путь. Разрыв между милостыней, которую подает «Закон о бедных», и социально приемлемым прожиточным минимумом крайне остро ощущается теми, кто вынужден существовать на пособие. Одни стискивают зубы и перебиваются, другие ищут лазейки, прибегая к мошенничеству. Третьи становятся преступниками. В нашем восхитительном государстве «всеобщего благосостояния» неуклонно растет число абсолютно неимущих, в буквальном смысле слова по нескольку дней, а то и неделями не имеющих ни гроша за душой.

...Состояние здоровья — один из самых знаменательных и трагических показателей неравенства, существующего в Англии. Сравнивая наименее привилегированные группы нашего общества с более привилегированными, мы убеждаемся, что процент длительных, снижающих трудоспособность заболеваний среди неквалифицированных рабочих втрое выше, чем среди служащих и представителей интеллигентных профессий, психических — в четыре раза выше, несчастных случаев на рабочем месте — в шесть раз. Глухота встречается вдвое чаще, а полная потеря зубов — втрое. Детская смертность в бедных районах выше в два с половиной раза, а число мертворожденных младенцев — в два раза.

Вот так неравенство въедается в самую плоть бедняков, и, в силу закона обратной пропорциональности, чем нужда больше, тем скуднее средства ее удовлетворения.

Хакни, разумеется, не составляет исключения из правила. Это не тот район, который привлекает врачей... Среди тех, кто там практикует, много очень пожилых людей — каждому четвертому за шестьдесят. В большинстве своем они предпочитают не работать в медицинском центре, а открывают собственные приемные — нередко в задних помещениях убогих лавчонок или просто в квартире жилого дома. Прием ведется, как правило, четырнадцать часов в неделю, причем в такое время, которое для рабочих заведомо неудобно. Рабочему, ушедшему к врачу до конца смены, «простой» обычно не оплачивается. Предварительной записи нет, и задолго до начала приема на улице выстраивается очередь пациентов — нередко в холодные зимние утра. Или же больным приходится часами ждать в неотапливаемых помещениях, при которых нет туалетов.

Я побеседовал с несколькими жительницами Хакни о том, как им приходилось лечиться. Все они жаловались, что врачи обращаются с ними пренебрежительно, разговаривают резко — как, разумеется, не рискнули бы говорить с состоятельными пациентками.

Рут. «В амбулатории, куда я хожу, принимают три доктора. Помещается она в обычной квартире с проходными комнатами. Идешь к своему врачу через кабинеты остальных двух во время осмотра других больных, а ширмы нет. Мой врач меня осматривал. «А вдруг кто войдет?» — спрашиваю. А он: «Не глупите! Все вы сюда приходите, потому что больны. Так что же стесняться?»

Джеки. «Не успеешь войти, а тебя уже выпроваживают. Ни разу не удалось сесть и спокойно рассказать, что с тобой такое. А от самих врачей ничего толком не узнаешь. Придешь домой, муж спрашивает: «Ну, что с тобой?», а я отвечаю: «Он мне не сказал».

Дорис. «Доктор мне так и заявил: «Что толку вам объяснять, вы же все равно не поймете». Кончит записывать в карточку, встанет, откроет дверь и выпихнет вон. Минуты лишней не может на вас потратить!»

Плохое время для стариков

Ни одному поколению стариков не приходилось переносить на своем веку столько болезненных перемен, как нынешнему. Две мировые войны, лондонские бомбежки, великая экономическая депрессия. Окружающая среда, какой они знали ее в молодости, преобразилась неузнаваемо, но социальные изменения дезориентируют их еще больше: ведь они пережили полный переворот в шкале личностных ценностей в обычаях, в промышленности, в средствах массового общения и вкусах. А теперь, на закате их дней, наступает мрак второй экономической депрессии.

Ни одно поколение стариков не было так изолировано. Стремительные перемены лишили их роли старейших в роде, а новой роли для них не создали. Их мудрость никому не нужна. Уважение к старикам у молодежи сменилось равнодушием или насмешкой, внимание — полным пренебрежением или даже издевательствами. Семейное чувство ответственности, соседское участие схо-

дят на нет, и все больше стариков обречено на одиночество или приюты для престарелых. Однако особенно обездолены старики «внутреннего города», потому что нигде внешняя обстановка и социальные связи не изменились столь драматично, как там: это и новая застройка прежних трущобных кварталов, означающая утрату привычного образа жизни и давних знакомых, и переезд детей и внуков в пригороды, и массовое появление вокруг людей других национальностей и культур, и гнетущий страх перед улицей с ее преступлениями и насилием. Нигде старики так не одиноки, как во «внутреннем городе».

То, чего уже не предоставляет им прежняя община, должны обеспечивать государство и местные власти. Однако уменьшение ассигнований на социальные нужды положило конец тому, что делалось в этом направлении, и заставило отказаться от многого уже сделанного. В больницах постоянно сокращается число коек, предназначенных для стариков, нуждающихся в длительном лечении. Сотрудники отделов социального обеспечения прекратили посещения стариков, еще способных заботиться о себе, а часы помощи на дому тем, у кого на это уже нет сил, заметно сокращены. Правда, в связи с инфляцией пенсии повышались более стабильно, чем пособие по безработице и дополнительные пособия, но это повышение стремительно обгонялось ростом квартплаты и стоимостью отопления.

Старики Хакни, как правило, принимают эти невзгоды с завидным стоицизмом. Вероятно, потому, что и прежде им жилось нелегко. Но прошлое и настоящее тяжелы по-разному. Воспоминания о давней вопиющей нищете мешаются с воспоминаниями о деятельной и дружеской спайке бедняков, которая теперь практически исчезла.

Расти — противно!

Детство во «внутреннем городе» уж никак нельзя назвать лучшей и безоблачной порой человеческой жизни. Ребенок, который при нормальных обстоятельствах был бы источником радости и объектом любви, слишком легко становится там причиной вечного раздражения и тягостной помехой. Семья, которая должна учить житейскому опыту, сотрудничеству, умению контролировать себя, становится школой неудач, ссор и преступлений. А вне стен родительского дома ребенок вместо безопасной среды, открывающей широкие возможности для игр, приключений и познания мира, находит улицу, кишащую опасностями для здоровья физического и морального.

В бедных семьях, живущих в тесноте, почти всегда бросается в глаза негативность в контактах между родителями и детьми, причем чаще всего повинна в этом житейская обстановка.

По мере того как дети растут, поводы для столкновений все умножаются, а моральный и коммерческий дух эпохи не способствует их предотвращению. Даже едва начавшие ходить носят брючки и вскоре протирают дырки на коленях. Подошвы дешевых туфель отваливаются через месяц-другой. А телевизионные программы непрерывно распаляют детскую фантазию и желания.

Когда я пришел к Саре Джонс, по телевизору (он включен постоянно, чтобы дети не шумели) передавались фильмы, рекламирующие электронные игрушки, стоящие от 10 фунтов и выше. А в доме даже дешевых игрушек почти нет, и детишки пытаются использовать предметы домашнего обихода — иногда хрупкие, а иногда и очень опасные в неумелых руках. Мег, белокурая двухлетняя девчушка, начинает отвинчивать ножом решетку электрокамина, а четырехлетний Мартин дырявит дверь стамеской.

— Недоумок он у меня, сами видите,— говорит Сара.

Я заметил, что во «внутреннем городе» многие родители, говоря о своих детях, пускают в ход это слово.

Нередко дети вызывают раздражение и даже ненависть своими непрестанными посягательствами на тесное пространство и скудные ресурсы бедного дома, а также на время и энергию родителей, которых и так ни на что не хватает. Ребенок становится не смыслом жизни родителей, но препятствием, мешающим удовлетворению их личных потребностей, отдыху, развлечениям и осуществлению честолюбивых целей. Такое отношение особенно заметно среди женщин и, в частности, у матерей-одиночек; отцы, как правило, просто не допускают, чтобы дети ограничивали их свободу, перекладывая все заботы о них на мать.

Элейн У. (это не подлинное имя), даже не пытается скрыть своего отношения к шести детям, которых ей приходится воспитывать одной: «У меня слишком много детей, они мне всю жизнь испортили...»

Теснота, отсутствие игрушек, тягостная домашняя атмосфера — все побуждает ребенка во «внутреннем городе» не путаться под ногами у родителей и бежать из дому, но мало у кого есть садики, где ребенок мог бы спокойно играть под присмотром. И дети уходят на балконы, лестничные клетки, во дворы и на улицы.

Но в Хакни для детей нет места. В любом дворе обязательно красуется надпись: «Играть с мячом запрещается», хотя без нее вполне можно бы обойтись, ведь там и повернуться негде, не то что побегать — непременно налетишь на машину, может быть припаркованную, но чаще дожившую свой век или украденную. Они успешно отвоевывают у детей последнее жизненное пространство.

Те же, кто убегает играть на улицу, подвергаются еще большим неудобствам и опасностям. Ребенку в сельской местности или даже в пригороде поиски развлечений или приключений в окрестностях родного дома ничем особенно не угрожают — будет стрелять в птиц из рогатки, кататься на каком-нибудь старом суку, пока тот не сломается, обследовать ближнюю рощицу. Но в городских условиях

такие экспедиции чреваты неизмеримо более серьезным риском: ведь ребенок оказывается в джунглях из стекла, бетона, металла, электрических проводов, засоренных сточных канав, пустующих, предназначенных к сносу, жилых домов и фабрик — в джунглях, населенных стремительными легковыми машинами, тяжелыми грузовиками, скорыми поездами, бездомными псами, а нередко и двуногими зверями. Естественную потребность играть дети «внутреннего города» могут удовлетворить, либо постоянно нарушая какие-то правила и установления, либо непрерывно ставя под угрозу здоровье и жизнь. Извечная детская любознательность и любовь к приключениям, стремление строить и ломать заставляют их то и дело причинять кому-нибудь ущерб или страдания, портить чью-то собственность, нарушать закон. Борьба за жизненное пространство вызывает непреходящий антагонизм детей и взрослых. Жители часто жалуются и составляют петиции с просьбой закрыть игровые площадки, убрать игровые автоматы из кафе. В ответ детская агрессивность нередко выражается в хулиганстве.

Улица во «внутреннем городе» — настоящая академия преступности. В районе, где скапливаются человеческие отбросы всего Северного Лондона, она дает приют не только детям, но и ворам, торговцам наркотиками, проституткам, бродягам, запойным пьяницам, а также психически больным людям, которые на глазах у всех подчиняются велениям больного воображения. В Хакни достаточно подобных зрелищ, и дети все это видят.

Взрослые уже не образуют единого фронта, контролируя поведение ребенка вне дома. Если сосед пожалуется родителям на поведение их отпрыска, они уже не поддерживают соседа, а, как правило, оправдывают и выгораживают ребенка. В результате каждый взрослый в одиночку противостоит спаянным компаниям детей и подростков. Вновь и вновь приходится слышать, как на самое справедливое замечание подростки отвечают матерщиной, а родители, при попытке воззвать к ним, встречают жалобщика оскорблениями, а то и хватаются за нож для рубки мяса. Положение усугубляется напряженными отношениями между людьми разных рас: белым взрослым заведомо бесполезно делать замечания черным детям, и наоборот.

В семейных битвах, вызываемых бедностью, детей используют как оружие или как союзников. Родители соперничают из-за их любви и полностью подрывают авторитет друг друга. После развода мать, оставшись одна, часто не имеет ни физической, ни нравственной энергии, чтобы контролировать поведение детей. Во многих семьях место родителей прочно занял телевизор, а он отнюдь не может быть воспитателем масс... Хотя программы после девяти вечера детям официально смотреть не рекомендуется, в Хакни никто этой демаркационной линии не замечает, и даже ученики первых классов просиживают перед экраном до полуночи. В классе моей жены, учительницы начальной школы, каждый третий из ее восьмилетних учеников не ложился спать, не досмотрев очередную порцию кровавых ужасов многосерийного «космического» телефильма. Вот так во имя свободы слова и информации — свободы сотрудников рекламных агентств и мелкобуржуазной интеллигенции — подрастающему поколению прививают жестокость, одурманивают его и преждевременно заражают желаниями и стремлениями, естественными для взрослых.

Преступники и их жертвы

По количеству сообщений о происшествиях «Хакни газет», печатный орган района, успешно соперничает с общенациональной «Ньюс оф уорлд». Первая страница этой газеты всегда пестрит устрашающими заголовками. У тех, кто дважды в неделю глотает эту квинтэссенцию ужасов, которой «Хакни» приправляет их и так мрачную жизнь, возникает еще и безотчетный страх, тягостное ощущение, что они носятся по воле волн среди невидимых рифов, мин и прожорливых чудовищ.

В 1981 году в Хакни было совершено более 23 000 серьезных преступлений — по одному на каждые три семьи. Примерно один человек из ста подвергся нападению, одно жилище из шестидесяти было ограблено и одна машина из четырех угнана. Эти цифры отражают только официально зарегистрированные преступления, а если добавить все то, что не получило огласки, то цифра увеличилась бы, наверно, на 60—100 процентов.

Краткий обзор сообщений из зала суда в «Хакни газет» за четыре взятых в разбивку месяца между апрелем 1981-го и мартом 1982 года лишний раз подчеркивает связь между ростом преступности и безработицей. Согласно этим данным, безработные совершают преступления почти в четыре раза чаще, чем работающие. Причем связь эта носит отнюдь не односторонний характер, поскольку противозаконные деяния сами становятся причиной потери работы — ведь служебные преступления, даже если человека не привлекают к уголовной ответственности, всегда ведут к увольнению. Если же преступление совершается, так сказать, на стороне, это также почти всегда приводит к потере работы, особенно если оно наказывается арестом. Более того: стоит обнаружиться, что такой-то служащий или рабочий в давнем прошлом был судим — его почти наверное уволят, поиски же новой работы будут для него особенно трудны. В результате процент бывших или потенциальных преступников среди безработных оказывается относительно высоким — как и процент безработных среди преступников.

Крайняя бедность сама по себе может стать стимулятором преступлений. Рост преступности в мрачную эпоху начала 80-х годов во многом коренился в нищете, как это было и во времена Диккенса. Так, сорокалетний безработный каменщик, схваченный полицейским, когда он влезал в окно склада, сказал, что до

Рождества ведь всего неделя, вот он и решился на кражу. Двое братьев, безработных выпускников школы, украли цветок в горшке, стоивший 60 пенсов, чтобы подарить его матери, которая лежит в больнице. Отец семейства тайком включил отключенный газ, чтобы выкупать своих малышей. Тридцатилетняя мать троих малолетних детей, у которой отключили газ и электричество, была осуждена за кражу газа на сумму в четыре фунта. А люди, которых арестовывают за кражу вещей самой первой необходимости в магазинах? Причина их задержания говорит сама за себя.

Нужда заставляет вспомнить привычки и приемы, приобретенные в подростковом возрасте, а потом оставленные и забытые. Между 1979 и 1981 годами число людей, совершивших повторные преступления после долгих лет честной жизни, резко возросло, как и число первых преступлений, совершенных людьми пожилого возраста, которые при обычных обстоятельствах редко отступают от правил, соблюдавшихся всю прежнюю жизнь.

В судьбе почти каждого отдельного преступника явно прослеживается воздействие тех или иных влияний и факторов, перечислявшихся выше. Вот Майк Дэвис, двадцатилетний крепыш с грубоватым, но по-своему красивым лицом. Он достиг возраста, когда юноша обычно прощается с подростковыми эксцессами, однако безработица и бедность практически закрывают перед ним такую возможность.

Впервые Майк пришел в столкновение с законом в девять лет, стоя «на стреме», пока ребята постарше взламывали двери магазинов и гаражей. Правонарушения сначала объясняли плохой учебой в школе, неумением усердно заниматься, неумением школы заинтересовать его. («Я с первого класса прогуливал,— рассказывает он. — А позже ходил только на те уроки, какие мне нравились, раза четыре в неделю».) Зато он был членом шайки, которая гордилась репутацией самых отпетых хулиганов во всем Хакни и объявила настоящую войну темнокожим сверстникам.

— У шаек вообще-то своя территория у каждой, но мы вторгались к ним и лупили их. Один раз у нас была такая драка с черномазыми возле Хакнейского муниципалитета, что о ней даже в «Ивнинг ньюс» писали. И еще мы ходили бить паков (пакистанцев) в Брик-Лейне. Я паков и сейчас не люблю и не мог бы с ними работать: у них каждый сам за себя. Правда, сейчас, когда я уже не мальчишка, мне их точка зрения стала понятнее.

В 1980 году ему выпал шанс встать на правильный путь: он получил место подручного мясника на Смитфилдском рынке — рубил свиные туши, перетаскивал нарубленное мясо. Работал он с пяти утра и до часа дня, домой приносил в неделю 61 фунт, включая плату за пять часов сверхурочных. Тогда же он женился на Шейле, девушке, с которой был близок пять лет. Подросток в нем проявился и в том, что брак зарегистрировали, только когда она родила.

— Я хотел прежде посмотреть, мальчик родится или девочка. Родись девочка, я, может, не стал бы себя связывать.

Но на рынке он проработал недолго.

— Хозяин мне не понравился. Все подсматривал, подслушивал — куда идешь да зачем. Сам пишет, а одним глазом на тебя косится, мразь этакая. В конце концов он меня уволил, потому что много мяса пропадало. Да только уволил он не того: крал-то другой подручный.

Найти свой кров молодоженам с младенцем оказалось очень нелегко.

— Пришлось жить отдельно — она у своей мамаши, я у своей. Но нам повезло, через три месяца нам дали жилье... Когда я туда вошел, меня затошнило. Нет, по-настоящему. В окнах ни одного стекла. Грязища, вонища. Обои висят лохмотьями. Да и соседи подобрались те еще. И сквозь стену все слышно, когда они примутся орать. Мне-то смешно, но Шейла пугается.

Экономическая сторона жизни Дэвисов неумолимо ведет их к нарушению закона и постоянным ссорам. Семейный доход слагается из пособия по безработице и пособия на ребенка и составляет (в 1981 году) 61 фунт 85 пенсов. Приятель Майка, снимающий у них угол, платит им 15 фунтов в неделю — но когда я беседовал с Майком, приятель был в тюрьме. Из этой суммы сразу же вычитаются 6 фунтов 10 пенсов в погашение долга за электричество. На свои личные расходы Майк забирает 8 фунтов. Его можно понять, но это служит источником семейных ссор, так как 8 фунтов — это пятая часть денег, остающихся после оплаты счетов на еду и одежду. (Таким образом, женщины и дети оказываются в более ущемленном положении, чем мужья и отцы.) Остается 31 фунт 68 пенсов на еду для трех взрослых (Майк, Шейла и их жилец) и одного ребенка, не говоря об одежде, пеленках и других предметах первой необходимости, — по 7 фунтов 92 пенса на каждого в неделю, или по 1 фунту 13 пенсов в день — на эту сумму в то время можно было купить ровно три жестянки консервов для кошек.

А ведь Дэвисы требуют от жизни совсем немного. Этот разрыв между потребностями и возможностями ведет к постоянным ссорам. Когда я с ними познакомился, они разъехались и Шейла жила у сестры Майка. А причина ссор — почти всегда деньги...

И вот в результате нынешней нужды и уличного прошлого и Майк и Шейла — вместе и по отдельности — идут на всяческие нарушения закона. Шейла, прежде чем зарегистрировалась с Майком, жила с ребенком у родителей и получала пособие как мать-одиночка. И продолжала его получать, выйдя замуж за Майка, который получал пособие на них троих. Но эти добавочные 24 фунта 35 пенсов в неделю ничего не решали, и когда я познакомился с Шейлой, она уже дважды привлекалась за кражу в магазине и была осуждена условно.

Обвинения против Майка куда более

серьезны: угон машины, нанесение телесных повреждений средней тяжести, кража со взломом, просто кража, нанесение ножевого ранения из хулиганских побуждений.

— Не терплю, чтобы со мной вольничали,— объясняет он.— Я становлюсь агрессивным.

Он принял меры, чтобы вновь не задолжать за электричество.

— Вот что деньги жрет — электричество. Так что надо это прекратить!

И показал мне, как именно. Он извлек проволочку из пломбы на счетчике, снял крышку и чуть-чуть повернул верхний левый винт так, что диск перестал вращаться. Затем он поставил крышку на место и вставил проволочку в пломбу... Суть этой операции заключается в том, чтобы не слишком зарываться. Три-четыре недели в квартал Майк пускает счетчик, чтобы не вызывать подозрений. Это помогает снизить расходы. А чтобы повысить доход, Майк время от времени совершает вместе с приятелем кражи.

— Без краж не обойдешься. Должен же я заработать себе хоть несколько фунтов. Мы действуем так: намечаем какую-нибудь маленькую фирму. Один спрашивает, нет ли работы, и отвлекает хозяина, а другой тем временем незаметно хватает ящик с выручкой. Я так брал от сорока фунтов до трех сотен. Но я не жадный: возьму сорок фунтов и больше не хожу на промысел, пока все не истрачу. Если у меня есть деньги, я остаюсь дома. Когда кончаются — опять иду...

Все это — мелкие кражи, совершаемые чисто из нужды или нежелания пассивно мириться с лишениями. Ведь несмотря на все их ухищрения, Дэвисы отчаянно бедны, все в долгах и почти не имеют ни одежды, ни мебели. Жизнь Майка безнадежно сера.

— Меня списали. От скуки я просто вою. Мне же вовсе нечего делать. Бродишь весь день, словно под газом. Ну, сходишь в гости к сестрам или, если выкроишь фунт, посидишь в пивной. Возьмешь пинту и тянешь ее три часа. Когда мой друг выйдет (из тюрьмы), мы опять пойдем на промысел. Все-таки занятие — раздобывать фунтовые бумажки. Я до того дошел, что уже все равно. Перебиваюсь кое-как — и ладно. Когда сижу совсем без гроша, мамаша говорит: «Вот тебе парочка свиных котлет, вот булка, вот пинта молока». Она всегда поможет. Старуха у меня что надо. Или сестер попрошу. Планов у меня нет. Живу как придется. Какой смысл строить планы? Только одно расстройство. Все равно ничего не выйдет. Планы можно строить, когда ты при деньгах. А так — что есть, то есть, все равно изменить ты ничего не можешь. Жизнь для меня просто обман. Я ни во что не верю. Вранье одно. Если бог существует, то проку от него никакого.

Брат против брата
Раса и класс

Иммиграция и расовые проблемы имеют в Хакни долгую историю. Еще в XVII веке гугеноты, бежавшие из Франции от религиозных преследований, обосновались в Шордиче среди ткачей, в начале XIX века нахлынули ирландские чернорабочие, строившие лондонские доки, и евреи, бежавшие от погромов в России и Восточной Европе.

В 1951 году выходцы из других стран в Хакни составляли всего 6,5% и в подавляющем большинстве были европейцами. Из стран Британского содружества переселились туда только 466 человек. В 50-е годы началась иммиграция из Вест-Индии, причем многие оседали в Хакни — и не только потому, что там нетрудно было найти дешевое жилье. В Хакни была не столь явно выражена дискриминация людей с темной кожей. Так что к 1961 году в Хакни и Стоук-Ньюингтоне жило уже 10 282 прибывших из Вест-Индии, 2300 киприотов и 1600 индийцев и пакистанцев.

В 60-е годы численность всех трех групп продолжала возрастать и они теперь составляли 11,5% населения района. Однако в то же время белое население Хакни сократилось почти на 40 тысяч человек. Это этническое смещение шло параллельно социальному, и «внутренний город» превращался не просто в социальное гетто, но и расовое полугетто...

Темнокожие жители Хакни сосредоточены главным образом в кварталах с наихудшими викторианскими и унылейшими муниципальными домами. Однако ни одна из культур не накладывает там доминирующего отпечатка, как, например, африканцы и выходцы из карибских стран в Ноттинг-Хилле или Брикстоне, а азиаты в Саут-холле. На Стоук-Ньюингтон-роуд турецкие и вест-индские клубы стоят почти рядом с азиатскими лавками и газетными киосками. В Хакни представлены все национальности, входящие в ООН, но они отнюдь не едины. Результат на первый взгляд может показаться живописным смешением разнообразных культур, но сами иммигранты, боюсь, воспринимают Хакни как серое, безликое место, где их культуры подрываются и разрушаются, а нравственные принципы и семейная сплоченность сходят на нет.

Их швырнула туда динамика английского империализма. Сначала Британия завоевала и подвергла эксплуатации половину мира и создала там искусственные режимы, зависящие от нее в экономическом и культурном отношениях, а затем милостиво предоставила им независимость, никак не обеспечив их будущего, не заботясь об их развитии и мирном существовании.

В период бурного послевоенного подъема экономики английские предприниматели, столкнувшись с нехваткой рабочих рук, не стали оснащать предприятия новой техникой и повышать квалификацию собственных рабочих, заодно повышая их зарплату, а предпочли ввозить готовую и дешевую рабочую силу.

Дискриминация на рынке труда вынуждала даже опытных специалистов среди иммигрантов браться за самую черную работу, а дискриминация на жилищном рынке сосредоточила их в кварталах, населенных белыми бедняками. Таким об-

разом предприниматели прикарманивали прибыль от труда иммигрантов, а социальную цену платили рабочие кварталы «внутренних городов».

Когда на смену экономическому подъему около 1966 года пришел застой, а затем и неудержимый спад, иммигранты и их дети стали незваными пришельцами. Потомки жертв Британской империи, они были жертвами капитализма в дни его расцвета, а их дети — жертвы капитализма времен экономической стагнации. Тяжело сказывалась она и на положении малоквалифицированных белых рабочих. Сокращались возможности найти работу и приличное жилье, падала заработная плата.

«Внутренний город» стал главной ареной участившихся расовых конфликтов во всей Англии...

Особенное внимание в Хакни привлекло преследование семьи Сингх. В ноябре 1980 года в дверную щель для писем пропихнули смоченные бензином и горящие тряпки. Почти вся квартира выгорела, и семья долгое время ютилась в одной комнате, пока местные власти тянули волынку с их переселением. В декабре того же года лавки вест-индских и азиатских торговцев на рынке Ридли-роуд подверглись ограблению, причем на стенах писали расистские призывы и рисовали свастику. Самый трагический случай произошел в июле 1982 года близ Дэлстона, когда двадцатисемилетняя Норма Канингэм и ее девятилетняя дочь Саманта были зарезаны, а семилетняя Сайрита утоплена в ванне. Убийцы до сих пор не найдены, но на дверях квартиры были выцарапаны инициалы партии Национального фронта [1].

Дело не ограничивается только людьми с другим цветом кожи. Получают угрожающие письма белые радикалы, симпатизирующие черным, продолжается преследование евреев и людей, состоящих в смешанном браке. В декабре 1981 года в окна квартир двух еврейских семей в Стоук-Ньюингтоне влетели разрисованные свастиками кирпичи с записками: «Убирайтесь, иуды» (выражено это пожелание было весьма нецензурно) и «Гитлер правил хорошо. Гиммлер».

Многие возмутительнейшие случаи имели место в муниципальных домах. Всего за шесть месяцев в Хокстоне и Шордиче число нападений на расовой основе достигло 21, из них 10 с повреждением личной собственности и 8 случаев избиения. Летом 1981 года белые подростки принялись стучать в дверь квартиры вест-индской семьи. Они выкрикивали ругательства, убегали и вновь возвращались. Когда хозяйка квартиры вышла, чтобы заявить жалобу, они набросились на нее с кулаками и мужу еле удалось втащить ее в дом. Прибежавшие на шум соседи присоединились к подросткам — стучали в дверь и били окна. В ноябре 1981 года на турка-киприота, женатого на англичанке, напала шайка белых хулиганов. Когда он вышел из больницы, то на двери своей квартиры увидел оскорбительную надпись по адресу жены. Через четыре дня за ней погнались трое белых, осыпая ее грязной руганью. Один размахивал бритвой и грозил изуродовать ее ребенка. На следующий день, вернувшись домой, они увидели пожарные машины: в щель для писем плеснули бензин и подожгли дверь. Семье пришлось переселиться к родственникам и спать на полу, пока не нашлось другое жилье.

Нередко такие нападения имеют целью сохранить квартал «белым» и оказываются довольно успешными. Терроризируемые семьи стараются перебраться куда-нибудь еще... Черные семьи, приезжающие осмотреть свободные квартиры, нередко видят на стенах расистские надписи, слышат расистские выкрики, сопровождающиеся непристойной бранью, и решают поискать жилье в другом месте.

До последнего времени жертвы не находили действенной помощи ни у полиции, ни у муниципальных властей. Расистские надписи спокойно красовались на стенах до текущего ремонта. Просьбы помочь с переездом принимались неохотно — хотя тут играет роль и нежелание дать восторжествовать хулиганам. Теперь положение несколько улучшилось: надписи замазываются немедленно, а в договоры с жильцами муниципалитет включил пункт о том, что каждый замеченный в расовых антипатиях подлежит выселению. Полиция теперь регистрирует расовые нападения отдельно от всех других, и, возможно, расследования их будут вестись чаще. Однако все это не решает проблемы, поскольку полиция просто не может обеспечить охраны даже при самых кровожадных угрозах, а привлечение к суду часто зависит от того, подаст ли жертва официальную жалобу.

Что в основе предубеждения — раса или класс?

Почти по всем показателям иммигранты из стран Британского Содружества и их дети находятся в худшем положении, чем белые, каких бы сфер, определяющих уровень жизни, это ни касалось.

Среди них гораздо больше малоквалифицированных и совсем не имеющих профессии рабочих. Им труднее получить постоянную работу. В 1978 году процент безработных среди них был вдвое выше, чем среди белых, а в дальнейшие годы он возрастал много быстрее.

Жилищные условия иммигрантов заметно хуже... Обследование, проведенное в середине 70-х годов, показало, что у белых шанс получить жилье втрое больше, чем у черных. Белых, живущих в лучших жилищных условиях, вчетверо больше, чем черных, а среди тех, кто живет в худших,— черных втрое больше, чем белых. Такое расхождение зависит и от общественного положения, но внутри одной и той же социально-экономической категории жилища черных уступали по качеству жилищам белых. Белые в списках очередников имели втрое больше

[1] Профашистская политическая организация.

шансов получить квартиру, чем черные, при этом в восемь раз больше шансов получить ее в новом доме.

Система образования также не благоприятствует черным, особенно из Вест-Индии. Процент получающих полноценное образование угнетающе низок...

Все эти трудности в сумме далеко превосходят по значению слагаемые. Общий итог: средний уровень жизни и возможностей у черных гораздо ниже, чем у белых.

Такое положение отчасти объясняется вполне сознательной и последовательной расовой дискриминацией, которую проводят наниматели, чиновники, ведающие распределением жилья, или полицейские: это противозаконно, но умело маскируется. Отчасти же — существованием потаенного расизма, который коренится так глубоко, что должностные лица подчиняются ему автоматически, бессознательно. Люди, радикально мыслящие, предполагают даже существование широко распространенного и неуловимого расизма, тайно внедрившегося в установления и законы, управляющие нашим обществом. Некоторые утверждают, что этот тайный расизм непреднамерен, другие не сомневаются, что он вполне рассчитан. В любом случае факты свидетельствуют, что наши учреждения бесспорно н е с к у п я т с я на неблагоприятные ответы черным. Тем не менее, прежде чем говорить об «институализированном расизме», следует вспомнить, что столь же неблагоприятны условия жизни и для обездоленных белых — для неквалифицированных рабочих, безработных, одиноких матерей, инвалидов и тех, кто получил плохое образование...

Экономический спад и технологические изменения, не обеспечивающие повышения квалификации, тяжело ударили по малоквалифицированным и малообразованным. Черные, особенно выходцы из Вест-Индии, в подавляющем большинстве принадлежат именно к этим категориям и, следовательно, особенно страдают: британская экономика, импортировавшая их для черной работы, через одно- два десятилетия уничтожила такие виды работы. Но в подобном же положении оказались и плохо обученные белые...

Качество частных жилищ, которые можно купить или снять, определяется уровнем дохода покупателя или арендатора. Как правило, у черной семьи доходы низкие, поэтому и качество жилья плохое. С муниципальными домами ситуация более сложная. Иммигранты в силу своего положения скорее соглашаются на первое же предложение, и именно их в первую очередь отпугивают более высокая квартирная плата и коммунальные расходы в наиболее благоустроенных муниципальных домах. Они чаще подвергаются опасности выселения, и до последнего времени бездомным предоставлялись самые скверные жилища. Это положение распространяется и на неимущих белых... но черные вдобавок ко всему меньше белых знают свои права и возможности на определенные улучшения в пределах действующей системы.

Что до образования, то иммигранты чаще всего живут в бедных районах, и их дети, следовательно, учатся в плохих школах. Дома дети говорят или на родном языке, или на плохом английском. Вряд ли можно их малые успехи в школе объяснять расистскими настроениями учителей, замечено, что выходцы из Азии часто учатся лучше белых ребят. Выходцы из Вест-Индии страдают от дополнительных трудностей, так как среди вест-индских женщин высок процент матерей-одиночек или работающих в часы, когда необходим присмотр за детьми. Белые дети в таких трудных условиях нередко учатся чрезвычайно скверно.

Короче говоря, я убежден, что корень всех проблем один: английское общество ставит в заведомо невыгодное положение людей, не получивших образования, не знающих языка и своих прав, не умеющих их отстаивать, живущих на низкий доход, не имеющих или утративших квалификацию, не обладающих собственностью, инвалидов, матерей-одиночек и детей всех этих групп — независимо от цвета кожи.

Число иммигрантов в этих группах непропорционально велико, и, следовательно, общество ставит в невыгодное положение и их — но подоплека тут не столько расовая, сколько классовая. Эта система равно сокрушительна для неимущих белых и черных рабочих — и в результате натравливает одних на других. Борьба за улучшение положения рабочего класса в ц е л о м автоматически принесет пользу и белым и черным, а также поможет в корне покончить с социальными и экономическими проявлениями расовой дискриминации и расовой ненависти.

Бедность и власть

Любопытная особенность второй экономической депрессии заключается в том, что чем больше капитализм демонстрирует свой провал, тем все более чванными, назойливыми и агрессивными становятся панегирики западному образу жизни, свободе, демократии.

Из всего вышеописанного уже ясно, что английские бедняки, скученные во «внутреннем городе», заметно обделены экономическими и социальными правами...

«Внутренний город» и тяжелые проблемы его обездоленных обитателей — следствие врожденных пороков нашего общества, но это еще не все. Система узаконенной несправедливости общества постоянно оборачивается несправедливостью к конкретным людям и издевательством над ними. В Хакни практически все, с кем я беседовал, были жертвами той или иной формы плохого управления, служебной халатности или лишения законных прав...

Масштаб и частота подобных случаев свидетельствуют, что их никак нельзя считать неприятным исключением из пра-

вила. Для такого положения есть еще особая причина: бедняки, как правило, менее образованны по сравнению с другими слоями населения и далеко не всегда умеют ясно и логично излагать свои претензии и жалобы, а нередко просто не осведомлены о своих правах и не знают, какими путями можно их осуществить. Когда чиновник с вежливым равнодушием заявляет: «Боюсь, у вас нет оснований для получения данного пособия» или: «Согласно компьютерным данным, вы должны нам на пять фунтов больше, чем говорите», большинство готово поверить ему на слово, иногда из уважения к его должности, но чаще потому, что жертва не может опереться ни на образование, ни на справочники, ни на документацию, которые «узаконивают» даже ошибочные утверждения официальных лиц.

Неравенство перед лицом закона

Защита прав личности гарантируется законом, на страже которого стоит суд, этот августейший институт, якобы взвешивающий правоту и неправоту сторон и оценивающий их показания независимо от толщины их бумажников. Но обращение в английский суд — дело крайне дорогое. Тут совершенно необходимо посредничество юрисконсультов и адвокатов, ревностно оберегающих свое монопольное право выступать представителями сторон. Практика их носит сугубо частный характер. Мало кто из бедняков способен оплатить их услуги, и в подавляющем числе гражданских дел бедняки — равно истцы и ответчики — выступают (если решаются выступить!) в одиночку против государственных учреждений или частных лиц, располагающих несравненно большими ресурсами. Не будет преувеличением сказать, что гражданское право используется сугубо против бедняков и практически не существует.

Получить ясное представление о том, как решаются гражданские дела в Хакни, можно, посетив суд графства в Нордиче.

Высокий сумрачный зал, напоминающий церковный неф. Свет утреннего солнца еле пробивается сквозь длинные занавеси. Адвокаты, в мантиях, завитых париках, в гофрированных несгибаемых воротниках и лентах, вплывают в зал, словно священнослужители, а в глубине на скамьях робко жмутся «прихожане», в одиночестве или семейными группами. Некоторые пришли с младенцами и почти все одеты в лучшие свои костюмы. Лица выражают напряжение ожидания, слабую надежду, уныние и тревогу...

Сегодня рассматриваются только иски муниципального совета Хакни к жильцам, задолжавшим квартплату или самовольно вселившимся в пустующие квартиры. Из шестидесяти с лишним ответчиков мало кто взял адвоката, и дела проворачиваются за пять—десять минут. Ответчики нервно занимают свое место перед судьей, полагаясь только на собственную память, чувство справедливости и простую человеческую жалость. Против них выступает батальон адвокатов, юрисконсультов и сотрудников жилищных отделов, вооруженных исковыми заявлениями, выписками из платежных ведомостей и сводами инструкций.

Среди ответчиков есть люди, считающие, что право на их стороне, а не на стороне муниципального совета, и попытавшиеся — поскольку с буквой закона они незнакомы вовсе — восстановить справедливость собственными силами. Многие из них не вносили квартплату в знак протеста против задержек с необходимым ремонтом или пытаясь подобным способом вернуть свои деньги, потраченные на такой ремонт. Они правы и могли бы добиться возмещения законным порядком, но, не зная процедуры, предпочли действовать сами, и это обернулось против них. Они приносят доказательства: сумки дефектных деталей от кранов или банки, полные тараканов, но все это не имеет отношения к сути иска, и судья даже не смотрит на них...

— Это потому, что я человек маленького роста,— говорит один ответчик.— Будь я повыше, они бы, может, обратили на меня внимание. А если ты человек маленький, все тебя топчут.

Заключение:
мифы, реальность и возможности

В конце наших странствий по «внутреннему городу» подведем итоги тому, что мы узнали и что имеет значение для английского общества в целом. При взгляде снизу результат не вполне соответствует мифам, превалирующим на более высоких уровнях.

Первый миф утверждает, что абсолютная бедность в Англии изжита. На самом деле она преспокойно сохранялась на протяжении всего послевоенного периода, обострившись с наступлением экономического спада и приходом к власти правительства, которое, судя по всему, полностью игнорирует судьбы обездоленных.

Люди более или менее состоятельные, которым не приходится жить или работать в бедных районах, утешаются мыслью, что бедняков от крайней нужды ограждает государство «всеобщего благосостояния». Это миф номер два. Все более ясно, что никакого государства всеобщего благосостояния у нас уже нет, если вообще оно когда-либо существовало. Ведь такое государство приняло бы действенные меры для того, чтобы никто из его граждан не знал нужды. У нас же оно предоставляет голодный минимум, за которым лежит вопиющая нищета — к тому же предоставляет не всегда, но зато нередко вынуждает платить за помощь унижением. Практически ничего не делается для того, чтобы права, существующие на бумаге, действительно принадлежали всем — каждому предоставляется узнавать и отстаивать их в одиночку. Истинное государство всеобщего благосостояния ставило бы себе целью заранее предвидеть и предотвращать возможные проблемы, но нам в Англии свойственна реакция скорее пассивная, чем активная. Почти во всех

сферах, от здравоохранения до укрепления семьи, от жилищного вопроса до законности и правопорядка, меры принимаются только тогда, когда положение уже серьезно обострится.

Более двух десятилетий нас лицемерно пичкали третьим мифом, внушая, что мы живем в «бесклассовом обществе». Однако в Англии начала 80-х годов налицо, как и прежде, все классовые барьеры, общество раздирает стихийная классовая война, о которой умалчивают.

Правительство же Тэтчер выбрало именно настоящий момент — экономической слабости профсоюзов — чтобы отнять у них возможность защищать своих членов, повышать уровень их жизни и улучшать условия работы.

В тесной связи с этим находится четвертый миф, будто наша экономика «смешанная». Формально это, конечно, так — в том смысле, что большие сектора промышленности национализированы. Однако нарастающая с конца 60-х годов потребность в повышении доходности этих секторов и отсутствие демократии в промышленности привели к тому, что большинство национализированных предприятий трудно отличить от частных в вопросах управления, положения и доходов администрации и рабочих. По мере нарастания конкуренции и прекращения государственного финансирования национализированные отрасли промышленности все более функционируют как принадлежащие частному капиталу, и консерваторы, в своих попытках расширить частный сектор, просто развивают уже наметившуюся тенденцию...

Миф номер пять гласит, что мы живем в демократическом государстве, но пригласите сюда античного афинянина, привыкшего принимать личное участие в голосовании по любому вопросу, и он расхохочется вам в лицо. Возможно, он скажет, что мы живем под властью олигархии, периодически пользуясь правом менять конкретных ее членов, но что в основе власти премьер-министра лежит элемент диктатуры. Такая олигархия почти при любом правительстве до некоторой степени идет навстречу давлению со стороны организованных общественных групп, но сохраняет потенциальную возможность — при Тэтчер она стала реальностью — игнорировать любые группы, не исключая и деловые круги.

Власть в Англии распределяется столь же неравномерно, как и богатство. Чем ниже вы спускаетесь по социальной лестнице, тем меньше Англия походит на демократию. Ибо существование бедняков определяется полным бессилием что-либо предпринять. Жизнь превращается в цепь неудач и разочарований — человек становится объектом воздействия неблагоприятных сил, контролировать которые он не в состоянии, он подчиняется власти других, смахивающей на произвол, поскольку она неподотчетна. Возникает ощущение, что общество бросило вас на произвол судьбы и никому нет дела, что вы погибаете, словно крыса в клоаке.

Лишенные власти не всегда смиряются со своей участью. Они часто бунтуют против навязанных им правил, но отсутствие настоящей классовой сознательности и сплоченности приводит к тому, что их бунт часто принимает индивидуалистические, анархические формы и в результате ухудшает положение и других и, разумеется, их самих.

Не приспособлена наша система и к тому, чтобы быстро и эффективно измениться — разве что в негативном смысле, так как всегда легче разрушать, чем создавать. Все эти обстоятельства хорошо известны и год от года усугубляются, так как решение проблем затягивается на десятилетия. Наша экономика приспосабливается к изменениям в международной торговле не позитивно, с помощью планирующихся капиталовложений, массового обучения новым профессиям и создания новых рабочих мест, а негативно, через банкротство промышленных компаний и ухудшение ситуации в целых районах со всем их населением. Мы не прогрессируем сколько-нибудь значительно в направлении промышленной демократии или разумного, справедливого и позитивного способа регулировать динамику заработной платы. Наше судопроизводство лежит за пределами досягаемости многих и многих, а карательная система, как давно показывают неоднократно проводившиеся исследования, не только не способствует исправлению преступников и не оказывает сдерживающего влияния, но ожесточает их и делает еще более закоренелыми. Еще у нас есть высокопоставленная бюрократия, которая секретность и скрытность ставит выше права общественности на полную и правдивую информацию, и школьное образование, не отвечающее нуждам общества, и система здравоохранения, словно рассчитанная на удобство лечащих, а не больных.

А в целом все это слагается в на редкость окостенелое общество, которое не способно изменить свои институты в соответствии с требованиями эпохи и с каждым днем становится все более отсталым..

Английская система не принадлежит к саморегулирующимся, а потому процесс поляризации может продолжаться и усиливаться. Если нынешний курс не будет и радикально изменен, Англия станет страной, глубоко и губительно разделенной подобно многим государствам Латинской Америки. Революция вряд ли произойдет, но взрыв групповых и индивидуалистических страстей вполне возможен.

...Преступность в форме грабежа и насилия будет расти все стремительнее, все чаще будут происходить уличные беспорядки. Начнется разгул немотивированного насилия. Как всегда, больше пострадают бедняки, но и состоятельные люди смогут оградить свои привилегии только ценой усиленной осторожности и самоограничений...

И это не прогноз. Все это уже происходит в наших городах, и для того, чтобы обратить вспять или хотя бы остановить этот процесс, необходимы далеко идущие позитивные реформы. Иначе он будет продолжаться и ускоряться.

Документальная проза

ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ

УХОДЯЩИЕ В БЕССМЕРТИЕ

Отрывки из книги «Бригада»

Перевод с болгарского и вступление Н. ГАЕН

«После Девятого», «победа Девятого», «воспоминания о Девятом» — говорят в Болгарии, и даже маленький сентябренок — брат нашего октябренка — понимает, что речь идет о Девятом сентября, о Девятом сентября 1944 года — дне, с которого начинается новая история Болгарии. Победа социалистической революции, сорокалетие которой страна будет праздновать 9 сентября этого года, была завоевана с решающей помощью Советской Армии, однако боролся за победу, готовил ее, шел к ней весь народ, и передовыми его частями в этом походе были борцы-антифашисты — подпольщики и партизаны. Курс на подготовку болгарского народа к вооруженной антифашистской борьбе ЦК БРП * приняло 24 июня 1941 года — через два дня после нападения фашистской Германии на Советский Союз. Партизанские отряды, число которых постоянно увеличивалось, нападали на хозяйственные и военные объекты, захватывали населенные пункты, творили суд над палачами народа. Отвлекая на себя значительные силы армии и полиции, болгарские партизаны не дали фашистскому правительству послать своих солдат на Восточный фронт. В 1941—1944 годах в Болгарии погибло 9140 партизан и 20 070 их помощников. В конце августа 1944-го — в канун всенародного вооруженного восстания — в Болгарии действовали около 30 000 партизан и около 200 000 их помощников.

Партизанскому движению Болгарии посвящено немало книг — документальных, мемуарных, беллетристических. Веселин Андреев, встретивший 9 сентября в звании комиссара партизанской бригады, внес в «партизанскую литературу» существеннейший вклад — и в стихах и в прозе. Его «Партизанские песни», написанные еще в отряде, давно вошли в школьные программы. Около двух десятилетий работает Веселин Андреев над «партизанской эпопеей» (как назвал ее сам писатель) «Уходящие в бессмертие». Первая ее книга — «Отряд»—вышла в 1973 году (русский сокращенный перевод ее выпущен в 1975 году под названием «Горы дышат огнем»), третья еще пишется, а вторую — «Бригада», — вышедшую в Болгарии в 1982 году, мы представляем сегодня читателю.

Книга рассказывает об истории формирования и боевых действиях в 1943 — 1944 годах первой в Болгарии партизанской бригады, о методах и формах партийного руководства партизанским движением — при этом показана роль Тодора Живкова, бывшего в то время уполномоченным Софийского областного комитета партии; о работе партии и комсомола среди населения. События, непосредственным свидетелем и участником которых был автор, даются на широком историческом фоне — для этого писатель использует множество документов: газеты того времени, архивные и мемуарные материалы. Однако Веселин Андреев не ограничивается рассказом о событиях: важнейшая его задача — осмыслить историческую роль, идейные и нравственные основы партизанского движения. Писатель хочет, чтобы чистота помыслов, дух благородного товарищества, стойкость и мужество, присущие его героям, их преданность — не на словах, а на деле — коммунистическим идеалам, их самоотверженное служение своему народу стали бы высоким образцом, по которому равнялись бы ныне живущие, нравственным ориентиром для новых поколений.

Книга Веселина Андреева густо заселена, действующие в ней лица исчисляются сотнями (я имею в виду лишь названных по имени). Это и партизаны — те, что ушли в бессмертие, и те, что живут и работают в наши дни,— это и бесстрашные помощники партизан, партизанские курьеры и связные, партизанские семьи, крестьяне тех сел, где действовали герои, и т. д. Иногда писатель приводит всю биографию героя, иногда — ее отдельный характерный эпизод, иной раз целые страницы занимают перечни имен (один из важнейших принципов автора — «никто не забыт»). В конце первой книги писатель делает примечательное признание: «Кто-нибудь скажет — хватит, разве можно запомнить столько людей? Понимаю. Только что делать, если я не могу их забыть». И еще: «Я погрузился в эту книгу. Меня радует, что я охватываю все большее количество людей, и меня все больше тревожит — что́ сумею я о них

* Болгарская коммунистическая партия в период 1938—1948 годов носила наименование Болгарской рабочей партии (БРП).

рассказать. Нет, мне мало того, что будут в книге характерные герои, типичные события, обобщенные черты времени. Я хочу, чтоб вы знали, каким человеком был Станко Лаков, и Мико Лаков, и Димитрина Антова, и все пятьсот наших бойцов, и все наши помощники. Доблесть одного может характеризовать всех, но каждый человек — один-единственный и имеет право на то, чтобы мы его знали: живого в бессмертии или просто живого. Научите меня, как рассказать обо всех».

Структура книги продуманна и сложна. Каждый эпизод, помимо того, что он несет какую-то информацию, играет определенную роль и в общем замысле произведения — по сходству или по контрасту он дополняет или оттеняет впечатление от других эпизодов, заставляет задуматься над ранее сообщенными фактами или усиливает их эмоциональное воздействие, дает читателю разрядку или подсказывает ему новый поворот темы, вовлекает в размышления автора или подводит к нужным ему обобщениям. Поэтому отдельные эпизоды, которые приходится изымать из текста, чтобы вместить на страницы журнальной публикации, конечно же не могут дать о всей книге сколько-нибудь полного и цельного представления. Хотелось бы, однако, чтобы читатель все же уловил пафос этой книги — пафос всего творчества Веселина Андреева. В начале первой книги, рассуждая о жанре своего сочинения, Веселин Андреев пишет: «И уж меньше всего — мемуары. Я не **вспоминаю, я живу** всем этим. Своими действиями партизанское движение принадлежит нашему вчерашнему дню, только вчерашнему. Своими моральными ценностями оно должно входить в день сегодняшний. Оно еще живет в нас — нужно, чтоб оно жило! — своей болью, своими победами, своими мечтами, своим движением вперед. Какое там прошлое? Я пишу о современности. О самой современной нашей современности. И, может быть, немного — о будущем».

I

...В этом вековом жерковском лесу, на склоне Мургаша, мы провели два дня, но запомнились они мне как один — нередко какое-либо событие сливает вереницу дней в один-единственный. И будто впервые после Копривштицы[1] я увидел там солнце, настоящее солнце — горное, щедрое. Солнце — самое яркое воспоминание об этом дне.

Нет, ярче всего встают в памяти люди. И горы вздымались могуче, и лес царил тут испокон веков, но сейчас надо всем здесь властвовали люди. Таинственное молчание гор придавало присутствию людей особый смысл: не стало бы столько народу без важной причины собираться в этом потаенном месте...

Штабы в соответствии с решением о «массовизации»[2] должны были быть сформированы предварительно, и каждый новый партизан — сразу же зачислен в ту или иную часть. На деле же получилось не совсем так — просто новые партизаны присоединялись к той чете[3] или группе, которая выводила их в горы, и пока держались по селам.

На что это больше было похоже: на военный лагерь или на многолюдный пестрый пикник? Могло бы это сойти и за ярмарку, куда съезжаются жители всех окрестных сел, только что ни лотков нет, ни дымящихся жаровен, ни пива с лимонадом...

На широкой, чуть покатой поляне, на прошлогодней жухлой траве, сквозь которую пробивается юная зелень, прямо в лесу по ту сторону речушки расположились компании закусывающих — вокруг деревенских скатерок, бумажных мешков, расстеленных на траве газет. Все сидят, поэтому винтовок — и тех немногих, что были у нас,— не видно. Полулежа, опершись на локоть, люди тянутся свободной рукой за кусочком сала, брынзы, головкой лука. Раздаются шутки, смех. Разве что баклаги да фляжки никто не вскидывает... Наши беспощадные молодые глаза различали немало стариков, хотя это были просто мужчины в годах, правда, более пожилые, чем дядя Станё — Марин Найденов[4], самый старший из чавдарцев[5] до массовизации. Сугубо мирный вид этому бивуаку придавали и жен-

© Веселин Андреев, 1982.

[1] Имеется в виду один из самых ярких эпизодов, описанных в первой книге,— партизанский отряд, в составе которого сражался Веселин Андреев, спустился с гор в городок Копривштицу. Партизаны обезоружили полицию и жандармов, заняли общинную управу, сожгли налоговые книги, рассказали собравшимся перед управой горожанам о целях своей борьбы и, проведя в городке почти весь день, ушли обратно в горы.

[2] Решение о «массовизации» партизанского движения, принятое ЦК БРП в январе 1944 года, предусматривало мобилизацию и активное включение в борьбу всех членов партии и РМС (Рабочий молодежный союз), повышение активности членов массовой антифашистской организации — Отечественного фронта, увеличение численности партизан и, в конечном счете,— проведение всенародного вооруженного восстания, свержение фашистского правительства и установление власти Отечественного фронта.

Применительно к району восточнее Софии, о котором идет речь в книге, было решено довести число партизан до восьмисот человек и создать две бригады, которые в дальнейшем должны были объединиться с другими партизанскими формированиями в стране. Сборным пунктом для старых и новых бойцов была назначена на 25 апреля местность Жерково на склоне горы Мургаш.

[3] Чéта — небольшой отряд. В партизанский обиход слово перешло из времен борьбы болгарского народа против османского ига.

[4] Подпольщики и партизаны, по соображениям конспирации, брали себе, как правило, новые имена. Нередко это были имена героев советских книг и фильмов — например, Чапай, Мустафа («Путевка в жизнь»). Веселин Андреев называет своих героев именно этими их партизанскими именами (его собственное партизанское имя — Андро), а в тех случаях, когда вводит нового персонажа, дает вслед за партизанским именем настоящее.

[5] Чавдарцы — бойцы партизанского отряда имени Чавдара, в который Веселин Андреев вступил осенью 1943 года. Отряд был назван по имени Чавдара-воеводы (2-я половина XVI века), воспетого в народных песнях предводителя гайдуков — скрывавшихся в лесах и горах защитников народа во времена османского ига.

щины, особенно те, что пришли в своем крестьянском платье — они ведь должны были выбраться из своих сел, не возбуждая подозрений, да и где им было взять спортивную форму, не говоря уж о военной. (Все же некоторые исхитрились сшить себе брюки-гольф и куртки.) И столько детей! Конечно, мальчиков, но все же... У нас в отряде, правда, и раньше был маленький Пенко, но тут появилось сразу много семнадцати-восемнадцатилетних парнишек, которые казались нам детьми. Но зато какая гордость охватывала меня, когда я смотрел на здоровенных парней, усатых или безусых, в деревенских постолах или городских пиджачках — такому только дай оружие!..

И нигде — ни до тех пор, ни позже — я не видел такого вавилонского смешения и разнообразия одежд. Деревенские полушубки, городские пальто, солдатские, гимназические, полицейские шинели, добротные крашеные дубленки или необработанные, без рукавов — зато попадались и сшитые из шкуры косули! — плащи, пиджаки, кофты и фуфайки, штормовки — ящерично-зеленые или неопределимого цвета, платья и сарафаны из плотной материи, у одного была желтая парусиновая роба, которой суждено было сыграть в дальнейшем важную роль; всяческие бриджи и галифе, штаны домотканые и брюки шириной больше тридцати сантиметров внизу (мы ополчаемся сейчас то против широких, то против узких брюк, как против чего-то опасного, но такая была мода и тогда), и у полуботинок были широченные вздутые носы. Да, встречались там и элегантные городские штиблеты, туристские башмаки, сапоги, резиновые тапочки, постолы покупные или с неостриженной щетиной, кепки, фуражки всех существующих и несуществующих типов, шляпы, высокие папахи, плоские барашковые шапчонки, береты, альпийские шапочки с эдельвейсом — честное слово, что-нибудь да упустил я из этого ревю, но все же цилиндров я там не видел... На кустах, на ветках деревьев, на воткнутых в землю прутьях сверкало свежевыстиранное в горной речке белье. Крикливых цветов не было, преобладали пастельные тона, но на солнце они играли живо и звучно.

Для наглядности я представил эту картину как стоп-кадр, но она отнюдь не была статична. Те, кто готовил пищу, подкладывали хворост так, чтоб костры не дымили, и помешивали в жестянках из-под керосина. Хлебопеки сажали хлебы в наскоро выкопанные, плоские печи. Комиссары и интенданты собирали вновь принесенные продукты, чтобы определить размер паек. Настоящие мастера и холодные сапожники-неумехи чинили обувь и одежду. Командиры торопливо обучали новых партизан, выделяли им кое-что из скудных запасов оружия — главным образом тем, у кого уже был военный опыт. Приходили запыхавшись или поспешно трогались в путь курьеры. Сменялись часовые на четырех постах вокруг лагеря, патрульные выходили по двое на ближние хребты. Штаб заседал в самом лесу и вызывал бойцов из разных мест, собирая у них сведения, выслушивая их мнения... Теперь, в движении, стволы винтовок торчали над головами, видны были пистолеты, гранаты, походка бойцов делалась энергичной, взлетали в приветствии кулаки, даже герлыги приставлялись «к ноге» — и многолюдная поляна в самом деле начинала походить на боевой лагерь.

Больше всего тянулись друг к другу старые партизаны, бачокировцы и бойчоогняновцы[6], заводили разговоры, опершись на винтовки или обняв друг друга за плечи. Искали земляков — в надежде узнать что-нибудь о своих близких. Постоянно раздавались предупреждения, что говорить надо тише, но новобранцы — их было втрое больше, чем нас,— еще не привыкли к этому, да и народищу сколько — гул голосов не стихал. Нет, в самом деле, чем не ярмарка: спросишь о ком-нибудь — да, видели такого, но где он сейчас — может быть, в патруле? Тут же находишь другого, его уводят по важному делу, а ты встречаешь человека, о котором и думать не думал или годами не знал, жив ли он. Легко было обнаружить Стефана Куцарова — он набрасывал портреты бойцов, и вокруг толпились те, кто ждал своей очереди, или просто бескорыстные ценители искусства. Пришлось нам только поздороваться, а более долгий разговор пообещать друг другу на потом...

Словно явившегося из дальних странствий обнял я Сапожника — пишу с большой буквы, потому что я и тогда не знал его имени и позже не сумел выяснить; видно, никогда мне его и не узнать, как никогда не увидеть этого парня — так и исчез он безымянный из моего поля зрения. Он отлично вел работу в одном из секторов Софийского центрального района РМС, я полагал, что еще прошлой весной, вместе с Орлином и Алекси, он ушел в партизаны, а оказывается, ветры нелегальной работы носили его бог знает где...

Встречи, восклицания, планы — непременно проситься в одну часть! — воспоминания, мечты — когда ж и помечтать, если не в такой славный партизанский денек! — подавленные вздохи — где-то ждут дети, родной дом, девушка — яростные проклятья фашизму, тайные страхи, в которых признаешься только самому близкому,— останемся ли живы... юношески беззаботная похвальба — «меня пуля не берет...», ядовитые, презрительные филиппики в адрес кого-то, выбравшего глубочайшее укрытие — у жены под юбкой... частные замыслы — подстеречь бы этого старосту средь бела дня, и широкомасштабные идеи — вот бы сформировать конные партизанские соединения — они не знали, что наш Орлин давно уже формирует моторизованные! — и еще инструкции по борьбе со вшами и о бесчисленных способах применения буковой листвы...

Понемногу люди показывали себя — кто здесь какой... Одни — тихие, скованные и по природе, и от волнения — не осрамиться бы перед ветеранами... Другие — шумливые, даже развязные, но опять-таки от попыток перебороть стеснение. Были и настоящие язвы, насмешники — им только дай покуражиться над новичками, хотя у самих «боевой стаж» на неделю больше... Некоторые начинали бороться, возиться, и я незлобиво, исходя из собственного опыта, посмеи

[6] Отряд имени Чавдара делился на две четы — имени Бачо Киро (деятеля борьбы за национальное освобождение Болгарии, повешенного турками в 1876 году) и имени Бойчо Огнянова (главного героя романа Ивана Вазова «Под игом»).

вался: ох, как скоро вам расхочется, хотя и сам не подозревал, до какой степени расхочется и как скоро... Слышалось уже и «махнемся?»: понравится ветерану вещь — обычно у новенького, стеснительного бойца,— он и толкнет ему взамен какую-нибудь ерунду. Есть такая поговорка: «обменял коня на курицу», но поскольку кавалерийских частей все еще не было, а голод вел упорное наступление, то курица ценилась бы на нашей толкучке значительно выше коня, если б только была здесь эта птица...

Да, лишь об одном я не пишу, потому что действительно ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь бил себя кулаком в грудь,— мол, долг перед народом, патриотизм...

Мургаш виднеется вдали — высокий, в ослепительных снегах. Наша поляна, с ее легким наклоном, здесь, среди крутых гребней, кажется какой-то неожиданной. Ее окружают буки, давно забывшие счет годам, однако не белоколонные, а приземистые, коренастые, словно им с детства мешали расти и они раздавались в ширину. В них бродят буйные соки, резани только — и заслезится мезга, почки вот-вот лопнут, ниже по склону уже поблескивают желто-зеленые листочки. Густую поросль выпускают кусты граба, орешника, шиповник, ломонос. На припеке крапива поднялась уже на пядь, горят крокусы, плечиками расталкивает палую листву чемерица. Гурманы — какое там, просто изголодавшиеся ребята! — собирают у реки улиток... Место глухое, взгляд повсюду упирается в близкие склоны, настоящее пристанище гайдуков, но сейчас меня задним числом прохватывает дрожь — что, если б нас тогда обнаружили?.. Два заснеженных гребня с двух сторон наискось спускаются вниз, где треугольник замыкается близкой поперечной грядой — стоило им установить там пулеметы, как бы мы драпали наверх? Даже неба здесь мало, только светящийся купол, весь его охватываешь одним взглядом... И эта поляна величиной с деревенскую площадь, забитая народом... Потому и расставлены были посты по хребтам наверху — чтоб увидеть врага издали, успеть принять меры.

Речка спешит по поляне справа, быстрая, искристая, белая у каждого камня, о который разбиваются струи, желто-прозрачная в бочажках — здесь и камни, и песок желтые, по дну бегут, бегут, не убегая, солнечные зайчики. Рядом гниет старая листва, но и она чистая; с грациозной простотой клонятся веера папоротника. Непривычному уху журчанье покажется однообразным, а как оно разноголосо — каждый камень, веточка, порожек отвечают воде посвоему, и когда вслушаешься, слышишь если не оркестр, то по крайней мере симфоническое звучание далеких овечьих колокольцев... Музыка эта и прекрасна и целебна... Пахнет только что стаявшим горным снегом, молодой землей, травами и пробудившимися деревьями...

Точные цифры я не могу сейчас восстановить, но в большинстве своем наши бойцы не были вооружены. Не были вооружены, говорю я, но вооруженными считались те, у кого были берданки, охотничьи ружья, всевозможные и невозможные старые пистолеты, кинжалы, солдатские штыки, пастушьи или скотобойные ножи, иные добавляют теперь—даже и кухонные, и топоры! — гранаты настоящие или самодельные. Были у нас, разумеется, и хорошие винтовки, главным образом у старых партизан, все взятые у врага, и они возбуждали необузданную зависть у безоружных. Нашей тяжелой артиллерией был автомат, захваченный во время боя в Лопянском лесу,— он был объектом восхищения, изучения, диких вожделений. Мы тогда не называли его автоматом, это название пришло позже, в ходу было немецкое — «шмайзер», или «машингевер», тоже из немецкого, еще называли его «митрале» — уменьшительное от французского «митрайетт», но многие считали, что так наречен он в честь нашего товарища Митре, который первым произнес «митрале»...

Эта безоружность усиливала и обостряла до тревоги чувство ответственности за судьбу бойцов. И судьбу восстания... До этой весны в отряд приходили преимущественно партийные кадры. Они сами рвались в горы, сами выбирали свой путь и за себя отвечали. Они никого и ни в чем не могли обвинить — разве что в бездеятельности или слабом руководстве. Теперь люди тоже шли добровольно. Но существовало решение. Кое-где отдавались приказы. Одних убеждали долго и настойчиво, на других слегка давили... Но все они приходили к нам с доверием. Они поверили нашим оценкам политической ситуации и тем перспективам, которые мы перед ними раскрывали. Да, они знали, что все делается по решению ЦК, под руководством областного комитета. Но не кто-либо другой, а мы, непосредственные организаторы массовизации, уводили сына у матери, мужа у жены, отца у ребенка... Тем самым мы принимали всю ответственность на себя. И не могли не думать об этом.

Удержим ли мы весь этот народ? Выдержим ли? Да, я спрашивал себя об этом. И снова скажу: не завидую тем, кто был столь правоверен, что ни о чем себя не спрашивал... Сегодня легко говорить: мы ведь знали, что победим. Нет, мы еще не знали — мы верили! Но кто скажет мне, сколько у веры степеней? И кто мог определить, сколько времени отделяло нас от победы? И сколько людей из собравшихся здесь погибнут и никакая победа никогда не вернет их матерям? Самым важным действительно было думать о победе, только о победе, но разве глубоко в каждом из нас могла не шевелиться тревожная мысль — какой ценой придется за нее заплатить?

Ветеранов было видно сразу — даже когда они отдыхали: рюкзак под головой, но с застегнутыми лямками, винтовка зажата меж ног, в любую минуту готовы вскочить. Некоторые снисходительно поглядывали на пестрые узелки новобранцев, да что скрывать — иные и рисовались перед ними. Тодор Тодоров — Тошо Красный, тогда совсем зеленый паренек, вспоминает: «Все мы завидовали Мустафе, который был в повстанческой форме, с пистолетом, винтовкой, саб-

лей (в самом ли деле Мустафа даже саблю прицепил или это почудилось пареньку?), опоясанный патронташем. Были и другие вроде него, хотя и не такие ухари, как Мустафа. Все мы тянулись к оружию — хоть рукой потрогать... Он, улыбаясь, переходил от группы к группе, словно манекен, и хотел, чтоб все его видели. Старые партизаны посмеивались — они-то знали, что он человек веселый, шутник». Ну ладно, Мустафа просто развлекался, но этот партизанский лев Папратачко! Он тоже был в геройской четнической форме, он напутствовал молодое воинство и строгие замечания делал, и в его глазах появлялся почти непреодолимый скепсис: «Чтоб этот вот стал партизаном...» Что уж говорить о нашем ветеране Пенко — он, бедняга, по-прежнему оставался самым младшим и, демонстрируя свою опытность и свою суровость, пытался заставить других забыть об этом его великом преимуществе, которое он почитал великим недостатком!

Однако самый разудалый вид придавали себе новобранцы. Одна деталь — и весь характер ясен! Смотришь на него — высокая чабанья папаха так сдвинута набекрень, что держится на честном слове. Другой все прижимает карабин к боку — вот-вот ринется в бой. Третий прохаживается, засунув за пояс большой палец правой руки — так, чтобы с великолепной небрежностью касаться рукояти пистолета. А уж осанка, а походочка, а взгляд — герой, да и только! Впрочем, это естественно — человек здесь становился другим, особенно тот, кто при оружии! Было в этом и самоутверждение... И преодоление страха. Сужу еще и по тому, что некоторые из самых роскошных лесных разбойников скоро сбежали... А у тех, кто был душевно стоек, эта страсть быстро перегорала и оставалось необходимое: выправка бойца.

Мы, старые партизаны, нетерпеливо высматривали друг друга в толпе — а как же иначе? И наша испытанная дружба влекла нас друг к другу, и рассказать надо было многое о том времени, что мы не были вместе. Но и еще что-то происходило с нами — мы скорее предчувствовали это, чем сознавали, а по-настоящему поняли лишь много позже. В сущности, видно было простым глазом: мы почти терялись в многоликом множестве. И все же мы были еще вместе. Но мы знали, что нас раскидает по разным батальонам, что больше не будет нас согревать наша зимняя дружба — разве что воспоминание о ней. Жизнь странно противоречива. Мы радовались, гордились, мы чувствовали, что, получив пополнение, стали сильнее, мы знали, что это необходимо и разумно, мы сами немало потрудились, чтобы этого достичь,— и все-таки в этой победе было для нас что-то грустное: кончался кусок жизни, когда нас было немного и мы стали друг другу по-настоящему близки. Так уж мы, люди, устроены: нас тянет к себе привычное, каждый новый человек — это некая трудность или по крайней мере некая неизвестность: каким он окажется, сойдетесь ли вы? А тут новыми были больше трехсот человек...

Правда, мы ясно сознавали: они ни в коем случае не должны почувствовать, что их как-то сторонятся. Мы должны помочь им как можно скорее преодолеть неизбежную растерянность и стать настоящими бойцами — враг повсюду, много времени он нам не даст, остались, быть может, считанные дни... Я говорил уже о том, что обучение новых партизан началось с того момента, когда их повели в горы. Здесь оно продолжалось уже более организованно.

Обучение... Что только не входило в партизанское обучение? Или точнее — в с о з д а н и е партизана.

Многие, оставившие дома беспомощных жен и детей, смотрели неподвижным взглядом на заросли буков, а видели, как горят их дома,— и надо было, чтобы партизанские разведчики и курьеры приносили им добрые вести из родных мест. Некоторые, уходя в отряд, сказали своим, что отправляются в далекие края на заработки, пытались ввести в заблуждение если не семьи, то полицию — надо было оказывать помощь их близким. Те, кто пришел в отряд с романтическими представлениями о гайдуцкой жизни — жаренные на вертеле барашки да красные знамена (в какой-то степени и мы этому способствовали), теперь пугались снега, голода, стрельбы — этих надо было подбодрить.

Новички и сами уже понимали это, но и честнее, и полезнее для общего душевного здоровья было сказать им прямо, что трудности нас ждут еще куда большие. Мы учили их режиму лагерной жизни, патрульной службе, готовности ко встрече с врагом. Преподавали им партизанские законы передвижения по местности, сохранения оружия. Внушали им, что и кусок хлеба, и одежда, и граната, и сухое местечко, и костер — даже сон, настроение и твои собственные силы — теперь уже общие.

И я, как все, искал близкие души — тех, с кем можно было поговорить о самом заветном... Мы все уже были устремлены в будущее — пытались угадать, как именно произойдет формирование, какие задачи будут поставлены перед бригадой... но говорили об этом меньше, чувствовали потребность рассказать друг другу о том, что пришлось пережить нам, бойцам с сорок второго, сорок третьего... и о том, как погибли те, кто никогда уже не придет на такую встречу. Мы хотели поделиться всем, что знали, не только для того, чтобы облегчить душу, но и затем, чтобы не повторять трагических ошибок...

Что я говорил когда-то о Стоянчо — что он сдержан? Одним объятием мы сказали друг другу все или, по крайней мере, самое важное: живы! А присев на гнилой, обмякший ствол, припомнили наши ночи в Пирдопском районе, и было что-то тоскливое в его голосе, когда он сравнивал их со своими скитаниями по району Новоселцев. Боль сделала его голос еще глуше, а когда он заговорил о множестве жертв в этом краю, то говорил ядовито, зло, но коротко — как Стоянчо ни был предан делу, он не мог обвинять мертвых, даже если в чем-то они и сами были виноваты — вернее, их иллюзии, их пассивность... Улыбка, разгладившийся лоб, теплый взгляд глубоких глаз вернули мне прежнего Стоянчо, когда он показал движением головы: «Андро, смотри,

сколько народу пришло! С этими, братишка, мы уж дойдем до конца...» Ах, эти твои слова, Стоянчо... ты дошел до конца, но до другого—всего через девять дней... Как хорошо, что человек не знает, сколько дней ему отпущено...

Около полугода не виделись мы с Коце — Владимиром Калайджиевым, комиссаром четы имени Бачо Киро. Мне показалось, что он повзрослел, хотя глаза оставались мальчишескими. Повзрослевшим я увидел его, наверное, когда первая радость встречи миновала и он рассказал мне — впервые — о бое под Косматым холмом. Меня вдруг настигла смерть четырех товарищей (Коце не знал тогда, что Цоне — Тодор Петков спасся). Четверо из десяти, почти половина... Много! И какие бойцы, как они были бы нужны сейчас... Вы помните, как Цоне, раненный в позвоночник, пятнадцать дней полз бок о бок со смертью. А Коце мне рассказал, как остальные шестеро, пытаясь вернуться в Софию, напоролись прямо на военный аэродром Враждебну! Один господь знает — правда, больше, чем господь, им помог туман,— как они выбрались оттуда. Они спрятали винтовки. Ванюша — Иван Фонарев, Стефан — Славчо Гребенаров и Бойка — Недялка Кожухарова пробрались на Витошу[7], потом организация переправила Ванюшу в отряд имени Христо Михайлова, а двое других остались на подпольной работе в Софии. Коце, Нофчо — Неофит Антонов, Соня — Йонка Кринчева пошли другой дорогой, через Слатину[8] и — смешно, правда? — наткнулись на зенитную батарею в Борисовом парке. И снова чудо: военные, верно, и мысли не допускали о подобном нахальстве и не обратили на них внимания... Коце включился в работу в городе, а в марте снова был переправлен в отряд...

С Кочо — Благоем Бонковым, апостолом[9] партии из района Новоселцев, разговор у нас пошел о... стихах. Мы были знакомы еще по гимназии, и теперь, когда он услышал наш марш и ему сказали, что у меня есть еще стихи, он попросил, чтоб я их ему написал. И, словно признаваясь в чем-то не совсем пристойном, пробормотал, что и он пытается... он, мол, знает, никуда это не годится, но он читал товарищам и они по доброте похвалили, так, может, и я прочел бы... Но тогда он так и не успел мне их дать, я прочту кое-что только спустя годы...

Снова порадовало меня дружное семейство дяди Станё. Собственно, семей недружных я среди партизан не встречал, но эти очень уж были хороши. Дядя Станё — как всегда, с винтовкой через плечо — и сейчас пек хлеб, не такие каравai, как осенью, а лепешки — здесь печка была более примитивной или, если хотите, более совершенной, она должна была быть бездымной. Цвета, белолицая, опрятная, проворно ему помогала. Страхил — Найден Маринов был связным, все мчался то в Ботевградский район, то к Осоице, мог, наверное, поставить рекорд по марафонскому бегу. Доложившись командирам, он тут же шел к отцу — очень сдержанно, очень по-мужски выказывал он ему свое уважение. Дядя Станё посматривал на своих строго, только что не бранил, а сам исходил нежностью...

Приятен мне был удар по спине, от которого я аж покачнулся, Монка — Дойчо Витанов огрел меня, прежде чем стиснуть в своих железных лапах. Посмеялись — не поставлен ли новый рекорд по жратве и не дошел ли он, скажем, до двадцати котелков фасоли, хвастались делами обеих наших чет, и он совершенно меня сразил: «Да что там, Андро, куда вам до нас, за вами вот танки гонялись или нет?» Я прикусил язык — самолеты, да, участвовали в преследовании, но танки... Только взглянул на него, прищурившись: «На Мургаше?»

Прямо скажем, не «тигры» это были, но все же... 25 февраля метель загнала маленькую чету имени Филиппа Тотю, вместе с которой шел и Лазар[10], в маленькую корчму близ Горна-Малины, шагах в десяти от дороги. Зимой корчма пустовала, и кому, казалось, могла прийти в голову безумная мысль, что партизаны расположатся на ночлег там, вдали от своих гор? К рассвету выставили пост на чердак, откуда был хороший обзор.

Сунули в печь горшок с фасолью... Но после полудня часовой скатился с чердака к спящим товарищам: вдоль Негушевской реки крадутся полицейские и штатские. Тревога! Из дверей и двух окон грянули залпы, врасплох оказалась застигнута полиция... Быстро! Партизаны выскакивают тремя группами, кидаются в атаку, пробивают себе дорогу в горы...

А со стороны Столника что-то урчит. Лазар поднимает бинокль: шесть танкеток и несколько грузовиков с солдатами. Эта угроза нависла внезапно, наши сильно растягивают колонну, избегая пуль, и ускоряют шаг. Как-никак танкетки, они бьют из орудий!..

Как выяснилось позже, хозяин корчмы случайно проходил по шоссе, увидел дым и — прямо в общинную управу. София по телефону распорядилась: «общественной силе»[11] лишь окружить дом и наблюдать за партизанами, пока не подойдет майор Стоянов, командир бронеистребительного батальона, с заданием: взять лесовиков в плен или перебить до последнего!

Поздновато, правда... Нет, не совсем, снаряды еще настигнут партизан! Танкетки разворачиваются, открывают стрельбу из орудий, солдаты бегут, рассыпавшись цепью. «Бегом!» — командует и Лазар, он хочет перевалить Негушевский гребень, за ним — спасение... Но попробуй побеги, когда снег — по колено. Хорошо, что тот же снег мешает и врагу. Невероятное создание человек — у наших от усталости язык на плечо, а сами еще смеются над танкиста-

[7] Гора, у подножья которой расположена София.

[8] Район Софии.

[9] Апостолами во второй половине XIX века, в разгар борьбы против османского ига, называли в Болгарии вдохновителей и организаторов этой борьбы. Веселин Андреев применяет это слово к партийным работникам своего времени, которые, переходя, подобно апостолам XIX века, из села в село, вели пропагандистскую и организаторскую работу среди населения.

[10] Партизанское имя Добри Джурова, командира отряда имени Чавдара, ныне — министра обороны Болгарии.

[11] «Общественная сила» — созданная в 1943 году реакционная организация населения, которую фашистские правители безуспешно пытались сделать массовой.

ми — мажут, мол, и сами же чуть не молятся, чтоб те мазали еще пуще...

Чете в полном составе удается перевалить через хребет...

...Внезапно поляна умолкла, бормотала только река. Бойцы — кто сидя, кто на коленях, кто стоя — смотрели на Янко[12], людской обруч замыкался вокруг него, и он притягивал этот обруч к себе. Большинство партизан знали его — полномочный представитель партии. И он знал нас — нас, старых партизан, и новых из Локорского района, где он непосредственно руководил массовизацией. Это хорошо, Янко своими глазами, к тому же в одном из самых сильных районов, видел, как внезапно возникают трудности и опасности. Этот опыт помогал ему понимать причины неудач и обдумывать тактику применительно к нашей обстановке.

Сдвинув ладонью и без того сдвинутую налево кепку, он смотрел поверх наших голов куда-то туда, где должна была быть София, сжимал губы. Да, мы знали его, но сейчас он выглядел каким-то другим. Волнение явно вздымалось в нем, и он, побледнев, с усилием подавлял его в себе. Сейчас ему не надо было, как осенью, решать мучительные вопросы, успокаивать настроенных друг против друга партизан, искать ту трудно уловимую — гибкую и все же достаточно твердую — линию, которая сплотила бы всех. Теперь мы были на подъеме, но и этот подъем был чреват серьезными трудностями.

— Дорогие боевые товарищи!

И он снова замолчал, встречая взглядом устремленные на него взгляды. Столько глаз — они и смущают и пьянят тем доверием и той властью, которую дают. Но Янко предстояло сказать им нечто сильное и правдивое, и это облегчало его задачу.

Он начал оттуда, куда вот уже три года смотрели мы все...

У гитлеровцев осталась одна дорога: на Берлин,— он широко, вольно взмахнул рукой, указывая на запад.—После Сталинграда, Курска, Киева, Одессы, Ялты зверь смертельно ранен, он зализывает свои раны, он еще будет огрызаться, но все более немощно, пока его не добьют в его собственном логове. (Тогда этот образ был еще свеж и очень нам нравился.) Даже «Зора»[13] уже пишет: «Теперь германцы ведут сражения и на своей земле. Советский натиск по всему Восточному фронту...» И я представлял себе советское наступление по этому фронту в 2500 километров, от Ледовитого океана до нашего теплого моря, в виде бесконечных волн — где более высокие, где поменьше, они заливают все и катятся вперед... Радио «Христо Ботев»[14] сообщило: «Наступающие части Красной Армии, преследуя германские армии, в нескольких местах форсировали реку Прут и вступили на румынскую территорию...» Мы это знаем, но каждый раз приятно услышать—уже в Румынии! По поляне прокатывается гул. Янко все так же худ, с острым носом и заостренным подбородком, но он загорел под горным солнцем и ветрами Мургаша, возбуждение проступает на щеках румянцем. Он подтягивает локтями брюки-гольф, одергивает выцветшую штормовку, делает несколько порывистых шагов вперед... — Более чем когда-либо фронт на Востоке влияет на наше внутреннее положение. Можно сказать, что от орудийных выстрелов в Румынии буквально сотрясаются кресла наших правителей...— Ироническим фальцетом: — Ничто уже не спасет их, ничто-о... — И он встряхивает кулаками.

Здесь следует сказать: я не могу слово в слово передать речь Янко, но я могу ее «восстановить» по тогдашним документам, очень близким к его языку. В бюллетене софийской партийной организации номер 4 дана обобщающая картина Болгарии: «Вместо «единства, порядка и спокойствия» Дочо Христов[15] превратил село в военный лагерь, где никто не уверен в своей безопасности. Массовые аресты, расстрелы, поджоги домов... стали повседневностью... Полицейские шайки, жандармерия и войсковые части держат на осадном положении, грабят и опустошают наши села... Мобилизация в в помощь Гитлеру проводится главным образом в селах, вся работа легла на плечи женщин и детей, непосильный труд изнуряет и калечит их.

Все это пробуждает брожение и недовольство... Крестьяне все более массово помогают партизанам продовольствием и кровом, содействуют им и участвуют в их операциях».

Сейчас мы можем познакомиться и с оценками врага. Регент Филов: «Я вижу, сколь мы бессильны повернуть ход событий вспять и как управление все больше ослабевает» (из его дневника, 18.4.1944 г.). Из сводки военной разведки за 1943 год: «Центральное руководство БКП показало и продолжает показывать свою исключительную гибкость и приспособляемость к обстановке... Против этой малочисленной, но хорошо спаянной и фанатизированной красной фаланги национальные силы борются довольно хаотично и больше полицейскими мерами, чем идейными». Военная разведка быстро переориентировалась, 14 апреля она уже не говорит о «малочисленной фаланге»: «Речь идет не об обычных и не связанных друг с другом коммунистических действиях, а о запланированной партизанской войне».

19 марта Гитлер полностью растоптал государственный суверенитет Венгрии. Каждый миг та же участь ждала и Болгарию — репетиция была уже проведена: 6 марта 1944 года штаб армии известил начальников гарнизонов в Софии, Варне, Бургасе, Русе, Никополе, Видине, Горна-Джумае, Горна-Оряховице, Стара-Загоре, Тырнове, Окопе, Малеве, Крумове, Враждебне и других, что гитлеровское командование назначило старших по званию офицеров «боевыми комендантами расположенных в этих городах немецких частей для защиты от возможного нападения злоумышленников или чтобы привести их в готовность для подвижных действий вне гарнизонов» — другими словами, для борьбы с партизанами. Более того: немецкие коменданты могут давать указа-

[12] Партизанское имя Тодора Живкова.

[13] Газета реакционно-шовинистического толка, связанная с царским двором.

[14] Радиостанция, организованная в 1941 году в Москве Заграничным бюро ЦК БРП.

[15] В описываемый период министр внутренних дел.

ния болгарским военным. Яснее, кажется, некуда... Поэтому в директиве от 28 марта Георгий Димитров, обращаясь к ЦК, настаивает: «Мобилизуйте все силы партии, Отечественного фронта и всех антигерманских группировок и элементов в народе и армии для предотвращения этой непосредственной опасности».

...Мы не могли точно знать всего этого, но основное мы знали, чувствовали, и Янко уже звал горячо и громко, то вскидывая кулак над собой, то выбрасывая его вниз, к земле, поворачивался — чтобы каждое мгновение видеть всех, чтобы говорить партизанам и глазами тоже. Лагерь не шевелился, но весь он был движение — наклонившиеся вперед бойцы, устремленные на Янко взгляды, затаенное дыхание... Долг перед народом обязывает нас, благоприятная обстановка требует, и по указанию товарища Георгия Димитрова партия созывает под боевые знамена партизанских отрядов все новых и новых бойцов по всей стране. Начинается новый, более высокий этап борьбы, она приобретает поистине всенародный характер...

(Позже историки научно сформулируют три основных этапа: первый с 22 июня 1941 до апреля 1943-го, когда действовали маленькие четы и отряды; второй с апреля 1943-го — решение о создании НОВА[16] — до мая 1944-го — укрепление и расширение партизанского движения; и третий с мая 1944-го до победы — перерастание его в Народно-освободительную армию.)

Теперь мы начинаем завершающий этап,— поднятый палец показывает наверх, на Мургаш,— прямую подготовку вооруженного антифашистского восстания. Теперь мы должны ежедневно, ежечасно штурмовать крепость фашизма, подрывать и разрушать ее, пока мы не сровняем ее с землей...

Янко видел, что многим из тех, к кому он обращался, хотя они уже были р а б о т н и к а м и восстания, предстоит еще вырасти в б о й ц о в восстания. А это не может произойти легко и быстро. И он хотел вдохнуть в них еще и еще уверенности, решительности, непоколебимости. Он достигал этого и своим обзором событий, но как же воодушевлял бойцов его прямой призыв, восторженно громкий в эту минуту, звучный, уверенный голос. Он широко раскинул руки: оглянитесь, товарищи, нас уже больше четырехсот. Мы сила, товарищи, большая сила. Да, большая сила!.. И, словно подхваченные его широко раскинутыми, поднятыми руками, все встали... Теперь мы — боевая часть великой Красной Армии. Теперь мы — бригада славной болгарской Народно-освободительной армии! Мы — Первая софийская партизанская бригада «Чавдар»!..

(Позже мы узнаем: первая и в стране...)

Вероятно, Янко знал, что будет дальше, знал, что враг близко, но предпочел дать бойцам порадоваться. Бригада-то формируется раз в жизни! Его улыбка, часто с хитрецой, таившаяся обычно только у губ, сейчас открыто играла в глазах. Боевой лагерь стал будто многолюднее, над головами взлетали винтовки, палки, просто кулаки, слышались возгласы, нестройные, по необходимости приглушенные и тем более сердечные. Его воодушевление увлекало, вздымало ввысь. До сих пор бойцы относительно спокойно следили за его словами, обдумывали их, теперь же — если у кого-то и были какие-то колебания, их все равно захлестнул прибой чувств, чувства бушевали, и ничто не могло бы их остановить, само множество людей еще их усиливало... В этот миг любая мысль была бы отброшена, если бы она шла вразрез с общим подъемом духа. Янко смотрел в землю, внезапно поднимал глаза на горные хребты, сжимал губы; раздававшиеся вокруг возгласы, казалось, смущали его, но вместе с тем и радовали, были ему приятны, явно приятны... Он снова напомнил, что мы действуем в сердце Болгарии, в непосредственной близости к столице, где сосредоточены главные военные, экономические, политические силы фашизма, что через наш район проходят основные пути к Северной Болгарии и к Черному морю. Каждый наш удар, как и до сих пор, будет иметь также и большой психологический эффект. Это высокая честь для бригады, и она должна достойно ответить на оказанное ей доверие — ответить еще более славными боевыми делами!

Самые нетерпеливые, в особенности юнцы, жаждавшие подвигов, но еще не знавшие, какой ценой они достаются, обещали громко и щедро. Большинство старых бойцов только усмехались: для чего же еще они здесь?

...Но в районе бригады действуют и самые крупные армейские, полицейские, жандармские части, здесь их генеральные штабы, здесь командные пункты и пункты связи гитлеровцев. Это требует от нас особой зоркости. Никаких увлечений,—он несколько раз перечеркнул их сильным взмахом указательного пальца,— ни-ка-ких шараханий! (Скоро мы поймем, что эти резкие жесты осуждали прожекты «крупных партизанских формирований».) Враг после массовизации ожесточился, он нанес свирепые удары по нашим ятакам[17], он яростно вынюхивает наши следы. Мы призвали в горы столько людей, мы обязаны сохранить их, сделать их бойцами, привести к победе. У нас есть для этого возможности, товарищи, реальные возможности! Да, реальные возможности! И он снова выбрасывал вперед руки, словно держал эти возможности в открытых, протянутых ладонях...

На энергичную работу и беззаветную борьбу за достижение национальной независимости нашего любимого отечества!

Гитлеровские банды — прочь из Болгарии!

Да здравствует родившаяся сегодня бригада «Чавдар»! Вперед, товарищи чавдарцы,

[16] Народно-освободительная повстанческая армия.

[17] Помощники партизан, укрывавшие их при необходимости в своих домах, снабжавшие их продовольствием, одеждой, сведениями о неприятеле и т. д. Ятакам посвящены многие страницы книги. «Без них мы не могли бы существовать. Говорят, что партизаны ведут войну без фронта и тыла. Нет — фронт был повсюду, куда ни повернись! А тыл — наши укрепленные позиции, на которые мы могли отойти, чтобы набраться сил и духа, чтобы получить хлеб и новых бойцов, чтобы проникнуться народной мудростью и верой в человека — таким тылом были наши ятаки».

к полной победе! Смерть фашизму! Свобода народу!

Лицо его еще больше оживилось — веселое, молодое, вдохновенное — и слова его, и глаза внушали нам восторг, радость, решимость. И, наконец, три удара кулаком вперед:

— Да здравствует свободная, демократическая, отечественно-фронтовская Болгария!

Снова тишина: Янко оглашает состав штаба бригады. Командир бригады — Лазар. Это было принято как нечто естественное, он и фактически командовал нашим воинством, которое уже не было отрядом и только что сделалось бригадой. Нашенский, знакомый, любимый. Интерес вызывал заместитель командира в гайдуцкой папахе и с внушительными усами, с экзотическим именем Педро. Педро участвовал в гражданской войне в Испании, артиллерист, сидел во французских концлагерях и в нашем Эникёе, для нас он был фигурой загадочной, нам еще предстояло его узнать, но гайдуцкий вид его и испанская слава уже сегодня вызывали в нас гордость... Не знали мы и политкомиссара Стамо — Стамо Керезова, старого партийного работника, организатора нелегальных типографий, позже он расскажет о себе в книге «Под одной крышей с врагом». В нем не было ничего воинственного — невысокий плечистый здоровяк, располагающая улыбка на широком лице. Радостно встретили мы назначение Стоянчо заместителем комиссара — все его любили, к тому же молодой, и молодые партизаны — большинство в бригаде — сочли его как бы своим представителем в командовании...

В круг вышел Лазар. Основное было сказано, о чем он мог говорить? — вероятно, спрашивал он себя в короткую минуту тишины. Впрочем, говорить было о чем. «Я должен был вернуть и старых и новых партизан к нашей суровой действительности, предупредить, особенно новичков, что нам предстоят и бои, и голод, и долгие походы, и смертельная усталость.

Я говорил о прошедших и будущих днях и зорко следил за лицами людей, стоявших передо мной. Это были мужчины и женщины, юноши и девушки, исполненные воли и любви, готовые до последней капли отдать свою кровь за народ».

И его кулак взметнул сотни кулаков.

Бригада приобретала классическую структуру: три батальона, в каждом — три четы, в чете — три отделения. Первый батальон — командир Ленко, заместитель командира Атанас, политкомиссар — Андро... Я вдруг услышал свое сердце, меня обдало жаром, я с трудом сохранил спокойный вид... Второй батальон — командир Педро, заместитель командира бригады, его заместитель — Стефчо, комиссар — Дончо — Илия Манов из Локорского района... Я комиссар батальона, комиссар... я едва слушал, но слышал имена. Третий батальон — командир Велко, заместитель — Стоян, комиссар — Коце... Я — комиссар...

Я бы исповедался вам во всем этом, даже если бы не получил поддержки от Че Гевары, но этот человек — воплощенное самоотречение — помог мне лучше понять самого себя тогдашнего... «В начале 57 года командиром II колонны Фидель назначил меня. Моя колонна состояла из 75 бойцов, разбитых на три взвода... Вся мера тщеславия, которая таилась во мне, сделала меня в этот день счастливейшим человеком». В словах этого мужа, который потряс континенты и совесть человечества, есть и капля великолепной самоиронии, но я признаюсь: я тоже был счастливейшим человеком... Осенью на Мургаше я без звука согласился на работу партийного организатора, работу среди населения, но мне очень хотелось быть комиссаром четы. Я понимал, что главная моя задача — связать отряд с моим родным краем, к тому же я тогда только что пришел в отряд, еще не был проверен — и сам еще не проверил себя, но мне хотелось быть комиссаром. Кто-нибудь скажет: тщеславие... пусть даже карьеризм... Это меня ничуть не заденет! Может быть, оттого, что я раньше уже занимался и партийной и ремсовской работой, она теперь меньше влекла меня к себе? Или во мне играла молодость? И уж конечно действовала романтика Клычкова и тех комиссаров Бабеля, что превращали темных мужиков в светловских борцов за мировую революцию и что погибали первыми? А самое главное — такое это было время: мы понимали необходимость политической работы, но каждому хотелось в о е н н о й... А комиссар — в этом слове было особое обаяние. (И теперь ничто не приносит мне большей радости, чем обращенное ко мне с прикрытым по-мужски теплом — «комиссар»...)

Признаваться так признаваться... Прошло всего шесть месяцев: я стою на углу Раковского и Гурко, и вдруг — на всю улицу: «Напра-а-во равняйсь!» Это «а-а-а» наполняет меня блаженством, и отрывистое «айсь!» пронзает счастьем, потому что рота печатает шаг ради меня, молодого майора (майоры царской армии куда старше!), партизанского майора, и люди вокруг оборачиваются, и я разговариваю с двумя хорошенькими девушками — нет, ничего особенного, мы просто болтаем,— дома покачиваются в тумане, а рука, вскинутая к фуражке, вздрагивает от ощущения силы и сладости власти...

...Сколько сладких наркотиков — да и ядов — предстояло нам вкусить, от иных горечь не прошла до сих пор... Но пусть не смотрят на меня с таким укором те праведники, которые ч и с т ы единственно потому, что жизнь не искушала их никакими соблазнами — еще бы им не быть святыми...

...А там, под Мургашем, все концентрировалось в одном-единственном слове: ответственность...

II

...Едва переставляя ноги, пришел Доктор. Без Васко. Один — только с невероятным известием: «Васко погиб!» В уме каждый еще повторял то, что множество голосов крикнуло Доктору — «Не может быть!» — но траурный марш уже перекрывал вой ветра. Марш — боль. Марш — угроза. Марш —

недоумение: «прощайте братья...» — разве это может относиться к Васко? Самому жизнерадостному, самому неукротимому из наших ребят? Если смерть может настичь даже Васко, ее абсолютное отрицание, она действительно существует...

Двенадцать человек приближаются к Белице, селу, состоящему из десятка хуторов, разбросанных по Средна-Горе. Их ведет Лазар, в мундире кавалерийского капитана, за ним Илия Генев—Огнян, одетый в полицейскую форму, Саро — Славчо Начов — солдат, Мишо[18] — закаленный софийский ремсист. У половины — винтовки, у остальных — пистолеты или гранаты. Идут спокойно, знают, что в селе нет ни полиции, ни жандармерии, их задача — только увести двух-трех лошадей, груженных продовольствием.

По хуторам мотается батюшка, с ведерком и пучком базилика, кропит к пасхе. Другими словами — изгоняет дьявола. А лукавый в этот день является ему в виде троицы — капитан, солдат, полицейский — и самым бессовестным образом обманывает его. Впрочем, батюшка сам легко поддается обману — спеша показать, что святая церковь предана жандармерии. В любезной беседе он между прочим сообщает, что накануне вечером в селе остановилось около роты жандармов, с тремя пулеметами. Когда Лазар говорит ему, что они партизаны, он роняет цигарку и просит господина капитана больше так не шутить... Когда его спрашивают, может ли он уделить что-нибудь грешным партизанским душам, батюшка щедро отдает все, что при нем. Только замечает с грустью, что дары крестьян — уж не то, что в доброе старое время, однако ж мучка, маслице, фасоль, яички все еще перепадают. По правде говоря, лошадь, которую ведут два крестьянина, порядком оседает под тяжестью крестьянских подношений. Батюшку благодарят, он поднимает пальцы: «Сохрани вас бог, сыне!»

Не знаю, какую роль сыграло благословение батюшки, но все решают: нападем! Просто такой уж народ подобрался. Васко, который всегда готов к атаке, Страхил — тигренок нашего дяди Стане, Огнян — партизан с осени, опытный, напористый. Такое нападение не просто дерзко и рискованно, оно вполне безумно, но даже спокойный дядя Стапё, ветеран первой мировой, говорит: если навалиться — глядишь, и винтовки прихватим, только надо застать их врасплох...

И они тут же отправляются на операцию! Вшестером, остальные остаются с Доктором, чтобы раздобыть еще продовольствия. По дороге в следующий хутор натыкаются на полицейского. Васко и Борислав не дают ему опомниться: «Руки вверх!» Вояка аж приседает. Он подтверждает сведения батюшки, добавляет кое-какие детали. «Мы идем захватывать Белицу. Пойдешь с нами и будешь притворяться, что мы твои друзья,— наставляет его Лазар. — Если хоть пикнешь или подашь знак...»

На улице — крестьяне, эвакуированные софиянцы, полно народу. Трое партизан идут по одной стороне, трое — по другой, никто пока не обращает на них внимания. Но вдруг двое жандармов вскрикивают: «Партизаны-ы-ы...» — и бросаются к управе... Шестеро партизан кидаются в атаку, стреляют, вокруг поднимается беспорядочная стрельба, люди с криками разбегаются... Славная суматоха — Васко радуется от души.

Одно окно общинной управы распахнуто, Лазар кивает Славчо, остальные прикрывают его с двух углов. Славчо быстро швыряет гранату, замкнутое пространство усиливает грохот, где-то захлебываются два пулемета, хорошо еще, что те стреляют, не подымая головы...

Управа очищена. Проворно обыскивают ее, находят только две винтовки — две так две, они не брезгуют и этим, захватывают с собой. Выскакивают на улицу. Жандармы успели опомниться, бой продолжается.

Бой с отходом из населенного пункта. Такому бою мы учили новых партизан, но позже, хорошо, что большинство из этой шестерки служили в армии. Используя каждое прикрытие, они стреляют, перебегают к новому прикрытию, противник жмет, но все еще издали, крик: «Ох, матушки, убили!» и наш крик «Так их!», но стрельба все плотней и ближе...

Лазар оборачивается — Васко трогает его за плечо. Глаза восторженные, но потемневшие от боли, приподнятый, но неверный голос, и говорит не неизменное свое дружеское «Лазар», а строгое «товарищ командир...

... разреши мне покончить с собой!..»

Только этого не хватало в такую минуту—кто знает, как гаркнул бы на него Лазар, но Васко показывает на свои штаны... Пуля ударила выше колена... Наверное, каждый ощутил бы торжественность минуты, когда смерть хочет оторвать тебя от товарищей—да еще в разгар боя! — а Васко был натурой экзальтированной, с обостренным восприятием драматического и склонностью еще больше его драматизировать... Он не может идти, не должен мешать товарищам, пусть они уходят в горы, он задержит фашистов, так просто он им не дастся...

Лазар перебивает его — рано думать о смерти, но что делать... что... надо решать немедля... И взгляд его падает на полицейского — того, взятого в плен. Ошеломленный всем происшедшим, потеряв способность соображать, он не подумал смыться, а бежит вместе с ними или бросается на землю, старается. Вот оно, решение: Васко сядет ему на спину и присоединится к группе Доктора... Наверное, Васко страшно хотелось поездить верхом на полицейском, во многих отношениях он оставался мальчишкой, но как же покинуть схватку?.. Ему приказывают — он должен предупредить группу, да, это уже боевое задание...

Пятеро партизан падают ничком за камнями, оградами, домами, стреляют, делают перебежки... Но дорогу им перерезает пулемет, выстрелы свистят и за спиной. Окружены? Нет! Удобно оседлав полицейского, прислонившись к стене, Васко бьет по пулемету. Лазар кричит ему, чтоб он

[18] Партизанское имя Димитра Станишева, ныне секретаря ЦК БКП.

уходил,— но разве то, что он делает, плохо? Тем более что: «Сверху лучше видно, Лазар», — засмеялся Васко тем жизнерадостным смехом, который не оставлял его и в трудные минуты.

Группа снова целиком боеспособна, все поглядывают на край хутора... где там лес?..

Последние дома... А теперь куда? На голом скате, ведущем на север, их мгновенно перебьют. Но и до лесистого оврага шагов сто открытого пространства — земля вскипает от пуль, жандармы надежно укрыты. И все-таки эти сто шагов надо преодолеть, иначе конец... Васко пришпоривает полицейского — вперед! — стреляет, поет, кричит, волосы прилипли к высокому лбу, глаза вытаращены, лицо раскраснелось... Остальные пятеро тоже стреляют... Несколько выстрелов раздается с противоположного ската. Вторая группа! Ее огонь вынуждает жандармов, отрезавших партизанам путь к отступлению, ткнуться носами в землю. Во весь рост, не переставая стрелять, наши пробегают спасительные сто шагов и ныряют в лес. Здесь погони не будет— уже темнеет...

Обе группы объединяются.

Кровь течет. Доктор промывает рану, накладывает шины. Васко, возбужденный, растроганный отношением товарищей, говорит не умолкая: «Доктор, а я смогу на твоей свадьбе рученицу плясать?» — «Еще как».— «А если нога останется кривая, девушки меня будут любить?» — «Отбоя не будет!..»

Находят лошадь. Васко садится на нее. А что делать с полицейским? Вот как даже такую ясную душу порой не разгадаешь: Васко, которого выворачивало при одном слове «полиция», который рявкнул бы на каждого, кто высказался бы за пощаду, этот Васко просит Лазара отпустить пленника на все четыре стороны! А ведь он может быть даже опасен, если обо всем расскажет. И все же — ведь он честно отслужил краткий срок своей партизанской службы!.. (Но начальство, по слухам, потом отделало его как следует.)

Васко сжимает лошадиную гриву и поет те слова, что были только любимой песней, а стали — судьбой:

Если ранен очень больно,
Отделенному скажи...[19]

Крестьяне смотрят на статного парня, силуэт которого еще виден на темнеющем небе, дрожь пробирает их от голоса, который то исчезает, то внезапно взмывает ввысь, а вслед ему молчит в глухом марше партизанская колонна. Эти крестьяне ничего не забудут...

...На другой день жандармерия охватывает двумя колоннами, по хребтам, лагерь Арамлиец, третья наступает прямо в лоб. Сто партизан без раздумья приняли бы бой против роты жандармов, если бы... у них было оружие. Против каждой из вражеских колонн удается выставить заслон всего из пяти-шести вооруженных партизан.

Ядро сборного отряда — некоторые с пистолетами, большинство без оружия — отходит на запад. Первые несут на плечах Васко, на носилках из брезента. Жандармы, хоть и на большом расстоянии, осыпают бойцов пулями и руганью. Васко, бледный, с провалившимися глазами, выкрикивает свои команды: «Первый пулеметный расчет — обходи слева! Второй пулеметный расчет — справа!» Стрельба становится гуще, граната убивает лошадь, груженную продовольствием, даже в такую минуту кому-то становится жалко куличей и пасхальных яиц. Васко запевает душераздирающе «Жив еще, жив он...»[20]. Запевают и те, кто его несет. Запевают все...

...Пылкий, буйный, неудержимый восторг — со стороны можно было бы подумать, что парень рисуется. Нет, он искренен, как всегда. Молодой, сильный — силы распирали его, — Васко говорил, что хочет умереть с музыкой, но по-настоящему-то — с музыкой он хотел жить...

Ядро отряда отходит, три колонны жандармов наступают на три маленькие группы партизан. Пулеметные и автоматные очереди — против редких винтовочных выстрелов. Редких, но точных! То один, то другой глухой вскрик подбадривает наших.

Наступление выдыхается. Среди жандармов есть убитые и раненые, им не хочется атаковать... Наши пытаются их обойти, перебежками и торопливыми выстрелами создают впечатление, что их много. Кое-кто из жандармов бежит, внося смятение в остальную массу.

Быстрым ходом три арьергардные группы догоняют партизанское ядро...

...Васко все повторяет: «Я вам мешаю. Из-за меня вас перебьют. Оставьте меня...» Оставить его, разумеется, не оставят, но наконец с ним соглашаются: его переправят в Байлово. Там он родился, хотя вырос в Саранцах. Там живет его тетка, на нее вся надежда... Одиннадцать человек отделяются от сборного отряда. Короткие, молчаливые объятия. Они пускаются в дорогу, не зная, что она покажется им бесконечной...

Раненый человек всегда очень тяжел, всех шатает от усталости, а эта дорога без дороги, по лесу, убийственна — да еще ночью... Четверо несут его, четверо «отдыхают», трое сменяют друг друга в передовом охранении и в арьергарде. Силы на исходе, это выматывает нервы, появляется подленькое чувство — он нам только в тягость... все подвергаются опасности... мы рискуем из-за него жизнью, а сам он — останется ли жив?.. Это чувство возникает в отдельные минуты, но трезвая мысль — даже и в такие минуты она на посту! — отбрасывает его, ты сам себя презираешь — чем же виноват раненый товарищ, он и так страдает больше всех, но то подленькое чувство снова шевелится (так рассказывал мне участник...).

И где же оно, это чертово Байлово, убегает от них, что ли?

С грехом пополам добираются до цели. По селу шныряют патрули. Вернуться? Но

[19] Слова песни в болгарском тексте приведены по-русски.

[20] «Жив еще, жив он...» — начало песни на слова великого болгарского поэта-революционера Христо Ботева (1848—1876).

куда в таком случае его нести, и откуда взять силы, и так его не оставишь... Дальше идут вшестером. Попробуй ступай тихо в такой темнотище... А каждый покатившийся камешек грохочет оглушительно. Васко, вытянув шею, лихорадочным шепотом подсказывает им дорогу. Где-то в стороне Софии завывают сирены, в селе звонят колокола. Воздушная тревога. Чудесно! Идут огородами. Перелезают через плетни. Наконец-то... Двое держат его. Тихий стук. Молчание... вот скрипнула дверь. Испугавшись раненого, женщина вскрикивает... Все кончено, она уже больше не придет в себя. Не помогают ни просьбы, ни угрозы, ни ласковые слова Васко. Тетка ничего не видит, ничего не слышит, она знает одно— Васко их загубит, из-за Васко сожгут дом.

Как убивали нас такие близкие! Убит был и Васко, я сужу по тому, что он не схватился за пистолет, а откинул голову на носилки: «Пошли, товарищи. Что тут говорить...»

Партизаны снова собираются, все потрясены, только ругательства и проклятия дают им силы двинуться в направлении Осоицы. Дорога теперь еще тяжелее: нет больше надежды. Усталость — если это только возможно — усиливается стократно. Кто-то останавливается: не могу больше, ни шага... лучше умереть... уже все равно. И я — рухнул на землю другой. Третий ворчит — может быть, нарочно дразнит остальных, чтоб его отругали и у него прибавилось сил: «И куда мы тащимся? На кой кишки надрываем?» Но тут же стискивает зубы, не дает темному чувству стать словами, и все равно товарищи чувствуют, Васко острее всех, он и без этого все просит: «Оставьте меня. Что вы надрываетесь, вы можете погибнуть из-за меня... Мне хватит одной гранаты, я свою жизнь дешево не отдам...» Некоторые пытаются подбодрить других или скорее себя. Мишо — злые слова и его разозлили, но все пересиливает боль за товарища — негромко предлагает всем отдохнуть...

Мишо и обязанным себя чувствует, и силы в себе находит, чтобы выстоять, чтобы вдохнуть надежду, есть у него и право упрекнуть. Он «старый» партизан — с начала марта... но важнее другое: хотя на нем гимназическая куртка — ему нет еще двадцати, хотя и по росту, и лицом он совсем еще мальчик — жизнь давно сделала его в з р о с л ы м... Родился в Кукуше, семья жила в Струмице[21], бежала в Дупницу (ныне город Станке Димитров) — и все надеялись вернуться в Кукуш, — а вырос он в Софии, по соседству с известнейшим беженским, бедняцким Гевгелийским кварталом. Трое братьев, сестра, отец — рабочий-табачник, умер от абсцесса легких, мать— подсобница. Мишо становится грузчиком (потом долго хранит «козу», на которой он таскал грузы,— дорогое воспоминание!), работает в кофейне, в мастерской, где делают рамки, потом кельнером... пытается и учиться — притом не в Третьей мужской, пролетарской гимназии, а в Первой, товарищи направляют его туда для ремсовской работы. В классе, где учатся дети богачей и министров, он белая ворона, но он горд, и насмешки не сгибают его. И одновременно он связной у Эмила Маркова[22], Цолы Драгойчевой[23], Антона Югова...[24] Семья нередко засыпает без куска хлеба, самое большое лакомство.— компот из сушеных плодов, и вот теперь, в партизанском отряде, привычка к голоду очень ему помогает — некоторые даже не верят, когда он говорит, что не замечает голода...

Не только ранняя зрелость — юношеское преклонение перед Васко заставляет Мишо внутренне негодовать против тех, кто позволяет себе ворчать, и он подсаживается к Васко. Уже месяц как он полюбил Васко всей душой, Васко просто пленил его — и он никогда не будет стесняться этого нежного слова, хотя особенно в ту пору, стремясь быть суровыми мужами, мы избегали подобных слов... В этом темном, хмельном походе бойцы то и дело падают, невольно грохают Васко о землю, ему бы выть от боли, но он и не охнет, и Мишо молчаливо восхищается им. И теперь, на привале, все шумно переводят дыхание, а Васко только скрипит зубами. «Что, Васко, очень больно?» — шепотом спрашивает Мишо. «Да что я, вы со мной измучились. Прости, братишка, вон как получилось...» Черно, глухо, откуда-то доносятся выстрелы, словно стреляют в тебя... «Васко, не думай об этом. Давай лучше помечтаем!» — «Давай! — оживляется Васко.— Я всегда о чем-нибудь мечтаю. Вся моя сила — в мечте».— «Как ты представляешь себе свободу, чего бы ты хотел?» — «Это я сразу тебе скажу, я давно об этом думаю. Самая большая моя мечта— Москва. Поехать в Москву, пройти по Красной площади, поклониться Ленину... Москва, Москва! Ты ярко вновь горишь!.. Твоя звезда лучей сиянье льет над каждой горестной страной... Москва, Москва! Воспламененных душ вулкан! Сколько силы в Смирненском![25] Москва — это наша судьба. Кто останется жив и попадет туда, пусть поклонится и от имени всех погибших...»—«И у меня так, Васко, и я во сне вижу Москву!»

Сейчас невозможно почувствовать все это так, даже если ты жил в те годы. Москва теперь б л и з к а, доступна, она и сама

[21] Кукуш, Струмица — города, которые после поражения Болгарии во второй Балканской (1913) и первой мировой войнах отошли к Греции (Кукуш) и Сербии (Струмица). Значительная часть болгарского населения этих городов бежала в Болгарию.

[22] Марков Эмил (1905—1943) — видный деятель рабочего движения Болгарии, в 30-е годы — секретарь Софийской партийной организации.

[23] Драгойчева Цола (р. 1898) — болгарский партийный и государственный деятель, в конце 30-х годов — член ЦК БРП, с 1940 — член Политбюро ЦК БРП. За революционную деятельность была дважды приговорена к смертной казни. В наши дни — Герой Народной Республики Болгарии, Герой Социалистического Труда, почетный председатель Общества болгаро-советской дружбы.

[24] Югов Антон (р. 1904) — болгарский партийный и государственный деятель. В конце 30-х годов — член ЦК БРП и Политбюро ЦК БРП.

[25] Христо Смирненский (1898—1923) — болгарский поэт-коммунист, воспевший Октябрьскую революцию, любимый поэт прогрессивной молодежи Болгарии в 20—30-е годы. Одно из известнейших его стихотворений — «Москва».

приходит в Болгарию, и даже Смирненский уже не звучит так. И все уже давно известно из бесконечных воспоминаний, стало газетным, шаблонным, мне трудно об этом писать, и только точные Васковы слова помогают мне. Ведь даже тогда не все чувствовали это с одинаковой силой. Москва — как город мечты и Смирненский, сумевший облечь эту мечту в слова, действовали на Васко гипнотически, магнетически, патетически — может быть, только эти неславянские слова, не до конца ясные и содержащие в себе долю «мистики», — в какой-то мере выражают натуру Васко. Натуру невероятно противоречивую в ее невероятном единстве: бесконечно уязвимая нежность при неуязвимой суровости — а иные даже думали — жестокости! — жила в этом юноше... Добавьте к этому запредельную усталость, и ласку Мишо — «Давай помечтаем!», и смерть, которая подползает совсем близко...

«А кем бы ты хотел стать... если мы доживем?» — «Я? — Васко приподымается на локте.— И это я давно знаю: я хочу стоять перед ЦК и пропускать туда людей по глазам... (Не улыбайтесь снисходительно или с сожалением — попробуйте его понять!) Там должны быть люди преданные, люди чистые, с открытым сердцем, с душой, люди... люди...» — и оттого, что Васко умолкает, он, в сущности, говорит то, для чего не находит слов...

Мы не раз вели с Мишо задушевные разговоры, не раз я слушал его: «Знаете, я долго жил в Москве... И всегда со мной был Васко. Он больше, чем я, заслуживал того, чтобы туда поехать, там учиться. Не перед ЦК бы ему быть, а в самом ЦК. Чистота Васко всегда была для меня мерилом чистоты. Священным мерилом...».

И я всегда воспринимал эти слова Мишо как незабытую, в душе произнесенную клятву... думается, я знаю его хорошо... Остальное известно. Уверен, что Васко пустил бы Мишо в ЦК по глазам...

Но им надо идти.

На другой день они находят свой отряд. Там решают: Васко и Доктор останутся в маленькой сосновой рощице над Осоицей, ятаки будут им помогать... Душераздирающее прощанье. На этот раз действительно — на жизнь и на смерть...

Они натянули кусок брезента в виде палатки. Доктор каждый день перевязывает рану, ей бы пора затягиваться, а по ночам она открывается снова. Вши — страшнейшая напасть и для здорового человека, что ж говорить о воспаленной ране... Васко мечется и стонет... Днем успокаивается. Они уже все знают друг про друга. Он страшно молод, ему страшно хочется жить, и он пыхтит сердито. Рана начинает заживать.

Идет двенадцатый день. Доктор слышит подозрительный шум, говор, выбирается из палатки. «Я подтянул к себе винтовку и прямо против себя увидел двух жандармов. Еще минута—две — и они наткнутся на палатку. А сверху двигалась целая цепь. Мы были в западне. Времени не оставалось ни для слов, ни для уговоров. Горько было лишь, что не успели мы с Васко попрощаться.

Не помню, как происходило все дальнейшее, но один прыжок — и я уже летел по противоположному крутому скату, кувырнулся и залег. Стал стрелять и из пистолета, и из винтовки. Жандармы как будто смешались — они тоже залегли. Потом я приподнялся, и новый прыжок перенес меня в какой-то ров.

Надо мной проносился град пуль, но я был уже вне окружения, вдогонку летели только пули и крики растерявшихся жандармов. Они гнались за мной, а я бежал, бежал. И радовался — я увел их от того места, где оставался Васко...»

...Треск головешек, волчий рев ветра, хриплый прерывистый голос Доктора — его рассказ пробирает до костей, и ты не хочешь услышать то, что предстоит услышать... «Когда я уже выбрался из кольца, я услышал единичный выстрел из пистолета. Жандармы стреляли из автоматов, пистолеты в ход не пускали. Но вот — выстрел из пистолета. Я подумал: они обнаружили Васко, и он, чтобы не попасться живым в их руки, покончил с собой...»

Молчание. Ледяное молчание. Самое долгое молчание... Но больше выдержать невозможно, нам нужна ярость траурного марша:

Но день тот придет, и великий народ...

А это кому пришло в голову? Нам были чужды всякие «ритуалы», и тем выше цена истинного признания: стоило кому-то предложить, и мы все как один объявили Васко героем бригады... Странно, у нас уже были герои, еще больше их будет, но никому другому мы не присвоили этого звания, только Васко.

А он был жив! Той ночью Васко остался один, и выхода, казалось, нет. Эх, судьба человеческая! Некому было сказать ему, как мы его назвали, а Васко любил признание и был бы по-детски рад, по-мужски счастлив...

Наверное, те, кто упрекает меня, что я медленно пишу «Уходящие в бессмертие», имеют для этого и другие основания, но в одном они правы безусловно: легенды опережают меня. Только я что-то вспомнил, изучил, обдумал — осталось лишь написать, а уже возникла другая версия. Я часто опасался, что мой рассказ, хоть он и подсказан жизнью, покажется кому-то неправдоподобным,— а легенда распространяет тот же сюжет в куда более невероятном виде, и легенда закрепляется, и никому не приходит в голову в ней усомниться.

Легенды возникают естественно в воспоминаниях людей — и эти воспоминания начинают жить самостоятельной жизнью, разрастаются, смешиваются, привносят сказочное в реальное. Легенды возникают и неправомерно: иные участники событий или не слишком грамотные журналисты записывают (вернее, сочиняют) подвиги и эпопеи... Так или иначе, нет такой силы, которая остановила бы лавину легенд, да и рассказывают их с лучшими намерениями, и сомнения возникают все

реже. Я стараюсь писать правду, только правду, всю правду — но разве могу я теперь избежать влияния легенд? И разве я должен — и разве могу! — их «развенчивать»? Да и рождается легенда не о каждом...

В жизнеописании Васко легенде принадлежат, быть может, только некоторые подвиги, совершенные им еще до того, как он пришел в отряд, и уж совсем не легенда — последний его день...

Тогда жандармы его не обнаружили. Штаб посылает к нему Цвятко Андонова из Леснова, опытного партизана, примерно моего возраста. Странно, и его партизанская кличка — Доктор, хотя какой он был медик? С пятнадцати лет он в Софии, токарь, потом возвращается в свое село, работает электротехником, по душевному призванию — ятак. В мае 1943-го в селе начинаются аресты, он скрывается в Софии, живет на нелегальном положении, но вскоре возвращается домой — там как будто поутихло... Враги застают его врасплох, но и он не остается в долгу: арестованный, стреляет во дворе управы в полицейского и бежит. Теперь он уже не ятак, а партизан... Какой там доктор, спрашиваю я, но одного того, что он так заботливо выхаживал Васко, достаточно, чтоб ему навсегда остаться Доктором.

Рана затягивается, Васко готовится к недалекому пути. Но отправляется в самый далекий свой путь... Двенадцатое мая, жандармы снова прочесывают лес. Обнаруживают палатку. Сколько времени может длиться бой считанными патронами — как их ни береги? Приятно все же услышать, что кто-то из гадов взревел от боли...

Он встречался со смертью и уходил от нее — столько раз, что это уже внушает обманчивую надежду. Может быть, снова... Едва ли — их много, они близко...

Зная, что рассказали его убийцы, я могу мысленно оказаться с ним рядом. Его вновь охватывает та приподнятость, та торжественность, с какой человек идет на смерть — если только он успевает разглядеть ее и если он в сознании. «Можно и умереть, Лазар, но если умирать, так хоть с музыкой. Налетают жандармы, палят из автоматов и пулеметов, а ты встречаешь их гранатами. Убить бы сотню, а там и умереть не жалко!» Этот миг пришел, именно этот, но где гранаты? Все же одна есть... Васко опирается на сосенку, приподымается, делает какой-то жест, те замирают: может, сдастся? А он дразнит их: «Идите сюда, трусы, вот, у меня ничего нет...». Не верят, и все же искушение — взять живым! — ведет их. Приближаются. Тогда Васко... Даже одна граната, особенно вблизи — неплохая музыка. (Сведения полиции: двое убитых, четверо раненых. Не знаю, какова здесь доля Васко, какова — Цвятко, но разве это важно?)

Теперь уже одинокий выстрел из пистолета — настоящий...

Счастлив ли ты был этой музыкой, Васко?

◆

Антирубрика

УИЛЬЯМ МЕЙКПИС ТЕККЕРЕЙ

Перевод с английского ЕЛЕНЫ ПЕЧЕРСКОЙ

Судья Блекстоун

Судья Блекстоун так учен,
Так в знания проник...
Под париком несет мозги,
Под шляпою — парик.

Судья Блекстоун знает все:
Поднявши к небу взор,
С мудрейшим видом он несет
Нелепицу и вздор.

На всем он мастер руки греть,
Вот почему отныне
Родной язык и здравый смысл
Он схоронил в латыни.

Как сложен стал любой пустяк!
Клиент, объятый дрожью,
Конечно, должен осознать,
Что в этом мудрость Божья...

Гласит Писанье: «Черви мы...»
Увы! Определенно
Мы будем все погребены
Под сводами Закона!

Моя Нора

Одна в тени густых ветвей
В бостонских дебрях много дней...
Забыть не в силах я о ней.
Родная Нора!

Слеза туманит ясный взор,
Украшен жемчугом убор.
И шлет нежнейший мне укор
Голубка Нора.

А я? Где я? Моя любовь,
К терпенью сердце приготовь:
Сидишь в тени, а я ведь вновь...
Стою я, Нора!

Здесь баронет и коронет,
Роз и свечей слепящий свет;
Английской знати лучший цвет...
Взгляни же, Нора!

Здесь родовитости парад.
Идут... танцуют... говорят...
На твой похож той дамы взгляд,
Мой ангел, Нора!

Помедлила... взглянула вдаль...
Заметила мою печаль...
О, ей меня, конечно, жаль!
Как мило, Нора!

Она собою хороша:
Во взгляде — страсть, огонь, душа!..
Смотрю, не веря, не дыша:
Как ты, о Нора!

Она не ходит, а скользит,
Посмотрит — наповал сразит,
А стройный стан... а гордый вид...
Как твой, о Нора!

О Эмили! Ведь образ твой
Ниспослан мне самой судьбой,
И я навек пленен тобой...
Тобой и Норой!

Трагическая история

Мудрец, витавший среди звезд,
Вдруг у себя заметил хвост...
Сей случай был весьма непрост,
Поскольку хвост был сзади.

Мудрец задумался на миг,
Призвав на помощь мудрость книг,
И понял: он вопрос постиг
О том хвосте, что сзади.

Изрек он: «Я раскрыл секрет!
Загадку я извлек на свет!»
Хотел поймать он хвост, но нет!
Тот все болтался сзади.

Прыжок! Скачок! Рывок! Бросок!
Пока совсем не изнемог.
А дело — ни на волосок,
И хвост остался сзади.

Он бегал, прыгал и скакал,
Ловил, хватал, держал, искал...
Но поросячий хвост торчал
Весьма упорно сзади.

Мудрец трудился в тишине,
И был прилежен он вполне...
Но, верность сохранив спине,
Хвост оставался сзади.

ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН (США)

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР В СКАЛИСТЫХ ГОРАХ

Перевод с английского АЛЕКСАНДРА МАЙКАПАРА

О музыке писали многие и по-разному. Пишет о ней и Леонард Бернстайн — американский композитор, дирижер, музыкальный деятель, автор знаменитой «Вестсайдской истории». Есть, правда, два стиля писания о музыке, для Бернстайна совершенно неприемлемых: псевдопопулярный — это, как Бернстайн сам говорит, «вариации на тему «птички-пчелки-ручейки»... Это бабушкины сказки о великих композиторах, которые кишат анекдотами, цитатами из знаменитых исполнителей, скверными шутками, невыносимыми каламбурами, надоедают слушателю и ровным счетом ничего не говорят о музыке»; другой стиль — псевдонаучный — это «вариации на тему «сейчас-последует-новое-обращение-темы-во-втором-гобое. Снотворное с полной гарантией».

Отвергнув эти крайности (кстати, статья, откуда взяты приведенные характеристики, называется «Золотая середина»), Л. Бернстайн нашел свой яркий, увлекательный и остроумный, порой парадоксальный стиль разговора о сложных проблемах музыкального искусства.

Сцена 1. Почему Бетховен?

Где-то в Нью-Мексико. Мы втроем в автомобиле мчимся на головокружительной скорости, куда неизвестно, скорее всего в какой-нибудь горный отель в Скалистых горах. За рулем мой Младший брат, ему шестнадцать лет, он ас автомобильной езды и мировой авторитет в области ядерной физики. Он непременно должен, иначе не может, обогнать каждую машину, которая возникает впереди нас. Слева от меня Поэт-лирик, скованный ужасом; я подозреваю, что в душе он непрерывно молится о скорейшем прибытии — все равно куда. Ему надо прожить по крайней мере столько, чтобы успеть закончить очередной том. Он — один из лучших поэтов Великобритании и принадлежит к числу тех невозможных людей, которых постоянно волнуют политические, любовные, музыкальные и другие проблемы и которые, несмотря на неизменно сопутствующий им успех, часто оказываются в затруднении, получив счет из прачечной. Когда Поэт говорит, он — оракул, когда молчит — оракул вдвойне.

Поэт *(с холодной невозмутимостью).* Дорогой юноша, я подозреваю, вы забыли, вчера у нас лопнула шина из-за этой езды вашей бешеной.

Младший брат. Не делайте инверсий, некрасиво.

Тем не менее скорость Младший брат сбавляет, правда не сразу: пусть не думают, что он покорился. Младший брат упрям и своеволен, но и он не в силах устоять перед «оракулом». Несколько минут молчим; когда напряжение совсем спадает, Поэт обращается к излюбленной теме дорожных разговоров — проносящемуся мимо пейзажу.

Поэт. Эти горы — чистейший Бетховен.

Минут пять едем молча, Поэт мысленно смакует свою метафору; Младший брат мучается от медленной езды; я размышляю над своеобразием поэтического мышления: Поэт связывает музыку с горами, морем, блуждающими огоньками.

Поэт. Да, Бетховен!

Л. Бернстайн *(прервав размышления).* Хотел было пропустить ваши слова мимо ушей. Но коль скоро вы настаиваете, позвольте задать вам один каверзный вопрос. На земле, как известно, тысячи гор: по крайней мере по сотне на каждого великого композитора. Так почему каждая гора каждому поэту напоминает Людвига ван Бетховена?

П. Вот ведь как странно! А я-то думал польстить вам музыкальной метафорой. К тому же она представляется мне очень верной. Эти горы, скалы, ущелья, отроги полны величия, и, глядя на них, я так и слышу музыку Бетховена.

Л. Б. Какую симфонию, позвольте спросить?

П. Нет, это, право, смешно. Вы действительно не чувствуете сходства между этим пейзажем и Бетховеном?

Л. Б. Конечно, чувствую, и не только Бетховеном, но и Бахом, Стравинским, Сибелиусом, Вагнером. Почему же только Бетховен?

П. А почему бы и нет, как ответила гусеница Алисе в стране чудес.

Л. Б. Я серьезно, а вы шутите. Сколько я себя помню, стоит заговорить о серьезной музыке — первым срывается с языка имя Бетховена. Для концерта, открывающего сезон, требуется бетховенская программа. Войдите в концертный зал, украшенный именами великих композиторов, и, пожалуйста, вот он — в самом центре, впереди всех. Единственный, величайший, бросающийся в глаза, сияющий позолотой. Если задуман фестиваль оркестровой музыки, ставлю десять против одного, это будет бетховенский фестиваль. Кто наиновейший композитор среди пишущих неоклассическую музыку? Нео-Бетховен. А гвоздь программы всякого клавирабенда?

Соната Бетховена! Каждого квартетного концерта? Опус 100. Что играют в симфонических концертах, когда хотят почтить память павших героев? «Героическую» симфонию. А в День Победы? Пятую симфонию. Возьмите устный экзамен на степень доктора в музыкальном колледже. Что там спрашивают? Сыграть все темы из девяти симфоний Бетховена. Вы бывали когда-нибудь на концерте в ООН? Обязательно услышите Девятую симфонию Бетховена. Бетховена! Людвиг ван...

П. Господи, вы что же, не любите его?

Л. Б. Не люблю? Помилуйте! Я за него горой. Можно сказать,, помешан на нем. Наверное, потому меня так и задела ваша метафора. Я обожаю Бетховена. Но я хотел бы понять это неписаное правило, не знающее исключений. Я не ропщу. Я просто хочу уяснить себе, почему не Бах, не Моцарт, не Мендельсон, не Шуман...

М. Б. Кто хочет жвачки?

П. Ну, я думаю, потому что Бетховен... хотя, возможно, это скорее традиция... то есть, если проследить весь...

Л. Б. Вот, вот, я и хочу сказать: на этот вопрос ответа нет.

П. Черт побери, да потому что он лучше всех, вот почему! И давайте скажем прямо, не стесняясь: Бетховен — величайший из всех живших когда-либо композиторов!

Л. Б. *(соглашается, но верный принципу все подвергать сомнению, гнет свое).* Dünkt dir das?[1] А не могли бы вы доказать по пунктам это ваше смелое утверждение?

П. С удовольствием. А по каким пунктам?

Л. Б. Давайте возьмем элементы музыки — мелодию, гармонию, ритм, полифонию, инструментовку и посмотрим, какой балл заслуживает наш общий друг по каждому из них. Согласны?

П. Согласен. Так с чего начнем? С мелодии? Боже, какие у Бетховена мелодии! Возьмите медленную часть Седьмой симфонии. Кажется, поет само сердце!

Л. Б. Поет-то оно поет, но, пожалуй, несколько монотонно. Главная особенность этого мотива — какое-то, я бы сказал, беспомощное прилипание к ноте ми.

П. Но именно в этом сила — требовалось нечто маршеобразное.

Л. Б. Допустим, но при чем здесь мелодия?

П. М-да, пожалуй, пример неудачен. Ну а первая часть?

Л. Б. А вы попробуйте, насвистите ее.

Поэт пробует свистеть, но тут же замолкает. Пауза.

Л. Б. *(весело).* Перейдем к гармонии?

П. Нет, черт возьми! Попытаюсь еще... Вот это... Ну да! Медленная часть ля-минорного квартета! Божественная музыка. Благодарственный гимн в честь выздоровления; чистое, тихое, невероятно сдержанное движение, мело...

Л. Б. Мелодия?

П. О, мелодия, мелодия! А собственно, что такое мелодия? Разве она непременно должна быть такой, как поют в пивном баре? Любая последовательность нот — молодой человек, вы опять гоните! — есть мелодия, не так ли?

Л. Б. В общем-то да. Но мы сейчас с вами сравниваем мелодии, какая лучше, какая хуже. А у Бетховена...

П. *(на грани отчаяния).* В финале Девятой симфонии есть замечательная мелодия: ти-та-та...

Л. Б. Но даже вы согласитесь, что эта мелодия как раз очень подходит для пивного бара.

П. *(со вздохом).* Cedunt Helvetii[1]. Перейдем к гармонии. Хочу только предупредить. Я ведь не музыкант, так что не обрушивайте на меня, пожалуйста, град специальных терминов.

Л. Б. Не собираюсь, дорогой Поэт. Я только напомню вам три-четыре самых распространенных аккорда в западной музыке. Я уверен, вы их знаете...

П. Например, вот это? *(Поет.)*

День кончается,
Ночь опускается,
Тени вечерние...

Л. Б. Да, именно. А теперь скажите, вы бы могли найти у Бетховена что-нибудь гармонически более смелое, чем то, что вы сейчас пропели?

П. Это вы серьезно? Нет, вы не можете так думать! Ведь Бетховен — первооткрыватель, Наполеон в музыке!

Л. Б. И все-таки целые страницы Пятой симфонии построены именно на этих трех аккордах; они чередуются и чередуются; в конце концов даже любопытство берет, что еще можно из них выжать? Тоника, доминанта, тоника, субдоминанта, доминанта...

П. Но какое сочетание они образуют!

Л. Б. Это другой разговор. Мы ведь сейчас говорим об аккордах, верно?

П. Согласен, гармония — не самая сильная сторона Бетховена. Но давайте перейдем к ритму. Вы, конечно, не станете отрицать силу, напряжение, пульс, стремительность.

Л. Б. А вы слишком быстро поставили крест на гармонии! Бетховен обращался с гармонией как волшебник: мистические провалы, внезапные яростные модуляции, неожиданные повороты гармонических событий, неслыханные диссонансы...

П. Так вы за Бетховена или против? Мне показалось, вы считаете его гармонии скучными.

Л. Б. Нет, нет, они вовсе не скучные. Они только не такие изощренные, как гармонии последующей эпохи. У Бетховена, конечно, было обостренное чувство ритма, как, впрочем, и у Стравинского. И у Бизе, и у Берлиоза. Так почему же, повторяю, Бетховен? Разве его ритмы больше завораживают, чем ритмы других композиторов? Разве он ввел какие-то новые ритмы? Разве не бывает, что он терзает вас, как Шуберт, одним и тем же ритмом на протяжении десятка страниц? Я еще раз спрашиваю: так почему мы все же его имя всегда называем первым?

П. Боюсь, вы ломитесь в открытую дверь. Ведь никто не станет утверждать,

[1] Ты так думаешь? *(нем.)*

[1] Гельветы отступают *(лат.)*. Выражение, означающее капитуляцию.

что Бетховен велик только благодаря своему особому ритму, гармонии, мелодии. Только слияние...

Л. Б. Слияние заурядных элементов? Но это вряд ли объясняет, почему мы поклоняемся его золоченому бюсту.

П. Ну, а полифония?

Л. Б. Да и полифония в общем-то на школярском уровне: всю свою жизнь Бетховен пытался написать действительно интересную фугу. И оркестровка у него никуда не годится, особенно в последние годы, когда он оглох. Вылезет вдруг второстепенная партия трубы и мучает, как больной зуб, а то валторны заладят одно и то же, куда-то утонут деревянные духовые. Да-да, все это вы у него найдете.

П. *(в полном отчаянии).* Молодой человек, да перестаньте же вести машину на такой безумной скорости!

М. Б. «Безумная скорость» — плохой стиль. *(Но скорость сбавляет.)*

П. *(впадая в праведный, разумеется, поэтический гнев).* Как хотите, но я должен высказаться! На моих глазах развенчан кумир. И кем — одним из тех, для кого звуки — родная стихия. Тогда как моя стихия — слова. И вот Он лежит перед нами, оклеветанный лукавой и празднословной критикой. Забыты его гениальность, его прозрения, чудесные излияния чувств, его мечты о всеобщем братстве. Он повергнут в прах. «Посредственные мелодии, примитивные гармонии, надоедливые ритмы, заурядная оркестровка, бедная полифония»... И все это я слышу от человека, который посвятил всю жизнь тому, чтобы приобщить человечество к таинству музыки. Нет, это невозможно! В высшей степени невозможно. Абсолютно невозможно!

Поэт умолк, упоенный собственным красноречием и уставший от столь бурного проявления чувств.

Л. Б. Вы правы, дорогой Поэт. Это действительно невозможно. Но истина, как известно, рождается в споре. Вспомните, я ведь с самого начала был с вами согласен и, полемизируя, только размышлял вслух. Я, так же как все, поклоняюсь этому имени, этим сонатам и квартетам, этому золотому бюсту. Но ваша метафора вдруг показала мне, что всеобщее поклонение слепо. И, споря с вами, я спорил с самим собой — в поисках истины. Ну, я вижу, вы успокоились, и уверен, что теперь легко назовете элемент музыки, который мы упустили, занимаясь нашей вивисекцией.

П. *(спокойно, но как бы с похмелья).* Мелодия, гармония, ритм... Что же еще? Ах да, ну конечно форма. Какая глупость — забыть о такой важной вещи! Форма — это ведь самая суть Бетховена: именно она дает жизнь этим великолепным аллегро, этим замечательным скерцо, этим...

Л. Б. Стоп, стоп, стоп! Опять вас заносит. Я понимаю форму немного иначе. Как — попытаюсь сейчас объяснить. Многие композиторы способны сочинять божественные мелодии, идеальные фуги; другие так ловко жонглируют звуками, что и до-мажорная гамма зазвучит как шедевр. Но все это пустое, мишура, не идущая ни в какое сравнение с редчайшим, непостижимым даром безошибочно чувствовать последующую ноту. Бетховен обладал им, как никто из его собратьев по искусству. Когда этот дар проявлялся особенно полно — взять хотя бы Похоронный марш из «Героической» симфонии,— Бетховен создавал произведения, которые как будто копируют оригинал, существующий на небесах. Словно кто-то диктовал ему. Это, однако, не значит, что писать под такую диктовку легко. Мы знаем, каких мук стоило ему вслушиваться в звучание небесных гармоний. Я как бы вижу в просторах вселенной некую сложную фигуру, и музыка Бетховена — снятый с нее слепок.

П. Ну теперь и вас занесло!

Л. Б. *(ничего не слышит, кроме собственного голоса).* Форма — ведь только оболочка. Композитор, не обладающий этим уникальным даром, может сочинить множество безукоризненных пассажей с соблюдением всех правил гармонии, но все они будут мертвы. Ломая все правила и каноны, Бетховен создавал шедевры, которые потрясают своей истинностью. Истинность — вот что самое главное! Если вы чувствуете, что каждая нота в этом музыкальном контексте — единственно верная в этот миг, можете не сомневаться, вы слушаете Бетховена. Мелодии, фуги, ритмы — оставим это другим. Наш друг обладает волшебным даром сочинять музыку, утверждающую Истину. А Истина для человечества — источник надежды. Вот цель искусства, и Бетховен — главный жрец в его храме.

Сцена 2. В чем же, по-вашему, смысл музыки?

Позже тем же днем. Сумерки постепенно смягчают и приглаживают «бетховенские» горы, превращая их в нечто более «шопеновское». Блеклый розовато-лиловый свет умиротворяет чувства. Путников одолевает дремота.

Сквозь шум мотора слышатся призывные звуки кемпинга.

П. *(напевает сквозь зевоту).*

День кончается,
Ночь опускается,
Тени вечерние...

М. Б. *(смахивая слезу).* Кто хочет жвачку?

Л. Б. Знаешь, я, пожалуй, не откажусь. Спасибо. Я так много сегодня говорил, что горло пересохло. А вы не хотите жвачки, дорогой Поэт?

П. Благодарю вас, нет. У меня, как вы понимаете, горло не пересохло — я не успевал и слова вставить.

На обочине дороги появился указатель: «Для транзитных». В сумерках дом кажется серым и негостеприимным.

П. Рискнем заглянуть на этот постоялый двор? Присядем у накрытого стола! Насладимся очагом доброго трактирщика!

Л. Б. А вы, как видно, устали. Пожалуй, стоит попробовать. Пойдешь на разведку ты, Брат. Посмотришь, не слишком ли это заведение непристойно?

М. Б. *(сухо).* Рад, что доверяете моему

суждению. *(Останавливает машину и выходит.)*

Л. Б. *(потягиваясь).* Чувствую себя так, словно пахал целый день.

П. А вы действительно потрудились. Резали по живому.

Л. Б. Да, я не очень искушен в диалектике. Сильные чувства направляют ум в странное русло. Собственно, я еще не закончил, дорогой Поэт. Знаете, а ведь ваше наивное замечание на самом-то деле меч обоюдоострый.

П. Господи, что же я такое сказал?

Л. Б. *(ехидно).* «Эти горы — чистейший Бетховен». Помните?

П. Разумеется, помню. Но я думал, нет, даже надеялся, что мое наивное высказывание себя исчерпало. Так что же еще интересного можно извлечь из этой бессмертной фразы?

Л. Б. А вот что. Музыканта всегда удивляет склонность писателя связывать музыку со всякого рода немузыкальными явлениями — горами, эльфами и прочим. Я перестал размышлять над этим с тех пор, как прослушал в университете курс эстетики. Помню, какие тогда были у нас горячие споры о природе художественных средств выражения. И вот сейчас ваши слова воскресили для меня кое-кого из старых забытых духов.

П. Вы имеете в виду изобразительность, образность, абстракцию?

Л. Б. Именно. В Гарварде у меня был замечательный сосед по комнате. Звали его Эйснер. Он обещал стать супер-Хемингуэем. Он необыкновенно любил музыку — беспорядочно и страстно, я так же любил литературу. Можете себе представить, как это сблизило нас, и мы вдвоем докопались до множества полуистин Так жаль, он умер от рака

П. Печально. Но какое отношение все это имеет к горам?

Л. Б. Терпение. Мы с Эйснером чуть не каждый день вели беседы, порой довольно запальчивые... Спорили иногда до утра, я даже прогуливал занятия. Как все подобные споры, они оканчивались ничем, но ваше сегодняшнее замечание возвратило меня в те дни, и я вдруг понял, как глубоко впитывал...

М. Б. *(возвращаясь к машине).* Бр-р-р!

Л. Б. Ну что?

М. Б. Настоящий притон! А вы опять за свое. *(Включает зажигание. Машина едет и вдруг начинает прыгать.)* Дорогу уже совсем не видно *(включает вторую скорость)* entre chien et loup[1], как говорят у нас в колледже *(включает третью скорость)*, а вы своей болтовней еще меня отвлекаете.

Неловкое молчание: так тихо, что кажется, будто слышишь, как в душе Младшего брата шевельнулось раскаяние. Наконец он не выдерживает.

М. Б. *(примирительно).* Так о чем, собственно, вы говорили?

П. Черт побери, если б я знал. Ваш дорогой брат почти достиг некой высоты — величественной, но пока еще безымянной. Он говорил о том, что впитал...

[1] В сумерках *(франц.)*.

Л. Б. *(перехватывая инициативу).* Благодарю за разрешение продолжать. Так вот. Мы с Эйснером говорили главным образом о женщинах и литературе. Но почти всегда рано или поздно обращались к музыке, и всякий раз меня поражало его отношение к ней. Я музыкант, и у меня мой собственный, естественный взгляд на музыку — она для меня абстрактное искусство. И я был изумлен, когда узнал, что есть и другая точка зрения. Именно благодаря Эйснеру мне впервые открылось отношение писателя к музыке. Я бы никогда в жизни не услышал музыки Бетховена, глядя на горы Музыка занимает совершенно особое место среди всех искусств. У нее своя путеводная звезда, и она абсолютно лишена всякого смысла...

М. Б. Даже я мог бы оспорить это столь незрелое суждение.

П. Браво, шофер

Л. Б. Да, лишена. Не считая, конечно, ее собственного музыкального смысла, для выражения которого у нее есть собственный язык. Значение в музыке и значение в поэзии — разные вещи.

П. Не забираемся ли мы в дебри понятия «значение»?

М. Б. Не приведи господь!

П. А ведь, пожалуй, именно так обстоит дело. Ну хорошо, давайте возьмем какое-нибудь предложение и посмотрим, что оно означает. Ну хотя бы такое: «Она подняла головку и кротко подставила ему свои губки».

М. Б. Ах, как изысканно!

П. Вы вне игры. Ну так что же оно означает? Действие, причем вполне конкретное. К тому же оно вызывает и вполне конкретную реакцию. В нашем физическом существе что-то откликается на эти несколько восхитительных слов. Но наша натура откликается также и на музыкальную фразу. Рассуждаем далее. И музыка и слова будят в нас одно и то же, верно? Ergo[1], значение слов и музыки идентично, поскольку значение, в сущности, и есть то, что воспринимается реципиентом. QED[2].

Л. Б. Браво, епископ Беркли! Точь-в-точь как в старые добрые времена! Я опять чувствую себя молодым. Но у меня есть что возразить университетским софистам. Во-первых, ваша логика кривобока — вы смешиваете значение с физиологической реакцией в результате чего получаем ложный силлогизм...

П. Ради бога, без лишней учености.

Л. Б. Я утверждаю, что это так. Если я одинаково реагирую на два различных раздражителя, то обе мои реакции в самом деле одинаковы. Но отсюда не следует, что оба раздражителя имеют одно и то же значение. Если насморк может быть, во-первых, от дождливой погоды и, во-вторых, от аллергии на кошек, то эти факты, конечно, не устанавливают смыслового тождества слов «дождь» и «кошка», верно?

П. Верно. Но логика здесь ни при чем — чувства не укладываются ни в какие формулы.

[1] Следовательно *(лат.)*.

[2] QED (Quod erat demonstrandum) — что и требовалось доказать *(лат.)*.

Л. Б. Позвольте, разве не вы первым воскликнули QED?

П. Хорошо, прошу меня извинить. Давайте рассуждать проще. Вы должны признать, что имеется определенная связь между смыслом, заключенным в закате солнца, и смыслом прелюдии Шопена, между смыслом Моны Лизы и Книгой Руфь...

Л. Б. Связь — да, самая абстрактная. Но сказать: «они имеют одно значение» — далеко не то же самое.

П. А я считаю именно то же. Возьмите, к примеру, закат солнца и прелюдию Шопена. Мы можем выделить в их значениях некие абстрактные понятия, например: спокойствие, широта, мягкое движение, красочность, неуловимые переливы и так далее. Все эти понятия применимы и к закату и к прелюдии, не так ли?

Л. Б. Да, но прелюдия вовсе не есть «спокойствие», «красочность» и т. д. Она создает в нас сходные ощущения. Однако значение ее сугубо музыкальное.

П. И что же это такое?

Л. Б. Если бы это значение можно было выразить словами, зачем тогда Шопен обратился к нотам? Конечно, я могу высказать словами музыкальное содержание этой прелюдии. Но, господи, какая это будет скука! И все же, если угодно, я попробую: долгий затакт в среднем регистре (напоминает звучание струны ля у виолончели) томится в напряженном скачке на октаву, смысл этого звука неожиданно проясняется вступлением аккомпанемента, состоящего из последовательности настойчиво повторяющихся аккордов, пульсирующих под выдержанной хроматически щемящей мелодией, колеблющейся между звуками си и до; тенор в аккомпанементе добавляет к этому общему чувству настроение тоскливой печали — все это благодаря повисанию и appogiatura[1].

П. Благодарствуем,— кричат они,—

Прекрасно!
Вот вам шиллинг.
Нам все ясно!

Л. Б. Вот видите? Я предупреждал, что будет скучно. А это лишь небольшая часть содержания первых трех тактов. В этом-то и заключается особый характер музыки. Она стоит совершенно особняком, ее ведет...

М. Б. Эй, смотрите! Кемпинг!

■

Сцена меняется, и теперь это веранда коттеджа № 8 в кемпинге. Неожиданно стало прохладно, и мы, три псевдоиндейца, завернувшись в одеяла, сидим с последней сигаретой. Наконец-то мы чувствуем себя, по крайней мере, на твердой почве, и дискуссия о значении «значения» с жаром возобновляется.

П. ...Или вот еще — почему тогда многие композиторы дают своим пьесам названия? Если вы правы, музыкальная пьеса не может иметь какое бы то ни было внемузыкальное содержание. Допустим, что так. Но тогда нужно вычеркнуть из истории музыки Берлиоза, Штрауса, Шёнберга, Хиндемита...

Л. Б. Малера, Копленда, Монтеверди...

П. *(торжествующе).* И Бернстайна!

Л. Б. Ох! Дайте-ка мне минутку — покопаться в моем семинаре по эстетике.

П. Я постепенно распаляюсь. Даем вам эту минутку. Хотите «Честерфилд»?

Л. Б. *(тянет время).* Я вижу, вас интересует, как это я, сторонник теории абстрактной природы музыки, в то же время пишу произведения, имеющие названия и философский подтекст, не так ли?

П. Сформулировано прекрасно. Но ведь это одни слова. Никакой вы не абстракционист, вы просто льстите себе. Вот вы наделяете музыку стерильной чистотой, отказываете ей даже в крупице смысла. А беретесь сочинять, и все эти рассуждения о чистоте музыки из головы вон. Обыкновенный интеллектуальный снобизм. Причем самого низкого пошиба.

М. Б. Олé!

П. А теперь, позвольте, я преподам вам лекцию о музыке. И возможно, сумею выразить то, что, по-видимому, вы сами хотели бы сказать. Но я это изложу безыскусной прозой, без академической зауми.

Л. Б. Хорошо, сэр.

П. Мне кажется, вы имеете в виду вот что: ноты сами по себе темны, не имеют смысла, в то время как слова прозрачно ясны, верно? Читая газету, вы не думаете о словах как о средстве художественного воздействия. Например, заголовок «Маньяк убил шесть овец» передает некий факт, не оставляя в сознании читающего какого-нибудь дополнительного значения. Так ведь?

Л. Б. Да, сэр.

П. Но если эти же слова попадают в руки художника, поэта, они приобретают художественную самоценность, более важную, чем тот мысленный образ, который передают. Слова «звезда», «должен», «стойкий» у Китса запоминаются не только благодаря своему значению, но и приобретенной поэтичности. Таким образом, они как бы затуманиваются, теряют смысловую прозрачность. И начинают все более походить на ноты, существующие главным образом ради самих себя, а не ради какого-то реального образа вне их. Вы согласны со мной?

Л. Б. Да, сэр.

П. Зачеркивая в словах смысл, можно дойти до крайности. Слова могут стать почти абстрактными. Как, например, у Гертруды Стайн. Имеет ли это какую-нибудь литературную ценность — другой вопрос. Важно то, что у слов есть своя собственная назывательная функция, поэтому они понятны, функция же нот — обозначать абстракции, поэтому они темны и неясны. Слова, как и ноты, подвижны на шкале полноты значения: они могут двигаться от своей изначальной точки в сторону полной утраты значения, становясь «квазиабстрактными» (например, Джойс); ноты же на этой шкале движутся им навстречу, как бы насыщаясь значением (например, программная музыка, музыкальная драма и тому подобное). Вы следите за моей мыслью?

[1] Задержание *(итал.)* — одно из украшений в музыке.

Л. Б. Да, сэр. Но...

П. Позвольте мне закончить хотя бы этот пассаж. Таким образом, мы получаем отрезок пути, на котором происходит встреча писателя и композитора. И ни один из них не имеет права кичиться какой-то своей необыкновенной чистотой. А если мы еще вспомним способность человека к ассоциациям, то окажется, что нет никаких причин смеяться над бедным поэтом, который радуется своей немного сентиментальной метафоре, уподобляющей горы музыке Бетховена. Я согласен с вами, что высокопарность Пятой симфонии Сибелиуса, выражаясь строго научно,— это только последовательность аккордов, оркестрованных определенным образом и производящих эффект... высокопарности. Но я вправе видеть великолепный восход солнца, когда звучат эти трубы, заливающие небосвод оранжевыми потоками звука. И я не сомневаюсь — вы бы увидели то же самое, если бы на минуту отдались чувствам, позабыв вашу ученую премудрость. Dixi[1]

Л. Б. Я смиренно соглашусь со всем, что вы только что сказали, даже с тем, что сейчас вечер, и притом холодный. Мне хотелось бы сделать только одно уточнение. Наши разногласия объясняются тем, что музыкант слышит в музыке очень многое и не нуждается ни в каких ассоциациях. Мы с вами — музыкант и поэт — идем, как вы верно заметили, навстречу друг другу, двумя параллельными колеями. Постепенно сближаемся и видим друг друга, оставаясь каждый в своей колее. Они никогда не пересекутся, и мы всегда будем по-разному думать о словах и о музыке. На каждом из нас от рождения лежит печать своего клана. Вещи эти такие тонкие, что яснее всего их можно выразить разве что поэтической строчкой в минуту счастливого озарения, которое вряд ли посетит нас в этой нестерпимой холодине. Но, во всяком случае, я благодарен вам за вашу лекцию.

П. О, вы, молодой человек, утонченно вежливы. У вас нет ничего общего с выскочкой, который два часа назад не давал мне открыть рта. Поздравляю!

Л. Б. А я вас. Не могу найти ни единой бреши в ваших аргументациях. Замечу только, добавь вы в них чуточку больше пыла, я не так бы замерз...

М. Б. *(мрачно встряхиваясь).* Спать, спать, спать. У меня уже голова раскалывается.

П. А я еще капельку полюбуюсь этими невероятными звездами. Взгляните, вы только взгляните на них! Нет, это чистейший Букстехуде![1]

[1] Я сказал *(лат.)*.

[1] Букстехуде Дитрих (1637—1707) — немецкий композитор и органист, один из крупнейших предшественников И. С. Баха.

ЛУИДЖИ МАЛЕРБА (Италия)

Перевод с итальянского ЕЛЕНЫ ДМИТРИЕВОЙ

СЕРАЯ ДЕВУШКА

Я —девушка в сером—из рекламной передачи «Карамель Мультигуст», каждый вечер в пятницу я появляюсь в левом углу на экране телевизора. А со второй девушкой, которая в правом углу, ну такая, ярко одетая, с бантиками в волосах — пугало пугалом,— я даже не знакома. Знаю только, что она снималась в порнографических фильмах, а карамель стала рекламировать, чтобы себе рекламу сделать. Артисты должны при каждом удобном случае показывать свое лицо, иначе зритель их забудет, и прощай карьера. Нет, конечно, ноги — тоже важно, но лицо важней. Если показать отдельно ноги знаменитой актрисы, их ни один человек не узнает. Ноги могут быть красивые, могут быть некрасивые, но только все они безликие.

Когда меня пригласили рекламировать карамель «Мультигуст», я обрадовалась и сразу согласилась. Не только из-за денег, а еще и потому, что буду появляться на экране каждую неделю шесть месяцев подряд, прямо перед выпуском новостей. Телезрителей-то — миллионы! Я подписала контракт на месяц и с аванса заплатила первый взнос за цветной телевизор.

В тот вечер, когда первый раз передавали мою рекламу, я позвала двух подруг. Все-таки я волновалась и пока ждала передачу, съела целый пакетик «Мультигуста». Мне нравится эта карамель, хотя и говорят, будто в ней много химических красителей. Но сейчас не об этом, а о самом главном: когда я увидела себя по телевизору, я обалдела. Мало того что я одета была в серое, так мне еще лицо сделали серым и ноги тоже. Как, каким способом — понятия не имею, а только, если бы я заранее знала, я бы точно отказалась или, по крайней мере, заставила их заплатить в два раза больше. Раз так — нечего было и деньги тратить на цветной телевизор, прекрасно бы старым обошлась, черно-белым. Наверно, они во время съемок применяли особое освещение или еще что-то — не знаю, во всяком случае, добились чего хотели: смотреть тошно. Ведь я по рекламе не ем карамель «Мультигуст», это моя цветастая напарница жует ее без передышки.

Первым делом я подумала подать в суд на фирму, которая выпускает эту карамель, за причиненный ущерб, но подруги, которые сидели у меня в тот вечер, начали меня отговаривать: мол, если актриса прослывет сплетницей, пиши пропало, ей больше никогда работу не дадут, потому что все эти фирмы, даже конкуренты — одна лавочка; тут же ославят как милень-кую. Я уже говорила, для актрисы глав-

© Luigi Malerba, 1980

ное — свое лицо показать, а если, не дай бог, какой-нибудь продюсер включит телевизор и увидит меня такую серую с головы до ног? Да он никогда меня и вспоминать не захочет! Не могу успокоиться, и все тут — такой уж у меня характер. Звоню на следующий день одному адвокату. Мы знакомы, потому что у меня с ним был роман. Так он тоже: не советую, мол, поднимать шум. И потом, говорит, разве можно определить размер ущерба, если у тебя нет ставки и как киноактриса ты не котируешься? Он так сказал — «не котируешься», будто я биржевая акция. Одним словом, тоже ничего путного не посоветовал. Под конец, чтобы меня утешить, он говорит: не исключено, что твоя серость заинтересует когонибудь из продюсеров. Хорошо бы! Да только я уже четыре месяца маячу на экране, а пока ни одного предложения, даже самого паршивого, ни одного звонка — ничего, буквально ничего.

А на девушке, которая со мной снималась, платье было яркое такое, в крупных цветах, чулки — в фиолетовых ромбах, зеленые атласные туфли, на шее — оранжевая косынка из блестящего шелка, ну и плюс косметика: красные губы, ногти, румянец аж до ушей, ресницы черные и веки намазаны. Повезло ей, потому что хоть у нее и дурацкий вид из-за этой пестроты, зато смотреть весело. Уж лучше иметь дурацкий вид, чем тоску нагонять. Для девушки, которая вроде меня хочет стать актрисой — самое большое несчастье на свете, если она тоску на людей нагоняет. Мою напарницу авторы рекламы нарочно так ярко разукрасили, чтобы каждый цвет соответствовал цвету какой-нибудь конфеты «Мультигуст» — лимонной, клубничной, вишневой, ананасной, кофейной, апельсиновой, мандариновой, мятной, ежевичной и т. д. и т. п. Одним словом, не девушка, а целлофановый мешок с карамелью. Вот возьму и расскажу феминисткам, как тут над женщинами издеваются! А серого цвета вроде бы те, кто ихней карамели не ест и живет серой жизнью. Бедняжки, они лишают себя такой радости — сосать разноцветную карамель «Мультигуст»! Да я могу хоть сейчас выступить на пресс-конференции и заявить, что их разноцветная карамель — сплошная химия. Вот тогда им несладко придется!

Вещи, в которые я была одета для рекламы, мне после съемок подарили — а куда еще их было девать? Вещи из очень хорошей материи и сидят здорово, их в самом лучшем ателье заказывали, где шьют для кино и для телевидения, даже знаменитых артистов часто обслуживают. Не могла же я отказаться от таких дорогих вещей, хоть меня и подмывало плюнуть в рожу этим скупердяям. Вот и хожу теперь в сером который месяц. Мрачная стала, как будто серость с одежды на меня перешла, почти не смеюсь, и друзья спрашивают, что со мной случилось, почему я такая скучная. Ничего, говорю, скучная — и все.

Часто сижу одна дома по вечерам — никого видеть не хочется. Плюхнусь в кресло или лягу ничком на кровать — и реву, думаю про то, какая я несчастная. Мне могут сказать: взяла бы да вышвырнула вон эти серые тряпки! Но, во-первых, я вещами не бросаюсь, во-вторых, до меня не сразу дошло, что серый цвет так влияет на настроение,— а теперь все равно уже поздно. Несколько дней назад мне вдруг захотелось выкинуться из окна. Некоторые мысли приходят в голову незаметно для тебя самой, и ты смехом можешь очутиться на тротуаре, разбитая в лепешку. А все — из-за слез.

Когда у меня голова не пухнет от горьких мыслей, я вспоминаю, что я хорошенькая, и верю, что рано или поздно опять стану веселая, как раньше; а потом вдруг снова начинаю реветь и реву часами, остановиться не могу. И чем больше плачу, тем тоскливей на душе. Прошлой ночью проснулась оттого, что ревела во сне,— подушка насквозь промокла. Сколько себя знаю— никогда такого не бывало. Ничего не поделаешь: как вырядилась в серое, так и жизнь моя стала серой а самое страшное — я потихоньку привыкаю к тоске, мне нравится грустить. И теперь я такая же мрачная, как все мои подруги. Мне ужасно хочется сходить к психоаналитику, но сперва надо новый контракт заключить, а то, говорят, психоаналитики здорово дерут.

Если меня никто не приглашает в ресторан, я готовлю что-нибудь дома и ем в одиночестве. Вчера я вдруг разревелась, когда ела спагетти, и слезы дождем закапали в тарелку. Вообще-то если уж я расплачусь, то не на шутку, но тут взяла себя в руки. Надо что-то сделать, сказала я себе, нельзя спускать этим сволочам, которые довели меня до такого состояния. Я села на телефон и все выложила бухгалтеру фирмы, которая выпускает карамель. Мы знакомы, хоть я с ним ни разу не спала. Я ему сказала, что за тот месяц, когда я у них работала, я истратила пятьсот тысяч лир на квартплату, телефон и такси. Плюс первый взнос за цветной телевизор — еще сто тысяч. Истратила шестьсот, а получила восемьсот, долой вычеты. Если они думают, что мне интересно работать меньше чем за двести, они сильно ошибаются. Бухгалтер сперва молчал, не знал, видно, чем крыть, а потом начал мне голову морочить, будто бы квартплата, телефон и такси да взнос за цветной телевизор не имеют никакого отношения к гонорару за мои услуги. «За ваши услуги»,— так и сказал, идиот. Некоторые считают, раз актриса, значит... Я ему сказала, чтобы он не смел говорить про мои услуги. Он извинился, а потом опять за свое. Восемьсот тысяч, мол, приличный доход, вам, мол, хорошо заплатили. Бухгалтер, а делает вид, будто не знает, что доход — это не то, что ты получаешь, а то, что у тебя остается после всех расходов. Спрашивается, говорю я ему, кто за квартиру платил — вы или я? А за телефон, за цветной телевизор? За такси? А еще ресторан? Или, по-вашему, когда человек работает, ему есть не надо? Он же мне толкует, так, мол, и так, не может фирма все ваши расходы на себя взять, тем более телефонный счет у вас за три месяца. Никто не спорит, но платила-то я по нему, когда на вас работала. Ну, он язык и прикусил. А я свое: пусть я не бухгалтер, но мне известно, из чего при-

быль складывается. Он засмеялся в трубку и говорит: при чем здесь прибыль, вы же не организация, а частное лицо. До чего мужчины бывают глупые! Когда речь, говорю, идет о кошельке, никакой разницы нет между организацией и частным лицом. Почти целый час у меня отнял, а под конец намекнул, что не прочь поужинать со мной где-нибудь в окрестностях Рима, в уютном ресторанчике, где можно будет продолжить разговор за порцией спагетти. Я не сказала ни «да», ни «нет», договорились, что он позвонит. Про серый наряд и про ужасное настроение я ему ни слова ни сказала; есть вещи, про которые не люблю говорить по телефону.

Почему одинокая девушка, вроде меня, принимает приглашения? Чтобы одной не сидеть. Иной раз, если человек симпатичный, то и ночь с ним проведешь, а он тебе на следующий день непременно норовит подарок сделать. Пережиток, конечно, в наше время все девушки на равных с мужчиной, а не только какие-нибудь ярые феминистки. Лично я никогда не беру подарков, разве что золотые монетки — ну, стерлинги там или флорины. Золотые монеты — моя слабость, чего скрывать? Но если мужчина мне подарит несколько монеток, я на следующий день посылаю ему кожаный ремень или зажигалку — пусть видит, что я девушка самостоятельная.

Я пришла на свидание вся в сером, как на экране, когда карамель рекламировала. Бухгалтер целый вечер острил насчет моего наряда, но в конце концов тоже убедился, что серое нагоняет тоску не только на тех, кто в нем ходит, но и на окружающих. Еще чуть-чуть, говорит, и я заплачу. Я и сама изо всех сил сдерживалась, а нет-нет да и разревусь. И все-таки добилась своего: в другой раз, когда они станут рекламировать карамель «Мультигуст», цветной девушкой буду я. «Поклянись», говорю, и он сказал: «клянусь» (мы уже перешли на «ты»). И еще он пообещал устроить, что мне подарят те вещи, в которых я буду сниматься, а я ему сказала, нет уж, пускай они это в контракт впишут, потому что мне подарков не надо После ужина мы зашли к нему выпить виски, и я, чтоб доставить ему удовольствие сняла свое серое платье.

◆

К нашим иллюстрациям

ДУХ ДОБРА И НАДЕЖДЫ

Цветы, дома, пейзажи, натюрморты, обнаженная натура, одалиски, портреты и автопортреты — и снова цветы и пейзажи... Зажатая в железных тисках буржуазно-мещанского вкуса, довоенная румынская живопись вынуждена была вновь и вновь — в угоду богатым заказчикам — обращаться к одним и тем же «безболезненным» темам. Она располагала давними традициями народного творчества, богатым реалистическим наследием, великолепными мастерами кисти, но за праздничными всплесками цветовой гаммы с трудом проглядывала социальная осмысленность жизни.

Резким диссонансом, неким опасным «довеском» воспринималось творчество О. Бэнчилэ, Ш. Димитреску, Ф. Ширато, Н. Тоницы и других художников. На их полотнах буржуазно-помещичья Румыния выступала во всей ее трагической «неприглядности»: крестьянские восстания, участь военнопленных, нищета горняков, похороны пролетариев, дележ кукурузы бедняками никого не интересовали. И потому Бэнчилэ отходит от социальной темы, Изер покидает страну, Стериади ограничивается пейзажами, Рессу — преподавательской работой...

Живопись Румынии современной, социалистической радует подлинным многообразием форм и красок. Наряду с признанными мастерами старой школы, обретшими «второе дыхание», уверенно заявляет о себе плеяда новых художников — К. Баба, С. Кинтилэ, Б. Ковалиу, С. Бэлаша и другие. Теперь поэзия изображения насыщена глубинным человековедческим смыслом — это ощущается и в жанровых картинах, и в портретах, и в тематических композициях с их эпическим диапазоном.

В лучших работах современных художников сказываются отличительные особенности румынской школы — пластическая чуткость, традиционный лиризм, колористическое богатство, умение избегать опасности техницизма и находить равновесие тональностей. Но обретенное далось нелегко. Были — и еще встречаются поныне — и увлечение формотворчеством, и попытки разработать «вечные темы» с помощью изживших себя позднесимволистских мотивов, и послушное заимствование экспериментов модернистских школ. Однако шел и плодотворный новаторский поиск, и художники, для которых стремление раскрыть психологическое, внутреннее время человека сочеталось с пристальным вниманием к историческому времени, для которых изображение «внутренней эпичности» человека предполагало ее обязательную связь с эпическим дыханием истории, добились успеха. Реалистическая палитра вобрала все краски новых ассоциативно-фольклорных, возвышенно-поэтических, иносказательных форм воплощения.

Значительную роль при этом сыграло и обращение художников самых различных поколений к теме освобождения Румынии от фашистского ига, борьбы против мрачных сил реакции, за общественное обновление в стране, начавшей

невиданное состязание со временем. Таких полотен немало. Среди них выделяются получившие широкий резонанс в стране и за ее пределами работы К. Пилиуцэ «Восстание коммунистов-политзаключенных», Г. Лабина «Августовское восстание 1944 года», П. Атанасиу «Наши солдаты в антигитлеровской войне», Б. Ковалиу «Война — источник страданий», «Вооруженное восстание 23 августа», «Начинается реконструкция страны» и т. д.

Этим переломным историческим событиям посвящены и работы, представленные на цветных иллюстрациях нашего номера.

Сабин Бэлаша (р. 1932) известен как мастер аллегорических картин, окутанных таинственной, сказочной атмосферой и вместе с тем проникнутых ощущением победного шествия жизни. Немногим, пожалуй, так выразительно удалось в художественной метафоре передать идею слияния людей, объединенных единой целью. Это хорошо видно в его знаменитой картине «К свету» и в предлагаемой вниманию читателей «Иностранной литературы» картине «Протест против войны».

Ион Пача (р. 1924), слывущий среди румынских специалистов «мастером приглушенного горения», многим обязан искусству народного ковроделия. Цветовая гамма, которой он пользуется, сдержанная, порой суровая, но насыщенная бархатистым, внутренним светом, позволила ему воссоздать неяркие, но выразительные картины, отразившие и драматизм эпохи, и спокойную уверенность в будущем. Об этом свидетельствует картина «Праздник».

Михай Русу (р. 1925) — сторонник гётевского понимания цвета как диалектики света и мрака. Начав с фантастических пейзажей, насыщенных оптическими «загадками», художник все настойчивее обращается к арсеналу классических средств. Немало этому содействовал и его интерес к теме освобождения.

Цветы, дома, пейзажи, натюрморты, портреты, автопортреты... Их и сегодня очень много, гораздо больше, чем в искусстве довоенной Румынии. Но теперь их озаряет свет обновления, тот дух добра и надежды, которым веет от картин, посвященных теме освобождения.

М. ШУЛЬГИН

◆

Среди книг

Издано в СССР

МЕЧ СИРЕНЫ

Галина Аудерская. Варшавская Сирена. Перевод с польского Е. Невякина и Л. Васильева. Предисловие А. Ермонского. Москва, «Радуга», 1984.

Героиня книги[1] без малого полтораста страниц живет в родной Бретани, в недвижно-устойчивом быте старинного фермерского семейства, хранящего родовые традиции с той, теперь невозможной страстностью, которую мы застаем только в старых хрониках и давних романах. Дедушка нашей героини Иann ле Бон написан Аудерской со счастливой убедительностью, и мы хоть не без улыбки, но с тайным внутренним уважением к глубине чувства и незыблемости миропонимания выслушиваем его уроки несчастной девочке, сбивающей ноги и отмораживающей их в сабо (только в этой обуви может вырасти подлинная бретонка), делающей непосильные концы в школу и обратно мимо соляных разработок, хотя школа есть поближе. Но это «дьявольская школа» французов, а настоящая бретонка должна учиться в монастырских стенах, где не запрещают говорить по-бретонски.

Нам жаль девочку, но одновременно в пору забвения семейных преданий, когда каждый словно на пустыре растет и начинает летосчисление с себя, нам отрадно видеть это надежное постоянство взглядов. И чем комичнее выглядит дед в своих принципах, тем милее нам его стойкая неустойчивость новизне. Неприязненный к Наполеону, лишившему Бретань самостоятельности, дед и купание императора в океане на армориканском побережье считает странностью чужого и вряд ли психически здорового человека, потому что честный бретонский фермер никогда не полезет в воду, если его не укусила бешеная собака. «Известно, что земля существует для людей, а океан — для рыбы, моллюсков и водорослей. От моря только одна польза, что есть пляжи, с которых можно вывозить песок в курятники, собирать водоросли, выброшенные волнами на берег, и использовать их после сушки и сжигания для удобрения полей. Это все. И конец. Точка».

Так же решительно и определенно дед расчерчивает и мир осиротевшей внучки, раз уж ее мать умерла, а отец так безволен, что готов поддаться городским соблазнам и может даже изменить родной речи ради языка французов. И кто знает, чем бы все кончилось для маленькой Анны-Марии ле Бон, если бы однажды на побережье не явилась из далекой Варшавы тетка девочки, служившая в этой непредставимой для бретонки Польше учительницей французского языка и гувернанткой. Она привезет к морю своих воспитанниц — сверстниц Анны-Марии, и это решит все.

Девочка отведает иной мысли, иных представлений о праве и долге, съездит в Варшаву, многое полюбит в ней и уже завяжет узелки общей судьбы с семейством Корвинов, где служит ее родственница. И хоть Анна-Мария вернется в Бретань и еще будет томиться неопределенностью, учиться в Париже и вновь возвращаться домой, мы уже знаем, что для Бретани она потеряна. Аудерская дала нам вернейший указатель судьбы, сразу западающий в сознание: у себя в средневековом Геранде девочка будет подолгу простаивать перед городским гербом, на котором сильная рука сжимает меч, и будет чувствовать в этом знаке какое-то странное указание. И когда она приедет с теткой в Варшаву и на башне возле моста Понятовского увидит в гербовом картуше девушку-рыбу, вскинувшую меч для удара, она вздрогнет от этой «рифмы» и примет ее как неизбежность.

После парижского лицея она снова окажется в польской столице и здесь в соответствии с гаданием бретонской прабабки, утверждавшей, что в сложные дни судьбу Анне-Марии будет диктовать случай, над ней с мгновенностью поднятого навстречу

[1] Об этой книге см. также в статье А. Ермонского «Воспитание историей», «ИЛ», 1984, № 6.

взгляда разражается (иначе не скажешь) любовь к сыну Корвинов Адаму.

Они все превозмогут и будут вместе, и годы минут, как дни, и читатель, взглянув на календарь книги и отметив, что идет конец 30-х годов, успеет даже посетовать, что вот уже двести страниц, а время словно обходит книгу, хотя оно менее всего обходило Польшу, и тут же, словно услышав читателя, Аудерская назовет имя Гитлера. Анна-Мария, которая еще разрывается между Бретанью и Польшей, напишет деду о разговорах в доме, чтобы узнать его всегда незыблемое мнение по поводу таких забот, но, оказывается, у старика «при отеле пала корова, и у него не было времени заниматься каким-то там Гитлером» и «нет времени писать письма о каком-то там неизвестном и очень далеком горе-художнике, когда здесь, рядом, в его собственном хлеву, необходимо спасать только что родившегося теленка».

Это очень верно характеризует взгляд Европы на Гитлера той поры, как и вообще на войну, как будто не вчера только на памяти отцов кончилась первая мировая, но опять мирное сознание подсовывает наивные оговорки: «Если даже война начнется, то не перед уборкой урожая».

С этой поры в книге все потемнеет. Быт, такой полный и доверчиво подробный, както почти разом вытеснится общими заботами, замелькают фамилии политических деятелей, разговоры завертятся вокруг политических документов и последних известий. Явится во всем какая-то тревожная неуклонность, словно все разом покатилось и уже не может быть остановлено. Вчера еще суверенные государства Австрия и Чехословакия оказываются как-то остро связаны с каждым польским домом, и хоть при разделе Чехословакии к Польше отошел уголок земли в Заользье, это никому не приносит радости, и чудная старуха, прабабка Корвинов,— молодая из молодых—срывает польские знамена на соседних виллах, потому что этот кусок земли в Заользье куплен дорого.

Все это почувствуют очень скоро, и Аудерская выберет из последних предвоенных дней эпизод, когда Варшава откроет памятник своей вечной защитнице Сирене — девушке-рыбе с поднятым мечом, но не решается при этом ни сыграть своего гимна, ни провести маршем войска, чтобы церемония не была «воспринята Гитлером как демонстрация». А через несколько дней всеобщая мобилизация и война.

Анне теперь часто придется вспоминать горькое гадание бретонской прабабки, сулившей правнучке тернии и одиночество среди руин, где она все-таки выстоит и процветет.

Эвакуация правительства, беженцы, беспамятные метания, первые вести о поражении своих войск, первые разочарования в общественных договорах (Франция и Англия, как союзники Польши, объявляют Германии войну, но палец о палец не ударяют для помощи ей в этот первый час). Именно в такие дни люди задают детские вопросы: «Неужели возможно, что где-то люди живут в покое, ни о чем не ведая, равнодушные к судьбе поляков?» А потом будет уже не до вопросов. Анна найдет среди привезенных в Варшаву раненых своего мужа и станет свидетельницей эвакуации медперсонала и перевязочных средств как раз тогда, когда город будет переполнен ранеными и бороться за их жизнь будут только добровольцы — ларинголог станет хирургом, а сестрами — случайные, как Анна, девушки, оскальзывающиеся на крови и гное посреди проклятий умирающих, жары, постоянных бомбардировок, пожаров и неопределенности.

Но именно из этой боли и отчаяния родится в городе желание сопротивления. Вернутся в город эвакуированные мужчины, пробьются в конной атаке против пулеметов уланы, а за ними и остатки войск армии «Познань», и Варшава, ободряемая охрипшим от призывов держаться президентом города Стажинским, снова будет целое, готовое к сопротивлению. Они продержатся весь сентябрь, и расскажет Аудерская об этой борьбе с горькой гордостью и любовью, чтобы мы лучше поняли, почему ее героиня — дочь чужого народа — осталась делить с городом его беду.

Быт последующих месяцев и лет — это облавы, лагеря, обыски, аресты и непрерывная борьба, ежедневное сопротивление и жертвы, жертвы: истребляется гетто (ежедневно вывозят по 14 тысяч человек!); «знаменитый писатель и врачеватель душ, доктор Януш Корчак, шел со своими сиротами под развевающимся зеленым знаменем» прямо в газовую печь, «самого маленького он держал за руку»; шла «война памятников» (надписей на постаментах), настойчиво учились в подпольных школах и университетах дети и юноши, не страшась того, что ценою знания стала смерть, велась подготовка восстания, которое началось, когда советские войска встали на правом берегу Вислы и немцы приготовились держать Варшаву.

Эти страницы невольно читаешь как воспоминания — Аудерская пишет об этих днях с репортажной горячностью, торопясь за своей связной Анной поспеть везде, и мы вместе с нею видим, как погибают дети, боящиеся гнева матерей больше, чем пуль, узнаем симптомы «подвальной болезни», когда сутками не видят неба, и задыхаемся в каналах, и все меньше верим в победу, пока во второй раз город не переживет беду капитуляции, и всех, кто еще жив, «рассортируют» по работоспособности и разгонят по лагерям и работам, а на месте их ненаглядной Варшавы останется пепелище, посреди которого высится странно и знаменательно уцелевшая Сирена, вознесшая слабой, но не упавшей рукою меч.

Только тут мы узнаем, что муж Анны погиб, погибли многие ее родственники здесь, в Польше, и умерли в Бретани, а сама она с прабабкой выбралась, выжила и вот воротилась в город-призрак, и в который раз на протяжении книги Аудерская заставляет ее удивиться жизненной силе народа, устами которого говорит у костра среди обугленных развалин, одичавших животных и полчищ крыс девяностолетняя польская старуха — бабушка ее мужа: «Подбросьте еще пару веток. Ничего нет лучше, чем в такую ночь греться у огня у себя дома».

С этого порога книга заспешит к финалу, пропуская годы и десятилетия. Анна снова выйдет замуж, на этот раз из сострадания к любящему ее человеку, вырастит дочь, и та не поймет ее воспоминаний, потому что будет принадлежать поколению, «которое слушало о тех годах скорее неохотно, с чувством внутреннего протеста — так старинную саблю за ненадобностью закидывают на пыльный чердак». И Анна перестает убеждать ее, словно ей изменит недавно такое послушное слово. У Ф. Мориака, чья провинциальная твердость и религиозное воспитание были так родственны принципам и воспитанию героини Аудерской есть такое замечание: «...в судьбах людей, особенно много перестрадавших, слова мало что значат. Драма живого существа почти всегда... развязывается в молчании».

Анна умолкла в книге, остановила воспоминание о жизни, потому что страдание оказалось непередаваемо. Его нельзя объяснить детям, которые растут навстречу своим драмам.

Теперь ей осталось только решить вопрос, где ее сердце и куда позовет ее старость. Вызванная в Бретань на похороны отца, она оглядывается на свою жизнь, на две свои родины, искушаемая другом детства остаться на берегу океана среди родных могил, и внезапно остро осознает, что от «Анны-Марии ле Бон в ней почти ничего не осталось... Она разделила с городом его страдания» и «не согласилась бы вычеркнуть из своей жизни ни страшные годы войны, ни последующий период неистового энтузиазма, когда в тяжких трудах все создавалось с самого начала».

Она стала полькой, варшавянкой и это — уже навсегда. И вместе с этим ее сознанием на последнюю страницу книги пришел как будто молодой ветер Атлантики, ее детского океана, чтобы соединиться с ветром Вислы, и омыть ее сердце, и дать ей почувствовать, что она, все годы мучавшаяся своей чуждостью всюду, куда ее заносила судьба, наконец дома.

Теперь мне отрадно сознаться, что я был счастливо проведен книгой. Не заглянув в предисловие и поверив, что передо мной действительно исповедь бретонки ставшей полькой, я уже готовился отметить, как сливаются две эти честолюбивые крови и какой дают терпкий характер, как странно сказывается двуязычие автора, особенно в первой книге, на стилистическом строе, слишком правильном для поляка — так говорят на чужом языке отлично владеющие им люди, воспитанные в другой культуре. А писательница, оказалось, хоть и родилась в Одессе, но вполне коренная варшавянка, и это значит, что ее художественно-психологический и филологический опыт достаточно богат, чтобы смоделировать чужое национальное сознание в экстремальных условиях неродной страны.

И теперь я понимаю, почему Аудерская была так подробна в бретонском периоде биографии героини, так старомодно обстоятельна — самой надо было вжиться, да и нас уверить, потому что от этого зависела убедительность дальнейшего биографически трудного материала, который нельзя было сказать «от себя» (а это был ее материал — она сама пережила с Варшавой все), но который томил и искал выхода. Ей надо было столкнуть устойчивый, покойно-недвижный, чуть остраненный мир детства своей героини со страстно-личным, «заведенным», нервно-современным миром польской судьбы и в этом сопоставлении родового и вечного с беспокойно-сегодняшним выбрать движение, выбрать старый и неизменно новый путь, где радость и страдание — одно, и вместе они есть полнота жизни и полнота судьбы одного человека в общем деле народа.

Не будь материал так драматичен, Аудерской, может, и не удалось бы успешно решить свою задачу, потому что мы уже угадывали существо ее приема, видели, как педалирует она на чуждости своей героини обстоятельствам, в которые приводила ее судьба, хотя никто вокруг повода ей к такому чувству не давал. Это постоянное напоминание об отдельности героини уже докучало нам, но когда обстоятельства сгустились, мы уже прощали Анне-Марии ее кокетство одиночеством за труд и беду, которые она несла с истинным мужеством и общенародной твердостью.

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ

Тарьей Весос. Великая игра. Птицы. Ледяной замок. Рассказы. Перевод с норвежского. Составление Л. Горлиной. Предисловие Э. Панкратовой. Москва, «Радуга», 1983.

Власть земли — понятие многозначное, и это легко почувствовать уже по тому, на каком слове делается акцент: то ли неодолимая, необоримая, принижающая человека сила, то ли живительная мощь природы, духовное притяжение к непременно красивым — даже если они скупы и неуютны — родным местам. Но и в жизни и в искусстве все еще более многозначно, многопроблемно.

И об этом снова напомнил том прозы Тарьея Весоса, одного из крупнейших писателей современной Норвегии.

Как обычно бывает в прозе о власти земли, все у этого художника мыслится в самых общих категориях бытия. И прежде всего: жизнь и смерть или, точнее, жизнь и продолжение жизни, ибо именно в природе жизнь и смерть осознаются как продолжение жизни. В прозе Весоса эти общие вопросы вырастают из самого подробного, неспешного, проницательного изображения участи и переживаний человека на земле.

Рассказ «Нильс Фет» поведал о поездке шестнадцатилетнего Нильса за гробом с телом отца, погибшего на сплаве, куда он отправился подзаработать зимой немного денег.

Получив известие о смерти отца, Нильс, словно при резкой вспышке света, увидел перед собой Фет — крохотную усадьбу с бесплодной землей. Все заботы и тяготы навалятся теперь на Нильса, старшего из осиротевших детей,— и в этом власть земли. А в поездке ему явилось странное вроде бы видение: раскаленное солнце палит красновато-коричневую землю их усадьбы, и под его лучами вскапывает эту землю его отец: «Он не умер, он был бессмертен».

Когда же Нильс на обратном пути подъезжает к усадьбе, он уже видит: «Впереди горела красная земля Фета. Незасеянная земля. Скудная и убогая — и потому тем более дорогая сердцу» — и это уже власть земли. И тогда-то, словно очищенный в этом огне, Нильс почувствовал себя взрослым и «понял, что его тоже ожидает бессмертие: ведь его удел быть смиренным тружеником».

То, что в рассказе как бы спрессовано, «свернуто», разворачивается уже как эпический вариант в романе «Великая игра»: игра судьбы и рока, желаний и необходимости, закономерного и случайного. Но, пожалуй, прежде всего игра жизни и смерти.

С малых лет встречается с этим противоречием Пер: рождается у коровы чудесный бычок, но его через две недели забивают на мясо. Состарился племенной бык — и отец должен пристрелить его. И вдруг, как в рассказе «Нильс Фет» — слова о бессмертии, возникает где-то в развороте романа странная, казалось бы, фраза: мясники ездят в предзимье по усадьбам забивать скот, а отец «сам режет скот, потому что он любит животных,— мир был полон загадок». Жизнь и смерть, тайна жизни и тайна смерти — тревожные загадки для мальчика и в семье и в природе.

И бесконечный труд отца: пахать, сеять, убирать, а в редкие просветы расчищать поле от валунов, словно выдавливаемых каждый год из земли. Выворачивая один из них, отец надорвался и заболел.

И «словно заржавелый оттого, что им так мало пользовались», слышался отцовский голос, который был для малолетнего Пера «голосом самой земли». Как заклинание, как завещание, как «огненные письмена» звучали страшные для ребенка фразы: «Ты будешь жить в Буфасте всю жизнь» и «Ты тоже полюбишь землю. Когда вырастешь».

Пера страшит эта власть земли, он мечтает вырваться из усадьбы. Ради перспективы уехать в город, чтобы учиться дальше, он становится лучшим учеником в классе.

Но это не помогло, «Буфаст держал его мертвой хваткой», властью земли: нужно помогать больному отцу, нужно втягиваться в работу. А в день конфирмации, когда его впервые назвали торжественно полным именем Пер Эйлевсон Буфаст и его имя стало уже неотделимо от усадьбы, Пер, подобно Нильсу, «увидел и цвет дома, и деревья на дворе, и блеск Твинны. Луга, поля, животных. Пахнуло солнцем и множеством знакомых, привычных вещей. И все это было незыблемым, весомым, живым — это была усадьба».

И постепенно происходит преображение души Пера, вплоть до принятия им закона смерти во имя продолжения жизни: уже он сам режет в предзимье овец, сам убивает выстрелом промеж глаз отработавшего свой пахотный век Рыжего. А после смерти отца понимает, что продолжать жизнь — значит перенять хутор. Учиться в город уедет его младший брат. Став же хозяином усадьбы, он покончил с детства длящейся любовью к Осне и связывает свою судьбу с пришедшей на поденные работы Сигне, почувствовав, что она была «из тех, кто мог направлять дни для всей усадьбы».

И снова роман перекликается с рассказом — на этот раз рассказом «Совершеннолетие», где один из сыновей владельца усадьбы просит стать женой работающую у них в дни жатвы поденщицу. И опять-таки в рассказе спрессовано то, что предстает в эпическом развороте романа. Посмотрев на молодую крепкую работницу, «вдруг я увидел, какая красивая у нас усадьба. Увидел именно в тот день. Все было красивей, чем раньше». А когда он пригласил Хильд прямо на поле, во время жатвы встретиться вечером, то «меня как бы озарило, я вспомнил прекрасное библейское сказание о Руфи. Вооз взял Руфь в жены после жатвы». Взял в жены, увидев, как красива она в труде.

Это нерасторжимое единство любви и труда во имя продолжения жизни составляет основу философского и художественного содержания прозы Весоса. Ведь и объяснение Пера и Сигне в «Великой игре» происходит во время сенокоса. И вот финальные строки романа: «Перу казалось, что он сливается с землей, прижатый к ней тяжестью женщины. Теперь он целиком и полностью участвовал в великой игре».

Вот она, великая игра — игра жизни и смерти! Жизни, продолжающейся в любви, в труде, в появлении новых живых существ вместо отживших свой век. В конечном счете бессмертие человека — в бессмертии дела, которое он принимает от предшествующих поколений и передает дальше. Слово «земля» не случайно заканчивает роман о том, как власть земли стала властью земли.

И здесь прорисовывается нечто весьма знаменательное. Для нас, для советской литературы, бессмертие человека — в бессмертии общего дела, для Весоса — в бессмертии дела, начатого предками на скудном клочке земли. Разница, конечно же, очевидная. Но как отвлечься и от того, что сближает: человеку надлежит делать свое дело. Не скопидомство, не жадность в душе этих хуторских детей, а сила земли, сила жизни, пробуждение любви и долга — двух непременных истоков, двух «рычагов» продолжения жизни. И это не может не находить отзвук у читателя, ибо перед ним не трагическое, а светлое чувство: мы бессмертны, потому что мы труженики.

Нельзя упустить и еще одно привлекательное свойство прозы Весоса: преображение души его героев происходит всегда в

неспешном развитии: постепенно, исподволь в звучание главной мелодии вплетаются иные мотивы, меняя, преобразуя эту мелодию. И совершеннолетие наступает, когда герой входит в мир любви, труда, долга; участь человека раскрывается не в событийных, а в бытийных категориях. И для этих категорий Весос намеренно избирает простодушных людей. Преимущественно это дети: вот и героинями, на мой взгляд, несколько сентиментального романа «Ледяной замок» стали одиннадцатилетние девочки, одна из которых замерзает в гроте под застывшим водопадом.

А в романе «Птицы» таким простодушным стал слабоумный Маттис, живущий на иждивении у своей сестры Хеге. Маттис — никудышный работник: он и физически слаб, и не способен долго сосредоточиваться на одном занятии, оттого его неохотно нанимают окрестные хозяева.

И именно Маттис задает этот великий простодушный, а в сущности, кардинальный для всех философских систем вопрос: «Почему все так, как есть?» Своим вопросом Маттис, по словам автора, заглянул в бездну, полную загадок (вспомним, что и для маленького Пера «мир был полон загадок»).

И действительно, для Маттиса оказываются неразрешимыми сложности бытия. Счастье должно быть тому, над чьим домом прошла «великая тяга»: великий путь жизни и любви, когда весной на рассвете все над теми же местами пролетает к возлюбленной вальдшнеп. И он рад сообщить людям о провозвестнике счастья. Но предприимчивый охотник, узнав направление полета, убил птицу, убил надежду на счастье.

А когда Маттис случайно на безлюдном озере перевез лесоруба и даже пригласил его в дом, то лесоруб полюбил Хеге, и они поженились, а Маттис лишился до того безраздельной любви сестры. И опять же вроде сам повинен в своем несчастье, сам привез лесоруба.

Так скапливаются сложные жизненные переплетения: поездка на лодке с двумя очаровательными девушками-горожанками, которая лишь разбередила потребность в любви, и безуспешные попытки зятя приучить его к труду лесоруба, и невозможность до конца объясниться с Хеге, с которой он после ее замужества потерял общий язык, ибо язык — всего лишь явный знак незримых душевных нитей. И нет у него ни одного из трех, как он считал, сокровищ человека — ни ума, ни силы, ни любви.

Запутавшись в неразрешимых для него загадках жизни, он решил последний раз испытать судьбу: заплыл в лодке на середину озера и утопил ее. Доберется ли Маттис, не умеющий плавать, до берега, лишь ухватившись за весла? Он, конечно, погибает, и на пустынном озере его предсмертный крик «прозвучал словно крик неведомой птицы. Большой или маленькой, это по крику было непонятно». В этих финальных словах вполне становится очевидна проходившая через весь роман символика с птицами, начиная с того подстреленного вальдшнепа. Но не менее важна и последняя фраза: в ней — истинно гуманистическое сочувствие любому живому существу, любому человеку — большому или маленькому. Любая жизнь свята, любой крик обжигает душу.

Разумеется, обнаженная мной схема воззрений и художественной ткани произведений Весоса очень скудно характеризует ту полновесную, зримую прозу, чтение которой затягивает своей неторопливостью, глубинным и подлинным движением души героев. Можно аттестовать его прозу как символико-психологическую, но нет возможности в коротком отзыве воочию представить всю ее неповторимую оригинальность.

И все же, надеюсь, я сумел передать главное: перед нами громада жизни и смерти, громада продолжения рода и дела, громада труда, без которого человеку не выжить, громада вопроса: «Почему все так, как есть?» И авторский ответ, полнозвучно разворачивающийся: в основе всего лежит власть жизни — власть земли, власть любви, власть человеческой борьбы за существование, власть труда.

К этим вопросам и к этому ответу вновь и вновь подводит нас писатель. И хотя не всегда с ним соглашаешься, но всегда напряженно задумываешься, ибо нет жизненных ответов, заведомо ясных, их нужно отыскивать каждому для себя, как отыскивает их для себя Тарьей Весос. Но отыскивать непременно. И непременно самому.

А. БОЧАРОВ

Издано за рубежом

ДИАЛОГ КУЛЬТУР

Martin Nag. Gorkij i Norge. Sarpsborg, Arbeidern Forlag, 1983.

Мартин Наг. Горький в Норвегии. 1983.

Русско-скандинавские литературные связи уходят своими корнями в глубокое прошлое. И неудивительно. Испокон веков соседи, русский и скандинавские народы, не могли не испытывать взаимного культурного влияния. Всякая нация, писал Карл Маркс, может и должна учиться у других. Только так происходило на протяжении столетий и происходит сейчас взаимообогащение высшими ценностями.

Область научных интересов Мартина Нага, видного слависта, поэта и перевод-

чика — культурные связи между Норвегией и Россией, Норвегией и Советским Союзом.

Имя Мартина Нага уже знакомо нашему читателю. Он неоднократно печатался на страницах журнала «Иностранная литература», а в 1982 году издательство «Прогресс» выпустило сборник его стихотворений и статей под названием «Верность».

Перу Мартина Нага принадлежит целый ряд серьезных исследований, в частности о роли ибсеновской драматургии в духовной жизни русского общества, а также о том, как завладели умами норвежцев русские классики — Толстой, Достоевский, Тургенев.

И вот — новая работа Мартина Нага «Горький в Норвегии». По словам самого автора, он попытался воссоздать в ней целостную картину — начиная с рубежа двадцатого века вплоть до наших дней — появления на литературно-общественном горизонте Норвегии Максима Горького и утверждения его в сознании своих соотечественников как писателя и как личности.

Книга «Горький в Норвегии» — итог долголетней поисковой, иначе не назовешь, работы. Автор с необыкновенным тщанием, буквально по крупицам собрал, систематизировал и осмыслил поистине бесценный материал — статьи, заметки, интервью, найденные в подшивках старых газет и журналов; досконально изучил предоставленные в его распоряжение частными лицами письма и дневники, не упуская ни малейшей подробности, если она вносила в его труд нечто новое, прежде неизвестное или известное лишь понаслышке.

Каждую главку (они небольшие) Мартин Наг снабдил подробным библиографическим комментарием, чем обогатил помещенный в конце книги общий библиографический указатель. Он привел также полный перечень произведений Горького (в том числе статьи и письма), которые существуют в переводе на норвежский язык,— сюда включены и все пять переводов «Песни о Буревестнике».

В оглавлении — вереница имен. Удивительно, сколько норвежцев — писателей и деятелей культуры — были, если можно так выразиться, причастны к Горькому: встречались с ним, состояли в переписке (не говоря уже о тех, кто переводил его и писал о нем). Это и Кнут Гамсун, и Фритьоф Нансен (которого Горький хотел привлечь к созданию «библиотеки для детей» — ему поручалось написать биографию Колумба), и Юхан Фалкбергет, и многие, многие другие.

Нельзя не выделить особо главу, посвященную Горькому и известному норвежскому писателю Нурдалю Григу. Около двух лет — с 1933-го по 1935-й — Григ провел в СССР, где изучал советскую литературу и получил возможность тесно соприкоснуться с Горьким.

В сохранившихся записных книжках Нурдаля Грига (участник Сопротивления, он погиб в 1943 году на борту бомбардировщика во время воздушного налета на Берлин) Мартин Наг обнаружил немало примечательных высказываний. Так, гость Первого всесоюзного съезда советских писателей, состоявшегося в августе 1934 года, Григ был поражен заботой Горького о воспитании будущих поколений: «Крупнейшей фигурой там был Максим Горький, «буревестник» русской революционной литературы. В самой организации съезда проявилась характерная для него широта мышления — первые два дня разговор шел о детской литературе».

И еще одна запись-наблюдение: «Их крупные (советские. — Н. К.) писатели принадлежат — счастливая особенность! — всему народу, и бороться во имя своего народа — самая естественная для них потребность. В этой связи назову Горького, Шолохова и молодого, но уже большого поэта Бориса Пастернака».

Можно с уверенностью сказать: жизнь в России и конечно же встречи с Горьким оказались определяющими в формировании мировоззрения Грига — убежденного марксиста-ленинца, зачинателя литературы социалистического реализма в Норвегии.

Добавим, что Мартин Наг давно изучает творческое наследие Нурдаля Грига. Помимо отдельных работ о нем опубликовал в содружестве с Финном Петерсеном книгу «Странствие сквозь наше время», где собраны статьи, интервью и письма Грига периода 1933—1940 гг. А не так давно издательство «Солум» выпустило новую пьесу Нага «Товарищ Нурдаль, или Григ в Москве» (предыдущая посвящена А.М. Коллонтай, высоко чтимой в Скандинавии посланнице В. И. Ленина).

Автор книги «Горький в Норвегии» отвел специальное место в отечественной прессе, пристально следившей за литературной и общественной деятельностью Горького. Здесь представлены и «Ню тид», орган Норвежской рабочей партии в Тронхейме («наглядный пример того, что и так называемые «местные» газеты проявляли к Горькому огромный интерес»); и «Унг-социалистен» («Молодой социалист»); и буржуазная «Моргенбладет»; и «Норьес коммунистблад», орган Норвежской коммунистической партии, напечатавшая летом 1924-го — спустя полгода с момента своего возникновения — только что вышедшие воспоминания Горького о Владимире Ильиче Ленине; и, наконец, «Социал-демократен», которой принадлежит заслуга первооткрывателя Максима Горького: уже в октябре 1900 года газета опубликовала рассказ «Двадцать шесть и одна» (в переводе он назывался «Таня»). Только с 1900 по 1918 год «Социал-демократен» познакомила норвежского читателя с двадцатью одним произведением Горького, включая всемирно известный роман «Мать».

Завершающая часть книги — «Горький на норвежской сцене», где в основном обнародованы материалы о горьковской пьесе «На дне», к которой обращались театры самых различных направлений. Первая ее постановка состоялась в 1903 году, последняя — семьдесят лет спустя. Достойно внимания, что Мартин Наг собрал отзывы на все постановки пьес Горького — как в рабочей, так и в буржуазной печати.

Еще в 1917 году В. И. Ленин писал о Горьком как о громадном художественном таланте, который принес и принесет много пользы мировому пролетарскому движению. На обширнейшем фактографическом материале Мартин Наг убедительно показывает, что Горький стал крупным явлением не только в литературной, но и в общественной жизни Норвегии: его личность, более того, его судьба приобрели в глазах норвежцев «символическое значение».

В самом начале нынешнего столетия — до, во время и после разрыва в 1905 году унии со Швецией (что означало обретение независимости) «молодая Норвегия» переживала невиданный дотоле подъем. Набирал силу и креп рабочий класс, ощущавший острую потребность в литературе нового типа, способной правдиво и глубоко отразить его жизнь, борьбу и чаяния. И вдруг совсем рядом, в России, раздался голос Горького — и был услышан. Юхан Фалкберге т, Мариус Бротт, Кристофер Уппдал, Оскар Бротен — вот лишь некоторые имена тех писателей, выходцев из рабочей среды, кто испытал на себе могучее влияние Горького.

Вместе с тем Мартин Наг подчеркивает, что и Горький, внимательно следивший за развитием литературного процесса в Скандинавских странах, проявлял неподдельный интерес к творчеству норвежских собратьев по перу. Не случайно глава «Кнут Гамсун» «выстроена» в форме эпистолярного диалога между двумя выдающимися писателями своего времени.

Вспомним заключительную речь Горького на Первом съезде советских писателей. Нет такой маленькой страны, сказал он, которая не давала бы великих художников слова: «Маленькая Норвегия создала огромные фигуры Гамсуна, Ибсена...».

Большой друг Максима Горького Ромен Роллан, размышляя об общности их жизненного и творческого опыта, описывает, как они, «положив много сил каждый на своем поле», обрели друг друга: «Почва Запада была истощена, иссушена. Но я раскинул свои корни вширь и вглубь. И, пробившись под заскорузлой почвой Европы, я достиг плодородных пластов России, советских народов, неиссякаемой жизни, пробужденной в глубинах СССР. Как раз в конце этой подземной работы мои корни встретились с корнями Горького».

Питая древс человеческой культуры, точно так же тянулись друг к другу, переплетались и русско-скандинавские корни.

Диалог культур, их взаимопроникновение — вот идея, объединяющая самые разнородные, пусть даже не всегда равноценные по значению материалы, собранные Мартином Нагом о Максиме Горьком — первом и крупнейшем пролетарском писателе двадцатого века. В контексте современности книга «Горький в Норвегии» воспринимается как призыв к реалистически и прогрессивно мыслящим деятелям культуры всего мира искать — и находить — общий язык.

НОРА КИЯМОВА

НРАВЫ И ПОЩЕЧИНЫ

Fejes Endre. A fiú, akinek angyalarca volt. Budapest, Magvető, 1982.

Kertész Ákos: Családi ház manzarddal, Kortars, 1981, N 10—11.

Эндре Фейеш. Ангелоликий. 1982.

Акош Кертес. Собственный дом с мансардой. 1982.

Должен признаться, что словосочетание, вынесенное мною в заголовок, — произвольное: венгерский язык, как бы утверждая свое право на оригинальность и самостоятельность, прибегает к выражению «пощечины вкусу». Судя по всему, наш родной язык благоволит к этому виду физического воздействия — о каком-либо элементарно простом понятии или поступке мы говорим, что это «проще оплеухи». Однако нравы и пощечины не связывались воедино благодаря какой бы то ни было языковой находке или игре слов. Разве что благодаря самой действительности.

Признаюсь также, что поначалу я намеревался дать своей статье название «Бить или не бить?», соблазнившись той возможностью обыграть знаменитое гамлетовское выражение, которая подсказывалась русским языком. Но затем все же отказался от этой мысли, полагая, что созвучие этих двух русских глаголов наверняка привлекало уж очень многих. Правда, отказался не без сожаления. Дело в том, что герой нового романа Эндре Фейеша, ангелоликий юноша, поставлен автором в типично гамлетовскую ситуацию. Его отца убивают, и под давлением веских улик он вынужден самолично творить правосудие. Его положение, можно сказать, даже труднее, чем у принца датского. Он узнает о случившемся отнюдь не задним числом. Убийство готовится у него на глазах, когда супруга всеми почитаемого юриста уговаривает мужа отправиться в Австралию, в лекционное турне. Ученого обязывает к тому его международный научный авторитет, да и гонорар в долларах весьма кстати придется семье. Жена, разумеется, умалчивает о главной побудительной причине: в отсутствие мужа она беспрепятственно сможет развлекаться с очередным любовником, мужчиной молодым и состоятельным. А у юриста больное сердце, и мало шансов, что он выдержит долгую поездку и перепады климата, способные измотать и здорового человека. Он и не выдерживает. Едва он успевает прибыть на место, как оттуда телеграммой сообщают родственникам, что произошло самое страшное. Правда, телеграмму эту получить некому. Супруга, временно переселившись в шикарную гостиницу, наслаждается преимуществами своего соломенного вдовства, а сын ее, подобно Гамлету, собирает улики против матери. И время от времени наносит удары: бьет.

Бьет своих приятелей — представителей золотой молодежи, язвительно насмехающихся над его матерью; бьет любовника матери, угрожающе размахивающего ножом. Однако после каждого такого удара отчаяние юноши возрастает. Ведь кулак

его лишь скользит по поверхности, а суть явлений, приведших к гибели отца, коренится глубже. Суть заключается в распространенной лжеморали, которая признает единственную цель и одно мерило ценностей: накопление материальных благ, приобретенных любой ценой.

Писатель далек от какого бы то ни было фарисейства, он и сам вот уже без малого двадцать лет как обосновался в Будайских горах, где виллы, карабкающиеся вверх, с годами становятся все более роскошными, в садах все чаще встречаются плавательные бассейны, а в гаражах стоят элегантные, баснословно дорогие автомашины западных марок. Дело не в самих виллах, а в том, что все большее число людей любой ценой стремится к благам, которые не достичь честным трудом. Мир, где царит эта лжемораль, вызывает у писателя негодование, и он старается пробудить его и у читателя. Потому-то он и заставляет своих героев переживать извечный гамлетовский конфликт в Будапеште 80-х годов нашего столетия.

Читателям Эндре Фейеша уже знакома такого рода авторская страстность. Ведь именно Фейеш в начале 60-х годов в своем романе «Кладбище ржавчины», получившем мировую известность (на русском языке роман вышел в 1981 году), утверждал жестокие истины: не весь венгерский рабочий класс сумел по-настоящему воспользоваться предоставленными ему возможностями, и хотя многим рабочим семьям удалось подняться на более высокий духовный уровень, образ жизни некоторых из них отличается от прежнего лишь материальным благополучием; между тем при отсутствии общей культуры благополучие разве что перерождает пролетария в мещанина, но отнюдь не делает его ведущей общественной силой. В следующем своем романе «Добрый вечер, лето, добрый вечер, любовь» Эндре Фейеш ставит нас перед лицом опять-таки неприятной истины. Герой романа, скромный рабочий парень, начинает выдавать себя за иностранного дипломата, и сразу же все окружающие меняют к нему свое отношение — в соответствии с его «новым» общественным положением. Перед ним лебезят официанты, заискивают женщины, и жить бы нашему герою долго и счастливо, кабы не подозрительность одной из кандидаток в невесты, которая открывает обман; «дипломат» же, страшась окончательного разоблачения, совершает убийство, но потом сам отдает себя в руки правосудия.

Рецензируемый роман, бесспорно, очередная веха в творческом пути Фейеша. Правда, не могу сказать, что веха эта выдающаяся. «Кладбище ржавчины» включает в рамки повести несколько десятилетий. «Ангелоликий» вдвое больше по объему, хотя и охватывает события всего лишь одной недели. Это делает роман Фейеша несколько перенаселенным персонажами, перенасыщенным деталями, однако нельзя отрицать значимость и остроту поставленной в нем общественной проблемы.

Подобно тому как к великим русским писателям-реалистам относится знаменитое высказывание Достоевского о Гоголе: «Все мы вышли из «Шинели» Гоголя», так и в венгерской литературе существует целое поколение писателей, обращавшихся к фейешевскому «Кладбищу ржавчины» в надежде использовать, развить отдельные его приемы. Среди них выделяется Акош Кертес, известный и за пределами нашей страны. В свое время, будучи начинающим прозаиком и литработником на киностудии, Акош Кертес написал сценарий для первого телевизионного фильма по произведениям Фейеша — «Кристально-чистая любовь», а его первый заслуживающий внимания роман «Закоулок», подобно роману Фейеша, повествует о людях, блуждающих в лабиринте бесцельной жизни

Несколькими годами позже Кертес уже явно идет по стопам Фейеша: когда в 1971 году вышел его роман «Макра», не только отечественная критика, но и многие зарубежные рецензенты отметили его родство с «Кладбищем ржавчины». Конечно, эти два произведения разделяют не только своеобразные творческие индивидуальности авторов, но и десятилетие исторического развития Герой Кертеса, Ференц Макра пытается осуществить все то, что было не под силу героям Фейеша — семейству Хабетлеров. Макра готов изменить образ жизни, он жадно впитывает в себя культуру, хочет избавиться от изживших себя норм своей среды. Однако несмотря на волевой характер и природную одаренность, Макра терпит поражение именно в нравственном отношении: ведь для него одинаково немыслимо как принятие моральных норм, диктуемых окружающей средою, так и пренебрежение ими Макра не может равнодушно пройти мимо, когда ватага распоясавшихся парней насилует беззащитную женщину, но в то же время он не в состоянии пережить и общественный приговор, клеймящий как предателя каждого, кто посмеет нарушить ложно понимаемую солидарность.

В последующем своем творчестве Акош Кертес все дальше отходит от тематики Фейеша, не отказываясь при этом от основного мотива в своем творчестве: современное ему общество писатель рассматривает в первую очередь с нравственной точки зрения. Тотчас оговоримся: Кертес не морализирует, а исследует, что является движущим мотивом поступков отдельных людей, малых человеческих ячеек. Он отваживается высказать мнение, согласно которому на этих незримых малых полях сражений решаются судьбы больших, жизненно важных проблем общества в целом. Кертес зачастую прибегает к привычным схемам, к стандартным исходным положениям, чтобы затем — внезапным трюком фокусника — вывернуть их наизнанку, показать их доселе невидимые и неожиданные стороны. И тут один из самых надежных, испытанных приемов — изображение любовного треугольника. К примеру, любовница обвиняет Макру в том, что развод он предпочитает супружеской измене лишь потому, что связан условностями Однако Макра (и вместе с ним писатель) доказывает, что условности благоприятствуют как раз нарушению супружеской верности: муж остается при законной жене, любовница — при своем муже, и оба они, поддерживая видимость «приличий», продолжают с молчали-

вого ведома и согласия окружающих свою связь. Кертес подводит читателя к мысли, что подобная мораль лицемерна, ибо помогает сохранить лишь видимость законности.

Последний роман Кертеса «Собственный дом с мансардой» обобщает все, что писатель в своих предыдущих произведениях высказал о нравственных противоречиях нашего общества. Исходная ситуация и здесь весьма банальна. Карой Буриан — примерный супруг и отец, уже в годах, но крепкого телосложения, закаленный трудом и спортивными занятиями, — поселяет у себя в мансарде своего подчиненного по службе — молодого цыгана, бывшего алкоголика, который под опекой Буриана вырастает в талантливого конструктора. Молодая и красивая жена Буриана на первых порах протестует, а затем смиряется с такой переменой в жизни, и когда жилец влюбляется в хозяйку дома, та не прочь уступить ему. Все же после этого оба грешника, движимые угрызениями совести, признаются во всем Буриану, который вопреки ожиданиям не выгоняет из дому неблагодарного соблазнителя и не избивает до полусмерти изменницу жену, а разражается тирадой о свободе личности. Короче говоря, сосуществование может продолжаться. Правда, отныне супруге самой надлежит решать, с кем она желает делить свое ложе.

Итак, с принципами все обстоит как нельзя лучше. Но, к сожалению, никто, кроме главного героя, не способен подняться до уровня этих принципов. Молодой человек ревнует любовницу к мужу, жена безумно ревнует любовника, а окружающие подозревают троицу во всех смертных грехах. Сын Буриана от первого брака внушает всем, что его отец сошел с ума, и в конце концов обожаемая Бурианом супруга, тоже не способная понять его поведение, решает бежать из дому к своему отцу. Это-то и вынуждает Кароя Буриана дать те две пощечины, которые, по всеобщему мнению, он должен был бы влепить раньше. Благодаря этому моральные устои оказываются восстановленными, и разве что при самом пристальном наблюдении можно заметить, что супругов теперь связывает чувство долга, а отнюдь не свобода чувств, как прежде.

Далекие друг от друга и по интонации, и по кругу тем книги Фейеша и Кертеса, в сущности, повествуют об одном и том же. Люди социалистического общества, которому по природе своей свойственна тяга к обновлению, иногда с трудом отказываются от отживших моральных устоев. Гораздо проще предаваться теоретическим рассуждениям о свободе личности и свободе чувств, чем быть на высоте и проявлять благородство в практической жизни, в том числе и дома, в быту. Произведения этих писателей напоминают поставленные перед нами зеркала. Может, мы отважимся взглянуть в них и узнаем самих себя?..

БЕЛА РИГО

г. Будапешт

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА

John Gardner. On Becoming a Novelist. New York, Harper and Row Publishers, 1983.

Джон Гарднер. Как становятся романистом. 1983.

Посмертная книга Джона Гарднера, автора «Осеннего света» — лучшего, пожалуй, романа 70-х годов в США и работы «О нравственной литературе» (1978) — манифеста современного американского реализма, продиктована пылкой приверженностью, преданностью, можно сказать, любовью к искусству слова и желанием донести до молодых писателей особенности литературного труда, помочь им выработать определенные навыки письма, уберечься от обольщений и ошибок, обычно свойственных начинающим. Материалом для Гарднера послужили опыт отечественных и иностранных мастеров прозы, собственная художническая практика, раздумья о творческом процессе, глубокое изучение и преподавание староанглийской литературы. Три грани личности Гарднера — художник, филолог-теоретик, педагог — смешались в этой книге. Она воспринимается и как писательское эссе о психологии творчества, особенностях образного мышления, и как популярное пособие по технике прозы, и как серьезная работа по литературоведению, а иногда и как собрание практических советов молодому литератору в духе «учебников жизни», к которым питают такую слабость американцы.

Четыре главы книги: «Писательская натура», «Образование и профессиональная подготовка», «Публикация и заработок», «Вера в себя» обозначают тему лишь в самом общем виде, потому что вся писательская работа — от зарождения замысла до «продажи» произведения — понимается Гарднером как нечто единое, как способ существования профессионала. Определенную цельность и единство книге придают вдобавок две центральные идеи. Одна — глубокая, подспудная, редко принимающая форму теоретического положения, но присутствующая едва ли не в каждом выводе и наблюдении, пусть даже частью спорном. Это идея неявной, сложной диалектической взаимосвязи и взаимодействия жизни и искусства. И другая — настоящая проза; это постоянный, тяжкий, требующий полной отдачи труд, которым занимаются не ради славы, положения, денег и т. п., а только ради него самого, ради нечаянной радости творчества.

Главное в произведении, по мнению Гарднера, — отнюдь не «тема» и не «идея», которые гораздо легче извлекаются из вестерна, чем из романов Пруста. «В конечном итоге важна не философия писателя (она раскроется в любом случае), а судьбы характеров... Самая серьезная тема немногого стоит, если действующие лица подчинены ей и неинтересны».

Определяя сюжет, конфликт и другие элементы литературного произведения, которые должны в результате составить единство, Гарднер приходит к актуальному вы-

воду об активном герое. «Если главный персонаж — жертва, если он не действует, а лишь испытывает воздействие, то не может быть и подлинной напряженности» повествования, ибо «история» такого героя попросту «не работает».

Как ни любопытны выходы Гарднера в теорию литературы, книга привлекает прежде всего попыткой разобраться в том, как действует, так сказать, механизм таланта.

Первейшие признаки писательского дарования, которые Гарднер выделяет, или, если подойти с другой стороны, основные требования, предъявляемые им к писателю, — это умение слышать слово, «точность и оригинальность взгляда», способность видеть то, мимо чего скользит глаз других и, конечно же, определенные умственные данные в соединении с чертами художественной натуры.

Простые, очевидные вроде бы слагаемые таланта — языковый слух, наблюдательность, темперамент. Но за этими простыми понятиями скрывается, как показывает Гарднер, бездна содержания.

Слышать речь — значит находить слова, необходимые и достаточные для воссоздания ситуации, такие, которые должен произнести данный персонаж, делая то-то и то-то. «Она подумала, что должна сказать ему...» Или: «Она подумала, что скажет ему...»? А, может быть, лучше: «Она подумала, надо сказать ему...» Любое, малейшее изменение написанного меняет модальность, оттенок смысла, меняет смысл, привносит новый, неожиданный, а он в свою очередь требует других слов, и ты ищешь их, перебираешь, примериваешь друг к другу, и оказывается, что ни то, ни другое, ни третье не годится и вдруг как бы даже непроизвольно выписывается верное: «Он должен это знать, подумала она».

«Сам язык наталкивает писателя на размышления, которые не приходили ему в голову», и тем самым «активно воздействует на ход событий в романе», — делает вывод Гарднер. Каждому пишущему известно, что сочинение — всегда проба, всегда искание, что часто пишется наугад и наудачу. И все-таки неожиданно, парадоксально на первый взгляд звучит утверждение: «Нельзя сказать заранее, хороша или нет идея повествования, потому что, не закончив его, автор не знает наверняка, в чем же состоит эта идея». Однако, вникнув, веришь писателю, увлеченный заразительной логикой автора. Тогда и теоретическое обобщение: «Язык сам несет определенную систему ценностей» наполняется живым конкретным смыслом.

Предостерегая начинающего прозаика от речевого мусора, языковых штампов, профессионального, ритуального и прочих жаргонов, Гарднер справедливо полагает, что стертые выражения «упрощают опыт» и в конечном итоге представляют собой не что иное, как «уход от реальности». С другой стороны, молодому писателю грозит опасность сделаться «словесным музыкантом», «фанатиком слова», языковым пиротехником. «Автор, который думает больше о словах, чем о повествовании (то есть о характерах, действии, обстановке, настроении)... мешает сам себе. В своем поэтическом упоении он уже не различает, где повозка и груз, а где лошадь».

Если острая наблюдательность, пристальное внимание к деталям являются «источником жизненной силы прозы», то писатель должен быть — воспользуюсь старым русским выражением — постоянным соглядатаем природы и людей.

Рассказывают, что Энтони Троллоп, попадая в незнакомое общество, имел обыкновение сначала подолгу сидеть молча в сторонке и пристально разглядывать присутствующих, ничуть не смущаясь тем, что вызывает у них ощущение неловкости. Именно зоркость глаза придает конкретность письму — и не только в описании картин внешнего мира. Любое человеческое переживание оживает на печатной странице, если оно выражено жестом, движением, высказыванием, поступком.

Гарднер расширяет понятие художественной наблюдательности: прозаик должен научиться всматриваться в своих героев и в жизнь, которую они ведут. «Внимательное изучение воображаемых картин питается реальным опытом писателя и одновременно питает этот опыт».

Разумеется, ни самая зоркая наблюдательность, ни владение словом сами по себе не создают искусство. Для него необходим тот особый дар погружения в «удивительное, волшебное состояние», которое чаще всего называют вдохновением. Оно не до конца изучено психологами и оставлено без внимания литературоведами. Это редкие, необычайные, близкие к опьянению, исступлению или экстазу моменты, когда непостижимым образом собираются воедино все психические и физические силы и тебя словно выносит за пределы времени и места в воображаемый мир. Они-то, эти моменты озарения и отрешенности ото всего, кроме непосредственно данного тебе в воображении, и «есть душа искусства». Именно тогда находишь какой-то «волшебный ключ», проникаешь в «таинственное обиталище снов» и «пальцами души» нащупываешь «мистическое ядро вещей». Именно тогда рождается непременное качество произведения искусства, которое Гарднер называет «диковинностью», что выдает его давние симпатии к романтической традиции.

И все-таки творческий акт не чудо, совершающееся по наитию или под влиянием искусственных раздражителей. Волшебство вызываемо усилием воли. Наитие приходит с навыком.

Творчество — тайна, как бы говорит Гарднер и тут же демистифицирует эту тайну. С одной стороны, стихийность, самородность созидательного акта, с другой — «чрезвычайно трудно писать роман без заранее продуманного плана, пусть самого предварительного».

Результатом стихийного и вместе с тем волевого действия писателя должна быть такая проза, которая как бы подключает читателя к «яркой непрерывной череде картин, которые придумал автор». Гарднер не раз и не два обращается к понятию dream, или fictive dream, которое поддается разному переводу (греза, видение, мысленный образ, воображаемая картина),

однако в любом случае подразумевает одно: способность художественного текста целиком завладеть вниманием читателя, перенести его в воображаемый, вымышленный писателем мир, побудить к сотворчеству и сопереживанию. Собственно, Гарднер пишет о том, что уже блестяще продемонстрировал собственной практикой в «Осеннем свете». Старая Салли Пейдж читает книжку, и «незаметно для нее самой реальный мир стал утрачивать вес, а сквозь печатные строки проступили образы иной реальности, более занимательной, чем настоящая жизнь, призрачной, но более доступной, по-своему очень важной и заманчиво подвластной нашей воле».

В конечном итоге акт и искомый результат творчества описывается Гарднером в простом, но очень емком пассаже. Курсив подчеркивает первостепенность этой мысли: *«Внутренним взором он видит, как придуманные им люди делают то-то и то-то, старается увидеть как можно яснее и отчетливее и гадает, что они сделают потом, и, гадая, вдруг начинает понимать, что они должны сделать, и описывает это самыми подходящими словами, какие пришли на ум, одновременно отдавая себе отчет в том, что позднее, наверное, придется поискать еще более удачные слова и что те, другие, слова подправят или углубят его ви́дение, и таким образом вымысел или ви́дение постепенно делается все яснее и ярче, а действительность по сравнению с ним кажется уже холодной, серой, безжизненной — только это и ничто другое и есть тот самый трагически хрупкий процесс писания, которым отчаянно стремится овладеть прозаик»*.

Итак, художнический темперамент, меткость глаза, владение словом... Однако и эти качества не принесут истинных достижений, если писатель не наделен упорством, решимостью работать что есть сил, способностью к самоотдаче, «дьявольской одержимостью». Ради нее, по мысли Гарднера, полезно идти на крайности, быть неудовлетворенным собой и миром, даже пережить какую-нибудь психологическую драму. Рядом с одержимостью рука об руку идет мудрость. Взявшемуся за перо предстоит научиться безразличию к суетности и благополучию.

Вопреки распространенному мнению писательское занятие — вообще одно из тяжелейших. Романиста же в отличие от рассказчика или поэта можно уподобить марафонцу, или земледельцу, или — Гарднер прибегает к образу, близкому американцам,— вкладчику капитала в дело, которое не обещает принести доход. «В силу самой природы процесса создания романа успех приходит редко».

Трудности, встающие перед романистом,— двоякого рода.

Первые — психологические, когда «не пишется». Когда и персонажи вроде стоят перед глазами как живые, и мыслей рой, а слова нейдут. Отвлекает каждая мелочь: ненужная вещь на столе, плохо пишущая ручка, косо вставленный в машинку лист бумаги... Однако за каждым таким раздражителем чаще всего кроется одно: сопротивление языка. Слова просто не даются. Мешают их побочные значения, относительная неустойчивость смысла, комбинаторные возможности, их игра.

Бывает, работа стопорится из-за неуверенности в себе или чрезмерной требовательности к себе, когда за микрошлифовкой теряется ведущая нить, или, напротив, из-за «чрезмерной жажды успеха».

В моменты «психологического блока» лучше отложить рукопись на день или год — в зависимости от степени застоя,— дать ей отлежаться, «остыть». Чтобы не пасть духом, советует Гарднер, перемените образ жизни, побольше общайтесь с друзьями, влюбитесь, читайте близких классиков, попробуйте самовнушение... Однако нет более верного способа выйти из кризиса, чем писать. Писать, несмотря ни на что, писать что угодно как угодно, о чем угодно, но писать.

Другой ряд трудностей — социального порядка. Американский писатель живет в условиях «конкурентной товарной культуры» и лишь «немногие романисты могут существовать на свои книги». Около 70 процентов тех, кто выпустил в определенный год свой первый роман, второго не публикует. Одни вообще бросают писать, другие переходят туда, где успех вероятнее. «Телевидение и кино пожирают талант и воображение в таких количествах, какие не под силу тысяче минотавров».

Исходя из знания того, что «издательский договор может заживо съесть неопытного автора», Гарднер раскрывает ходы и выходы редакционно-издательской системы. Реальная окололитературная повседневность, встающая с соответствующих страниц книги, не то чтобы чужда нам, но в корне непохожа на нашу.

Затрагивает Гарднер и круг вопросов, связанных с образованием и профессиональной подготовкой писателя. Он не причисляет себя к сторонникам той точки зрения, согласно которой писателя можно сделать в классе. Однако же издавна и повсеместно учат на музыканта, живописца, режиссера. Поэтому он видит пользу в работе всевозможных литературных семинаров, мастерских прозы, университетских курсов творчества, которые широко распространены в Соединенных Штатах, хотя нередко носят полулюбительский характер. «Необразованный прозаик заперт в своем времени и месте»,— убежден он и особенно настаивает на «тщательном изучении большой литературы прошлого, созданной на всех языках» — от Гомера, древневосточной словесности и скандинавских саг до новой латиноамериканской литературы. Такое изучение «ясно покажет те эмоциональные и интеллектуальные вершины, какие в принципе достижимы».

Что до приемов преподавания технологии прозы, то Гарднер подчеркивает необходимость держаться «определенной теории», «системы эстетических ценностей», ибо «в итоге ничто не заменит критическое понимание литературы, что вовсе не равносильно утверждению, будто литература — это философия».

Гарднера можно было бы упрекнуть в недостатке внимания к общеэстетическим вопросам, но о них он подробно писал в своей главной теоретической работе — «О нравственной литературе». Тем не менее и здесь он утверждает «беззастенчивую

связь романа с миром». Тем не менее и здесь в рассуждениях Гарднера о двух типах писателей явственно прорисовывается водораздел между реалистическим искусством и модернистской литературой. Главную силу классиков XIX века он справедливо усматривает в «ярком подражании многокрасочной сумятице жизни». К другому типу принадлежат те, кто «специализируется в частном видении», например, Беккет, Селин, Набоков, Д. Барт, У. Гэсс, которые «самозабвенно плутают по лабиринтам плюралистических дебрей», предлагая нам в конечном итоге «портреты или карикатуры художника», «свое инсценированное «я». Но в том-то и состоит высшая — и гораздо труднее достижимая — оригинальность, чтобы «выйти за пределы себя, увидеть и понять явления с любой точки зрения», «вчувствоваться» в другую личность, которая есть не ты сам, и выразить ее, как это умели делать Толстой, Достоевский, Т. Манн, Фолкнер. Вообще «человек с искаженным взглядом на реальность не способен написать хороший роман, так как, читая, мы все равно поверяем вымысел действительностью».

Не скажешь, что посмертная книга Джона Гарднера сверкает какой-то особой новизной идеи. Однако бывают времена, когда старые истины воспринимаются как глоток свежего воздуха. Тем более в условиях сегодняшнего общественно-духовного климата в США. Впрочем, уроки большого прозаика не помешали бы и нашим писателям, критикам, переводчикам, филологам.

Г. ЗЛОБИН

«ТРИ ПЕСЕТЫ МИНУВШИХ ВРЕМЕН» И СОВРЕМЕННОСТЬ

Vicente Soto. Tres pesetas de historia. Barcelona, Ed. Argos Vergara, 1983.

Висенте Сото. Три песеты минувших времен. 1983.

Прошло более сорока лет после окончания гражданской войны в Испании, но в памяти людей, ее переживших, время не только не стерло события тех лет, а как будто, напротив, сделало их еще более яркими и выпуклыми. Может быть, поэтому литература вновь и вновь возвращается назад, пытаясь найти ключ к пониманию сложностей и противоречий современной Испании.

Среди таких книг и новый роман Висенте Сото «Три песеты минувших времен». Хотя автор и живет уже без малого тридцать лет в Лондоне, зарабатывая на жизнь преподавательским трудом, тем не менее он неразрывными узами связан со своей родиной и чутко улавливает новое в ее духовной жизни. Подтверждение тому — его книги: четыре сборника рассказов и три романа, тепло встреченные не только испанскими читателями, но и критикой. Почти все книги Сото отмечены ведущими литературными премиями страны. О чем бы ни писал этот автор со свойственной ему неторопливой сдержанностью, все, что выходит из-под его пера, так или иначе связано с гражданской войной. Это легко объяснимо: ведь Сото принадлежит к тому поколению людей, для которых война стала неотъемлемой частью их собственного жизненного опыта,— девятнадцатилетним юношей он защищал республиканский Мадрид. Но центральной темой в его книге война стала впервые.

Роман «Три песеты минувших времен» подчеркнуто документален. Это становится ясно с первой же страницы, когда из авторского вступления мы узнаем предысторию книги. Однажды жена писателя за рамой картины, купленной в Мадриде на Растро (этим названием объединяются несколько кварталов испанской столицы, где по выходным устраиваются дешевые распродажи как новых, так и подержанных вещей), нашла письмо: какой-то женщине сообщали о смерти ее мужа, республиканца. В конверт были вложены оставшийся после погибшего значок члена Всеобщего союза трудящихся, профсоюзной организации испанских рабочих, основанной по инициативе социалистов, и несколько песет того времени, давно изъятых из обращения. Когда Сото — он, как и все прочие персонажи книги, выведен под собственным именем — видит эти предметы, у него возникает ощущение, что из прошлого к нему взывает «чья-то судьба, о которой некому рассказать, и поэтому ее как бы не было вовсе». И он чувствует, что его долг — разыскать автора и адресата письма или тех, кто знал их, побывать в местах, которые упоминаются в письме. Необходимо воссоздать историю этих безвестных судеб — «ведь история народа складывается из историй отдельных людей». Писатель берет двухмесячный отпуск и едет в Испанию.

Такова отправная точка романа. Против ожидания, найти женщину, писавшую письмо, оказывается довольно просто. Как узнает Сото с помощью друзей, в те далекие годы она была алькальдом в Кастеларе, местечке провинции Хаэн, а теперь живет недалеко от Барселоны. Писатель встречается с этой женщиной, и она сразу же вспоминает, кому отправила когда-то письмо. Рассказ о конкретном событии перерастает в рассказ о массовых репрессиях, проводимых фашистами в этом районе, и о собственной трудной судьбе: мать девятерых детей, она была брошена франкистами в тюрьму и приговорена к смертной казни, впоследствии замененной ссылкой.

Казалось бы, писатель выполнил свою задачу — он выяснил то, ради чего отправился в далекую поездку. Но потребность увидеть Кастелар и его окрестности заставляет его снова тронуться в путь. В небольшом селении Вильякаррильо, неподалеку от Кастелара, Сото попадает на церемонию перезахоронения одного из героев-республиканцев, расстрелянного фашистами. На кладбище собралось немало людей — почти все они местные жители и многое видали своими глазами. Они рассказывают охотно, ничего не скрывая,— перед читателем проходит вереница человеческих судеб, драматизм которых потрясает. Женщина, добившаяся разрешения

провести последние часы со своим приговоренным к смертной казни мужем и присутствовавшая при его смерти. Мать этого человека, которая сама в это время была в тюрьме,— о смерти сына узнала, увидев из тюремного окна его жену в траурном одеянии. И там же, за решеткой, она сложила бесхитростную, но исполненную трагизма поэму о смерти сына. Республиканец, расстрелянный, но чудом оставшийся в живых, пролежавший несколько часов под грудой тел своих товарищей и сумевший потом спрятаться. И таким судьбам — несть числа.

Здесь же, на кладбище, происходит у писателя встреча с человеком, который, пригласив его домой, знакомит со своим отцом, уже более сорока лет, несмотря на амнистию, несмотря на смерть Франко, не осмеливающимся выйти на улицу. Теперь его удерживает не страх перед физической расправой, а опасение не найти себе места в изменившейся действительности. Десять—пятнадцать лет назад, особенно сразу после амнистии, объявленной в тридцатилетнюю годовщину окончания войны, печать немало писала о таких случаях. И то, что писателю удается заставить этого человека преодолеть мощный психологический барьер и выйти к людям, воспринимается как символ победы Испании над своим прошлым.

Что же дает автору и нам право называть этот документальный рассказ о том, как собирался материал для книги, о встречах с различными людьми, романом? Дело в том, что в книге есть и вторая линия, которая поначалу существует как бы сама по себе и только к концу книги тесно переплетается с первой. Это повествование о мальчике из обеспеченной буржуазной семьи, детство которого пришлось на двадцатые годы, а юность — на период Республики и гражданской войны. Он рос в среде, где при детях велись разговоры о политике, где было неприлично задавать взрослым вопросы, даже если видишь танки на улице. И только много лет спустя, став юношей, мальчик поймет, свидетелем каких событий он был. Этот второй роман, роман в романе, рассказывает о становлении личности самого автора, который сорок лет спустя приедет в Хаэн, чтобы увидеть и услышать людей, защищавших Республику тут, на юге, в то время как он дрался за нее под Мадридом. Воспоминания эти довольно хаотичны: «Прошлое представало как импрессионистический пейзаж, который кто-то рисовал в его памяти и на который он смотрел, полуприкрыв веки, чтобы сделать его еще более зыбким». Неожиданно этот пейзаж становится выпуклым и четким — писатель попадает на организованную в 1980 году в мадридском парке Ретиро выставку, посвященную жизни испанской столицы в трудные военные дни. Сото видит фотографии, слышит музыку тех лет, видит фильмы — обе линии книги сливаются в единый поток — прошлое перестает быть зыбким, оно становится неотъемлемой частью настоящего. Писатель вдруг понимает, что увиденное им в Ретиро — своего рода итог, который Испания подвела под своим прошлым, под тем прошлым, о котором столько времени нельзя было говорить свободно. И, выйдя на улицу, в толпу спешащих по своим делам людей, глядя на молодежь, герой книги впервые вздыхает с облегчением — он хочет верить, что тяжкий груз прошлого сброшен навсегда, что впереди новая жизнь, без постоянной угрозы поворота вспять.

И Сото уезжает в Лондон, чтобы перенести впечатления на бумагу. Когда работа уже близится к концу, радио приносит сообщение о попытке военного переворота 23 февраля 1981 года. Ошеломленный и потрясенный, писатель восклицает: «Но почему, почему?» Этим многократно повторенным вопросом и заканчивается книга.

Она написана человеком, с оружием в руках защищавшим Республику, и это ощущается и в отборе материала, и в расстановке акцентов. Однако он старается быть объективным, честно разобраться в ошибках прошлого. И эта поездка на родину подводит писателя к мысли, что теперь Испания способна начать новую страницу своей истории. И все-таки роман заканчивается вопросом — его ставит жизнь. Сото предоставляет читателям право самим найти на него ответ. И от того, какой ответ они все вместе, сообща, найдут, зависит будущее Испании.

Н. МАТЯШ

◆

Из месяца в месяц

АЛЖИР

XIV СЪЕЗД АРАБСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Пресса арабских стран уделяет большое внимание состоявшемуся недавно в алжирской столице XIV съезду арабских писателей. В частности, большой репортаж, озаглавленный «Свобода деятеля культуры начинается со свободы его народа», посвятила съезду египетская прогрессивная газета «Аль-Ахали».

Автор репортажа, египетская журналистка Фарида ан-Наккаш, сообщает, что в съезде приняли участие 78 писателей, поэтов и критиков, прибывших из шестнадцати арабских стран, не считая десятков алжирских писателей и журналистов — хозяев съезда. Главной темой повестки дня съезда был вопрос «Литература и ее связь с культурой и массовой информацией». На пленарных заседаниях были зачитаны доклады «Язык литературы и язык массовой информации», «Влияние современных средств коммуникации на литературу» и другие. После общей дискуссии работа съезда продолжалась в двух специальных комиссиях. Одна из них была посвящена состоянию детской литературы в арабских странах, вторая — вопросам художественного перевода. На завершившем съезд пленарном заседании были приняты рекомендации и заключительная декларация.

Как отмечает Ф. ан-Наккаш, хотя дискуссии на съезде носили традиционно академический характер, в заключительных документах, принятых его участниками, нашли отражение события, глубоко волнующие арабскую общественность и все прогрессивное человечество, такие, как американо-израильская интервенция в Ливане, война между Ираном и Ираком, преследование прогрессивных деятелей культуры в некоторых арабских странах.

Участники съезда выразили солидарность с борьбой ливанского и палестинского народов, призвали к прекращению братоубийственной войны между Ираном и Ираком, высказались в поддержку патриотически настроенных деятелей египетской культуры, выступающих против так называемой «нормализации» культурных отношений с сионистским Израилем и против «империалистической американской экспансии в области арабской культуры».

Съезд потребовал освобождения литераторов и деятелей искусства, томящихся в тюрьмах в отдельных арабских странах, призвал к отмене цензуры на литературные произведения и подчеркнул, что «освобождение захваченных земель и отражение агрессии должно начаться с освобождения народа».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ДИЛАН ТОМАС — НОВЕЛЛИСТ

Безусловной вехой в изучении богатого наследия крупного валлийского поэта Дилана Томаса (1914—1953), писавшего на английском языке («Ногами в Уэльсе, голосом в Англии»,— говорил он о себе), стало, отмечает Фрэнсис Моррис в «Таймс литерари сапплмент», издание солидного тома его «Из-

БОЛГАРИЯ

По случаю 80-летия болгарского художника Васила Стоилова «Народна култура» поместила большую статью о нем профессора Веры Диновой-Русевой. «В центре творчества художника,— пишет она,— не вообще человек, а конкретные болгарские крестьяне с их неповторимым национальным характером. Зачастую на его полотнах крестьянки превращаются в истинных мадонн, он увековечивает лучшие черты характера простого человека, его душевную щедрость».

На снимке: одна из работ Васила Стоилова «Мадонна».

(Еженедельник «Народна култура»)

бранных рассказов». Поэт, вписавший свою, в высшей степени яркую и самобытную страницу в историю англоязычной поэзии XX в., Дилан Томас был и одаренным новеллистом. Однако, отмечает Фрэнсис Моррис, до этой публикации, осуществленной английским издательством «Дент», некоторые, особенно ранние, рассказы Дилана Томаса можно было найти лишь в журналах 30-х годов.

Его рассказы, которые он писал на протяжении всей своей недолгой творческой жизни,— весьма своеобразный, лирически проникновенный и психологически точный комментарий ко всему его творчеству. Из них, пишет рецензент, постепенно складывается и образ лирического героя Дилана Томаса, очень напоминающего самого автора.

Рассказы, вошедшие в сборник, отличаются друг от друга и темами и стилистикой. Ранние, созданные в 40-е годы,— поэтически возвышенны и одновременно натуралистически заземлены, отмечены юмором и лиризмом; поздние, в основном те, что писались для чтения по радио, сентиментальны и несколько остранены. Но при всех различиях, существующих между ними, пишет Ф. Моррис. их объединяет одно — постоянный взгляд автора на себя, стремление — очень настойчивое — поймать свое «я», которое, однако, все время как бы ускользает. То он вглядывается в себя, надеясь в ребенке увидеть черты будущего писателя, то, напротив, подвергает анализу свое взрослое «я», отдается во власть воспоминаний и таким образом как бы возвращается к первоистокам.

Малая проза Дилана Томаса позволяет составить довольно полное представление о литературных пристрастиях писателя: Диккенс, Стивенсон, валлийский фольклор. С другой стороны, в рассказах, пишет Ф. Моррис, видно и как претворялись эти воздействия, как находилось Слово— центральное понятие эстетики Дилана Томаса.

ВЬЕТНАМ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПЬЕСЫ НА ВЬЕТНАМСКОЙ СЦЕНЕ

В последнее время деятели индийского и вьетнамского театра подготовили несколько совместных спектаклей. Так в Ханойском национальном театре известный вьетнамский режиссер Хоай Зяо поставил спектакль по мотивам произведений индийской классической литературы, в котором выступила прославленная индийская актриса Самтола. Зрители и критики с большим интересом встретили это необычное представление, в котором органично сочетались приемы вьетнамского театра тео с классической индийской хореографией.

Экспериментальным стал и спектакль «Кавказский меловой круг» по пьесе Бертольда Брехта — результат творческой работы театральных деятелей из ГДР и Ханойской театральной труппы тео. Вьетнамские искусствоведы отметили новаторский дух пьесы, быстро завоевавшей признание публики.

К пьесе великого французского драматурга Мольера «Мещанин во дворянстве» обратился коллектив Театра юного зрителя, а их коллеги из столичного Драматического театра успешно поставили на своей сцене пьесу современного советского драматурга Рустама Ибрагимбекова «Женщина за зеленой дверью».

В Ханое состоялось первое присуждение недавно учрежденных в СРВ почетных званий народных и заслуженных артистов республики. Среди них видные деятели национальной культуры — музыканты, артисты театра и кино, режиссеры Звания народных артистов Социалистической Республики Вьетнам были удостоены киноактриса Ча Жанг, дважды получившая премию за лучшее исполнение женской роли на Международных кинофестивалях в Москве, и пианист Данг Тхай Шон — лауреат Международного конкурса имени Фридерика Шопена в Варшаве.
На снимке: Ча Жанг — первая киноактриса, удостоенная звания народной артистки республики.

(Газета «Дай доан кет»)

ГАНА

«КУКУРАНТУМИ: ДОРОГА В АККРУ»

Художественный фильм с таким названием, снятый известным ганским режиссером и драматургом Кингом Ампау, вызвал большой интерес ганской общественности.

По мнению издаваемого в Аккре еженедельника «Миррор», этот интерес объясняется прежде всего актуальностью темы. В сценарии фильма, написанном К. Ампау, затрагивается проблема, типичная не только для Ганы, но и для всех развивающихся стран, — социальные последствия массовой миграции сельского населения в города. «Мы хотели показать в своей новой работе, что отрыв от родных мест и привычного образа жизни, как правило, губителен для тех, кто решился на этот шаг, — говорит К. Ампау. — Герои нашего фильма, молодой шофер Аддей и его подруга Абена, решили покинуть родную деревню Кукурантуми, прельстившись дискотеками, огнями рекламы, модной одеждой и другими чисто внешними атрибутами «шикарной» городской жизни. Но они так и не смогли «вписаться» в новую жизнь, потому что в городе для них не нашлось ни работы, ни жилья, ни друзей».

В производстве фильма участвовали также западногерманские кинематографисты. В нем снимались известные ганские актеры — Эванс Хантер, Роуз Финн, Джордж Уилсон и выпускница факультета искусств Легонского университета Эми Аппиа.

ГДР

РОМАН ЭГОНА РИХТЕРА

Издательство «Хинштorф» выпустило новый роман Эгона Рихтера «Смерть старого человека» (о Рихтере см. «ИЛ», 1974, № 10; 1979, № 4; 1983, № 5).

В больнице умирает старый рыбак Роберт Кюстер, проживший честную, достойную жизнь. В коробке из-под сигарет, которая стоит на больничной тумбочке, много лет хранились незамысловатые реликвии. Сейчас Кюстер перебирает их и вспоминает свою многотрудную жизнь, в которой были радости и горести, удачи и огорчения. В юности Роберт Кюстер ушел из родной деревни. Он переменил много профессий, пережил две войны, был солдатом, попал в плен. Он прошел хорошую жизненную школу, стал убежденным антифашистом. В 1946 году Кюстер вернулся в свою деревню, где его называли «единственным красным» и где он активно включился в восстановление разрушенного хозяйства. Всего два дня описаны в романе, но Рихтеру удалось показать целую эпоху — с начала века до наших дней.

«Писатель хорошо знает деревенский быт, крестьян и рыбаков, среди которых жил и его герой. Он рас-

Режиссер Зигфрид Кюн экранизировал новеллу известного швейцарского писателя Готфрида Келлера (1819—1890) «Сельские Ромео и Юлия» о любви двух молодых людей. Он постарался сохранить в фильме романтическую приподнятость прозы Келлера. В главных ролях дебютировали Грит Стефан и Томас Ветцель.

(Газета «Берлинер цайтунг»)

сказывает о них иногда с грустью, иногда с мягким юмором», — пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд».

«Роман Эгона Рихтера перекликается с романом Юрия Брезана «Портрет отца» (см. «ИЛ», 1983, № 6),— отмечает Вернер Нойберт в газете «Берлинер цайтунг». — Однако Рихтеру удалось найти свое решение темы, по-своему рассказать о чувствах, мыслях, переживаниях старого человека, который и перед лицом смерти сохранил молодость души... Это очень правдивая книга».

«Новый роман Эгона Рихтера написан прекрасным языком, он очень поэтичен. Можно с радостью сказать, что книга написана пером зрелого мастера», — пишет еженедельник «Зоннтаг».

ГРЕЦИЯ

ТУРГЕНЕВ НА ГРЕЧЕСКОЙ СЦЕНЕ

Греческие театры охотно обращаются к произведениям русской классики и советской драматургии. Недавно в Национальном театре Греции с большим успехом прошла премьера спектакля по пьесе «Месяц в деревне» И. С. Тургенева. К этой пьесе театр обращается уже третий раз. Впервые «Месяц в деревне» поставил на сцене этого театра в 1963 г. режиссер Л. Тривизас. Кстати сказать, это была первая постановка пьесы Тургенева в Греции. В 1979 г. свое прочтение русской классики предложил греческому зрителю известный режиссер А. Соломос. Новую постановку спектакля «Месяц в деревне» осуществил хорошо известный в Греции и за рубежом режиссер Жюль Дассен.

Жюль Дассен по-своему осмыслил пьесу, увидев в ней прежде всего «трогательную повесть о несчастной любви». Но в то же время режиссер сохраняет колорит и своеобразие тургеневской драматургии. Оформление сцены и костюмы актеров отвечают духу России середины прошлого века. Создатели спектакля не пошли по пути столь модной сейчас на Западе «модернизации» классики.

«Дассен нас ошеломил, — рассказывал на пресс-конференции перед премьерой директор Национального театра Греции К. Ницос. — Он проделал огромную подготовительную работу и пришел на первую читку пьесы с текстом, в котором было прочувствовано, отработано и выверено буквально каждое слово. Кроме того, он принес с собой сделанный собственными руками из пластика макет декораций. Вся последующая работа Дассена с актерами была для них большой школой».

Спектакль «Месяц в деревне» получил высокую оценку театральной общественности греческой столицы. После премьеры критики отметили бережное отношение режиссера к драматургии Тургенева, а также игру актеров. Большинство критиков выделяет работу Кати Дандулаки в роли Натальи Петровны и Антониса Теодоракопулоса в роли Ракитина.

ЕГИПЕТ

«КОГДА ПРИХОДИТ ВЕСНА»

В литературной серии «Книга сегодня», издаваемой редакцией каирской газеты «Ахбар аль-Яум», вышел сборник рассказов известного египетского писателя-

---

На снимке: сцена из спектакля «Месяц в деревне».

(Газета «Ризоспастис»)

новеллиста Фаузи Абд аль-Кадера аль-Миляди «Когда приходит весна».

Сборник включает шестнадцать коротких рассказов, сюжеты, герои и события которых, как пишет обозреватель журнала, взяты «из самой гущи египетской городской жизни с ее сложностями и фальшивым внешним фасадом, с ее горестями и мучительной действительностью».

Аль-Миляди, сообщает тунисский журнал «Аль-Фикр», родился в Александрии в семье выходцев из тунисского города Сфакса. Ему принадлежит несколько сборников рассказов литературоведческих исследований, в частности о литературе стран Магриба.

ИНДОНЕЗИЯ

РОМА ИРАМА РАЗОБЛАЧАЕТ

«Богатые все богаче, бедные все беднее» — звучит над площадью, а затем с еще большей силой трансляция разносит над головами толпы возглас «Аллаху акбар» («Велик аллах»). Так описывает индонезийский журналист Эмха Айнун Наджиб в еженедельнике «Темпо» проходившую недавно ежегодную ярмарку в яванском городе Джокьякарте. В этом празднестве впервые принял участие музыкальный ансамбль известного индонезийского певца и киноактера Ромы Ирамы — основоположника песенно-музыкального стиля дангдут, в котором мелодии традиционной малайской городской песни обогащены динамикой современной рок-музыки.

Своей популярностью Рома Ирама в огромной степени обязан и самому содержанию своих песен, в которых он обращается в основном к неимущей городской молодежи, призывая ее к сохранению собственного достоинства, к мужеству, к свободному выражению мыслей и чувств. Разоблачая в своих песнях падение нравов, безудержную погоню за наживой, бесправие, Рома Ирама нередко ссылается в них на авторитет ислама, с его этической программой, близкой многим миллионам индонезийских мусульман. Звучащие с экрана в последнем фильме Ромы Ирамы, взывающем к идеалам национально-освободительной борьбы 1945—1949 гг., распространяемые в десятках тысяч магнитофонных кассет, эти песни — свидетельство мощной демократической струи в массовой культуре сегодняшней Индонезии.

ИСПАНИЯ

КОНЧИНА ХОАНА МИРО

Скончался Хоан Миро, крупный художник двадцатого века.

Он родился в 1893 году в Барселоне в семье ювелира. С детства Хоан Миро тянулся к живописи, однако родители, желавшие сделать из него преуспевающего буржуа, настояли на том, чтобы он обучался коммерции. Только через несколько лет ему удалось добиться своего, и он смог учиться любимому делу. В 1917 году в Барселоне состоялась его первая выставка, а два года спустя Хоан Миро уехал в Париж, где начался наиболее плодотворный период его творчества. Там у него завязались дружеские отношения с видными деятелями куьтуры — Андре Массоном, Жаком Превером, Андре Бретоном и другими. В 1921 году он выставил в Париже своего «Единорога» и приступил к работе над знаменитой картиной «Деревенский дом», которую в 1925 году приобрел у художника молодой американский журналист и писатель Эрнест Хемингуэй.

Хоан Миро отдал дань фовизму, под влиянием своего близкого друга Пабло Пикассо увлекался кубизмом, затем оспаривал пальму первенства в испанском сюрреализме у Сальвадора Дали. Однако в 30-е годы он, убежденный в том, что «живопись клонится к упадку со времен наскальных рисунков», стал работать в своей оригинальной манере, приближаясь к наивности детского рисунка, к чистоте его красок.

Живопись, графика, скульптура, керамика, стекло — все эти виды искусства были подвластны художнику, полно воплощавшему свои замыслы в любом из них.

Выставки Хоана Миро с большим успехом проходили в различных странах, признание не обошло его — своими работами он украсил здание ЮНЕСКО в Париже, участвовал в выставке «50 лет современного искусства» в Брюсселе, получил Большую премию фонда Гуггенхейма в США, много других премий и медалей, был избран доктором «хонорис науза» Барселонского университета, а также удостоился редчайшей для художника чести — открытия музея своих работ в родном городе Барселоне.

Последний из плеяды художников — современников Пикассо, Хоан Миро умер на девяносто первом году жизни после тяжелой сердечной болезни в своем доме в Пальма-де-Майорка в окружении родных и близких друзей.

ИТАЛИЯ

«ПИСАТЕЛИ И «УНИТА»

Издательство «Эдитори риунити» («Объединенные издатели») выпустило большой сборник «Писатели и «Унита», привлекший внимание критики и читателей.

Сборник включает рассказы итальянских писателей, опубликованные в газете «Унита», органе Итальянской коммунистической партии, за тридцать пять лет — с 1945 г., когда газета только вышла из подполья, по 1980 г. В него вошли не все рассказы, печатавшиеся в «Уните», и представлены не все писатели, сотрудничавшие в газете, — потребовался определенный отбор. Работе составителя Гуидо Викарио критика дает положительную оценку.

В сборнике представлены рассказы, отрывки из романов, эссе Кассолы и Йовине, Витторини и Пратолини, Кальвино и Пазолини, Гатто и Гинзбург, Биджаретти и Биленки, Дзаваттини и Вольпони, Шаши и Серени и мно-

---

На снимке: Рома Ирама и солистка ансамбля Ритас.

(Журнал «Индонесиа: фейтен ен менинген»)

гих других. Из публицистики — статьи Луиджи Руссо, Кончетто Маркези, Рануччо Бьянки-Бандинелли и других философов, искусствоведов, экономистов, социологов.

Сборник рисует не только широкую панораму итальянской литературы с послевоенных лет по наши дни, но и показывает, насколько широки связи, существующие между передовой итальянской интеллигенцией и газетой коммунистов.

«ПАЛОМАР»

Так называется новая книга Итало Кальвино, вышедшая недавно в издательстве «Эйнауди». Жанр произведения, и это свойственно всему творчеству писателя, не укладывается в традиционные рамки. По мнению Паоло Милано, известного литературного критика, «Паломар» являет собой своеобразный «метароман», или же «антироман», то есть «роман, который призван положить конец всем романам».

Его герой «синьор Паломар» — некий деградировавший потомок господина Тэста, этого «чудовища-интеллекта», созданного фантазией Поля Валери. Лишенный какой-либо точки опоры, словно потерявший всякую ориентацию во времени и пространстве, герой Кальвино пытается вновь из отдельных деталей сложить картину мироздания.

Так, в главе «Паломар на пляже» (а всего в романе 27 глав) герой силится «прочитать» морскую волну, наблюдая ее во всех перевоплощениях и не отступая перед невозможностью выполнения этой задачи, или же созерцает силуэт обнаженной груди купальщицы, стараясь поймать наиболее удачный угол зрения. Оказавшись на лоне природы, Паломар слушает песни дрозда и задается вопросами: в чем же заключается информация — в паузе или в свисте, не является ли молчание способом общения дроздов?

От подобных элементарных исследований, питающихся зрительным опытом, герой переходит к общественной жизни, интересуясь в первую очередь правилами поведения.

Наконец Паломар поднимается до решения метафизических проблем, оперируя такими понятиями, как «космос, время, границы интеллекта». Меняется и стиль — описательность уступает место медитации.

В этой маленькой книге (чуть больше ста страниц) Кальвино достигает вершин выразительности. Как пишет еженедельник «Ринашита», «описания животных, растений, всего универсума в непрерывном движении, самого Паломара — он тоже в движении Вселенной, различные формы которой стремится познать,— входят в число лучших страниц, написанных Кальвино за последние годы».

П. Милано проводит параллель между проблематикой последнего романа Кальвино и тем состоянием кризиса, смятения, в котором пребывает ныне значительная часть интеллигенции стран Запада, разочаровавшаяся в попытках найти разумное объяснение ходу истории и не поднимающаяся выше сетований на абсурдность современного мира.

КИТАЙ

«СТРОФЫ ИЗ ГРАНЕНОЙ ЯШМЫ»

В этом году исполняется 900 лет со дня рождения выдающейся китайской поэтессы Ли Цинчжао. В преддверии юбилея на родине поэтессы были опубликованы ее стихотворения, а также ряд исследований о ее жизни и творчестве.

Не только китайская, но и мировая поэзия древних и средних веков после «сладкозвучной Сафо» не знала поэтесс, чье имя можно было бы поставить в один ряд с именем Ли Цинчжао.

Ли Цинчжао, известная также под именем Иань, родилась в 1084 г. в провинции Шаньдун на закате некогда могущественной Сунской империи, давшей стране плеяду прославленных ученых, художников и писателей. Отец ее был крупным сановником и известным литератором, мать — женщиной образованной и начитанной. Ли Цинчжао росла в атмосфере поклонения древней поэзии и уже в ранней юности стала писать стихи, поражавшие окружающих своей эмоциональностью и меткостью наблюдений. В восемнадцать лет она вышла замуж за художника-гравера Чжао Минчена. Назначенный начальником округа, он был вынужден часто разъезжать по стране, и послания к нему Ли Цинчжао явились жемчужинами мировой поэзии.

В 20-е годы XII столетия с северо-востока на Китай началось нашествие воинственных кочевых племен чжурчженей. В 1127 году пала столица Сунской империи Бяньцзин (Кайфын). Ли Цинчжао разделила горькую участь сотен тысяч соотечественников. Потеря родного края, невзгоды и скитания, униженное положение, в котором оказалась страна наполовину захваченная врагом, смерть родителей и мужа — все это наложило скорбную печать на творчество Ли Цинчжао последних лет ее жизни. Мучаясь и страдая, поэтесса и в скитаниях воспевала былое величие и могущество своей страны, воспевала красоту родного края, пробуждая в сердцах соотечественников патриотические чувства.

Ли Цинчжао умерла в 1151 г. Своим творчеством она внесла большой вклад в развитие китайской поэзии, многие из ее стихов стали хрестоматийными. Поэтическое слово для Ли Цинчжао — это драгоценная яшма, которую следует долго и тщательно шлифовать, вот почему из-под ее кисти выходили произведения, отличавшиеся ювелирной отделкой и законченностью. К сожалению, до наших дней дошло только несколько десятков стихотворений поэтессы и статей о поэзии и театре. Но и это немногое позволяет судить о глубоких знаниях и мастерстве поэтессы.

В нашей стране сборник стихотворений Ли Цинчжао «Строфы из граненой яшмы» издавался дважды в переводах поэта и китаеведа Михаила Басманова, который посвятил ей цикл своих стихов «Пою тебя, Иань».

Китайские кинематографисты в дань уважения памяти поэтессы создали художественный фильм о ее жизни и творчестве, о ее служении поэзии.

МОНГОЛИЯ

РОМАН СЭНГИЙНА ЭРДЭНЭ

С. Эрдэнэ — лауреат Государственной премии МНР — мастер психологической прозы малых форм; его новеллы, рассказы составляют целое направление в монгольской литературе последних десятилетий.

Из печати вышел его первый роман «Круг жизни». В нем рассказывается о монгольском селе 30—40-х годов, с большой художественной достоверностью описывается процесс становления и утверждения нового на монгольской земле. Роман, уже получивший широкую популярность у монгольского читателя, написан в форме воспоминаний.

НИКАРАГУА

АДРЕСОВАНО ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ

«Примечательная особенность никарагуанской революции 1979 года — широкое участие в ней подростков и детей», — отмечает рецензент журнала «Каса де лас Американас». И эта яркая примета сплоченности и единения свободолюбивого народа в борьбе за национальную независимость, против социальной несправедливости послужила стимулом для создания уругвайской поэтессой Марией Гравиной Телечеа книги «Пусть гово-

рит Кинчо!», выпущенной в свет издательством «Нуэва Никарагуа».

Сборник объединил 17 рассказов юных никарагуанских граждан о себе и своих товарищах, самоотверженно помогавших бойцам-сандинистам на завершающем этапе революции. Передававшиеся из уст в уста рассказы поэтесса записала во время долгих бесед, затем выбрала лучшие и любовно их отшлифовала.

«Эта книга о готовности к подвигу самых юных никарагуанских патриотов. Грозное для Родины время побудило их очень рано осознать нерасторжимую связь своей жизни с судьбой народной, подвиги их вписались славными страницами в летопись освободительной борьбы никарагуанского народа, — подчеркивает рецензент. — Ныне многих из героев рассказов нет в живых: они пали смертью храбрых, но имена их хранит память народная».

Исполненная суровой правды и вместе с тем проникнутая светлым восприятием, свойственным детству и отрочеству, впитавшая в себя свежесть чувств, пытливость мысли и доверительную интонацию маленьких рассказчиков, книга эта, по мнению рецензента, очень нужна сегодня юным латиноамериканским читателям.

НОРВЕГИЯ

В театре Торсхов (Осло) почти одновременно состоялись две премьеры — «Король Джон» и «Ричард II». «Режиссер Стейн Винге, дерзнувший поставить эти две малопопулярные в театральном репертуаре пьесы Шекспира, безусловно, одержал творческую победу,— пишет театральный обозреватель газеты «Дагбладет» Эрик Пирсторф. — Шекспировские хроники, с их героями и злодеями, победителями и жертвами в борьбе за корону, с их политическими и любовными страстями, ожили на норвежской сцене. Проблемы власти и свободы, государства и личности, сочетание трагического и комического — эти черты драматургии Шекспира привлекли современный театр. Режиссер Стейн Винге, художник Йон Кристиан Альсакер, композитор Кетиль Вослев далеки от традиционной интерпретации исторического колорита, костюмов, реалий. Поэзия и юмор, яркие актерские индивидуальности, темперамент и пафос, оригинальное сценическое решение воскресили полузабытые пьесы Шекспира».

На снимке: сцена из спектакля «Король Джон».

(Газета «Дагбладет»).

ПОЛЬША

ИНТЕРВЬЮ С БОГДАНОМ ЧЕШКО

В издательстве «Ксёнжка и ведза» вышло «Избранное» известного писателя Богдана Чешко. В связи с этим корреспондент газеты «Трибуна люду» взял у него интервью:

— Как вы оцениваете это издание, в котором подводится итог вашего творчества?

— Я всю жизнь писал, но в результате оказалось, что мной написано не так уж много. Правда, я никогда не умел создавать произведений эпических, многотомных.

— Но ведь дело не в количестве, а в качестве? Ведь сейчас мало кто пишет произведения эпические.

— Если мои книги обладают какими-то достоинствами, то я смею надеяться, что они компенсируют их немногочисленность.

— Это издание замыкает ваше творчество?

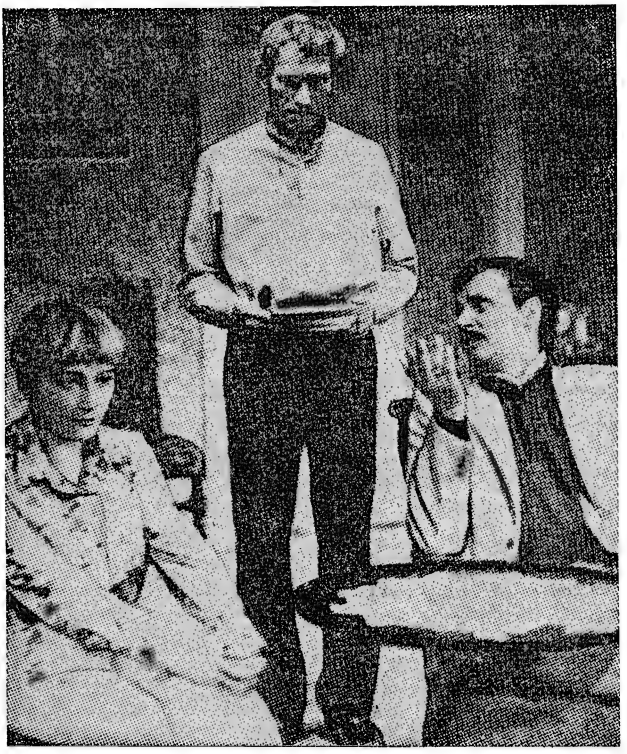
— Нет, я продолжаю работать. Предполагаемые произведения очень разные по жанру и по тематике.

— В ваших книгах часто встречается слово «воспитание». В 1949 году был издан сборник рассказов «Начало воспитания», потом «Несентиментальное воспитание» — о годах войны и оккупации. Вы тогда сделали свой идейный выбор, который стал и позицией ваших героев. Чем вы объясняете, что у одних людей идейный выбор в молодости определяет всю их жизнь, их творчество, а у других происходит полный отказ от идеалов молодости?

— Ну это зависит от разных обстоятельств. Я не считаю, что человек не имеет права менять свои взгляды, это дело его личное. Но я категорически против активных враждебных действий, особенно фанатически враждебных, когда уже не разум руководит человеком, а одна только ненависть. Мне чужд фанатизм как позиция по отношению к миру. И если я сохранил верность идеалам молодости, то это верность не бездумная, ее пришлось выстрадать.

— Как вы относитесь к литературе «сорокалетия»? И что вы можете сказать, сравнив литературу Народной Польши с литературой межвоенного двадцатилетия?

— То, что стало классикой, как раз и возникло в межвоенное двадцатилетие: Домбровская, Ивашкевич, Налковская — после войны они продолжали свое творчество. Хотя в период «сорокалетия» и появлялись очень хорошие книги, но все-таки пока еще нет писателя, которого мы могли бы причислить к классикам, исключая, конечно, вышеназванных. Надо сказать, что на первый план вышла «литература факта», науч-



Режиссер Марек Окопиньский поставил в драматическом театре в Торуне спектакль по пьесе Александра Галина «Ретро», в котором поднимается проблема людей, уходящих на заслуженный отдых, об их умении находить счастье не в материальном благополучии, а в служении людям. По отзывам критики, этот спектакль дает зрителям важный нравственный урок.
На снимке: сцена из спектакля «Ретро».

(Журнал «Театр»)

но-популярная литература, и беллетристика как бы утратила почву под ногами. В последние годы наступил некоторый застой в нашей литературе, но я надеюсь, что это временное явление и она снова заявит о себе.

США

БИОГРАФИЯ ДЖОНА СТЕЙНБЕКА

Шестнадцать лет спустя после смерти писателя (он умер в 1968 г.) на его родине появилась наиболее полная биография «Подлинные приключения Джона Стейнбека, писателя», написанная Дж. Дж. Бенсоном. Американская критика довольно сдержанно оценила книгу. Так, «Интернэшнл геральд трибюн» писала: «Тот, у кого хватит терпения, увидит человека и писателя». Очевидно, дело не в объеме исследования Дж. Дж. Бенсона, превышающем тысячу страниц. По мнению рецензентов, автор, при несомненной добросовестности, не сумел создать яркого портрета Джона Стейнбека и не стал спорить с традиционными оценками критиков, комментировавших произведения Стейнбека при его жизни, хотя именно прохладное отношение критики, как показывает Бенсон, оказало существенное влияние на писательскую судьбу Джона Стейнбека.

«Критика всегда помещала его где-то безусловно выше Джона О'Хары и Колдуэлла, но явно ниже Фолкнера и Хемингуэя. Сам Стейнбек любил всех этих писателей и в известном смысле был более литератором, чем они»,— пишет «Интернэшнл геральд трибюн». Его любимой книгой был Оксфордский словарь, он знал латынь, старофранцузский и староанглийский, занимался переводами. «Он был глубоко начитанным человеком и талантливым бытописателем, который попробовал свое перо практически во всех жанрах — романе, репортаже, драме, кино и даже музыкальной комедии».

Писатель был счастливее, пока был беден и безвестен, годы славы и материального процветания не принесли ему счастья, отмечает его биограф. В 1935 г., когда роман «Квартал Тортилья Флэт» принес ему первый успех, Стейнбек написал своему литературному агенту: «Я до смерти боюсь популярности». Он был счастлив, когда роман «Гроздья

На снимке: Джон Стейнбек в молодости и в последние годы жизни.

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

СИРИЯ

ДВА НОВЫХ РОМАНА

Издательство Министерства культуры и национальной ориентации Сирии опубликовало роман писательницы Камар Кейлани «Круговерть». По мнению критики, для романа характерно «глубокое проникновение в психологию современной арабской женщины, которая в настоящее время живет действительно в постоянной круговерти».

Издательством «Дар аль-Джалиль» в Дамаске выпущен роман молодого писателя Махди ар-Рады «Декларация любви и мучений». Ар-Рады дебютировал в 1979 г. сборником пьес, в 1981 г. он опубликовал сборник рассказов «Города из воска».

гнева» исчез из списков бестселлеров: «Одна из самых важных для меня свобод, — писал он другу, — свобода от респектабельности». После присуждения ему в 1962 г. Нобелевской премии поток яростной критики, который сопутствовал этому событию, как пишут рецензенты и биограф, «вызвал творческий паралич».

Говоря об убеждениях писателя, биограф приводит много фактов, свидетельствующих об отзывчивости писателя, который хорошо знал, что такое нужда, и, став знаменитым, остался преданным товарищем. Так, Пулитцеровскую премию за роман «Гроздья гнева» он отдал своему другу, который нуждался.

Из всех критических замечаний Джона Стейнбека больше всего огорчал упрек в том, что он «популярный» писатель: он никогда не стремился к популярности и не писал в расчете на коммерческий успех. Он считал себя «мастером», «художником» и с некоторым презрением отзывался об авторах бестселлеров.

Рецензенту из еженедельника «Ньюсуик» самой ценной информацией, которую содержит книга Дж. Дж. Бенсона, представляется сообщение о том, что первоначально повесть «О людях и мышах» была задумана как книга для детей. «Пятнадцать лет спустя после смерти писателя все его книги переиздаются, но до тех пор, пока кому-то из критиков не удастся лучше, чем это сделал Дж. Дж. Бенсон, убедить читателя в достоинствах таланта Джона Стейнбека, он, возможно, так и останется в нашей критике классиком юношеской литературы. Пока что Бенсон написал наиболее полную из существующих биографий».

ФРАНЦИЯ

НА «БАЛУ» У ЖИЗНИ

Сначала был спектакль в пригородном парижском театре «Кампаньоль», ныне получившем статут Национального драматического центра южной окраины Парижа. Он назывался «Бал» и был поставлен в 1981 г. по сценарию главного режиссера театра Жана-Клода Пеншена. Он привлек внимание, хотя, как отмечает с запозданием французская пресса, и прежние спектакли театра такие, как «Дэвид Копперфилд» или «Возвращение с выставки», тоже свидетельствовали о собственном почерке театра. Средствами танца, пантомимы, великолепной музыки в новом спектакле рассказана история Франции, начиная с довоенных лет и по наши дни.

Итальянский режиссер Этторе Скола (известный у нас в стране по картине «Мы так любили друг друга»), увидев этот оригинальный спектакль, решил перенести его на экран. Сценаристы (сам Э. Скола и Ж.-К. Пеншена) начинают фильм с эпохи Народного фронта во Франции, рассказывают об оккупации, а затем об Освобождении, о войне в Алжире, о событиях мая 1968 года, об американизации культуры в 70-е годы...

В фильме снимаются те же исполнители, которые играют в спектакле в театре «Кампаньоль». 11 мужчин и 9 женщин исполняют роли в этом фильме, внешне не меняясь, то есть не старея: фактор «времени» подчеркивается деталями туалетов, музыкой.

В целом фильм встречен очень горячо. Он получил Сезаровскую премию как лучший фильм года, а Э. Скола — еще и премию за лучшую режиссуру.

Однако, если журнал «Революсьон» сожалеет по поводу того, что авторы лишили персонажей такого могучего средства воздействия, как слово, хотя, и признает высокое мастерство постановщика, актеров и оператора, то критик «Юманите» подчеркивает: «Мы имеем дело не с «кино — театром», а с фильмом, который использует в качестве основы высокохудожественное театральное представление».

В той же «Юманите» Этторе Скола говорил: «Да, это фильм без слов, но в нем полно диалогов, которые выражают мысли людей иными средствами — глазами, губами, поведением, жестом».

Общее мнение кинокритиков сводится к тому, что «Бал» — это значительное явление на фоне нынешней французской кинопродукции.

На снимке: кадр из фильма «Бал».

(Журнал «Революсьон»)

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ДЕТСКОЙ КНИГИ

Высокий уровень чехословацкой книжной графики хорошо известен. Известно и исключительное внимание, уделяемое в ЧССР художественному оформлению детской и юношеской книги. Не случайно лучшие образцы иллюстраций детской литературы часто появляются на страницах партийной печати.

«Руде право», например, не раз обращалась к иллюстративным работам Народного художника республики Антонина Стрнадела (1910—1975). Он прочно связан с фольклорной традицией и умеет взглянуть на мир открытыми глазами детей. В многочисленных им иллюстрированных изданиях для детей и юношества художник воспроизводит особый, глубоко поэтичный, красочный мир старинных преданий и легенд, сказок разных народов и образов детской фантазии.

Особенно широкой популярностью пользуются его иллюстрации к народным сказкам и к роману А. Ирасека «Псоглавцы», воссоздающие героические картины мужественной борьбы чешского крестьянства за свои права и свободу.

Долгие годы Стрнадел был учителем молодых художников в высшей художественно - промысловой школе. «Своими произведениями, — пишет «Руде право», — он продолжает и будет продолжать учить художественную молодежь нынешнего и будущих поколений».

Публикуемый нами снимок представляет иллюстрацию А. Стрнадела к книге «Русские народные сказки».

На снимке: иллюстрация А. Стрнадела к книге «Русские народные сказки».

(Газета «Руде право»)

Фольке Исаксон пишет, что работа над сборником была единственным утешением Альмквиста в годы изгнания, единственным способом (кроме переписки) не забыть родной язык — ведь писатель опасался даже вступать в контакт со своими соотечественниками за границей.

Тематика стихотворений отражает нелегкие условия, в которых жил поэт. Тот же Фольке Исаксон обращает внимание читателей на то, что в стихах часто говорится о голоде, усталости от жизни и одиночестве, хотя и в шуточной форме.

Таким оразом, «Сесемана» интересна не только как блестящий пример уникального поэтического жанра, но и как своеобразное свидетельство последних лет жизни классика шведской литературы, человека радикальных взглядов, оказавшего влияние на многих шведских писателей последующих поколений.

ШВЕЦИЯ

ИЗДАНО ВПЕРВЫЕ

Классик шведской литературы, один из основоположников шведского реализма, Карл Юнас Лове Альмквист (1793—1866), оставил большое наследство. Судьба писателя сложилась трагично — по ложному показанию его обвинили в убийстве, и он был вынужден бежать в Америку, где и провел последние годы жизни.

К этому периоду его творчества относится сборник стихов «Сесемана» — часть задуманной писателем обширной работы «О шведской рифме», которая в свою очередь должна была войти в цикл поэм, драм, новелл и романов под общим заглавием «Куст шиповника».

При жизни автора рукопись «Сесеманы» печаталась лишь в отрывках. Ее полное издание удалось осуществить совсем недавно. Шведское издательство «Гидлундс» выпустило, как пишет рецензент «Дагенс нюхетер», «прекрасный том в триста страниц» под редакцией Пера Мортенсона и с послесловием известного современного шведского поэта Фольке Исаксона.

«Сесемана» представляет собой сборник шуточных стихотворений, так называемых нонсенсов, посвященных поэту Сесеману, основоположнику этого жанра в Швеции. За веселыми, остроумными стихами, написанными Альмквистэм с целью продемонстрировать богатство рифм и поэтических размеров, встает горькая судьба человека, обреченного жить вдали от родины.

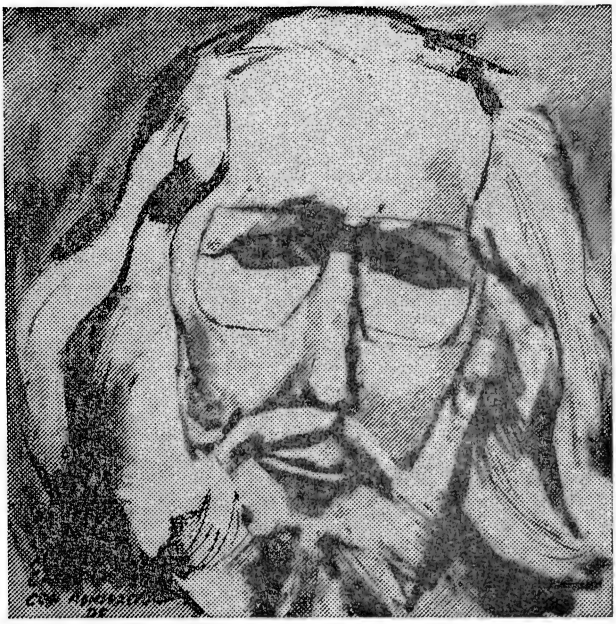
ЭКВАДОР

Корреспондент газеты «Унидад» взял интервью у крупного эквадорского художника и скульптора Освальдо Гуаясамина, выставка работ которого была организована в Лиме.

«Сейчас я работаю над третьим большим циклом, в него войдет около двухсот картин,— сказал О. Гуаясамин.— Цикл этот, в котором я попытался рассказать о нежности, называется «Я не забуду тебя, пока я жив» и посвящен моей матери, но не только ей, а всем матерям, на чью долю в наше время выпадает столько страданий. Однако я не сторонник слезливой сентиментальности, я считаю, что с помощью красок я борюсь за права человека. Меня глубоко волнует то, что происходит сейчас в Сальвадоре, Чили, Аргентине, Бейруте...» Затем О. Гуаясамин с гордостью вспомнил о своей выставке в Ленинграде и заявил корреспонденту: «Я первый из живущих эквадорских художников выставлялся в самом большом и, на мой взгляд, самом представительном музее мира».

На снимке: одна из работ Освальдо Гуаясамина.

(Газета «Унидад»)



Авторы этого номера

СОРИН ТИТЕЛ — SORIN TITEL (род. в 1935 г.)

Румынский писатель. Автор сборников рассказов «Дерево» («Copacul», 1963), «Завтрак на траве» («Dejunul pe iarbă», 1968), «В далекой стране» («În Ţara îndepărtată», 1974); романов «Долгое путешествие пленника» («Lunga călătorie a prizonierului», 1971), «Птица и тень» («Pasărea şi umbra» 1977; премия Союза писателей СРР), «Это твой сын, женщина» («Femeie, iată Fiul Tău», 1983).

Рассказ «Эти ясные летние дни» взят из сборника «Рождается новый мир» («Se naşte o lume». Bucureşti, Editura Albatros, 1974).

ДОРИНА РЭДУЛЕСКУ — DORINA RĂDULESCU (род. в 1909 г.)

Румынская писательница. Автор романа «Вихрь» («Vîrtej», 1964), сборника очерков «Правда и выдумка» («Adevăr şi fantezie», 1970) и др.

Рассказ «Возвращение» взят из сборника «Рождается новый мир».

РАДУ КОСАШУ — RADU COSAŞU (род. в 1930 г.)

Румынский писатель, драматург. Автор книг «Мнения землянина» («Opiniile unui pămîntean», 1957), «Свет!» («Lumină!», 1960), «Личные обезьяны» («Maimuţele personale», 1968), пьес, сборников очерков и эссе и четырехтомного цикла «Выживания» («Supravieţuiri», 1973—1983).

Рассказ «Нежность как отрицание смерти» взят из антологии «Архипелаг» («Arhipelag». Bucureşti, Editura Eminescu, 1981).

МИРЧА НЕДЕЛЧУ — MIRCEA NEDELCIU (род. в 1950 г.)

Румынский писатель, дебютировал в 1979 г. сборником рассказов «Приключения во внутреннем дворе» («Aventuri intr-o curte interivară»). В 1983 г. опубликовал роман «Степная малина» («Zmeură de cîmpie»). Рассказ «История походного хлебозавода № 4» взят из антологии «Архипелаг».

ФРИДМАН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1922 г.)

Советский литературовед и переводчик, автор работ о творчестве М. Садовяну и других румынских прозаиков, статей по истории румынской культуры XIX и XX вв. В его переводе опубликованы романы М. Садовяну «По Серету мельница плыла», «Никоарэ Подкова», «Братья Ждер», «Племя Шоймару» и др. Автор повести о жизни М. Садовяну «Молодость без старости».

АДРИАН МИТЧЕЛЛ — ADRIAN MITCHELL (род. в 1932 г.)

Английский поэт, романист, драматург. Лауреат литературных премий. Автор романов «Если ты видишь, что я иду» («If You See Me Comin'», 1962), «Телохранитель» («The Bodyguard», 1970), «Военное время» («Wartime», 1973), книг стихов «Во весь голос» («Out Loud» 1968), «Оседлать кошмар» («Ride the Nightmare», 1971) и др. Предлагаемая подборка составлена из стихотворений сборника «И грядет антропоид» («The Apeman Cometh». London, Jonathan Cape, 1975).

КАЗАРНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1951 г.)

Молодой советский переводчик с английского. Его переводы стихов публиковались в периодической печати.

ХЕЛЬГА КЁНИГСДОРФ — HELGA KÖNIGSDORF (род. в 1938 г.)

Немецкая писательница (ГДР). Помимо литературного творчества занимается математикой. Имеет звание профессора. Руководит отделом математической статистики в одном из научных институтов.

Предлагаемые рассказы взяты из двух ее сборников: «Мои непослушные сны» и «Ход вещей» («Meine ungehörigen Träume», 1978, «Der Lauf der Dinge», 1982. Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag).

КАРИНЦЕВА ИННА НИКОЛАЕВНА

Советский переводчик с немецкого. Печатается с 1953 г. В ее переводе издавались романы Л. Франка «Из трех миллионов трое» и «Шайка разбойников», Г. Носсака «Дело Д'Артеза», Г. Канта «Выходные данные» («ИЛ», 1974, № 3—5), Мартина Вальзера «Браки в Филиппсбурге», Г. Гёрлиха «Извещение в газете» («ИЛ», 1980, № 8), повести А. Зегерс, Г. Канта, К. Гайслера, П. Хандке и др.

МАСАОКА СИКИ (ЦУНЭНОРИ) (1867—1902)

Японский поэт и теоретик литературы. При жизни М. Сики увидели свет его литературно-критические трактаты «Поэт хайку Бусон» (1897), «Обращение к сочинителям танка» (1898) и др. Стихи при жизни публиковались лишь в периодике и вышли отдельными собраниями посмертно. Сборник хайку «Оголенные деревья в зимних горах» был издан в 1924 г., сборник танка «Песни бамбукового селенья» — в 1904 г. Пятитомное полное собрание сочинений М. Сики впервые было выпущено в 1924 г. и затем много раз переиздавалось. На русском языке стихотворения М. Сики публикуются впервые.

САЙТО МОКИТИ (1882—1953)

Японский поэт. Автор многих сборников — «Багряное зарево» (1913), «Неотшлифованная яшма» (1921), «Светильник» (1930), «Зимние облака» (1940), «Белые горы» (1949) и др. Его перу принадлежит также литературоведческое исследование «Какиномото Хитомаро» (1934), посвященное изучению творчества одного из великих поэтов раннего средневековья.

ДОЛИН АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ (род. в 1949 г.)

Советский переводчик и литературовед, специалист по японской литературе, кандидат филологических наук. Автор монографии «Японский романтизм и становление новой поэзии» (М., 1978), ряда статей по литературе и культуре Японии XX в. В его переводе издан сборник японской лирики позднего средневековья «Осенние цикады» (М., 1981), публиковались стихи современных поэтов Китамура Таро, Таникава Сюнтаро, повести и новеллы Танидзаки Дзюнитиро, Миура Сюман, Яги Ёсинори и других писателей XX в.

КНИПОВИЧ ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВНА

Советский литературовед. Лауреат премии имени Н. А. Добролюбова АН СССР. Автор книг «Генрих Гейне» (1931), «В защиту жизни» (1958), «Разгром» и «Молодая гвардия» Фадеева» (1964), «Сила правды» (1965), «Художник и история» (1968), «Мужество выбора (1975), «За 20 лет» (1978), «Жизнь и память» (1983) и многих статей по советской и зарубежной литературе. Работы Е. Книпович неоднократно публиковались в «Иностранной литературе».

ВОЛОДЯ ТЕЙТЕЛЬБОЙМ — VOLODIA TEITELBOIM (род. в 1916 г.)

Чилийский писатель и общественный деятель; в настоящее время живет в эмиграции. Автор романов «Сын селитры», «Семя на песке» и «Внутренняя война», переведенных на русский язык. В «ИЛ» напечатано его эссе о Пабло Неруде (1973, № 11) и «Размышления о творчестве Гильермо Атиаса» (1978, № 4).

Статья «Пути и надежды Хулио Кортасара» получена редакцией в рукописи.

ПОЛ ГАРРИСОН — PAUL HARRISON

Английский писатель и журналист. Работал в журнале «Ньо-сосайети», печатался в газете «Гардиан», еженедельнике «Санди таймс», «Ньо-сайентист» и других изданиях. Автор книг «Внутри третьего мира» («Inside the Third World»), «Третий мир и завтрашний день» («The Third World Tomorrow»). В этом номере публикуются фрагменты книги П. Гаррисона «Город в городе. Жизнь под лезвием ножа» («Inside the Inner City. Life under the Cutting Edge». Middlesex, Penguin Books, 1983).

ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ (род. в 1918 г.)

Болгарский поэт, прозаик, публицист. Лауреат Димитровской премии, Герой Социалистического Труда. Автор сборников рассказов «В Лопянском лесу» («В Лопянската гора», 1947, 1-е изд.), «Партизанские рассказы» («Партизански разкази», 1963, 1-е изд.), «Молодость остается с нами» («Младостта остава с нас», 1963), «Я не могу без вас» («Не мога без вас», 1974), книги очерков и эссе «Размышления» («Размисли», 1980) и др. (Подробнее о нем и его творчестве — в предисловии Н. Глен.)

Мы печатаем отрывки из книги Веселина Андреева «Бригада» — второй части его партизанской эпопеи «Уходящие в бессмертие», вышедшей в 1982 г.

ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН — LEONARD BERNSTEIN (род. в 1918 г.)

Американский композитор, дирижер, пианист, литератор. Автор балетов, опер, симфоний, камерных произведений. Многие сцены мира обошел его мюзикл «Вестсайдская история», известный также по кинематографической версии. Перу Бернстайна принадлежат две книги — «Радость музыки» («The Joy of Music», 1959) и «Бесконечное разнообразие музыки» («The Infinite Variety of Music», 1966). Фрагменты из них опубликованы на русском языке в книге «Музыка — всем» (М., 1978). Публикуемые сцены взяты из первой книги Л. Бернстайна.

ЛУИДЖИ МАЛЕРБА — LUIGI MALERBA (род. в 1929 г.)

Итальянский писатель, сценарист. В «Иностранной литературе» опубликована его повесть «Сальто-мортале» (1976, № 5). Рассказ «Серая девушка» был напечатан в журнале «Космополитэн» (май, 1980).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 05.06.84. Подписано в печать 18.07.84. А03572. Формат 70×108 1/16. Высокая печать. Бумага кн. журн. Печ. л. 16. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. 27,29.

Тираж 372.000 экз. (1-й завод: 1 — 332.000 экз.) Зак. 2171.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

МИХАЙ РУСУ. Встреча освободителей.

Цена 1 руб. 80 коп. ИНДЕКС 70394

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

В 1985 году редакция предполагает опубликовать следующие произведения:

МИКЕЛАНДЖЕЛО АНТОНИОНИ (Италия)
Кегельбан над Тибром

ЛАДИСЛАВ БАЛЛЕК (ЧССР)
Акации

МАНУЭЛЬ КОФИНЬО ЛОПЕС (Куба)
Любовь в тени и под солнцем

АЙРИС МЕРДОК (Великобритания)
Сон Бруно

ЭММАНЮЭЛЬ РОБЛЕС (Франция)
Венеция зимой

АРВИД РУНДБЕРГ (Швеция)
Путешествие в Новый Орлеан

ЭНН ТАЙЛЕР (США)
Ужин в ресторане «Тоска по дому»

ДРИСС ШРАЙБИ (Марокко)
Расследование на месте

Из литературного наследия

СТЕФАН ЦВЕЙГ
Кристина Хофленер